ISSN 0…

1.1996

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ
Макулатура

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ
Чтиво

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Трофейное



КИЧ, или К Интеллектуальному Чтиву




НОСТРАННАЯ
ИТЕРАТУРА
МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 26 700 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ
С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ —
ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ

1 январь 1996

СОДЕРЖАНИЕ

В следующем номере «ИЛ»

«Аркадия» ТОМА СТОППАРДА — одно из самых значительных и громких произведений западного театра последних лет. Предопределенность и свободный выбор, рационализм и романтизм, прогресс науки и секс как его двигатель, а главное — почти детективный сюжет: убийца ли лорд Джордж Гордон Байрон?

Тема очередного выпуска *«Литературного гида»*, посвященного современной израильской литературе, — *«НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО ЯЗЫКА»*. В выпуске представлены стихи МЕИРА ВИЗЕЛЬТИРА и других известных поэтов, отрывки из романов ЙОРАМА КАНЮКА и ЯАКОВА ШАБТАЯ, повесть о сложных психологических проблемах молодежи ИЕХОШУА КЕНАЗА, рассказы писателей разных поколений и различных творческих манер. С историей возрождения иврита знакомит статья публициста ШАЛОМА ШПИГЕЛЯ.

Цветные иллюстрации номера — работы французских фотохудожников ПЬЕРА и ЖИЛЯ:

На 1-й стр. обложки — Медуза (1990).
На 2-й стр. обложки — «Мистерия любви (Мари Франс и Марк Элмонд)» (1992).
На 3-й стр. обложки — «Маленький коммунист» (1990).

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

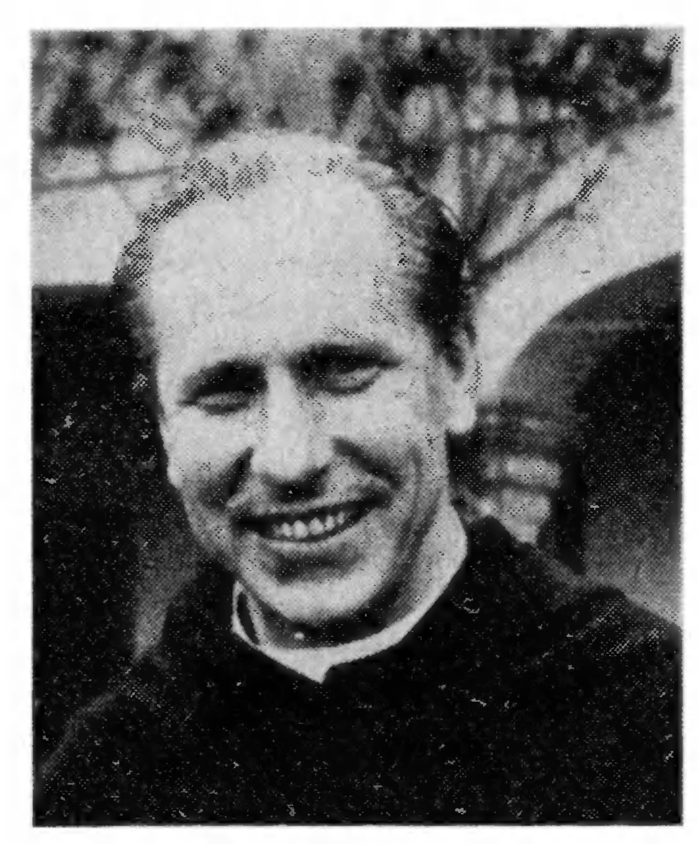
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 15.12.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л.22,40. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,14. Заказ №1325

Тираж 26 700 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ДАВИД МАРИЯ ТУРОЛЬДО

Бог не пришел на свидание

СТИХИ

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

«Для меня писать стихи — это как молиться»

Первое впечатление, когда нас познакомили, сложилось в два слова — крестьянский сын: длиннорукий, угловатый, вытянутое простоватое лицо, обрамленное русыми прядями... Наутро, когда в гулком соборе он служил мессу в своем парадном, белом с красным облачении, он выглядел совсем иным, легким и необычайно изящным в движениях, но первое впечатление лишь усилилось — наверное, от мощного глубокого голоса и манеры говорить: с какими-то неожиданными приостановками, внезапными вопросами: «Господь, помните, как явился Аврааму... А? Огненным столбом! Да, не нежным облаком или цветущим деревом — пламенем!..»

Фра (брат) Давид Мария Турольдо (1916—1992) и впрямь был из крестьян, из беднейшей деревни бедной области Фриули, дававшей в начале века львиную долю потока эмигрантов из Италии. В его семье девять (!) детей умерли в младенческом возрасте от голода и грязи. «Когда я уезжал из дома, — вспоминал он, — то желал матери «легкой смерти» — для нее это было бы сущим избавлением... Да и собственную свою жизнь я воспринимал как нечто недозволенное». Наверное, поэтому тема Зла в его поэзии всегда присутствует не как метафизическая, а как конкретная — социальная и историческая — проблема.

Турольдо был духовным поэтом (порой его сравнивают с Бернаносом и Клоделем) в самом прямом смысле этих слов. «Падре Давид, — писал о нем критик Карло Бо, — получил от Бога два дара: веру и поэзию. Дав ему веру, Бог обязал его петь ее каждый день». Сам поэт затруднялся в определениях: «Религиозная поэзия? По-моему, подлинная поэзия всегда религиозна... Для меня писать стихи — это как молиться». При этом Бог был для него «не тем, кто говорит, а кому говорят», к кому обращаются с «последними» — на грани неверия — вопросами. Этим предельным напряжением веры пронизаны в особенности стихи сборника «Мои ночи с Екклесиастом», написанные на больничной койке.

Войну Давид встретил членом старинного монашеского ордена «Слу́ги Марии» и участником Сопротивления. Его проповеди о свободе с кафедры Миланского собора не могли пройти — и не прошли — незамеченными. После одной из них он вынужден был спасаться через боковой выход — эсэсовцы уже явились за ним.

Когда война закончилась, его ждал не мир, но новые конфликты и преследования. На этот раз со стороны римской курии. Фра Турольдо участвовал в организации христианской коммуны Номадельфия под Гроссето, где вот уже почти полвека продолжается попытка осуществить евангельский идеал любви и братства между людьми; основал в Милане общину левых католиков «Корсия дей серви», сообща с легендарным мэром Флоренции Ла Пирой выступал против милитаризма и войны во Вьетнаме. При папе Пие XII все это, мягко говоря, не поощрялось. Чашу терпения церковного начальства переполнил отказ падре Давида вступить в правящую Христианско-демократическую партию. Непокорному священнику было приказано покинуть Италию...

«Ссылку» прервало избрание папой кардинала Ронкалли — Иоанна XXIII. В церкви повеяло духом обновления. Однако понтификат «папы мира» был недолог. Вскоре после созванного им Вселенского собора началась осторожная ревизия его решений. Была закрыта «Корсия» падре Давида, иерархи давали понять, что недовольны его проповедями и его стихами. Особое раздражение вызывало то, что фра Турольдо с несколькими собратьями восстановил и превратил в действующую обитель заброшенное аббатство XI века неподалеку от простого крестьянского дома, где родился Иоанн XXIII, — молчаливый укор отступникам от его курса и одновременно обет верности его идеям.

Перестройку в СССР он встретил восторженно («смена цивилизации — без кровопролития!») и с трепетом следил за ее перипетиями. Одна из наших встреч произошла в конце 1990 года. Давид был встревожен. Он отвел меня в сторону и спросил, могу ли я доставить его послание лично Горбачеву. «Вы не должны чувствовать себя одиноким, — говорилось в письме, — ибо на Вашей стороне чувства и помыслы великого множества людей, которые, к счастью, не отождествляют того, что происходит в СССР, с «победой Запада». В конце же (воистину поэты — пророки) фра Турольдо писал: «Не может быть, чтобы народ, который выстрадал столько, сколько народы России, страдал зря. Не могут пропасть зря и те страдания, которые предстоит вынести Вам, мой друг...»

Письмо попало по назначению, но в тот период, как сказали мне референты, Президент СССР не отвечал никому. Я знал, что Давид тяжело болен (рак). В начале 1992 года, после очередной, третьей по счету, операции его состояние стало критическим. Пробиться к М.С., теперь уже в фонде его имени, было нелегко, и все же в конце концов желанная подпись была добыта. Седьмого февраля я прилетел в Италию с письмом. Двумя днями раньше фра Турольдо не стало...

В книжечке «Последних песен», вышедшей за считанные недели до этого, меня поразило одно стихотворение («Ты понял, что я думал о тебе, когда писал его?» — спросил Давид в нашем последнем разговоре по телефону). Приведу его в своем корявом переводе: «Брат мой атеист, / благородно томимый мыслью о Боге, / которого не знаю, как тебе дать, / вместе пойдем сквозь пустыню. / Пойдем из пустыни в пустыню / сквозь заросли вер, / свободные и нагие, / к сути нагой Бытия, и там, / где умирает Слово, / пусть завершится наш путь». По-моему, оно лучше многих трактатов передает сокровенный смысл того, чем была для фра Турольдо его вера и его поэзия.

И.ЛЕВИН

Утреннее

1

Между страницами — сосновые иглы,
принесенные ветром,
в волосах — травинки, на луговинах —
клинки лучей.
Меня баюкают горские песни,
и над озером
колышется лес.
Подтверждая близость
и реальность зимы,
птицы в хмельном полете
даль не считают далью.
Клавиши чувств
откликаются тысячелетьям
в золотом ореоле.

2

Вверх уходят дороги,
новые для меня, —
побоку все дела!

Это как покидать без оглядки
дольний мир,
продолжая петь
в неподражаемых жестах
веток...

Маршруты

Вместо досуга душа
возвращается на перекрестки,
где оставила днем зарубки.

На этом углу калека
тело подпер костылями,
на том — женщина тычет
младенцу пустую грудь.
В гостинице на чердаке —
странное существо:
глаза в темноте, подобно
светящимся циферблатам,
показывают застывшее время.

И приходится спрашивать у камней, у звезд,
у тишины: «Кто видел Христа?»

Бог не пришел на свидание

Но когда же кончится этот
день без заката?
На долгожданную встречу
никто не пришел.
Чудом еще живое
сердце исходит кровью,
которую пьют камни.

Страхи

Страшно, что кто-то заглянет в нас
и обнаружит краденое,
быть может — преступный замысел,
притворную верность.

Страшно, что окажется роковою
следующая секунда
при переходе улицы.

Страшно и днем и ночью,
что оболочка лопнет,
как надувная игрушка,
что потеряешь маску у всех на виду.

Смерть, и та не заставит

Может огонь погаснуть
в лоне земли
и успокоиться море,
может весна не начаться,
но чтобы это сердце потеряло надежду —
быть не может такого.

Снова

Снова рассвет над миром,
новый день,
что никем не прожит,
снова кто-то родился,
открыл глаза,
улыбнулся.

Хорошо, когда...

Хорошо, когда барабанит
по крыше коровника дождь
и ты в согласии с миром:

вспоминаешь друзей,
вспоминаешь давние годы
и надежды и в окнах
неотразимых любимых!

Янтарной вспышкой гроза
неожиданно озарит
поле и четки гор.

За этот вечер

За этот вечер мягкий,
за безмятежные лица,
за окна в огне заката,
за кроны в огне заката,

за безмолвное море,
за безотчетность страха
в бурном житейском море,

за одиночество —
прелюдию ночи
благодарю тебя, Боже.

Останется ужаснуться

Останется ужаснуться:
неужели даже Христос
нас обманул?

Как ни одно другое,
презренным станет твое
сладкозвучное имя, Христос.

А может вполне случиться,
что мы не успеем
разочароваться,
возненавидеть ближнего,
проклясть...

И как всегда

И как всегда, ни единого зеркала,
ни единого зеркала,
стекла́, чтобы в нем отразиться,
хотя бы лужи
с твоим отражением,
капли росы,
обыкновенного зеркала
нет, как всегда...

И ты не знаешь,
не знаешь,
какое лицо у тебя,
даже не представляешь,
какое лицо у тебя,
какие бывают лица.

Как всегда, ни единого зеркала,
и ты не знаешь,
не знаешь...

Господи, даже дети!

Господи, даже дети!
Там и тут, то и дело дети —
кощунственная цена
наших взрослых амбиций.

Те же солдаты —
разве они не дети?

Солдаты не знают,
им не положено знать:
у них ампутирован разум.

Бессмысленные угрызения

И любое поражение выдается
под триумфальные гимны
за победу. После чего —
бессмысленные угрызения:

жалобы и молитвы
полнят небо
в ожидании Спасителя, которого ждут,
чтобы затем отвергнуть.

Ты и он

Ты и смертный
один на один.

Он —
это Ты без ответов.

Война и мир

Перечитывая «Войну и мир»,
знаю:

готовлюсь к прощанью
с этим миром, которое не за горами,
к подведенью черты под жизнью.

После Фридланда
встреча императоров в Тильзите —
пустая затея.

Дуб у дороги в Отрадное
Вразумляет Андрея.

И эта лунная ночь!..

Из цикла «МОИ НОЧИ»

Первая ночь

Дождь на дворе — и темень, Екклесиаст.
Мне понятно, друг высших истин,
почему ты себя не убил:
посчитал и смерть суетою.

И тебе не доступен истинный смысл
соблазнительной Пустоты,
ты не знаешь, ничто она, или сон,
или видимость, или ветер,
или жаркое дыхание жизни.
Нет ни смерти, ни жизни, отдельно взятых.

Так под солнцем. А дальше?

О Екклесиаст!

Вторая ночь

Дождь на дворе — и еще темнее, Екклесиаст.
Даже ты не скажешь, друг высших истин,
озаряет или туманит
твое сознание вера
и какая именно вера.

Ты и сам ни за одну из истин поручиться не можешь,
по твоим же судя словам.
И Разум тебе не лучший помощник —
ни малейшего проблеска,
сплошь сомненья, это естественно:
Разум противоречит себе.

Так во что же верить,

о Екклесиаст?



ЭЛИС МАНРО

Настоящая жизнь

РАССКАЗ

Перевод с английского ИННЫ СТАМ

Приехал один человек и влюбился в Дорри. Во всяком случае, захотел на ней жениться. Это чистая правда.

— Будь жив ее брат, незачем ей было бы выходить замуж, — говаривала Миллисент.

На что она намекала? Да ни на что стыдное не намекала. И вовсе не про деньги вела речь. Просто хотела сказать, что дом Беков, Дорри и Альберта, был тогда согрет любовью и добротой; что в их бедной и довольно безалаберной жизни еще не маячил призрак одиночества. По-своему практичная и расчетливая, Миллисент в некоторых отношениях бывала отчаянно сентиментальной. Она свято верила в чистую любовь, не замаранную сексуальными помыслами.

Миллисент не сомневалась, что Дорри Бек пленила приезжего тем, как она пользовалась за столом ножом и вилкой. Собственно, сам он пользовался ими точно так же. Дорри держала вилку в левой руке, а правой только резала ножом. Удивляться тут нечему: в юности она училась в женском колледже Уитби. На остатки семейных сбережений. Там же, в колледже, она приобрела красивый почерк, который, видимо, тоже сыграл свою роль, потому что после первой встречи все ухаживание протекало исключительно по почте. Миллисент обожала даже само название — женский колледж Уитби — и лелеяла тайную надежду в один прекрасный день отправить туда собственную дочь.

Миллисент тоже никак не назовешь необразованной. Она работала учительницей в школе, замуж вышла не слишком рано. До Портера, который был старше ее на девятнадцать лет, она отвергла двух ухажеров, имевших вполне серьезные намерения; одного потому, что терпеть не могла его мать, второго — потому, что он пытался просунуть ей в рот свой язык. У Портера было три фермы, и он пообещал Миллисент, что в первый же год оборудует для нее ванную, а потом-де будет и столовый гарнитур, и диван со стульями. В свадебную ночь он сказал:

— Ну, а теперь терпи, такая твоя планида.

Но Миллисент знала, что он сказал это не со зла.

Поженились они в 1933 году.

Миллисент родила троих детей, почти что одного за другим, и после третьего ребенка начала прихварывать. Портер отнесся к ее недомоганиям спокойно — по большей части он ее уже и не трогал.

Дом Беков стоял на земле, принадлежавшей Портеру, но выкупил у них землю не он. Он лишь перекупил ее у того, кто приобрел участок у Альберта с Дорри. Так что юридически свой старый дом Беки у Портера арендовали. Но о деньгах речь никогда не заходила. Если у Портера шли важные работы, Альберт, бывало, вкалывал там целыми днями; скажем, когда бетонировали пол в амбаре или закладывали сено на сеновал. В этих случаях Дорри приходила тоже, а еще когда Миллисент рожала или проводила генеральную уборку. Дорри, с ее недюжинной силой, справлялась даже с мужской работой: легко передвигала мебель, умела вставлять в окна вторые рамы. Приступая к тяжелому делу — например, если ей предстояло ободрать в комнате старые обои, — она расправляла плечи и глубоко

и радостно вздыхала. Вся она при этом так и светилась решимостью. Дорри была женщина крупная, крепкая, с массивными ногами; на широком застенчивом лице, обрамленном каштановыми волосами, темнели бархатистые веснушки. Один из живших по соседству фермеров назвал ее именем свою лошадь.

Хотя она с удовольствием наводила чистоту и порядок у Миллисент, у себя она убираться не любила. Дом, в котором они с Альбертом жили — и где после его смерти она осталась одна, — был большой, ладный, но почти не обставленный. Зато в разговоре она то и дело поминала семейную мебель: дубовый буфет, материн шифоньер, кровать с шишечками. Но следом непременно говорилось: «Пошло на распродажу». В ее устах слово «распродажа» звучало как стихийное бедствие, вроде наводнения вместе с ураганом, а на этакое несчастье и жаловаться бессмысленно. Ни ковров не осталось, ни картин. Только календарь из бакалейного заведения Наннов — там когда-то работал Альберт. От отсутствия привычных домашних вещей и присутствия других — таких, как силки, ружья и доски для распяливания кроличьих и ондатровых шкурок, — комнаты утратили свое первоначальное предназначение, и мысль об уборке казалась просто нелепой. Однажды летом Миллисент обнаружила наверху на лестничной площадке кучку собачьего дерьма. Кучка была не совсем свежая, однако еще не застыла и вызвала гадливость. За лето из коричневой она стала серой, окаменела и облагородилась; к собственному удивлению, Миллисент все чаще ловила себя на том, что кучка эта ей самой уже кажется вполне уместной.

Сотворила это безобразие Делайла, черная сука, помесь с лабрадором. Она носилась за машинами и в конце концов под колесами и погибла. После смерти Альберта обе они, Делайла и Дорри, слегка тронулись умом. Но по первости никто ничего не замечал. Просто ждать домой с работы теперь было уже некого, а значит, незачем к определенному времени готовить ужин. Не стало грязного мужского белья — и сама собой отпала необходимость в регулярных стирках. Разговаривать дома тоже было не с кем, и Дорри стала больше болтать с Миллисент или с нею и Портером. Она рассказывала про Альберта, про его работу: он колесил в фургончике «Бакалея Наннов», а потом в грузовике от той же бакалеи по всей округе. В свое время Альберт кончил колледж и был там не из последних, но с Великой войны[1] он возвратился не шибко здоровым и решил, что лучше побольше бывать на свежем воздухе; он пошел водителем к бакалейщику и просидел за рулем до самой смерти. Человек он был невероятно общительный и не ограничивался тем, что доставлял товары. Он охотно подвозил людей в город. Выздоровевших перевозил из больницы домой. Заезжал к одной сумасшедшей — постоянной покупательнице Наннов; однажды, выгружая из кузова ее продукты, он обернулся, а та психопатка уже занесла над ним топор, готовясь раскроить ему череп. А замахнувшись, уже не могла остановиться — вонзила топор в ящик и рассекла фунт масла. Альберт продолжал тем не менее и потом возить ей продукты. У него не хватило духу сообщить о происшествии властям, иначе не избежать бы ей сумасшедшего дома. За топор она больше не бралась, но всякий раз вручала ему кексы, обсыпанные подозрительными на вид семенами, и он, проехав ее переулок, выбрасывал дары в траву. Другие женщины, и таких было немало, выходили к нему голышом. Одна поднялась из корыта с водой, стоявшего посреди кухни. Альберт нагнулся пониже и положил товар к ее ногам.

— Чудные все-таки бывают люди! — изумлялась Дорри.

А еще она рассказывала про холостяка, чей дом заполонили крысы; спасая продукты, он стал подвешивать их в мешке к потолочной балке на кухне. Но крысы начали взбираться на балку, прыгать вниз на мешок, раздирать его когтями, и в конце концов пришлось бедняге брать все съестное с собой в кровать.

— Альберт всегда говорил, что одиноких надо жалеть, — повторяла Дорри, словно не понимая, что теперь это относится и к ней.

У Альберта отказало сердце. Он успел только съехать на обочину и остановить грузовик. Умер он в очень красивом месте: вдоль дороги бежал чистый прозрачный ручей, а в пойме росли черные дубы.

Порой Дорри пересказывала некоторые семейные предания, которые слышала от Альберта. О том, как приплыли на плоту двое братьев и на Большой Излучине, где ничего, кроме лесной чащобы, не было, принялись ставить мельницу. Там и сейчас нет ничего, только развалины мельницы и плотины. Они построили боль-

[1] Великая война — первая мировая война. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

шой дом, завезли мебель из Эдинбурга, но ферма всегда была лишь увлечением, а не источником пропитания. Кровати, стулья, резные комоды — все пошло на распродажу. Мебель везли вокруг мыса Горн, утверждала Дорри, и через озеро Гурон по реке. Ох, Дорри, говаривала в ответ Миллисент, это невозможно. Она приносила оставшийся со школьных времен учебник географии и указывала Дорри на ошибку. Значит, тогда там был канал, упорствовала Дорри. Я точно помню, что речь шла о каком-то канале. Может, Панамском? Скорее всего, о канале Эри, говорила Миллисент.

— Да, — соглашалась Дорри. — Вокруг мыса Горн и по каналу Эри.

— Кто там что ни говори, а Дорри — настоящая леди, — заявляла Миллисент Портеру; тот не спорил. Он привык к ее непререкаемым суждениям о людях. — Она Мюриэл Сноу сто очков вперед даст, — настаивала Миллисент, сравнивая Дорри с женщиной, считавшейся ее лучшей подругой. — Я нежно люблю Мюриэл Сноу, но тут меня никто не переубедит.

Эти слова Портеру тоже были привычны: «Я очень люблю Мюриэл Сноу и всегда буду на ее стороне». «Я люблю Мюриэл Сноу, но это не значит, что я одобряю все, что она делает».

А Мюриэл Сноу дымила, как паровоз. Употребляла выражения вроде «чтоб тебя», «к Богу в рай», «наложить в штаны». «Я чуть не наклала в штаны».

Не то чтобы Миллисент сразу выбрала Мюриэл Сноу в лучшие подруги. В начале своей замужней жизни она целилась куда выше. Мечтала сойтись поближе с адвокатшей миссис Несбит. С докторшей миссис Финнеган. С миссис Дауд. А те взваливали на нее всю работу в женском комитете при церкви, но к себе на чай не приглашали. Миллисент никогда не бывала у них дома, разве что на собрании комитета. Портер ведь всего лишь фермер. Неважно, сколько ферм ему принадлежит. Миллисент сама должна бы это понимать.

Она познакомилась с Мюриэл, когда решила, что надо обучать дочку, Бетти-Джин, игре на фортепьяно. Мюриэл была учительницей музыки. Она работала в школе и давала частные уроки. Времена были тяжелые, и она брала за урок всего двадцать центов. Еще она играла в церкви на органе и руководила разными хорами, но большей частью бесплатно. Они с Миллисент так сошлись, что скоро Мюриэл стала бывать в доме у Миллисент не реже Дорри, но несколько в ином качестве.

Мюриэл перевалило за тридцать, она никогда не была замужем. О замужестве она говорила без обиняков, шутливо и жалобно, особенно при Портере.

— Неужто нет у тебя, Портер, знакомых мужчин? — спрашивала она. — Откопал бы где для меня хоть одного сносного мужичка.

— Может, и откопал бы, — отвечал Портер, — да только на твой-то вкус они, небось, не такие уж и сносные.

На лето Мюриэл уезжала к сестре в Монреаль, а однажды отправилась в Филадельфию, к каким-то двоюродным братьям и сестрам, которых никогда не видала и знала лишь по письмам. Вернувшись, она первым долгом рассказала, как там обстоят дела с мужчинами.

— Ужас! Женятся еще юнцами; все сплошь католики, а жены у них не умирают вообще: не до того им, они детей рожают. Одного мужика они мне подыскали, но я сразу поняла, что дело не выгорит. Он был из таких, знаете, которые при мамаше. Познакомилась с другим, но у него оказался жуткий недостаток. Он не стриг ногти на ногах. Огромные желтые когти. Ну? Неужели вы меня так и не спросите, откуда я про это узнала?

Одевалась Мюриэл неизменно в синее, правда, разных оттенков. Женщина должна выбрать цвет, который ей по-настоящему к лицу, и уж его только и носить, говорила она. Это как духи. Все равно что ваша подпись. Многие полагают, что синий идет блондинкам, но это неверно. В синем блондинка часто выглядит еще более блеклой, чем обычно. Лучше всего синий смотрится на коже теплого оттенка, как у Мюриэл; на такую кожу загар как ляжет, так уже круглый год и не сходит. Синий подходит каштановым волосам и карим глазам — как у Мюриэл. Она никогда не скупилась на одежду — это было бы глупо. Ногти у нее были всегда накрашены ярким, бросающимся в глаза лаком: абрикосовым, кроваво-красным или даже золотым. Маленькая и кругленькая, она делала специальные упражнения, чтобы сохранить тонкую талию. Спереди у нее на шее темнела родинка, как драгоценный камень на невидимой цепочке, а другая, как слезка, виднелась в уголке глаза.

— Слово «хорошенькая» тебе не подходит, — к собственному удивлению, заявила однажды Миллисент. — Точнее было бы сказать «очаровательная».

И сама вспыхнула: очень уж это прозвучало по-детски восторженно.

Мюриэл тоже слегка покраснела, но от удовольствия. Она упивалась восхищением, откровенно добивалась его. Однажды, отправившись в Уолли на концерт, на который возлагала большие надежды, она заскочила по дороге к Миллисент и Портеру.

На ней было льдисто-голубое переливающееся платье.

— И это еще не все, — объявила она. — На мне вообще все новое и *шелковое*.

Нельзя сказать, что она так и не нашла себе ни единого мужчины. Она их находила довольно часто, но почти никого из них не могла привести с собой в гости на ужин. Она отыскивала их в других городках, куда вывозила свои хоры на спевки. Или в Торонто на концертах фортепьянной музыки, в которых участвовало какое-нибудь выпестованное ею юное дарование. Иной раз находила их в домах своих учеников. То бывали дяди, отцы, дедушки; они не появлялись в доме у Миллисент, а только махали из машины — одни сдержанно, другие вызывающе-дерзко — по той простой причине, что были женаты. Может быть, жену приковала к постели болезнь? Или она пьяница, или ведьма? Вполне возможно. Иногда о жене вообще не говорилось ни слова — не жена, а призрак. Эти мужчины сопровождали Мюриэл на музыкальные мероприятия под предлогом любви к музыке. Или когда выступал их ребенок, а его нельзя было еще отпускать одного, без взрослых. В дальних городках они водили Мюриэл обедать. Именовались они «друзьями». Миллисент защищала подругу. Что тут плохого, все ведь происходит открыто, у людей на виду. Но это было не совсем так и неизменно кончалось ссорами, оскорблениями, враждой. Звонила жена: «Извините, мисс Сноу, но мы отменяем...» А иногда не было и звонков. На свидание никто не являлся, записка оставалась без ответа, и тогда имя больше упоминать не следовало.

— Мне не так уж много и нужно, — говорила Мюриэл. — Просто чтобы друг оставался другом. А то клянутся в верности, а сами при малейшем намеке на неприятности удирают без оглядки. Почему?

— Ну, пойми, Мюриэл, — сказала однажды Миллисент, — жена есть жена. Друзья — это очень мило, но брак есть брак.

Тут Мюриэл вышла из себя. Значит, Миллисент, как и все, считает ее последней дрянью? И неужели ей, Мюриэл, возбраняется немножко развлечься, вполне невинно развлечься? Хлопнув дверью, она ринулась к своей машине прямо по каллам — конечно же, намеренно. Сутки после того лицо у Миллисент было в красных пятнах от слез. Но вражда длилась недолго. Мюриэл вернулась, тоже в слезах, и повинилась.

— Я с самого начала вела себя глупо, — заявила она, прошла в гостиную и села за пианино.

Миллисент уже понимала все без слов. Когда Мюриэл бывала счастлива, когда у нее появлялся новый друг, она наигрывала нежные, печальные песни, вроде «Лесных цветов» или вот такой:

> Тогда, надев мужской наряд,
> Красивый и простой...

А когда бывала разочарована, Мюриэл барабанила по клавишам, насмешливо напевая песенку наподобие «Красавца Данди»:

> До того, как королю
> Головы своей лишиться, —
> Клейверхаус объявил, —
> Будет кровь другая литься.

Время от времени Миллисент приглашала знакомых на ужин (но не Финнеганов, не Несбитов и не Даудов) и тогда звала также Дорри и Мюриэл. Мюриэл играла на пианино, а Дорри после ужина помогала мыть горшки и сковородки.

Как-то в воскресенье, года через два после смерти Альберта, Миллисент пригласила на ужин священника англиканской церкви и предложила ему привести с собой друга, который, как она слышала, остановился в его доме. Священник был холост, но Мюриэл уже давно оставила попытки его завлечь. Ни рыба ни мясо, говорила она. Очень жаль. Миллисент он нравился, особенно его голос. Она выросла в англиканской вере и, хотя потом перешла в униатскую церковь — ведь к

ней, по его собственному утверждению, принадлежал Портер (как и все видные жители города), — англиканские обычаи ей были все же больше по душе. Вечерняя служба, колокольный звон, хор, с пением идущий по проходу, — разве это сравнишь с толпой, которая с топотом входит в церковь и усаживается на скамьи? А самое лучшее — слова. «*О Господи, помилуй нас, жалких грешников. Спаси, Господи, тех, кто признался во грехах своих. Даруй вечную жизнь покаявшимся. По слову Твоему...*»

Портер как-то тоже сходил на службу, но она ему решительно не понравилась.

Приготовления к ужину были нешуточные. На свет извлекли скатерть камчатного полотна, серебряную салатную ложку, черные десертные тарелочки, вручную расписанные анютиными глазками. Нужно было отгладить скатерть, начистить столовое серебро, но Миллисент преследовал страх, что и после чистки могут остаться пятнышки — серый налет на зубьях вилок или на виноградинках у горлышка чайника, подаренного еще к свадьбе.

С самого утра в душе у Миллисент бурлили противоположные чувства: тревога и удовольствие, надежда и неуверенность. А поводы для беспокойства все множились. Вдруг да не загустеет желе со сливками по-баварски? (В ту пору у них еще не было холодильника, и летом продукты спускали в погреб.) Вдруг не поднимется до полного великолепия бисквит? А если поднимется, вдруг пересохнет? Печенье может отдавать затхлой мукой, а из салата может выползти жук. К пяти часам Миллисент была в таком раздражении и панике, что находиться с нею в кухне стало невозможно. Мюриэл приехала пораньше, чтобы помочь, но она недостаточно мелко порезала картошку да еще расцарапала себе пальцы, натирая морковь; в итоге ей заявили, что от нее нет никакого проку, и отослали играть на пианино.

Мюриэл нарядилась в бирюзовое креповое платье, надушилась своими испанскими духами. Священника-то она уже списала со счетов, это правда, но его гостя она еще не видела. Вероятно, он холостяк или вдовец, раз странствует в одиночку. Скорее всего, богат, иначе не отправился бы в путешествие вообще, тем более в этакую даль. Он приехал из Англии, говорили одни. Нет, говорили другие, из Австралии.

Мюриэл стала наигрывать «Половецкие пляски».

Дорри опаздывала. От этого все пошло наперекосяк. Заливное пришлось снова спускать в погреб, чтобы желе не растаяло. Бисквит пришлось вынуть из духовки, чтобы не пересохло. Мужчины сидели втроем на веранде — ужин устраивался там, «а-ля фуршет», — и пили шипучий лимонад. Миллисент еще в родном доме насмотрелась на последствия пьянства — отец ее умер с перепою, когда дочери было десять лет, — и перед свадьбой она взяла с Портера слово, что к спиртному он больше не притронется. Он, разумеется, притрагивался — в амбаре у него была припрятана бутылочка, — но, выпив, держался от жены подальше, и она искренне верила, что он не нарушил зарока. В те времена это было обычным делом, во всяком случае среди фермеров: пить в амбаре, а в доме — полная трезвость. Притом, если вдруг жена не стала бы требовать воздержания от спиртного, муж почти наверняка заподозрил бы неладное.

Однако Мюриэл, выйдя на веранду в туфельках на высоких каблуках и в обтягивающем платье, сразу воскликнула:

— О, мой любимый напиток! Джин с лимоном! — Но, отхлебнув глоток, состроила Портеру недовольную гримаску: — Ты опять за свое. Снова забыл про джин!

А потом принялась поддразнивать священника, спрашивая, нет ли у него в кармане заветной фляжки. То ли из любезности, то ли утратив от скуки осмотрительность, священник вдруг брякнул, что был бы рад ее там обнаружить.

Тут встал его приятель, чтобы познакомиться с Мюриэл. Он был высокий, сухопарый, желтоватое печальное лицо обвисло равномерными складками. Мюриэл не выказала разочарования. Усевшись рядом, она попыталась завести с ним оживленную беседу. Рассказывала ему о своих уроках музыки, высмеивала местных хористов и музыкантов. Не пощадила и англикан: припомнила концерт в воскресной школе, когда ведущий, объявляя ее номер, этюд Шопена, назвал композитора «Чоппин».

Портер загодя управился с работой, помылся и надел костюм, но нет-нет да и посматривал с беспокойством в сторону амбара, будто вспоминал какое-то неза-

конченное толком дело. В поле громко заревела корова, и в конце концов он извинился и пошел посмотреть, что с ней. Оказалось, ее теленок застрял в проволочной ограде и ухитрился в ней удавиться. Вернувшись в дом, Портер помыл руки, но о потере рассказывать не стал. «Теленок застрял в изгороди», — только и сказал он. Но невольно связал это несчастье со званым ужином, к которому пришлось наряжаться, а потом есть, держа тарелки на коленях. Не по-людски все это.

— Коровы хуже малых детей, — сказала Миллисент. — Вечно требуют внимания в самую неподходящую минуту! — Ее собственные дети, уже накормленные, глядели из-за балясин балюстрады, как на веранду выносят угощенье. — Пожалуй, мы начнем, не дожидаясь Дорри. Мужчины ведь, наверное, уже умирают с голоду. Перекусим запросто, «а-ля фуршет». Мы любим иногда в воскресенье поесть на свежем воздухе.

— Начинаем, начинаем! — воскликнула Мюриэл, помогавшая носить блюда на веранду: картофельный салат, морковный салат, заливное, капустный салат, яйца с пряностями, холодную жареную курицу, рулет с лососиной, подогретый бисквит и приправы.

Когда все расставили, из-за угла дома появилась Дорри, разгоряченная от ходьбы, а может, от волнения. На ней было нарядное летнее платье из темно-синего органди в белую крапинку, с белым воротничком, — платье для маленькой девочки или престарелой дамы. Из воротничка кое-где торчали нитки: это Дорри отодрала рваное кружево, вместо того чтобы его починить, а из одного рукава, хотя день был жаркий, виднелся краешек нижней рубашки. Впопыхах начищенные белые туфли оставляли на траве белесые следы.

— Я бы не опоздала, — сказала Дорри, — но пришлось пристрелить одичавшую кошку. Она шастала по дому и так себя вела, что мне стало ясно: бешеная.

По случаю званого ужина Дорри смочила волосы и с помощью заколок уложила их мелкими волнами. В такой прическе, с разрумянившимся блестящим лицом она походила на куклу с фарфоровой головой и тряпичным, набитым соломой туловищем.

— Поначалу я решила, что у нее пустовка, — пояснила Дорри, — но она повела себя совсем не так, как обычно. Я же ведь сколько раз видела: она тогда ползает на брюхе, катается по полу. А тут я заметила слюну. И сразу поняла, что остается одно: пристрелить ее. Потом сунула кошку в мешок и попросила Фреда Нанна отвезти ее в Уолли к ветеринару. Хочу выяснить, была она вправду бешеная или нет, а Фред всегда готов поехать куда-нибудь на машине, ему только дай повод. Если ветеринара не будет дома — все же сейчас воскресный вечер, — я велела Фреду оставить мешок на пороге.

— Интересно, что подумает ветеринар, — сказала Мюриэл. — Что это ему подарок?

— Не подумает. Я приколола к мешку записку. Но слюна точно текла. — Дорри подняла палец ко рту и показала, откуда именно текла слюна. — Как вам нравится в наших краях? — обратилась она к священнику, который жил в городе уже четвертый год и хоронил ее брата.

— Дорри, это мистер Спирс в наших краях впервые, — сказала Миллисент.

Дорри вежливо кивнула гостю, ничуть, видимо, не смущенная своей оплошностью. Она сказала, что приняла кошку за дикую потому, что шерсть на ней жутко свалялась, а дикая кошка ни за что не подойдет близко к человеческому жилью, если только не сбесится.

— На всякий случай я все же дам в газете объявление. Очень жаль, если это чья-то животина. Я сама месяца три назад потеряла собачку, Делайлу. Ее задавила машина.

Слово «собачка» уж никак не подходило к огромной черной Делайле, которая всегда скакала возле Дорри, где бы та ни бродила, и с буйной радостью неслась, бывало, через поле, завидев едущий мимо автомобиль. Дорри не оплакивала Делайлу; она даже сказала, что ожидала подобного конца. Но теперь, когда она произнесла «собачка», Миллисент подумала, что Дорри, видимо, скрывала свое горе.

— Идите наберите себе еды на тарелку, а не то мы все умрем с голоду, — обратилась Мюриэл к мистеру Спирсу. — Вы гость, вам и идти первым. Если яичные желтки покажутся вам слишком темными, не бойтесь, это от куриного корма, так что не отравитесь. Морковку для салата я терла сама, и если заметите кровь, так это с моих пальцев накапало: в азарте я содрала с суставов кожу. Но теперь я

лучше заткнусь, не то Миллисент меня убьет.

А Миллисент сердито смеялась, восклицая:

— Да неправда! Ничего ты не содрала!

Мистер Спирс очень внимательно слушал все, что говорила Дорри. Может быть, из-за этого Мюриэл и повела себя так развязно. Дорри, наверное, кажется ему очень необычной, думала Миллисент, — канадская дикарка, которая разгуливает с ружьем и стреляет во все подряд. Должно быть, он за ней понаблюдает, а потом вернется к себе в Англию и будет развлекать друзей рассказами.

Дорри за едой помалкивала, а ела она много. Мистер Спирс тоже уплетает за обе щеки, с радостью отметила Миллисент, а вообще-то, судя по всему, человек он молчаливый. Беседу поддерживал священник: рассказывал о книге под названием «Дорога на Орегон»[1], которую как раз читал.

— Какие тяготы, ужас! — говорил он.

Миллисент сказала, что слышала об этой книге.

— У меня в Орегоне живет родня, не помню только, в каком городе, — пояснила она. — Интересно, они тоже ходили по той дороге?

— Если и ходили, — сказал священник, — то, скорее всего, лет сто тому назад.

— Ох, я и не предполагала, что это было так давно, — сказала Миллисент. — Фамилия у них Рафферти.

— Был один, его тоже звали Рафферти, он разводил голубей, — с неожиданным жаром вмешался вдруг Портер. — Это было давно, когда такими делами еще часто занимались. И деньги голубятник мог сколотить приличные. Он нам еще объяснял: главная трудность с голубями в том, что они не сразу залетают на голубятню, стало быть, не задевают контрольную проволочку и не считаются вернувшимися. И вот он взял яйцо, на котором сидела одна его голубка, выдул из него все дочиста и запустил туда жука. Жук поднял в скорлупе такую трескотню, что голубка, ясное дело, решила, что из яйца вот-вот вылупится птенец.

И она пулей летела домой, задевала на пороге за проволочку, и те, кто на нее ставил, гребли деньги лопатой. Ну, и Рафферти, само собой, тоже. Это все, кстати говоря, было в Ирландии, и тот, кто рассказывал эту историю, хапнул тогда столько, что ему хватило на переезд в Канаду.

Миллисент ни на минуту не поверила, что того малого и впрямь звали Рафферти. Портер просто хотел вступить в разговор.

— Значит, вы держите дома ружье? — обратился священник к Дорри. — Наверное, опасаетесь бродяг и прочей сомнительной публики?

Дорри опустила вилку и нож, тщательно прожевала и проглотила то, что было во рту, и ответила:

— Держу, чтобы стрелять.

Помолчав немного, она добавила, что стреляет кротов и кроликов. Кротов она возит продавать на норковую ферму в другом конце города. С кроликов же сдирает шкурки, распяливает и продает в Уолли, в одном месте, где все расхватывают туристы. Она любит и жареную, и вареную крольчатину, но ей одной всего не съесть, и она частенько отдает кроличьи тушки, освежеванные и выпотрошенные, тем семьям, что живут на пособие. Не раз ее подношения отвергались: многие думают, что есть кролика — все равно что собаку или кошку. Хотя ведь и такое, насколько она знает, считается в Китае самым обычным делом.

— Это правда, — заметил мистер Спирс. — Я ел и тех, и других.

— Ну вот, вы хоть знаете, — отозвалась Дорри. — Это же просто предрассудки.

Мистер Спирс стал расспрашивать про шкурки, сказал, что их, наверное, надо снимать очень осторожно; верно, подтвердила Дорри, нужен надежный нож. Она с удовольствием описала первый разрез на брюхе, который требует особой сноровки.

— С ондатрами-то возни больше, — сказала она, — потому что мех у них ценится выше, с ним надо обращаться еще аккуратнее. У них ведь мех не в пример гуще. Не пропускает воду.

— Но ондатр вы же не стреляете? — уточнил мистер Спирс.

Нет-нет, пояснила Дорри, она на них ставит силки. А, ну конечно, силки, повторил мистер Спирс, и Дорри принялась описывать свой любимый капкан, кото-

[1] «Дорогой на Орегон» называется по традиции путь, которым первые американские поселенцы шли на северо-запад страны, в направлении теперешних штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон.

рый сама немного усовершенствовала. Она даже думала взять на него патент, но как-то не дошли руки. Дорри заговорила о реках в пору разлива, о бесчисленных ручьях, вдоль которых она ходит целыми днями, когда снег уже почти стаял, но лист на деревьях еще не развернулся; в это время мех у ондатры лучше всего. Миллисент знала про эти занятия Дорри, но не догадывалась, что это для Дорри приработок. Ее послушать, так подумаешь, что такая жизнь ей по вкусу. Уже летят первые мошки, холодная вода заливается в сапоги, то и дело попадаются дохлые утонувшие крысы. А мистер Спирс слушал, как старый охотничий пес: сидит, дремлет, полуприкрыв глаза, и только самоуважение не позволяет ему проявить невоспитанность и совсем отключиться. Но вот запахло чем-то знакомым — и глаза широко раскрылись, ноздри затрепетали, он вспоминает былые дни беззаветной отваги и самоотверженности. Сколько же миль проходит она за день, стал спрашивать мистер Спирс, как высоко поднимается вода, сколько весят ондатры, сколько штук можно самое малое наловить за день, и годится ли кроличий нож для разделки ондатр?

Мюриэл попросила у священника сигарету, несколько раз затянулась и погасила ее в своей тарелке со сливками по-баварски.

— Зато теперь я их уж точно не съем и, значит, не растолстею, — заявила она.

Потом встала и принялась помогать убирать посуду, но вскоре уселась за пианино и заиграла «Половецкие пляски».

Миллисент радовалась, что удалось разговорить гостя, хотя и не могла понять, что интересного он находит в этой беседе. Угощение тоже вышло на славу, и ужин прошел без сучка без задоринки: никакого странного привкуса в блюдах или липкой ручки у чашки.

— А я думал, капканы на пушного зверя ставят только на севере, — сказал мистер Спирс. — За Полярным кругом или где-нибудь на Канадском щите.

— Раньше я тоже подумывала уехать туда, — сказала Дорри. Впервые за весь вечер у нее вдруг охрип голос — то ли от робости, то ли от волнения. — Решила: буду жить в хижине и всю зиму ставить капканы. Но у меня был брат. Бросить его я не могла. И потом, я все здесь знаю как свои пять пальцев.

В конце зимы Дорри явилась к Миллисент с большим отрезом белого атласа. На подвенечное платье, объяснила она. Тогда только и зашла речь о свадьбе — справлять будем в мае, сказала Дорри, — и впервые стало известно имя мистера Спирса. Уилкинсон. Уилки.

Где и когда Дорри с ним виделась после того ужина на веранде?

Нигде. Он уехал в Австралию, у него там хозяйство. Между ними завязалась переписка.

Расспросами Миллисент выудила еще кое-что. Уилки родился в Англии, но теперь австралиец. Он путешествовал по всему миру, взбирался на высокие горы, поднимался по реке в джунглях. А где именно, в Африке или в Южной Америке, Дорри позабыла.

— Он считает, у меня тоже есть склонность к приключениям, — сказала Дорри, словно отвечая на невысказанный вопрос: что он в ней нашел?

— А он в тебя влюблен? — спросила Миллисент. При этом покраснела она, а не Дорри. Дорри же, не краснея, не суетясь, стояла, словно столп чистого, беспримесного жара. Миллисент живо вообразила ее голой и от ужаса почти не слышала ответа. Она немного изменила вопрос, как ей казалось, уточнив его. — Он будет к тебе хорошо относиться?

— А-а... да, — довольно равнодушно отозвалась Дорри.

В столовой расстелили на полу простыни, обеденный стол сдвинули к стене. Поверх простыней раскинули атлас. От его блестящей шири, мерцающей беззащитной белизны весь дом погрузился в благоговейную тишину. Пришли поглазеть дети, но Миллисент приказала им убираться. Она боялась резать ткань. И Дорри, без малейших колебаний рассекавшая шкуру животного, тоже отложила ножницы.

— Руки дрожат, — призналась она.

Позвонили Мюриэл, позвали зайти после уроков в школе.

Услышав новость, она прижала руки к сердцу и обозвала Дорри хитрюгой, Клеопатрой, пленившей миллионера.

— Держу пари, что он миллионер, — говорила Мюриэл. — Поместье в Австралии — это вам не игрушки! Небось, не какая-нибудь несчастная свиноферма!

Моя единственная надежда — что у него есть брат. Ох, Дорри, я, подлая, тебя даже не поздравила!

Она громко и смачно расцеловала Дорри; та стояла смирно, как пятилетний ребенок.

Дорри сказала, что они с мистером Спирсом намерены «жениться по всей форме». Что это значит, спросила Миллисент, ты имеешь в виду свадебную церемонию? И Дорри сказала — да.

Мюриэл первой надрезала атлас, приговаривая: кто-то же должен это сделать; однако, если бы ей пришлось начать заново, она, возможно, разрезала бы его в другом месте.

Вскоре они свыклись с ошибками. С ошибками и исправлениями. Каждый день, уже ближе к вечеру, приезжала Мюриэл, и начинался новый этап: кройка, наколка, сметка, шитье, и каждый раз они приступали к работе, сжав зубы и подбадривая друг друга мрачноватыми шутками. По ходу дела пришлось изменить фасон, так как возникли непредвиденные трудности, вызванные особенностями невестиной фигуры: рукав оказался чересчур тесен, тяжелый атлас некрасиво сборился на талии. Во время работы Дорри только путалась под ногами, поэтому ее отряжали подметать обрезки ткани и наматывать шпульки. Всякий раз, садясь за машинку, она от старания высовывала кончик языка. Иногда работы для нее не находилось, и она бродила по дому Миллисент из комнаты в комнату, смотрела из окон на снег и слякоть — затянувшийся конец зимы. Или, как покорная животина, стояла в одном шерстяном белье, которое откровенно пахло ее телом, а они все натягивали и одергивали на ней атлас.

Мюриэл взяла на себя заботы об одежде Дорри. Она знала, что ей понадобится непременно. Не только же подвенечное платье. Нужен и дорожный костюм, и сорочка для брачной ночи, а к ней халат, и еще, разумеется, полный набор нового нижнего белья. Шелковые чулки и лифчик — Дорри наденет его впервые.

Обо всем этом Дорри и понятия не имела.

— Я-то ведь считала, что главное — справить свадебное платье, — говорила она. — Больше ни о чем и думать не думала.

Растаял снег, поднялась вода в ручьях, ондатры, гладкие, юркие, наверняка уже принялись резвиться в холодных струях, поблескивая спинками, одетыми в драгоценный мех. Если даже Дорри и вспоминала про свои капканы, она ни словом о них не обмолвилась. И ходила она в те дни по одному и тому же маршруту: из дома, через поле, к Миллисент.

Набравшись опыта, Мюриэл осмелела и скроила из отличной терракотовой шерсти настоящий дамский костюм, на подкладке. Репетиции своего хора она совсем забросила.

Миллисент стала прикидывать свадебное застолье. Оно должно было состояться в гостинице «Брансуик». Но кого, кроме священника, пригласить? С Дорри были знакомы многие, но знали ее как женщину, которая оставляет на пороге соседских домов освежеванные тушки кроликов, которая шатается по полям и лесам с собакой и ружьем, которая бродит в половодье вдоль рек и ручьев в высоких болотных сапогах. Старых Беков мало кто помнил, хотя Альберта не забыли — его любили все. Над Дорри не потешались, что-то спасало ее от такого удела — то ли всеобщее расположение к Альберту, то ли ее грубоватая прямота и достоинство. Так или иначе, но весть о ее свадьбе вызвала большой интерес, хотя и не слишком сочувственный. О ее замужестве говорили как о событии странном, чуточку скандальном, смахивающем на розыгрыш. Портер сообщил, что в округе заключают пари: явится жених или нет.

В конце концов Миллисент вспомнила какую-то двоюродную родню, приезжавшую на похороны Альберта. Обычные почтенные люди. У Дорри нашлись их адреса, и им послали приглашения. Затем позвали бакалейщиков братьев Нанн, у которых работал Альберт, и их жен. Потом двух приятелей Альберта, с которыми тот играл в шары, и тоже с женами. Может, пригласить владельцев норковой фермы, которым Дорри продавала кротов? И кондитершу, которая будет покрывать глазурью свадебный торт?

Торт предполагалось печь дома, а потом отнести в кондитерскую, и там хозяйка, получившая в каком-то чикагском заведении диплом по отделке тортов, покроет его глазурью. Сверху его должны были украсить белые розы, кружевные фестоны, сердечки, гирлянды, серебряные листики и крошечные серебряные леденцы, на которых можно поломать зубы. Но сначала торт надо было замесить и

испечь, и тут-то очень пригодились сильные руки Дорри; они мешали и мешали густую массу, сплошь состоявшую, казалось, из засахаренных фруктов, коринки, изюма; масса эта не рассыпалась только благодаря небольшому количеству сдобренного шафраном теста, вязкого, точно клей. Когда Дорри прижала здоровенную миску к животу и взяла в руку сбивалку, у нее впервые за долгое время вырвался довольный вздох.

Мюриэл решила, что нужна еще девушка, подружка невесты. Или дама, подруга невесты. Сама Мюриэл на эту роль не годится, потому что будет играть на органе «О, безупречная любовь». И Мендельсона.

Значит, остается Миллисент. Никаких «нет» Мюриэл не принимала. Она принесла свое вечернее платье, длинное, небесно-голубое, и, распоров по талии, — до чего же уверенно и смело она теперь чувствовала себя в портняжном искусстве! — предложила сделать кружевную вставку, потемнее оттенком, и такое же кружевное болеро. Платье станет будто новое и сидеть будет как влитое, сказала она.

Примерив его, Миллисент рассмеялась:

— Прямо пугало огородное! — Но на самом деле была довольна. У них с Портером свадьба была — скромнее некуда: просто сходили к священнику домой, а сэкономленные деньги решили потратить на обстановку. — Мне, небось, нужен какой-нибудь... как бишь его? Что-то на голову.

— Ох, а фата! — воскликнула Мюриэл. — Фата для Дорри! Мы занялись подвенечным платьем и совсем забыли про фату!

Но Дорри вдруг открыла рот и объявила, что фату не наденет ни за что. Она не вытерпит, если ее начнут кутать в фату, все равно что в паутину. При слове «паутина» Мюриэл и Миллисент вздрогнули, потому что уже ходили шуточки про паутину, которой давно затянуло кое-какие места.

— Она права, — сказала Мюриэл. — Фата — это уж слишком.

Что же тогда? — размышляла она. Венок? Нет, тоже слишком. Большая нарядная шляпа? Да, взять старую летнюю шляпу и обтянуть белым атласом. Потом взять другую и обтянуть синим кружевом.

— Вот меню, — нерешительно сказала Миллисент. — Куриный мусс в корзиночках из песочного теста, маленькие круглые печеньица, фигурное желе, салат с яблоками и грецкими орехами, розовое и белое мороженое с тортом...

Вспомнив про торт, Мюриэл спросила:

— А нет ли у него случайно меча, Дорри?

— У кого? — не поняла Дорри.

— У Уилки. У Уилки твоего. Есть у него меч?

— Да зачем ему меч? — удивилась Миллисент.

— Я просто подумала — а вдруг есть, — сказала Мюриэл.

— Не могу вас на этот счет просветить, — сказала Дорри.

И они все разом замолчали, потому что одновременно подумали про жениха. Надо же будет привести его в комнату и усадить посреди всех этих штучек. Изящных шляп. Корзиночек с куриным муссом. Серебряных листиков. Ими овладели сомнения. Во всяком случае, Миллисент и Мюриэл засомневались. Они едва могли посмотреть друг другу в глаза.

— Просто я подумала, раз он англичанин или кто он там... — обронила Мюриэл.

— Как бы то ни было, человек он прекрасный, — сказала Миллисент.

Свадьбу назначили на вторую субботу мая. Мистер Спирс должен был приехать в среду и остановиться у священника. Перед тем, в воскресенье, Дорри была приглашена к Миллисент и Портеру на ужин. Мюриэл тоже. Дорри все не шла, и они начали есть без нее.

Посреди ужина Миллисент встала из-за стола.

— Я схожу к ней, — сказала она. — На венчанье ей бы лучше так не опаздывать.

— Я могу пойти с тобой, — предложила Мюриэл.

Спасибо, не надо, ответила Миллисент. Вдвоем может выйти хуже.

Что может выйти хуже?

Миллисент и сама не знала.

Она шла через поле одна. Вечер был теплый, и задняя дверь в доме Дорри была распахнута. Между домом и тем местом, где прежде стоял амбар, росла рощица грецкого ореха; ветки были еще голые, потому что орех распускается позд-

нее всех других деревьев. Жаркое солнце, бившее сквозь безлистые сучья, казалось ненатуральным. Трава скрадывала звук ее шагов.

На заднем крыльце стояло старое кресло Альберта, на зиму его так и не внесли в дом.

Миллисент не могла отделаться от мысли, что с Дорри что-то стряслось. С ружьем ведь недалеко до беды. Например, если Дорри взялась его чистить. Такое иной раз случается. А то, может, лежит она где-нибудь в поле или в лесу на палой прошлогодней листве, среди молодых побегов дикого лука и волчьей стопы. Зацепилась, перелезая через ограду, и упала. Вздумала пройтись напоследок. А ружье вдруг возьми да и выстрели. Раньше подобных страхов за Дорри Миллисент не испытывала, ведь Дорри по-своему очень осторожна и сноровиста. Наверное, после событий этого года все стало казаться возможным. Замужество, такое невероятное везенье, — от этого в голову невольно лезут и всякие страсти тоже.

Но на самом деле ее преследовала другая мысль, совсем не о несчастном случае. За этими разнообразными пугающими картинами трагических происшествий гнездилась иная, истинная тревога.

В дверях она окликнула Дорри. И настолько приготовилась услышать в ответ равнодушное молчание опустелого дома, с хозяйкой которого случилась беда (дом, может, даже и не совсем пуст, не исключено, что в нем лежит тело той, которая *навлекла на себя беду*), настолько приготовилась к худшему, что жутко, до дрожи в коленях перепугалась, увидев Дорри, целую и невредимую, в старых рабочих штанах и рубахе.

— Мы же тебя ждали, — сказала Миллисент. — Ждали к ужину.

— Я, видно, потеряла счет времени, — ответила Дорри.

— У тебя что, все часы стали? — приходя в себя, поинтересовалась Миллисент и вслед за Дорри направилась через привычно заваленную всяким хламом прихожую в кухню. Пахло чем-то жареным.

В кухне было темно, потому что снаружи к окну жался большой лохматый куст сирени. Дорри пользовалась дровяной плитой — ровесницей дома, а в старинном кухонном столе имелись ящички для ножей и вилок. Слава Богу еще, что настенный календарь был текущего года.

Да, Дорри готовила себе ужин. Она шинковала лиловую луковицу, а на сковороде уже жарилась картошка с кусочками бекона. Так-то она потеряла счет времени!..

— Давай-давай, — сказала Миллисент. — Давай готовь дальше. Я-то ведь успела перекусить, прежде чем пошла искать тебя.

— Чай заварен, — сказала Дорри. Чайник прел на краю плиты, и когда она стала разливать его в чашки, жидкость оказалась чернее чернил.

— Не могу я уехать, — сказала Дорри, подцепляя кусочек бекона со скворчащей сковороды. — Не могу уехать отсюда.

Миллисент решила отнестись к этому как к словам ребенка, заявляющего, что не может пойти в школу.

— Славная новость для мистера Спирса, — сказала она. — То-то он обрадуется, приехав в этакую даль.

Брызги жира уже летели во все стороны, и Дорри немного отстранилась от плиты.

— Лучше сдвинь сковороду с огня, — посоветовала Миллисент.

— Не могу я уехать.

— Это я уже слышала.

Дорри кончила жарить и сгребла бекон с картошкой себе на тарелку. Добавила кетчупа и пару толстых ломтей хлеба, обмокнув их в оставшийся на сковороде жир. Села и стала молча есть.

Дожидаясь, пока Дорри насытится, Миллисент тоже сидела молча. Наконец она сказала:

— Объясни почему.

Дорри пожала плечами и продолжала жевать.

— Может быть, ты знаешь что-то, чего не знаю я, — настаивала Миллисент. — Что ты выяснила? Он беден?

Дорри покачала головой.

— Богат, — сказала она.

Стало быть, Мюриэл права.

— Да за такого жениха любая женщина ничего бы не пожалела!

— А мне на это наплевать, — сказала Дорри. Прожевала кусок, проглотила и повторила: — Наплевать.

Несмотря на смущение, Миллисент решилась.

— Если ты думаешь про то, про что, я подозреваю, ты думаешь, так, скорее всего, ты волнуешься попусту. Они, когда стареют, этим всем уже не занимаются, им не до того.

— Ох, да не в том дело! Про то я сама все знаю.

Ах, вот как, подумала Миллисент, но откуда тебе знать-то? Дорри, наверное, воображает, что ей все известно по животным. Да ни одна женщина, иной раз думала Миллисент, не пошла бы замуж, знай она, как оно происходит на самом деле.

Тем не менее, она сказала:

— Замужество не даст тебе киснуть, ты заживешь настоящей жизнью.

— Я и так живу, — сказала Дорри. — Нет у меня, видно, склонности к приключениям.

— Ну, ладно, — сказала Миллисент, словно кладя конец спору. Какое-то время она сидела, прихлебывая отвратительный чай. И вдруг ее осенило. Помолчав немного, она сказала: — Тут решать тебе, это ясно. Но вот задача: где ты будешь жить? Здесь ты жить не сможешь. Когда мы с Портером узнали, что ты выходишь замуж, мы выставили дом на продажу, и его купили.

— Врешь, — мгновенно откликнулась Дорри.

— Нам не хотелось, чтобы дом пустовал и в нем поселились бы бродяги. Вот мы его и продали.

— Такую шутку вы со мной ни за что бы не сыграли.

— Какие шутки, когда ты замуж выходишь?!

Миллисент уже и сама верила в только что придуманную историю. Очень скоро она может стать правдой. Они выставят дом на продажу по довольно низкой цене, и кто-нибудь его купит. Его еще вполне можно отремонтировать. А то и пустить на слом, чтобы потом продать кирпич и деревянные конструкции. Портер рад будет избавиться от этого старья.

Дорри сказала:

— Не выгоните же вы меня из моего дома.

Миллисент молчала.

— Врешь ведь ты все, верно? — спросила Дорри.

— Принеси мне Библию, — сказала Миллисент. — Я на ней поклянусь.

Дорри и впрямь огляделась вокруг.

— Не знаю, где она.

— Послушай, Дорри. Мы стараемся ради твоего же блага. Может показаться, что я тебя выставляю отсюда, но на самом деле просто хочу принудить тебя сделать то, на что ты никак не решишься.

— Вон что, — сказала Дорри. — Зачем?

Затем, что уже испечен свадебный торт, подумала Миллисент, и подвенечное платье готово, и угощенье заказано, и приглашенья разосланы. Столько было хлопот. Могут сказать, что это причина дурацкая, но так скажут те, кто сам-то пальцем не шевельнул. Очень обидно, когда такие усилия идут прахом.

Но тут было замешано и другое; убеждая Дорри, что, выйдя замуж, она заживет настоящей жизнью, Миллисент сама верила в это. А что подразумевала Дорри под словами «уехать отсюда»? Если опасается, что будет тосковать по дому, так пускай себе тоскует! Никто еще от той тоски не умер. Миллисент и не подумает брать ее слова в расчет. Нечего гробить жизнь здесь, когда возникает такая возможность, как у Дорри. От этой возможности грех отказываться. Отказываться из упрямства, из страха или по глупости.

Ей стало казаться, что Дорри приперта к стенке. Наверное, Дорри сдается или потихоньку свыкается с этой мыслью. Скорее всего. Дорри сидит неподвижно как пень, но не исключено, что внутри пень уже насквозь трухлявый.

И вдруг, совершенно неожиданно, расплакалась сама Миллисент.

— Ох, Дорри, — приговаривала она, — не глупи!

Они обе встали, крепко обнялись, и Дорри принялась снисходительно, как маленькую, гладить и унимать подругу, а Миллисент, рыдая, бессвязно повторяла:

— *Счастливая... Помочь... Нелепо...*

Немного успокоившись, она пообещала:

— Я буду приглядывать за Альбертом. Цветы буду носить. И ничего не рас-

скажу Мюриэл Сноу. И Портеру. Не нужно никому знать.

Дорри не произносила ни слова. Она выглядела слегка растерянной, рассеянной, словно беспрестанно обдумывала что-то тяжкое, непривычное, пытаясь смириться с неизбежным.

— Какое жуткое пойло, — сказала Миллисент. — Неужели нельзя заварить получше?

Она вышла из-за стола и выплеснула остатки в помойное ведро.

В тусклом свете, сочившемся в единственное окно, Дорри стояла перед ней, упрямая, послушная, ребячливая, женственная, — невероятно загадочная и раздражающая до белого каления; вроде бы Миллисент все же одолела ее и отсылает-таки прочь. Но чего это мне стоило, думала Миллисент, — куда больше стоило, чем я ожидала. Она попыталась перехватить взгляд Дорри и сурово, но ободряюще глянуть ей в глаза, чтобы сгладить впечатление от своих бурных слез.

— Жребий брошен, — сказала она.

На венчание Дорри отправилась пешком. Никто не предполагал, что она надумает такое. Когда Портер и Миллисент заехали за ней на машине и остановились перед ее домом, Миллисент заволновалась.

— Гудни-ка, — сказала она мужу. — Она ведь должна быть уже готова.

— А это не она вон там шагает? — спросил Портер.

Это была она. В наброшенном поверх атласного платья светло-сером пальто Альберта, со шляпой в одной руке и букетом сирени в другой. Они остановились возле Дорри, и она сказала:

— Нет. Я хочу пройтись. Проветрюсь хотя бы.

Им ничего не оставалось, как ехать и ждать возле церкви; она шла к ним по улице, а из магазинов выходили поглазеть люди; несколько водителей озорно погудели ей, прохожие приветственно махали руками, восклицая: «Невеста идет!» У церкви Дорри остановилась, сбросила пальто Альберта и вся сразу дивно засияла, словно библейский соляной столп.

Мюриэл уже находилась в церкви, играла на органе, и потому только в самую последнюю минуту увидела, что Дорри сжимает деревянистые ветки сирени голыми руками — они с Миллисент совсем забыли про перчатки; однако исправлять оплошность было поздно. Мистер Спирс тоже был в церкви, но он, нарушив все правила и оставив священника в полном одиночестве, вышел навстречу Дорри. Он был такой же худой, желтый и хищный с виду, каким Миллисент его запомнила, но когда Дорри бросила старое пальто на заднее сиденье их с Портером машины и нахлобучила шляпу — Миллисент скорее подбежала и поправила роскошный убор, — на лице у него появилось выражение благородного удовлетворения. Миллисент сразу представила, как они с Дорри, в рыцарских доспехах, покачиваются где-то высоко-высоко на спинах слонов, направляясь навстречу невероятным приключениям. Такая ей привиделась картина. Успокоившись и приободрившись, она прошептала Дорри:

— Он повозит тебя по всему свету! Сделает из тебя королеву!

«Я растолстела, как королева Тонги[1]», — несколько лет спустя писала Дорри из Австралии. Фотография ясно говорила, что она не преувеличивает.

Волосы у нее побелели, кожа стала коричневой, как будто все ее веснушки вырвались на волю и сбежались вместе. На ней было просторное одеяние, расписанное тропическими цветами. Начавшаяся война положила предел мечтам о путешествиях, а когда она кончилась, Уилки смертельно заболел. Дорри осталась жить в Квинсленде, в огромном поместье, где она выращивала сахарный тростник и ананасы, хлопок, арахис и табак. Несмотря на тучность, она ездила верхом и научилась водить самолет. Она немного попутешествовала одна по той части света. Охотилась на крокодилов. Умерла Дорри в пятидесятых годах в Новой Зеландии, во время восхождения на вулкан.

Миллисент раззвонила знакомым то, что обещала никому не рассказывать. Толкуя все, естественно, в свою пользу. Она без малейших угрызений совести вспоминала, как ее осенило, и подробно описывала свой гениальный план.

— Надо же было кому-то взять быка за рога, — говорила она.

Она ощущала себя творцом чужой жизни; в случае с Дорри эта роль удалась

[1] Королевство Тонга, состоящее примерно из 170 островов, находится в юго-западной части Тихого океана; независимый член Содружества.

ей лучше, чем с собственными детьми. Она сотворила счастье — или что-то вроде того. Миллисент и думать забыла о своих непонятных слезах.

После свадьбы Дорри Мюриэл как подменили. Она ушла с работы и, уезжая в Альберту[1], объявила:

— Даю себе сроку год.

И за год нашла себе мужа — совсем не из тех мужчин, с которыми водила дружбу раньше. Он был вдовец с двумя маленькими детьми. Христианский священник. Миллисент удивилась, что Мюриэл так его называет. Разве не все священники христиане?

Когда Мюриэл с мужем приехали погостить — к тому времени у них прибавилось еще двое детей, их общих, — Миллисент поняла, что имела в виду Мюриэл. Курение, спиртное и брань были под запретом, равно как косметика и та музыка, которую она играла прежде. Теперь она играла церковные гимны, над которыми когда-то потешалась. Одежда на ней была самых разных цветов, на голове плохой перманент: седеющие волосы торчали у нее надо лбом пучками кудерек.

— Как вспомню свою прежнюю жизнь, на душе становится муторно, — говорила она, и Миллисент показалось, что они с Портером тоже часть тех муторных времен.

Дом не сдали и не продали. Ломать тоже не стали; построен он был так добротно, что разрушению не поддавался. Он способен был простоять еще долгие годы, сохраняя вполне пристойный вид. Между кирпичами может поползти ветвистая трещина, но стена не рухнет. Оконные рамы покосятся, но стекла не вылетят. Двери в доме были заперты, но дети, видимо, проникали внутрь, они писали на стенах всякую всячину и били оставленную Дорри посуду. Миллисент ни разу не зашла в дом посмотреть.

В свое время Дорри с Альбертом из года в год проделывали одну вещь, потом этим занималась одна Дорри. Началось все, наверное, когда они были еще маленькими. Каждую осень они собирали опавшие грецкие орехи. День за днем бродили по роще, набирая все меньше орехов, пока не находили последний, ну, в крайнем случае, предпоследний. Тогда они их подсчитывали, а результат записывали в погребе на стене. Число, год, количество. Эти орехи никак не использовались. Их просто сваливали на краю поля и оставляли там гнить.

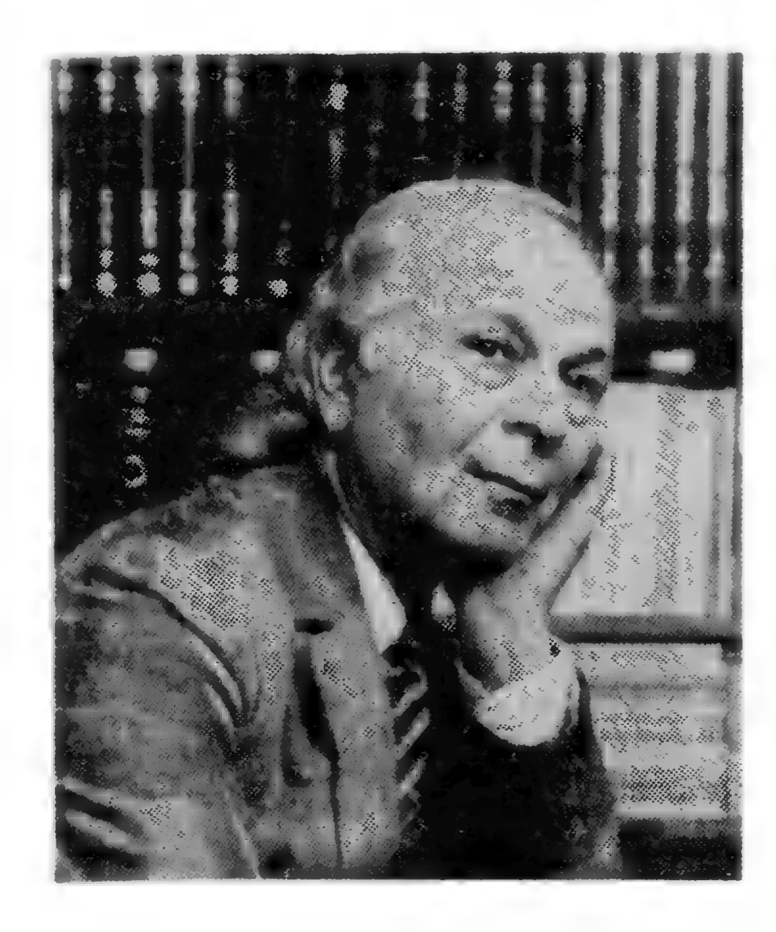
На такое бессмысленное дело Миллисент не стала тратить силы. Ей было чем заняться по хозяйству и с детьми. Но когда наступала осень, и орехи лежали в высокой траве, она часто вспоминала чудной обычай Беков; Дорри, наверное, думала, что не отступит от него до самой смерти. Жизнь состоит из обычаев, из сменяющихся времен года. Падают орехи, в ручьях плавают ондатры. Должно быть, Дорри полагала, что ей на роду написано вести такую жизнь, со своими умеренными странностями и привычным одиночеством. Возможно, она завела бы другую собаку.

Но я этого не допустила, думает Миллисент. Не допустила и, конечно же, была права. Миллисент дожила до преклонных лет, жива и сейчас, а Портер давным-давно умер. Она даже не всякий раз замечает тот дом. Стоит себе и стоит. Но иногда она видит его растрескавшийся фасад, пустые покосившиеся окна. А позади — зеленый полог ореховых деревьев, вновь и вновь роняющих свои резные листья.

Надо бы сломать дом, а кирпич продать, говорит она, несколько озадаченная тем, что не сделала этого до сих пор.

■

[1] Провинция на Западе Канады.



ОСМАН ТЮРКАЙ
Стихи

Перевод с турецкого и вступление РАВИЛЯ БУХАРАЕВА

Миры и странствия Османа Тюркая

Я увидел его впервые в лондонском международном аэропорту Хитроу, где мы, по счастливой случайности, оба встречали двух татарских писателей, прилетевших на конференцию в Кембридж. Эти общие наши друзья, которые провели в Англии всего лишь неделю, и представили нас друг другу.

Человек, впервые открывающий для себя на русском языке поэзию Османа Тюркая, этого крупнейшего поэта нашего времени, вряд ли избежит соблазна увидеть знамение в том, что турецкий поэт-космист и его первый переводчик на русский язык встретились именно среди стекла, бетона и пластика международного аэропорта, когда-то, с легкой руки Андрея Вознесенского, ставшего едва ли не главным символом современности, соединяющим географические точки и уничтожающим расстояния в нашем неоновом мире... Лет двадцать пять назад, кто знает, я и сам увидел бы в этом знамение.

Но мир тогда был другим. Поэтические кумиры читающего человечества воспевали тогда мощь Человека и технического прогресса, и слово «революция», будь она социальной или научно-технической, еще не было, как сейчас, бранным словом. Читая в то время Эдуардаса Межелайтиса, мы по-детски верили, что на Марсе будут яблони цвести, что никто уже не преградит дорогу этому исполинскому Человеку, жонглирующему Луной и звездами во Вселенной, где он и его стремления стали единственным законом для природы, более того, единственным выражением Божественного Разума. Человек, достигший Луны с помощью ракетной технологии и умопомрачительных компьютеров, стал богом двадцатого века.

Если бы поэзию Османа Тюркая перевели на русский язык тогда, его место в поэзии этого века стало бы столь же мгновенно узнаваемым, как место, скажем, Пабло Неруды. Но этого не случилось тогда. Не случилось, я уверен, по причинам деликатно-политического свойства. Место турецкого поэтического гения в советском пантеоне поэтических божеств было занято Назымом Хикметом, который, как и Пабло Неруда, был коммунистом, и его революционная мятежность касалась не только океанских волн и звездных туманностей, но и социальной сферы, что было до крайности удобно для советской критики. Назым Хикмет был политическим изгнанником, что тоже открыло ему массивные полированные двери советской литературы. В те годы быть изгнанником по причине этнической чистки на твоей родине было не модно, а Осман Тюркай оказался на всю жизнь именно таким изгнанником. После кровавых столкновений греков и турок на Кипре ему пришлось эмигрировать в Лондон, где он и прожил тридцать пять лет как гражданин мира, создав все свои главные книги стихов, эссе и переводов, но о них речь впереди...

Мое настоящее знакомство с этим выдающимся человеком состоялось в лондонском квартале Сохо, в маленьком кабинете поэта в мансарде здания, где размещается старейшая в Лондоне Ассоциация турок-киприотов... Дверь из крошечной кельи выходит на крышу, откуда виден этот квартал, когда-то сердце богемного Лондона, где поселялись и жили художники, поэты, музыканты, кинематографисты. Здание Ассоциации стоит как раз на углу улиц Д'Арбле и Уордур, а последняя некогда была улицей английского кино. Здесь располагались прославленные киностудии, теперь на корню закупленные голливудскими кинокомпаниями. Английское кино по причине отсутствия денег находится в печальном упадке, как, впрочем, и сам квартал Сохо, где маленькие уютные кафе все энергичнее вытесняются эротическими шоу и порнографическими лавчонками, и жилье здесь уже не по карману представителям богемы. По ассоциации с Парижем, здесь Пляс Пигаль вытеснила Монмартр, и творческая атмосфера существует только в воображении. Но разве можно недооценивать воображение настоящего поэта, созидающего целые миры в своих

земных и космических странствиях. В наших многочисленных разговорах в Сохо Осман Тюркай нетороплив и обстоятелен. Кто мог бы сказать, что в этом элегантном седом человеке, скупом на слова и жесты, скрывается мощь демиурга, творящего современную мифологию во всем антураже мифологии античности: в звездных вспышках, протуберанцах, волнах огня — и в то же время пристально вглядывающегося в зримые образы своей памяти, насквозь просвеченной виноградным светом Средиземноморья.

Осман Тюркай родился в 1927 году в городке Озанкой на севере острова Кипр, там, где испокон веков жили турки-киприоты, создавшие неподалеку от материковой Турции свою собственную, вполне различимую на фоне анатолийских традиций культуру... Кипр — остров Афродиты, остров богини любви. Прекрасный край гор, лесов и бесконечного неба, полного воспоминаний о греческих божествах. Не случайно в стихах Тюркая так много реминисценций из греческих мифов, которыми пропитан сам сладкий воздух Кипра. Увы, как повелось в нашем раздираемом на мелкие части мире, удивительный симбиоз турецкой, армянской и греческой культур сейчас практически уничтожен низменными интригами глобальной политики двадцатого века. Настало время Апокалипсиса, Судного дня, ужасающие образы которого пронизывают и ажурную звездную ткань утонченной поэзии Османа Тюркая...

Впрочем, в пору детства и юности поэта мир еще не страдал в такой степени от межэтнических распрей, древних, как само мироздание... Кипр был спокоен и солнечен, как нежное Средиземное море, омывающее его пески и скалы... Осман Тюркай закончил в 1946 году Высшую английскую школу в городе Киренея, после чего работал в местной газете «Хурсоз», сначала очеркистом, а затем и помощником главного редактора... Стихи он начал писать уже в четырнадцать лет, так что карьера кипрского писателя-журналиста была ему открыта безо всяких осложнений. Жизнь казалась прекрасной, и сам Осман Тюркай, вспоминая об этом времени, писал:

«Я ощущал себя прирожденным поэтом среди весеннего цветения миндаля, слив и гранатов. Летом морская пена соединялась с солнечным светом и отсветами мрамора, делая мой мир абсолютно белым. Осени мои блистали золотом облетающих листьев и увядающей травы. А зимы мои были лазурными, как средиземноморская синева моря...»

В эти и последующие годы его стихи и очерки широко публикуются во многих журналах как Турции, так и всего мира. Но Осману Тюркаю было уже тесно на маленьком уютном острове. В 1953 году он отправляется в Турцию, и работает переводчиком с английского и французского при американских войсках в составе НАТО, куда в те годы только что вступила Турция. В этой должности он объехал всю Турцию вдоль и поперек. Жалованье было вполне приличное, а работа оставляла ему время на глубокое изучение классической турецкой поэзии и суфийских поэтов Востока — Юнуса Эмре, Физули, Джалаледдина Руми. Он входит в круг самых известных турецких поэтов и писателей. Но его принципиальность в выборе творческого пути не позволяет ему ни отнести себя к какой-то определенной литературной группировке, ни стать апологетом какого-либо политического движения. В том же году осенью он уезжает в Лондон, чтобы изучать философию и журналистику в Институте современных языков и на философском факультете Лондонского университета. Закончив образование, в 1958 году он возвращается на Кипр и работает в утренней газете «Бозкурт» и литературных журналах «Бешбармак» и «Юари». Начинаются годы политической нестабильности, трений и вооруженной борьбы между греческой и турецкой общинами острова, но даже в этом хаосе гражданской войны греческие газеты и журналы называли Османа Тюркая самым объективным и патриотическим писателем Кипра. Однако его видение мирного будущего для острова, построенного на взаимном уважении и взаимном сходстве островных греческой и турецкой культур, не оправдалось. В 1961 году Осман Тюркай вынужден навсегда уехать с острова своего детства в Лондон, где и живет с тех пор, много и упорно работая и широко странствуя по миру.

Осман Тюркай очень быстро обрел известность как поэт-модернист, сумевший открыть новую, свою собственную Вселенную свободного стиха, созданную, однако, на основе глубоких традиций древней и современной турецкой поэзии. В его поэзии сливаются воедино мифология, поэтические образы и традиции Востока и Запада, и он становится двуязычным поэтом: все, что он создает на турецком, он создает вновь на английском языке, и наоборот. Сейчас трудно перечислить все его книги, звания и титулы. Он член и почетный президент множества всемирных поэтических академий и обществ. В прошлом году в индийском Храме Мира ему был присужден титул Императора Поэзии. Представляя нового Императора, основатель Храма Мира тамильский промышленник и поэт сказал: «В мире так много мемориалов войны, почему же нам не иметь Храм Мира, чтобы проявить уважение к тем, кто сделал для утверждения мира и любви между людьми так неимоверно много, как Осман Тюркай». В 1995 году его поэзия была представлена на соискание Нобелевской премии в области литературы. Ему принадлежит более 15 книг стихов и несколько книг поэтических эссе. Как переводчик он известен своими переводами

поэзии В.Маяковского, Т.С.Элиота, Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, Эзры Паунда, Дилана Томаса и других выдающихся поэтов мира. Его собственная поэзия переведена на 35 языков в 40 странах. При том, что Осман Тюркай — наиболее часто переводимый турецкий поэт современности, парадоксальным кажется факт, что вы сейчас впервые знакомитесь с русскими переводами его стихов. То, что мне выпало первым перевести его на русский, я считаю великой честью и одной из своих литературных удач.

Стихи Османа Тюркая поражают. Поражают обилием и напряженностью образов, и созданных заново, и почерпнутых из древней мифологии. Поэт как бы творит свой собственный мир на наших глазах — удел только великих поэтов, — усилиями своего разума, таланта и любви, в изобилии вложенной в его страдающее сердце. Мне не хочется здесь анализировать его поэзию, это огромный труд и повод для докторской диссертации по современной поэзии. Один из критиков Османа Тюркая, широко известный английский писатель, бывший генеральный секретарь Британского национального союза журналистов Гордон Маклин пишет: «Осман Тюркай считается самым прекрасным поэтом своего поколения, мистиком космической эры и исследователем психологии человека. Он направляет свою поэтическую энергию на создание своей собственной мифологии современности». Гордон Маклин вполне справедливо называет Османа Тюркая «поэтом космического сознания».

Среди критических оценок творчества поэта единственно, что вызывает у меня желание поспорить, так это замечание самого уважаемого на Западе критика турецкой литературы, первого министра культуры Турции профессора Принстонского университета в США Талата Саита Халмана, который в одном из предисловий к книгам О.Тюркая пишет: «Тюркай принимает в свое сердце мифологических богов и богинь, однако нейтрализует власть вселенского Бога. В его поэзии нет жизненного пространства для Единого Бога. Тюркай, однако, воистину выражает квази-религиозную веру в конечное всемогущество человека, в его силу побеждать... »

Времена изменились. Вера в человека, по Межелайтису, не оправдала себя и увядает все стремительнее, и быть атеистом все еще почетно разве что на Западе. Но дело не только в этом. Думаю, что уважаемый профессор принципиально ошибается, полагая, что долгие поэмы и поэтические симфонии Осман Тюркая держатся всего лишь на интеллектуальной, энергетической и музыкальной мощи его таланта. Как интеллигент-мусульманин и пристрастный переводчик Османа Тюркая, тоже пишущий стихи на нескольких языках, как человек, которому близки культурные достижения Запада, но чужда западная неприязнь к исламу, я берусь утверждать, что присутствие Единого Творца — это суть произведений Османа Тюркая, сцепляющая и спаивающая воедино невероятное разнообразие форм, метафор и прозрений его космической поэзии.

Ведь если феномен поэзии Тюркая — это великолепная крона вселенского дерева, цветущего протуберанцами созидания новых миров, то ствол и корни этого дерева —суфийское мировосприятие тюрка, естественно проистекающее из сознания единства мира, сегодня разодранного на клочки и разобранного на составные части жадностью политиков и яростью материалистов. И то, что Осман Тюркай с таким детским интересом и такой увлеченностью разбирает на атомы видимый и невидимый мир, только делает ему честь, как вечному ребенку в мире взрослых...

Я с чистым сердцем предлагаю вниманию читателей свои переводы стихов Османа Тюркая, уверенный в том, что только прокладываю путь к его широкой известности в нашей части света, той известности, которую он давно, очень давно заслужил.

Утонувший

Вода! Вода! Вода!
Вокруг меня — куда ни глянь — небесно-голубые воды.
Корабли проплывают по горизонту — я жду тебя, —
корабли, жемчужные раковины в серой дымке.

Я — в одичавшем мире, который древней Атлантиды.
Я утонул в водах, глубоких, как дно океана.
Руки мои простираются вдаль к берегам отдаленным
и бьют по воде, в глазах моих плещется

свет Средиземноморья:
пурпурная пена, скалы, мох и стая лебяжья.

Шумят в душе моей, шумят величественные, великолепные воды,
шумят в непрестанном волненье, шумят
в каждом порту, у берега каждого.
Бухта в Киренеи в форме подковы,
и воркуют голуби на пляжах Фамагусты...
Шумят, вновь шумят и снова плещутся волны,
вспыхивая, словно молнии,
от одного горизонта к другому.

Воды рвут цепи, надетые мною, воды свободны,
синие-синие воды, штормящие воды,
воды, свирепеющие с каждым мгновеньем,
с каждым мгновеньем впадая в бóльшую ярость.
Я Времени раб,
воды несут меня из одного измерения Времени в измеренье иное,
воды пузырятся, вздымаются воды.

Проносясь надо мною и вновь проносясь надо мною,
пурпурные воды перекипают волненьем,
как дикие древние лошади с гривою пенной
в бесконечных берегах, синие лошади вод,
скачут по пятьдесят, по шестьдесят табунами,

воды свободны, воды разрывают цепи, надетые мною...

Вариации на тему современного человека

I

Тень моя еженощно блуждает по улицам этим.
Этот город огромен. И все я слышу,
как в семи морях мира воды поют...
Это тень, это свет, убежденный, что он выше разума.
Внезапно какой-то космолог является мне, длинны его руки,
очи его — телескопы на пике горы.
Я вижу, как в водах морских утопают миры.

Я вдруг претыкаюсь и взгляд бросаю на рыбу,
почему бы и нет? Ведь надо на что-то смотреть.
Туча застит мой взор в сиянии лунном,
неужто 2000-й год уже на дворе?
Квант света мерцает на моем горизонте.
Я говорю: «Это авианосец, остров плавучий!»
Через секунды его ракеты нацеливаются на меня,
провозглашая: «Вот он, гомо сапиенс 2500-го года!»
И все окруженье мое взрывается адом,
над водами, что выговаривают имя мое.

Чья это тень блуждает по улицам ночью?
Куда девался наш мир? Ведь это не наша планета!
Какое же полымя извергло сих огненных тварей?
Их женщины — это не женщины, их дети — не дети!
Вопрошаю я древние воды: «Кто я? Откуда?»
А мне отвечают продаваемой в ампулах спермой!

Наш мир, клянусь, — он не был таким:
спросите у вод, они его изваяли,

пока я скитался легко и бесцельно по улицам.
Выглядывая из огромного банковского сейфа,
драгоценные камни и денежные банкноты меня обвиняют,
говоря: «Тобой опоганены воды и воздух отравлен!»

Решив, что эти слова недостойны вниманья,
я скитаюсь по улицам под проливными дождями;
убийцы притворяются человеколюбцами,
воры проповедуют добродетель и честность.

Я вопрошаю себя: «Не я ли спалил Вьетнам?»
Кто убивал невинных в Африке, господин Океан?
Мои подозренья растут, но, чтобы услышать всю правду,
какому телепаяцу я обязан сегодня внимать?

Тень моя еженощно блуждает по улицам этим,
и все же я слушаю пение вод в семи морях мира.
Времена наступают, звезды и вселенные гаснут,
вера походит на цветенье бутонов весной.
Теперь, когда ты стал таким просвещенным,
ты хочешь постичь невероятную структуру материи,
полезную при анализе Судного дня; ну, а я
революционизирую твое черепно-мозговое устройство.

Если мы хотим их сберечь,
мы обязаны дать новое имя и новую жизнь
Человеку, Богу, Вселенной!

II

Вот я — живущий в страшное время
в стране и городе,
и опыта жизни подобной еще не бывало.
Эти места — непостижимая бесконечность или универсум?
Миф? Реальность? Что они есть? Еще не бывало такого.
Тело, руки и ноги, голова, сверканье очей:
да, это он, Человек, но мы такого не знали.

Я стоял как вкопанный, а он говорил
сквозь лучи собственного солнца в собственном мире.
Слова его были природны, и в каждом — мириады значений,
речь была иностранной, хотя и всеобщей, как солнце и звезды.
Я каждое слово ловил, они были светлы и чисты,
и я понимал их так ясно, как никогда
не постиг бы, когда б моя мать говорила...

Я искал тебя во всех этих мирах,
где же ты был, человек современный?
Где была любовь, чувствительность, одетая в сталь,
сентиментальность, дергающая за струны сердца?

Я замолчал, как мертвец,
и твоя неподвижность образовала кольцо Небосвода.

III

Так я живу в собственном мире бесполезных историй.
Чародейство поэзии отваживается прогуляться во тьму.
Чем же я занят, как вы полагаете?
Я семь столпов воздвигаю на семи морях
лишь для того, чтобы небо держалось, а я любовался.

В любви не бывает причины, и в ней нет «Почему?»,
но если вы спросите, то ответ наготове:
все это подобно пьяному Ною,
введенному во искушенье собственным сыном,
«узревшим наготу отца своего».
И мы — так великолепно — в извращение впали!
Кто оскорбил целомудрие Елены? И где тот Парис?
Где та змея, что ужалила в грудь Клеопатру?
Какими путями досюда мы все докатились?

Взгляните, как многочисленны образы
автомобилей, автоматов, наркотиков, телевизоров, кино,
секса, наготы, порнографии, половых извращений,
операций под общим наркозом, транквилизаторов, таблеток счастья,
трудолюбия гор, спида, звездных сражений,
накопленья чрезмерных богатств
и — в зависимости от уровня потребления —
пересадок сердца, пристрастия к космической хирургии,
сексуального образования в школах, париков, лечения импотенций,
взрывов перенаселенности, гонок вооружений, угроз ядерных войн,
загрязнения воздуха и воды, постепенного отравленья планеты...

Все это — необходимости данного мира,
реальности настоящего времени,
естественные, как восход солнца с востока каждое утро.
Но кто он — тот, что явился из чрева ночи?
На каких мы отныне границах?
Какими из клеток должны мы теперь дорожить,
как должны заниматься любовью? И кто
в свою лабораторию таскает замороженные человеческие органы?

Словно вращаясь в потаенных галактиках атомов,
с невероятно огромными глазами роботов,
то и дело совершаясь, повторяя самих себя,
эти кризисы денег и психологий, эпидемии самоубийств,
все растущие цены и налоги
являют собой умноженья безумья,
покуда то, что описать невозможно,
подобное припадку эпилепсии, насморка или рвоты,
блуждает по всем большим городам,
превращаясь внезапно в свою собственною самость: к примеру,
минералы в недрах земли,
холодные краски цементных джунглей,
лики мертвых и скрежетание стали.
Миллионы «некто», говорящие во весь голос.
Я сам прижимаюсь ухом к земле,
чтобы слышать стоны нашей бедной планеты,
которую каждый миг подвергают насилью
за пределами всех остальных миров:
материнская грудь, которую сосут пожиратели пламени.

А мне что — улизнуть и исчезнуть?
Кто шпионит за мной
с этих далеких дозорных вышек?
Я говорю, но мой голос выходит из его уст.
Неужели же бесконечности, огромные,
как исполинская синяя птица,
так же поют сопранными октавами в Космической Опере?
Призрак, грядущий из темных пустот,
опираясь на семь столпов, воздвигнутых мною,

принимается мне описывать меня самого...

Конечно же, я согласен:
Маршалл Маклюэн, Хомски и Леви-Строс тоже
необходимы в сегодняшнем мире; даже телерекламы,
террор, нелепости, мятежи,
воздушное пиратство и поиск сенсаций
характеризуют современный момент,
но не только они; дай мне объяснить;
гормональное леченье, озноб перемены пола,
сексуальные ритуалы, ведьмачества, кровавые бани,
вожделенье, радости плоти
и реки, текущие ядом,
сношенье с синтетическими членами, супермаркеты секса,
нарастающее число транспортных происшествий на земле и в небе,
исследование хромосом, макеты РНК и ДНК...
Но ведь и это абсолютная истина:
в этом крабовидном мире мы опирались
на Эйнштейна, Фрейда и Маркса
больше, чем на самих себя,
и, подобно пьяному Лоту,
введенному во искушение собственными дочерьми,
мы, современные люди, так восхитительно развращены,
что превратились в семь мраморных столпов на семи морях
и смотрим в вакуум, в котором закончился мир.
И могут ли погасшие звезды испускать белое сиянье?

IV

Так или иначе, мы давно уже умерли.
Я вслушивался в эхо своего голоса
и во все ваши голоса!

V

Слишком много знамений явилось в пространстве,
где я был планетой. И все ж я вопрошал:
Место: Где?
Время: Когда?
Человек: Кто?
Природа: Что?

Из какого цементного здания окно распахнуто в космос?
Се космодром:
каждый кабель вибрирует в ритме другого,
каждое число — это город, каждый звук кибернетичен
в несметных клетках чудовищно развитого исполинского мозга.
Ты, я и он: сцена человеческой драмы Судного дня;
верблюд в пустыне, Антихрист в небесах,
безобразный исполин изнемогает от жажды —
дай ему пить!

Здесь тоже город; его строенья реальны,
птицы его летят так высоко, что незримы,
в пылающей преисподней
мир ревет, как испуганный бык
посреди Вселенной из всяких диковин.
Звенящие колокола, искрящиеся очи города, его маяки.
Скала, кувыркаясь в громах, рушится в бездну,

и я — скорость, символизирующая свет, —
хожу челноком промеж звездных пространств.

VI

Зимним влажным днем, пока туман
усаживается в корнях деревьев,
путая по случайности крики детей
с птичьим пеньем,
я принимаю в объятья нагие леса и ступаю
то назад, то вперед между временем и безумьем.
Все вокруг из цемента, кругом лишь антенны и трубы,
все вокруг — это горн, плавка, огонь и буря,
все настораживает длинные уши, как локаторы,
и это — осел, забредающий в наши дома
из страшного мира других, не наших, смертей.

Жить не значит веровать, думать не значит видеть,
ведать скорбь, с которою миришься, уединяться —
все это город, чей образ непостижим,
он складывается из металлических улиц в огне, стальных небоскребов,
скитающихся по проспектам, —
они так огромны, что их очертанья
превращаются в желтые тучи, черные дымы,
призраки, огненные столбы, грибовидные облака...
Знамя кошмара в выгоревшем мире.
И все же в каком из столетий мы решимся пойти
в страшное пекло пустыни?
Как магнетизм в горячей крови, смешанной с песками,
нечто уводит меня, уводит меня из мегаполиса
в сердце мира, в сокровенность песка и нефти...
К речи какого пророка мы ныне прислушаемся?
Моисей, вероятно, это антенна на горе Синай,
Мухаммед, ракеты Сэм-6, «Велик Аллах»,
а люди, чья жизнь вызывает испуганный ропот,
это арабы и дети Израиля?
Оставляя позади цивилизованные города и иллюминации,
я иду к тебе,
кто умер во имя живущих.

VII

Звуки в ночи, тьма в бесконечной пещере,
мерцающие огни идут от созвездья к созвездью,
человек, больной малярией, в нарастающем жару
прислушивается к стукам сердца в испарине тела:
такова человеческая драма в преисподней Треблинки.

Пепел его отличен от глины,
из которой он был сотворен.

Миф его жизни растворяется в бесконечности этой пещеры.

Он автоматически настраивает свои огромные уши,
как горные радиоантенны,
на пульс Вселенной:
ибо, если он человек — а я думаю, да, —
который умеет чувствовать и размышлять,
разве он уже не постиг с безошибочной точностью,
что и он — целый космос?

Глядя на собственную тень,
он грядет,
посланник — это просторная темная пещера,
слушающая сигналы, исходящие из других пещер.

И на каждый глаз прозревающий падает занавес.

Мечтанья должны иметь пределы

я недвижно стоял на мосту Ватерлоо
против рассвета срединной осени
проникающего в мои спектральные
фотометрические зрачки
Биг-Бен снисходил до меня как фантом
источая звон
странных созвучий из несравненных миров
и море мертвых колебаний отражалось эхом
в бирюзовом сиянии этом
чреватом восходом всякого нового дня

когда я повешенный срываюсь
с виселицы зари
розовый свет блуждает по пламенеющим небесам
и словно бы бесконечно просеивает звезды
трясущееся сито небес

моя душа вплывает в горячку
в океан — и он весь невообразимая музыка
плещущая у пределов моего восходящего
звездно-мерцающего механического мятущегося эго
переводящего Время и Сиянье
твердое словно ядро вселенной

не измерения Времени
и даже не скорость Света
но мечтанья должны иметь пределы
потому что не раз мне еще предстоит восставать
из кровоточащего склепа лондонской ночи

■



ЙОЗЕФ РОТ

Легенда о святом пропойце

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого С. ШЛАПОБЕРСКОЙ

I

В один весенний вечер 1934 года некий господин в летах спускался с моста через Сену по каменным ступеням, ведущим вниз к берегам реки. Там, под мостами, имеют обыкновение ночевать, или, вернее сказать, квартировать, парижские бездомные, что известно едва ли не всему свету, но о чем все-таки, пользуясь случаем, стоило бы напомнить людям.

Один из таких бездомных ненароком встретился сейчас господину в летах — последний, между прочим, был хорошо одет и производил впечатление туриста, который намерен осмотреть достопримечательности чужих городов. Что до бездомного, то, хоть он и выглядел таким же оборванным и жалким, как все остальные, чью судьбу он разделял, хорошо одетому господину в летах он показался достойным особого внимания; почему — мы не знаем.

Как уже говорилось, наступил вечер, и под мостами на берегах реки темнота была гуще, чем наверху — на набережных и на мостах. Бездомный, человек явно опустившийся, слегка пошатывался. Он, по-видимому, не заметил пожилого, хорошо одетого господина. Тот же ничуть не шатался, а, напротив, ступал твердым, уверенным шагом и, очевидно, еще издали заметил шаткую фигуру. Господин в летах прямо-таки заступил дорогу оборванцу. Оба остановились, один против другого.

— Куда вы идете, брат мой? — спросил пожилой, хорошо одетый господин.

Другой секунду смотрел на него, потом сказал:

— Не знал, что у меня есть брат, и не знаю, куда ведет меня дорога.

— Дорогу я попытаюсь вам указать, — сказал пожилой господин. — Но вы не должны на меня сердиться, если я попрошу вас о необычном одолжении.

— Готов оказать вам любую услугу, — ответил оборванец.

— Я, правда, вижу, что вы подвержены некоторым порокам. Но Господь поставил вас у меня на пути. Вам, конечно, нужны деньги, не обижайтесь на меня за этот разговор. У меня их слишком много. Можете вы мне откровенно сказать, сколько вам нужно? По крайней мере, в настоящую минуту?

Бездомный секунду-другую подумал, потом сказал:

— Двадцать франков.

— Этого, конечно, мало, — возразил господин в летах. — Вам наверняка нужно двести.

Оборванец отступил на шаг, казалось, он вот-вот упадет, однако он устоял на ногах, хотя и шатался. Потом сказал:

— Конечно, двести франков меня бы больше устроили, чем двадцать, но я человек чести. Вы, похоже, во мне ошиблись. Я не могу принять деньги, которые вы мне предлагаете, и вот по каким причинам: во-первых, я не имею удовольствия вас знать; во-вторых, я не знаю, как и когда я мог бы вам их вернуть; в-третьих, у вас даже не будет возможности с меня их потребовать. У меня ведь нет адреса. Я чуть ли не каждый день меняю место и живу под другим мостом. Тем не менее, как я уже дал вам понять, я человек чести, хоть и без адреса.

— У меня тоже нет адреса, — отвечал господин в летах, — я тоже каждый день живу под другим мостом, и все-таки я вас прошу по-дружески принять эти двести франков — смехотворную, впрочем, сумму для такого человека, как вы. Что же каса-

ется возврата долга, то мне придется начать издалека, дабы вы уяснили себе, почему я не могу указать вам банк, куда бы вы могли вернуть деньги. Дело в том, что я обратился в христианство после того, как прочел историю маленькой Святой Терезы из Лизье[1]. И теперь я особенно почитаю маленькую статую этой святой, которая находится в часовне Святой Марии Батиньольской[2] и которую вы там сразу увидите. Стало быть, как только у вас появятся эти жалкие двести франков и ваша совесть будет принуждать вас погасить долг и отдать эту смехотворную сумму, то пойдите, пожалуйста, в церковь Святой Марии в Батиньоле и после мессы вручите деньги священнику, который только что ее отслужил. Если вы вообще их кому-то и должны, то лишь маленькой Святой Терезе. Но не забудьте: в церкви Святой Марии Батиньольской.

— Я вижу, — сказал бездомный, — вы поняли, что я человек порядочный. Даю вам слово, и слово свое сдержу. Но к мессе я могу ходить только по воскресеньям.

— Пожалуйста, пусть будет по воскресеньям, — согласился пожилой господин. Он достал из бумажника двести франков, дал их нетвердо стоявшему на ногах человеку и сказал: — Благодарю вас!

— Мне было очень приятно, — ответил тот и мгновенно скрылся в глубокой тьме.

Ибо внизу тем временем воцарился мрак, тогда как наверху, на мостах и набережных, зажглись серебряные фонари, дабы возвестить наступление веселой ночи в Париже.

II

Хорошо одетый господин тоже скрылся во мраке. Он и в самом деле сподобился чуда обращения. И решил теперь вести жизнь беднейшего из бедных. И потому он жил под мостами.

Но что касается другого, то это был выпивоха, прямо-таки пропойца. Звали его Андреас. И жил он, как многие пьяницы, милостью случая. Двести франков — таких денег у него давно уже не водилось. И наверно, потому, что их не водилось так давно, он вытащил при тусклом свете одинокого фонаря под одним из мостов клочок бумаги и огрызок карандаша и записал адрес маленькой Святой Терезы и сумму в двести франков, которую отныне был ей должен. Затем поднялся по одной из тех лестниц, что ведут с берегов Сены на ее набережные. Там, он знал, есть ресторан. И он туда зашел, ел и пил вволю, истратил много денег да еще прихватил с собой целую бутылку на ночь, которую, как обычно, собирался провести под мостом. Даже вытащил из мусорной корзины газету. Но не для того, чтобы читать, а для того, чтобы укрыться. Газеты ведь удерживают тепло, это все бездомные знают.

III

На следующее утро Андреас встал раньше обычного, так как удивительно хорошо спал. Призадумавшись, он вспомнил, что вчера пережил чудо, чудо да и только. И раз у него было ощущение, что в минувшую теплую ночь, укрывшись газетой, он спал особенно хорошо, как ему давно уже не спалось, то он решил еще и помыться, чего не делал уже несколько месяцев, то есть все холодное время года. Однако, прежде чем раздеться, он еще раз полез в левый внутренний карман пиджака, где, как ему помнилось, должен был лежать осязаемый остаток чуда. Потом стал искать местечко поукромней, где-нибудь за выступом берега, чтобы помыть хотя бы лицо и шею. Но ему казалось, что за его мытьем везде будут наблюдать люди, жалкие люди вроде него самого (пропащие, как он вдруг назвал их про себя), так что от этого своего намерения он в конце концов отказался и удовольствовался тем, что просто окунул в воду руки. После чего опять надел пиджак, проверил еще раз, целы ли деньги в левом внутреннем кармане, и почувствовал себя совершенно очищенным и даже преобразившимся.

Он начал новый день — один из тех дней, какие он с незапамятных времен привык растрачивать попусту, в решимости и сегодня тоже пойти на исхоженную им улицу Четырех Ветров, где находился русско-армянский ресторан «Тары-бары» и где он проматывал на дешевые напитки те скудные деньги, которые дарил ему прихотливый случай.

---

[1] Тереза Мартэн (1873-1897) - монахиня кармелитского монастыря в Лизье (департамент Кальвадос). Ее книга “История одной души” обошла весь мир и принесла ей широкую известность. В 1925 г. Тереза Мартэн была причислена к лику святых. Известна под именем Тереза Младенца Иисуса. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] В 1828 г. королем Карлом X и герцогиней Ангулемской в селении Батиньоль (теперь район Парижа) была построена часовня, ставшая позднее приходской церковью.

Однако у первого же газетного киоска, мимо которого он проходил, Андреас остановился, привлеченный пестрыми обложками еженедельников. Ему вдруг все стало интересно: захотелось узнать, какой сегодня день, какое число и чье имя этот день носит. С этой целью он купил газету, увидел, что сегодня четверг, и вдруг вспомнил, что родился он тоже в четверг. Тогда, не обращая внимания на число, он решил именно этот четверг считать своим днем рождения. Его охватило детски-радостное ощущение праздника, и он, ни секунды не медля, поддался доброму, даже благородному побуждению не заходить в «Тары-бары», но с газетой в руке завернуть в заведение получше, чтобы там выпить кофе, непременно с ромом, и съесть бутерброд.

Итак, уверенный в себе, несмотря на свою оборванную одежду, он зашел в бистро поприличней и сел за столик, — это он-то, давно уже привыкший только стоять у стойки, вернее, на нее опираться. Итак, он сел. А поскольку напротив его места висело зеркало, то он не мог не взглянуть на свое отражение, и у него возникло чувство, будто он заново знакомится с самим собой. Но тут он все-таки испугался. И сразу понял, почему в последние годы так боялся зеркал. Неприятно было собственными глазами видеть собственный упадок. А пока видеть не приходилось, могло казаться, что у тебя либо вообще нет лица, либо оно все еще твое, прежнее, *доупадочных* времен.

Однако сейчас он, как уже говорилось, испугался, в особенности потому, что сравнил свою физиономию с лицами благопристойных мужчин, сидевших по соседству. Неделю назад Андреаса с грехом пополам — в меру своего умения — побрил один его товарищ по несчастью, один из тех, кто готов иногда побрить собрата за небольшую мзду. Теперь же, поскольку было решено начать новую жизнь, пришла пора побриться по-настоящему. И пока он еще ничего не заказал, Андреас решил пойти в хорошую парикмахерскую.

Сказано — сделано, и он отправился в парикмахерскую.

Когда он вернулся в таверну, место, где он сидел раньше, было занято, и теперь он мог видеть себя в зеркале только издали. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы удостовериться: он изменился, помолодел и похорошел. Да, ему казалось, будто от его лица исходило сияние, оставлявшее в тени обтрепанность его костюма, прохудившуюся на груди рубашку, галстук в красно-белую полоску, завязанный под воротником с драными краями.

Итак, наш Андреас сел и, в сознании своего обновления, твердым голосом, который когда-то был ему свойствен и теперь, казалось, к нему вернулся, как старый добрый друг, заказал café, arrosé rhum[1]. Что и было ему подано, притом, как он вроде бы заметил, со всей подобающей почтительностью, которую официанты обычно выказывают гостям, достойным уважения. Это особенно польстило нашему Андреасу, возвысило его в собственных глазах и подтвердило его догадку, что день рождения у него именно сегодня.

Какой-то господин, сидевший в одиночестве поблизости от бездомного, долго присматривался к нему, потом повернулся и сказал:

— Хотите заработать немного денег? Можете наняться ко мне. Я, видите ли, завтра переезжаю. Вы могли бы помочь моей жене, а заодно и грузчикам. Мне кажется, человек вы довольно сильный. Ведь вы можете? Ведь вы хотите?

— Конечно хочу, — ответил Андреас.

— И сколько вы возьмете, — спросил незнакомый господин, — за два дня работы? Завтра и в субботу? У меня, должен вам сказать, довольно большая квартира, а переезжаю я в еще большую. И мебели у меня тоже порядочно. А сам я буду занят у себя в магазине.

— Пожалуйста, я помогу! — сказал бездомный.

— Выпьете со мной? — спросил незнакомый господин.

Он заказал два перно, и они чокнулись, этот господин и Андреас, и о плате за работу они сговорились тоже — она составляла двести франков.

— Еще по стаканчику? — спросил новый знакомый, выпив первую порцию перно.

— Но только платить теперь буду я, — сказал бездомный Андреас. — Ведь вы меня не знаете: я человек чести. Честный рабочий. Взгляните на мои руки! — И он показал их. — Грязные, мозолистые, но честные рабочие руки.

— Вот это я люблю! — заявил его собеседник. У него были сверкающие глаза, розовое детское лицо, и в аккурат посредине лица — черные усики. В общем, это был довольно симпатичный человек, и Андреасу он понравился.

Итак, они вместе выпивали, и за вторую порцию заплатил Андреас. А когда тот господин встал, Андреас увидел, что он очень толстый. Он достал из бумажника ви-

[1] Кофе с ромом (*франц.*).

зитную карточку и написал на ней свой адрес. И вдобавок вынул из того же бумажника билет в сто франков и вручил то и другое Андреасу со словами:

— Это чтобы вы завтра наверняка пришли! Завтра в восемь утра! Не забудьте! Остальное вы получите потом! А по окончании работы мы опять с вами выпьем. До свидания, дорогой друг! — Сказав это, толстяк с детским лицом ушел, и Андреаса больше всего удивило, что и визитную карточку, и деньги тот достал из одного и того же бумажника.

Теперь, когда у Андреаса были деньги и перспектива заработать еще, он решил тоже обзавестись бумажником. С этой целью он пустился на поиски магазина кожаных изделий. В первом же, который попался ему на пути, за прилавком стояла молодая продавщица. В строгом черном платье с белыми отворотами, с локончиками на голове и тяжелым золотым браслетом на правом запястье, она показалась ему очень красивой. Андреас снял перед ней шляпу и весело сказал:

— Мне нужен бумажник.

Девушка бросила беглый взгляд на его изношенную одежду, но взгляд отнюдь не злой — она просто хотела оценить клиента. Ведь у нее в магазине имелись дорогие, не столь дорогие и совсем дешевые бумажники. Чтобы не задавать лишних вопросов, она сразу взобралась на лесенку и с самой верхней полки сняла коробку. Там лежали подержанные бумажники — иногда их приносили клиенты, чтобы обменять на новые. При этом Андреас увидел, что у девушки очень красивые ноги и очень изящные туфли, и ему вспомнились те полузабытые времена, когда он гладил такие икры, целовал такие ступни, но лиц — лиц тех женщин — он уже не помнил, за исключением одного-единственного — лица той, из-за которой он угодил в тюрьму.

Девушка тем временем слезла с лестницы, открыла коробку, и Андреас выбрал один из бумажников, лежавших сверху, не рассмотрев его как следует. Он заплатил, снова надел шляпу и улыбнулся девушке, а девушка улыбнулась в ответ. Рассеянно сунул он в карман новый бумажник, а деньги оставил лежать, где лежали. Покупка бумажника вдруг показалась ему бессмысленной, зато лесенка и ноги девушки не шли у него из головы. Поэтому он взял курс на Монмартр, чтобы найти места, где он когда-то предавался утехам. В одном узком переулке, круто шедшем вверх, он обнаружил знакомую таверну с девицами. Он сел с ними за столик, взял выпивку на всю компанию и выбрал одну из девушек, ту, что сидела ближе всех к нему. Затем он пошел к ней. И хотя вечер только начинался, он проспал там до рассвета —хозяева, люди добродушные, его не будили.

На другое утро, то есть в пятницу, он пошел на работу — на квартиру к толстяку. Требовалось помочь хозяйке дома паковать вещи, и хотя грузчики уже занимались перевозкой мебели, на долю Андреаса выпала кое-какая тяжелая работа и услуги полегче. Зато в течение дня он почувствовал, как его мускулы вновь наливаются силой, и порадовался тому, что работает. Ибо с работой он сжился с малолетства, был углекопом, как отец, и к тому же еще крестьянином, как дед. Если бы еще только ему не трепала нервы хозяйка! А она отдавала ему нелепые приказания и заставляла без передыху хвататься то за одно дело, то за другое, так что у него голова шла кругом. Но она и сама нервничала, и Андреас это понимал. Ей тоже было нелегко вот так, ни с того ни с сего, взять и переехать, и, возможно, она даже боялась нового дома. Она стояла одетая, в пальто, в шляпе и в перчатках, с сумочкой и зонтиком, хотя должна была понимать, что ей придется еще целый день и целую ночь да еще завтрашнее утро провести в этом доме. Время от времени она машинально подкрашивала губы, и Андреас прекрасно ее понимал. Это же была дама.

Андреас проработал целый день. Когда он закончил, хозяйка сказала ему:

— Приходите завтра ровно в семь утра.

Она достала из сумочки кошелечек с серебряными монетами. Долго в нем копалась, взяла было монету в десять франков, но опустила обратно, потом решилась вынуть пять франков.

— Это чаевые! — сообщила она. — Только не пропейте их все до последнего гроша и завтра приходите вовремя!

Андреас поблагодарил и ушел, чаевые-то он пропил, но ими и ограничился. Эту ночь он провел в маленькой гостинице.

Его разбудили в шесть часов утра. И он бодро отправился на работу.

IV

Таким образом, на следующее утро он пришел даже раньше грузчиков. И так же, как вчера, хозяйка уже стояла одетая, в шляпе и в перчатках, словно вообще не ложилась спать. Она приветливо сказала Андреасу:

— Ну вот, я вижу, что вчера вы вняли моему предостережению и действительно пропили не все деньги.

Андреас взялся за работу. И вдобавок потом еще проводил хозяйку в новый дом, куда эти люди переезжали, там он дождался, пока не пришел симпатичный толстяк и не выдал ему обещанную плату.

— А кроме того, я приглашаю вас со мной выпить, — сказал толстяк. — Пойдемте.

Однако вмешалась хозяйка и этому намерению воспрепятствовала, она прямо-таки преградила мужу дорогу и сказала:

— Нам пора ужинать.

Так что Андреас ушел один, и в этот вечер он пил один и ел один, потом заглянул еще в две таверны, чтобы выпить у стойки. Пил он много, но не напивался и следил за тем, чтобы не тратить лишнего, ведь завтра, памятуя о своем обещании, он собирался пойти в часовню Св. Марии Батиньольской и принести маленькой Святой Терезе хотя бы часть своего долга. И все-таки выпил он ровно столько, что уже не смог зорким глазом и верным чутьем, какое дарует только бедность, отыскать в том районе самую дешевую гостиницу.

Стало быть, он нашел отель чуть подороже, к тому же здесь с него спросили плату вперед, потому что он был в оборванной одежде и без багажа. Но ему это было нипочем, спал он крепко, до позднего утра. Разбудил его гул колоколов ближней церкви, и он сразу понял, какой нынче важный день: воскресенье, а значит, ему надо идти к маленькой Святой Терезе, чтобы возвратить ей долг. Андреас мигом оделся и быстрым шагом пустился к площади, на которой находилась часовня. Однако к десятичасовой мессе он не поспел — когда он подошел, люди уже толпой выходили из церкви. Он спросил, когда начнется следующая служба, и ему ответили: она состоится в двенадцать часов. В растерянности стоял он перед церковным порталом. У него оставался еще час времени, но ему совсем не улыбалось весь этот час болтаться на улице. Он стал озираться, где бы уютно посидеть, и увидел справа, наискосок от церкви, какое-то бистро. Туда-то он и направился, решив там и провести оставшийся час.

С уверенностью человека, знающего, что у него есть деньги, он заказал себе стакан перно и выпил его тоже с уверенностью человека, выпившего за свою жизнь немало таких стаканов. Выпил еще второй и третий, с каждым разом подливая все меньше воды. А когда ему подали четвертый, то он уже не соображал, сколько стаканов он выпил — два, пять или шесть. Не помнил он и того, почему оказался в этом кафе и в этом месте. Он знал единственно, что сюда призвал его долг, долг чести, так что он расплатился, встал, все-таки еще достаточно твердым шагом вышел на улицу, увидел слева наискосок часовню и мгновенно осознал, где он, почему и ради чего здесь находится. И только он было собрался сделать первый шаг в сторону церкви, как вдруг услышал свое имя.

— Андреас! — звал его чей-то голос, женский голос.

Голос этот доносился из времен, канувших в небытие. Андреас остановился и повернул голову направо, откуда звучал зов. И сразу узнал лицо той, из-за которой сидел в тюрьме. Это была Каролина.

Каролина! Правда, этой шляпы и этого платья он у нее не помнил, но лицо-то было ее, и Андреас без раздумий бросился к этой женщине, мгновенно раскрывшей ему объятья.

— Вот это встреча, — сказала она.

Это и в самом деле был ее голос, голос Каролины.

— Ты один?

— Да, — ответил он, — я один.

— Пойдем, нам надо выговориться, — сказала она.

— Но... но, — возразил он, — у меня свидание.

— С женщиной? — спросила она.

— Да, — боязливо отвечал он.

— С кем это?

— С маленькой Терезой, — ответил он.

— О ней и говорить не стоит, — заявила Каролина.

В эту минуту мимо проезжало такси, и Каролина зонтиком остановила его. И вот она уже назвала шоферу адрес, и не успел Андреас опомниться, как сидел в авто рядом с Каролиной, и они уже катили, уже неслись вперед — Андреасу показалось, что едут они то по знакомым, то по незнакомым улицам, Бог весть в какие края!

Приехали они куда-то за город. Нежная предвесенняя зелень окрашивала местность там, где они остановились, сад, за редкими деревьями которого прятался тихий ресторан.

Каролина вышла первой: перелезла через его колени и с хорошо знакомой ему стремительностью выскочила из машины. Расплатившись, она зашагала вперед, он

последовал за ней. Они вошли в ресторан и сели рядышком на зеленый плюшевый диван, как сиживали когда-то в молодости, до тюрьмы. Каролина, как всегда, заказала еду, и теперь сидела и смотрела на него, а он не решался на нее посмотреть.

— Где ты пропадал все это время? — спросила она.

— Везде и нигде, — сказал он. — Я только два дня как начал опять работать. Все это время, что мы с тобой не виделись, я пил, спал под мостами, как водится у нашего брата. Ты небось жила получше. С мужчинами, — добавил он после некоторой паузы.

— А ты? — спросила она. — Не просыхал, околачивался без дела, спал под мостами и все же ухитрился подцепить какую-то Терезу. И не попадись я случайно тебе навстречу, ты и впрямь пошел бы к ней.

Андреас ничего не ответил, он молчал, пока они не доели мясо и не взялись за сыр и фрукты. А после того как он допил последний глоток вина из своего бокала, на него снова напал тот внезапный страх, который он так часто испытывал в прежние годы, когда жил с Каролиной. И ему опять захотелось от нее убежать, и он крикнул:

— Официант, счет!

— Это моя забота, официант! — вмешалась Каролина.

Официант, человек с наметанным глазом, видавший виды, сказал:

— Господин позвал меня раньше.

Андреас в итоге и расплатился. Для этого он вытащил из левого внутреннего кармана все свои деньги, а заплатив, с некоторым ужасом, который, правда, немного смягчало выпитое вино, увидел, что у него уже не наберется той суммы, какую он должен маленькой святой. Но в последние дни, подумал он втихомолку, со мной происходит столько чудес подряд, что на той неделе мне, верно, перепадут недостающие деньги, и я отдам долг.

— Выходит, ты у нас богатый, — сказала Каролина на улице. — Ты что же, на содержании у этой маленькой Терезы?

Он не стал возражать, и Каролина уверилась в своей правоте. Она потребовала, чтобы он сводил ее в кино. И Андреас пошел с ней в кино. Впервые после долгого перерыва он снова смотрел фильм. Но столько воды утекло с тех пор, как он в последний раз смотрел кино, что этот фильм он понимал с трудом и в конце концов заснул на плече у Каролины. Потом они пошли в кафе с танцами под гармошку. Но столько воды утекло с тех пор, как он в последний раз танцевал, что сейчас, когда он пытался танцевать с Каролиной, у него мало что получалось. Так что ее увели у него другие танцоры, женщина она была еще вполне свежая и желанная. Андреас сидел один за столиком, пил опять перно и чувствовал себя как в прежние времена, когда Каролина тоже танцевала с другими, а он одиноко сидел за столом. Поэтому он вдруг вырвал ее из объятий очередного партнера и заявил:

— Пошли домой!

Обхватив ее сзади за шею, он ее больше не отпускал и, расплатившись, пошел с ней домой. Жила она поблизости.

И все повторилось, как в прежние времена, времена до тюрьмы.

V

Проснулся Андреас очень рано. Каролина еще спала. За окном щебетала какая-то одинокая пичуга. Несколько минут, не больше, он лежал с открытыми глазами. Эти несколько минут он размышлял. Ему пришло в голову, что с ним за долгие годы не случилось столько удивительных вещей, сколько произошло за эту единственную неделю. Вдруг он повернул голову и увидел справа от себя Каролину. Чего он не видел вчера при встрече с ней, то заметил сейчас: она постарела; бледная, опухшая, тяжело дыша, она спала утренним сном стареющих женщин. Андреас понял, как изменилось время, которое прошло мимо него. Понял, как изменился сам, и решил сразу встать, но Каролину не будить, а уйти так же внезапно, или, лучше сказать, по воле судьбы, как они двое, Каролина и он, встретились вчера. Он украдкой оделся и ушел, шагнул в новый день, в один из привычных уже новых дней.

То есть, в сущности, — в один из непривычных. Потому что когда он полез в левый внутренний карман, где привык держать лишь недавно заработанные или найденные деньги, то обнаружил, что у него осталась всего одна бумажка в пятьдесят франков да еще несколько мелких монет. И он, человек, который уже много лет не ведал, что такое деньги, да и не придавал им уже никакого значения, теперь испугался, как пугается тот, кто привык всегда иметь в кармане деньги, а найдя их там донельзя мало, сразу приходит в замешательство. Вдруг Андреасу, шагавшему в сумраке рассвета по пустынной улочке, показалось, что он, месяцами не имевший ни гроша за душой, внезапно обеднел оттого, что больше не нащупывал в кармане столько кредиток, сколь-

ко было там в последние дни. И у него возникло такое чувство, будто время безденежья осталось далеко-далеко позади, а ту сумму, которая должна была поддерживать подобающий ему уровень жизни, он, в сущности, беспутно и легкомысленно потратил на Каролину.

Так что на Каролину он злился. И вдруг он, человек, никогда не заботившийся о наличии денег, начал сознавать их цену. Вдруг он посчитал, что иметь какие-то пятьдесят франков для такого достойного человека, как он, просто смешно и что ему вообще совершенно необходимо, хотя бы для того только, чтобы разобраться в ценности собственной личности, спокойно посидеть и подумать о себе за стаканом перно.

И вот он отыскал среди ближайших ресторанов один, показавшийся ему самым приветливым, сел там за столик и заказал перно. Пока он пил, ему пришло в голову, что он, собственно, живет в Париже без вида на жительство, и он поспешил заглянуть в свои документы. И нашел, что, в сущности, его отсюда выдворили, ведь он приехал во Францию как шахтер, а родом был из Ольшовице в польской Силезии.

VI

Затем, раскладывая перед собой свои полуистертые документы, Андреас вспомнил, как много лет назад в один прекрасный день приехал сюда, узнав из объявлений в газете, что во Франции требуются шахтеры. А он всю жизнь мечтал о дальних странах. И он работал на угольных шахтах Квебека, а жить устроился у земляков, у мужа и жены Шебек. И он полюбил эту женщину, а когда муж однажды чуть не забил ее до смерти, он, Андреас, убил этого человека. За что и отсидел два года в тюрьме.

Этой женщиной и была Каролина.

Всѐ это Андреас передумал, разглядывая свои уже недействительные бумаги. А потом опять заказал перно, так как был очень несчастен.

Когда он наконец поднялся, то почувствовал что-то похожее на голод, однако это был голод того особого рода, какой могут испытывать только пьяницы, — алчная потребность в чем-то (не в пище), которая длится всего несколько секунд и утоляется мгновенно, едва лишь тот, кто ее ощущает, представит себе определенный напиток, который в данную минуту кажется ему особенно сладостным.

Андреас давно уже забыл свою фамилию. Но теперь, после того как он снова просмотрел свои просроченные документы, он вспомнил, что его фамилия Картак, Анджей Картак. И у него возникло такое чувство, будто после долгих лет он снова обрел себя.

Все-таки он немного обижался на судьбу за то, что она не послала ему и сюда, в это кафе, как в прошлый раз, толстого усатого человека с детским лицом, который дал бы ему новую возможность заработать деньги. Ибо ни к чему другому люди не привыкают с такой легкостью, как к чудесам, если они раз-другой-третий выпали им на долю. Да! Природа людей такова, что они даже злятся, если им непрерывно не плывет в руки то, что, казалось, сулила случайная и переменчивая судьба. Таковы люди — чего же иного ждали мы от Андреаса? Итак, остаток дня он провел в разных других тавернах и уже смирился с тем, что пора чудес, которую он пережил, миновала безвозвратно, и для него снова началась прежняя жизнь. И решив не противиться той медленной гибели, к которой всегда готовы пьяницы — трезвенникам этого не понять! — Андреас опять отправился на берега Сены, под мосты.

Там он спал, то днем, то ночью, к чему привык за последний год, выпрашивая здесь и там, то у одного, то у другого из своих товарищей по несчастью бутылку спиртного, — вплоть до ночи с четверга на пятницу.

А в ту ночь ему приснилось, будто пришла к нему маленькая Тереза в облике кудрявой белокурой девочки и сказала: «Почему ты не побывал у меня в прошлое воскресенье?» И юная святая выглядела точь-в-точь такой, какой он много лет тому назад представлял себе свою дочь. А ведь у него вовсе не было дочери! И он сказал во сне маленькой Терезе: «Как ты со мной разговариваешь? Ты разве забыла, что я твой отец?» «Прости, отец, — ответила девочка, — только сделай милость, приди завтра, в воскресенье, ко мне в церковь Святой Марии Батиньольской».

Наутро после этого сна Андреас встал полный свежих сил, как на прошлой неделе, когда с ним еще происходили чудеса, словно он принял этот сон за истинное чудо. Ему опять захотелось умыться у реки. Но перед тем, как снять пиджак, он полез в левый внутренний карман в смутной надежде, что там могут обнаружиться какие-то деньги, о которых он, возможно, даже не знал. Итак, он полез в левый внутренний карман пиджака, и его рука нащупала там, правда, не денежную купюру, но зато кожаный бумажник, купленный несколькими днями раньше. Этот бумажник он вытащил и увидел, что тот совсем дешевый, сданный кем-то в обмен на новый, а чего еще можно

было ждать? Спилок, воловья кожа. Андреас разглядывал бумажник и никак не мог вспомнить, где и когда его купил. «Откуда это у меня?» — спрашивал он себя. Наконец он раскрыл бумажник и увидел, что в нем два отделения. С любопытством заглянул в каждое: в одном лежал кредитный билет. Андреас его вытащил, оказалось — тысяча франков.

Эту тысячу франков он тотчас сунул в карман брюк, пошел на берег Сены и, не обращая внимания на своих товарищей по несчастью, умыл лицо, даже шею, и делал это весело. Затем опять надел пиджак и зашагал навстречу новому дню, начав этот день с того, что зашел в табачную лавку купить сигарет.

У него оставалось еще достаточно мелких денег, чтобы заплатить за сигареты, но он не знал, представится ли ему еще возможность разменять билет в тысячу франков, который он таким чудесным образом нашел в бумажнике. Ему все же хватало житейского опыта, чтобы смекнуть: в глазах людей, то есть людей авторитетных, его одежда, весь его внешний облик никак не вяжутся с билетом в тысячу франков. И тем не менее, исполненный мужества после вновь явленного ему чуда, он решился предъявить банкнот. Однако, призвав на помощь еще сохранившиеся у него остатки благоразумия, сказал человеку за кассой табачной лавки:

— Пожалуйста, если вы не можете разменять тысячу франков, я дам вам более мелкие деньги. Но мне бы хотелось ее разменять.

К удивлению Андреаса, человек за кассой сказал:

— Напротив! Мне как раз нужен билет в тысячу франков. Вы пришли очень кстати.

И владелец лавки разменял ему тысячефранковую купюру. После этого Андреас немного задержался у стойки и выпил три стакана белого вина — в известной мере из благодарности судьбе.

VII

Пока он стоял у стойки, его взгляд упал на рисунок в рамке, висевший на стене за широкой спиной хозяина, и этот рисунок напомнил ему старого школьного товарища из Ольшовице. Андреас спросил хозяина:

— Кто это? Мне кажется, этого парня я знаю.

В ответ и хозяин, и посетители, стоявшие у стойки, разразились оглушительным хохотом. И вперемежку восклицали:

— Надо же! Он не знает, кто это!

В самом деле, это был знаменитый футболист Каньяк, уроженец Силезии, прекрасно известный всякому нормальному человеку. Но как могли его знать алкоголики, ночевавшие под мостами через Сену, например наш Андреас? Все же ему стало неловко, и поэтому, а особенно потому, что он только сию минуту разменял тысячу франков, он поспешил сказать:

— О, конечно я его знаю, это же мой друг. Просто рисунок показался мне неудачным.

И чтобы его больше ни о чем не спрашивали, он быстро расплатился и вышел.

Теперь он почувствовал голод, зашел в ближайший ресторан, пообедал, выпил красного вина, а после сыра взял кофе и остаток дня решил провести в кинотеатре. Только еще не знал в каком. И, сознавая, что в настоящий момент у него в кармане не меньше денег, чем у любого из тех состоятельных мужчин, которые могут встретиться ему на улице, он отправился на Большие бульвары. Между Оперой и бульваром Капуцинок он занялся поисками фильма, который мог бы ему понравиться, и наконец нашел. На афише этой кинокартины был изображен человек, который с риском для жизни ввязался в опасное приключение. Как сообщала афиша, герой пустился в путь по беспощадной, выжженной солнцем пустыне. На этот фильм и пошел Андреас и начал смотреть кино о человеке, который идет по выжженной солнцем пустыне. И он уже был готов преисполниться симпатией к герою и почувствовать свое с ним родство, как вдруг в картине произошел неожиданно счастливый поворот: человек в пустыне был спасен проходившим мимо научно-исследовательским караваном и возвращен в лоно европейской цивилизации. После этого Андреас потерял всякое сочувствие к герою фильма. И уже собирался встать, когда на экране появилось лицо его школьного товарища, которого он сегодня утром, выпивая в лавке у стойки, видел за спиной хозяина. Это был знаменитый футболист Каньяк. И Андреас тут же вспомнил, что когда-то, лет двадцать назад, сидел с Каньяком за одной партой, и он решил завтра же разузнать, не в Париже ли сейчас его друг детства.

Ведь у нашего Андреаса было в кармане ровнехонько девятьсот восемьдесят франков.

А это не так мало.

VIII

Но не успев еще выйти из кинотеатра, Андреас сообразил, что вовсе незачем ему дожидаться завтрашнего утра, чтобы раздобыть адрес своего друга и однокашника, особенно если принять во внимание ту довольно-таки значительную сумму, что лежала у него в кармане.

Сознавая, сколько у него денег, Андреас до того осмелел, что решил прямо в кассе спросить адрес своего школьного товарища, знаменитого футболиста Каньяка. Он полагал, что с этой целью придется обратиться к самому директору. Ничего подобного! Кто еще в целом Париже был так знаменит, как футболист Каньяк? Его адрес знал даже билетер у входа. Каньяк жил в отеле на Елисейских полях. И название отеля билетер сообщил тоже — наш Андреас немедля туда отправился.

Отель был изысканный, маленький и тихий, точь-в-точь такой, в каких имеют обыкновение селиться футболисты и боксеры — элита нашего времени. В холле Андреас почувствовал себя каким-то чужаком, да и служащим этого отеля он тоже показался каким-то чужаком. Тем не менее они сказали ему, что знаменитый футболист Каньяк сейчас у себя и вот-вот спустится в холл.

Через несколько минут он и в самом деле спустился, они с Андреасом вмиг узнали друг друга. Еще стоя в холле, друзья принялись обмениваться давними школьными воспоминаниями, а потом пошли вместе ужинать, и оба от души радовались этой встрече. Пошли, значит, вместе ужинать, и получилось так, что знаменитый футболист спросил у своего опустившегося друга:

— Почему ты так выглядишь и что это вообще на тебе за рвань?

— Ты бы ужаснулся, вздумай я рассказать тебе, как все это вышло, — ответил Андреас. — И это здорово бы подпортило нам радость от нашей чудесной встречи. Не стоит об этом говорить. Давай лучше потолкуем о чем-нибудь приятном.

— У меня много костюмов, — сказал знаменитый футболист Каньяк, — и мне доставит удовольствие отдать тебе какой-нибудь из них. Ты сидел со мной за одной партой и давал мне списывать. А что для меня какой-то костюм! Куда тебе его послать?

— Послать ты не сможешь, — возразил Андреас, — просто потому, что у меня нет адреса. Я, видишь ли, с некоторых пор живу под мостами.

— Значит, я сниму тебе комнату, — сказал футболист Каньяк, — хотя бы для того, чтобы подарить тебе костюм. Пошли!

Покончив с ужином, они вышли на улицу, и футболист Каньяк снял комнату, она стоила двадцать пять франков в сутки и была расположена поблизости от великолепной парижской церкви, известной под именем «Мадлен».

IX

Комната находилась на шестом этаже, и Андреасу с футболистом пришлось воспользоваться лифтом. Разумеется, багажа у Андреаса не было. Однако ни портье, ни лифт-бой, да и никто из персонала отеля этому не удивился. Ведь все это было просто чудо, а пока оно длится, удивляться ничему не приходится. Когда оба приятеля стояли в комнате наверху, футболист Каньяк сказал своему бывшему соседу по школьной парте:

— Тебе, наверно, нужно мыло?

— Наш брат умеет обходиться и без мыла, — возразил Андреас. — Я рассчитываю прожить здесь неделю без мыла, а мыться все равно буду. Но я хотел бы сейчас же заказать что-нибудь выпить в честь этой комнаты.

И футболист заказал бутылку коньяка. Они выпили ее до дна. Потом вышли из отеля, взяли такси и поехали на Монмартр, как раз к тому кафе, где сидели девицы и где Андреас побывал всего несколько дней назад. Они пробыли там два часа, делясь воспоминаниями школьных лет, после чего футболист отвез Андреаса домой, то есть в отель, в снятую для него комнату, и сказал:

— Уже поздно. Я оставлю тебя одного. Завтра пришлю тебе два костюма. Ну, а... деньги тебе нужны?

— Нет, — ответил Андреас, — у меня есть девятьсот восемьдесят франков, а это немало. Ступай домой!

— Я зайду к тебе дня через два-три, — сказал друг-футболист.

X

Комната отеля, в которой жил теперь Андреас, имела номер восемьдесят девять. Как только Андреас остался там один, он сел в удобное кресло, обитое розовым реп-

сом, и начал осматриваться. Сперва он увидел красные шелковые обои, по которым были разбросаны нежно-золотистые головки попугаев, на стенах — три кнопки из слоновой кости, справа от двери, рядом с кроватью — тумбочку и на ней лампу с темно-зеленым абажуром, а еще — дверь с круглой белой ручкой, за которой скрывалось что-то таинственное, во всяком случае для Андреаса. Кроме того, поблизости от кровати имелся черный телефон, помещенный таким образом, чтобы тот, кто лежал в кровати, мог без труда снять трубку правой рукой.

Андреас уже довольно долго рассматривал комнату и решил, что ему надо будет в ней освоиться, как вдруг его одолело любопытство. Дело в том, что дверь с белой ручкой его смущала, и, несмотря на свою робость и на то, что устройство гостиничного номера было ему неведомо, он встал и решил посмотреть, куда ведет эта дверь. Она, конечно, заперта, подумал он. Но каково же было его удивление, когда дверь открылась с готовностью, почти услужливо!

Андреас увидел теперь, что это ванная комната с блестящим кафелем, с ослепительно белой ванной и с туалетом, одним словом, то, что в его кругах назвали бы нужником. В этот миг он и впрямь ощутил нужду помыться и отвернул оба крана, пустив в ванну горячую и холодную воду. А когда раздевался, чтобы в нее залезть, то пожалел, что у него нет рубашек, потому что, сняв с себя ту, что на нем была, увидел, какая она грязная, и уже заранее боялся той минуты, когда он, вылезши из ванны, будет вынужден надеть ее снова. Он сел в ванну, вполне отдавая себе отчет в том, сколько времени не мылся. Купался он прямо-таки с наслаждением, потом встал, оделся и уже не знал, что ему дальше с собой делать.

Скорее из-за растерянности, нежели из любопытства, он открыл дверь своей комнаты, вышел в коридор и увидел там молодую женщину, только что вышедшую из своего номера, как он из своего. Ему показалось, что она красива и молода. Да, она напомнила ему продавщицу в магазине, где он приобрел бумажник, и даже немножко Каролину, поэтому он слегка поклонился ей и поздоровался, а поскольку она кивнула ему в ответ, набрался духу и прямо сказал ей:

— А вы красивая.

— Вы мне тоже нравитесь, — ответила она. — Минутку! Может, мы завтра с вами увидимся. — И она удалилась во тьму коридора. Андреас же, вдруг ощутив потребность в любви, поинтересовался номером на двери, за которой жила эта женщина.

А это был номер восемьдесят семь. И Андреас запечатлел его в своем сердце.

XI

Он вернулся назад в свою комнату, подождал, прислушался и принял решение, что незачем ему дожидаться утра, чтобы свидеться с красивой соседкой. За последние дни он уже убедился, благодаря почти непрерывной серии чудес, что ему ниспослана милость, и как раз поэтому полагал, что может позволить себе некоторую дерзость и, так сказать, из вежливости еще и пойти навстречу этой милости, нисколько ее не умаляя. И вот, едва ему послышались легкие шаги девушки из восемьдесят седьмого номера, он осторожно приоткрыл дверь своей комнаты и, выглянув в щель, увидел, что это и в самом деле она и что она возвращается к себе. Чего он, правда, не заметил из-за полного отсутствия опыта в последние годы, было то немаловажное обстоятельство, что красивая девушка прекрасно видела, как он подглядывает. И тогда она сделала то, чему учили ее профессия и привычка: ловко и быстро навела у себя в комнате видимый порядок, выключила верхний свет, легла в кровать, взяла книжку и при свете лампы на тумбочке стала читать, хотя это была книжка, которую она давным-давно прочла.

Через некоторое время, как она и ожидала, в дверь к ней тихонько постучали и вошел Андреас. На пороге он остановился, хотя был в полной уверенности, что через минуту получит приглашение подойти поближе. А красивая девушка не шевельнулась, даже не отложила в сторону книжку, и только спросила:

— Так что же вам угодно?

Андреас, набравшийся смелости благодаря ванне, мылу, креслам, обоям, головкам попугаев и костюму, ответил:

— Я не могу ждать до завтра, сударыня.

Девушка молчала.

Андреас подошел поближе, спросил, что она читает, и сказал без обиняков:

— Меня книги не интересуют.

— Я здесь проездом, — сообщила девушка, не вставая с кровати, — и пробуду только до воскресенья. В понедельник я должна опять выступать в Канне.

— В качестве кого? — спросил Андреас.

— Я танцую в казино. Меня зовут Габби. Вы что, никогда не слышали этого имени?

— Конечно я его знаю, из газет... — соврал Андреас и хотел добавить: «которыми я укрываюсь». Но воздержался.

Он присел на край кровати, красивая девушка ничего против этого не имела. Она даже отложила книжку, и Андреас пробыл в комнате номер восемьдесят семь до утра.

XII

Субботним утром он проснулся в твердой решимости не расставаться с красивой девушкой до самого ее отъезда. Да, в нем даже цвела нежная мысль о поездке в Канн с молодой женщиной, ибо, как все бедняки, он был склонен принимать маленькие суммы, которые лежали у него в кармане (а особенно склонны к этому пьющие бедняки), за большие. Так что утром он еще раз пересчитал свои девятьсот восемьдесят франков. И поскольку лежали они в бумажнике, а бумажник находился в новом костюме, эта сумма в его воображении выросла в десять раз. Вот почему он нисколько не взволновался, когда красивая соседка, через час после того, как он с нею расстался, без стука вошла к нему в комнату, и на ее вопрос, как они проведут субботу перед ее отъездом в Канн, ответил наобум: «Фонтенбло». Он, возможно, где-то в полусне слышал это название. Во всяком случае, он и сам уже не понимал, как и почему оно сорвалось у него с языка.

Итак, они взяли такси и поехали в Фонтенбло, а там выяснилось, что красивая девушка знает хороший ресторан, где можно хорошо поесть и выпить. Знала она и тамошнего официанта и звала его просто по имени. И будь наш Андреас по природе ревнив, он мог бы и разозлиться. Но он не был ревнив и, стало быть, не разозлился. Какое-то время они провели за едой и питьем, потом поехали обратно, опять на такси, и вот перед ними предстал сияющий вечерний Париж, а они не знали, что им там делать, как не знают люди, которые не принадлежат друг другу, а просто случайно сошлись. Ночь расстилалась перед ними, как ослепительно светлая пустыня. А они уже не знали, что им друг с другом делать, после того как легкомысленно растратили то значительное переживание, которое бывает дано мужчине и женщине. Тогда они решили пойти в кино, ведь только это и остается людям нашего времени, когда они не знают, куда им податься. И вот они сидели в кинозале, а темноты там не было, не было настоящего мрака, можно сказать лишь с натяжкой, что был полумрак. И они жали друг другу руки — девушка и наш приятель Андреас. Но его рукопожатие было равнодушным, и он сам от этого страдал. Он сам. Затем, когда начался перерыв, он решил пойти со своей красивой спутницей в фойе и выпить, они и впрямь пошли туда и выпили. А фильм его больше нисколько не интересовал. Они вернулись в отель с довольно-таки тоскливым чувством.

На следующее утро — было воскресенье — Андреас проснулся с сознанием своего долга: ему надо вернуть деньги. Он поднялся быстрей, чем вчера, да так быстро, что красивая девушка в испуге проснулась и спросила:

— Что за спешка, Андреас?

— Мне надо отдать долг, — ответил он.

— Как, сегодня, в воскресенье? — спросила она.

— Да, сегодня, в воскресенье, — подтвердил Андреас.

— А кому ты должен деньги — мужчине или женщине?

— Женщине, — нерешительно проговорил Андреас.

— Как ее зовут?

— Тереза.

Тут красивая девушка выскочила из постели, сжала кулаки и ударила Андреаса прямо в лицо.

И тогда он сбежал из ее комнаты и покинул отель. И ни на что не глядя, зашагал в направлении Святой Марии Батиньольской, в полной уверенности, что сегодня наконец сможет отдать маленькой Терезе ее двести франков.

XIII

Однако Провидению, или, как сказали бы люди не столь верующие, случаю, было угодно, чтобы Андреас опять подошел к церкви в аккурат по окончании десятичасовой мессы. И само собой разумеется, что он увидел невдалеке то бистро, где выпивал в прошлый раз, и что он зашел туда опять.

Стало быть, он заказал выпивку. Но из осторожности, которая была присуща ему и присуща всем беднякам на этом свете, даже если они пережили одно чудо за

другим, он решил сперва посмотреть, достаточно ли у него на самом деле денег, и достал бумажник. И обнаружил, что от его девятисот восьмидесяти франков уже почти ничего не осталось.

Вернее, у него осталось всего двести пятьдесят. Он призадумался и понял, что деньги у него забрала та красивая девушка в отеле. Однако наш Андреас не стал из-за этого сокрушаться. Он подумал, что за всякое удовольствие надо платить, а удовольствие он испытал, значит, должен был заплатить.

Он хотел подождать здесь, пока не зазвонят колокола — колокола соседней часовни, — чтобы пойти к мессе и наконец-то вручить долг маленькой святой. А тем временем собирался пить и заказал выпивку. Он пил. Колокола, призывавшие к мессе, начали гудеть, тогда он воскликнул: «Официант, счет!» — расплатился, встал, вышел на улицу и у самых дверей почти столкнулся с очень высоким широкоплечим мужчиной. Он сразу назвал имя: «Войтек». А тот одновременно воскликнул: «Андреас!» И они бросились друг к другу в объятья, потому что оба были когда-то шахтерами и работали на одной и той же шахте.

— Если бы ты меня здесь подождал, — сказал Андреас, — всего двадцать минут, сколько длится месса, ни минутой дольше!

— И не подумаю, — заявил Войтек. — С каких это пор ты вообще ходишь к мессе? Терпеть не могу попов, а еще больше тех, кто к ним ходит.

— Но я иду к маленькой Терезе, — возразил Андреас, — я должен ей деньги.

— Ты говоришь о маленькой Святой Терезе? — спросил Войтек.

— Да, о ней, — ответил Андреас.

— Сколько ты ей должен? — спросил Войтек.

— Двести франков, — сказал Андреас.

— Тогда я тебя провожу! — объявил Войтек.

Колокола все еще гудели. Друзья вошли в церковь. А когда они там стояли — месса только началась, — Войтек шепнул Андреасу:

— Дай мне сейчас же сто франков! Я вдруг вспомнил, что на улице меня поджидает один приятель. Не то я угожу в тюрьму!

Андреас немедленно отдал ему оба билета по сто франков — все, что у него было, и сказал:

— Я скоро к тебе присоединюсь.

И как только он понял, что у него больше нет денег, чтобы вернуть долг Терезе, он счел бессмысленным оставаться в церкви и слушать мессу до конца. Подождав для приличия еще минут пять, он вышел и направился через дорогу в бистро, где его ждал Войтек.

Конечно, никакого приятеля, которому он якобы задолжал деньги, у Войтека не было. Одну бумажку в сто франков, которую ему ссудил Андреас, он тщательно завернул в носовой платок и завязал узлом. А на другие сто франков пригласил Андреаса выпить, и еще раз выпить, и еще раз выпить, а ночью они отправились в то заведение, где сидели за столиками услужливые девушки, и провели там три дня, а когда вышли оттуда, был вторник, и Войтек расстался с Андреасом, сказав:

— Увидимся в воскресенье, в то же время и на том же месте.

— Привет! — произнес Андреас.

— Привет! — отозвался Войтек и сразу исчез.

XIV

Вторник выдался дождливый, и пелена дождя была такой плотной, что Войтек и в самом деле мгновенно исчез. Во всяком случае, так показалось Андреасу.

Ему показалось, что его друг растворился в дожде столь же нежданно, сколь и встретился ему, и так как денег у него в кармане оставалось всего-навсего тридцать пять франков, а он считал себя баловнем судьбы и был уверен, что с ним еще непременно приключатся чудеса, то и решил, как поступают все бедняки и те, кто пристрастился к вину, снова вручить себя Богу, единственному, в кого он верил. Поэтому он пошел к Сене и стал спускаться по привычной лестнице, ведущей к пристанищу бездомных.

Тут он столкнулся с человеком, который как раз собирался подняться по лестнице; он показался Андреасу очень знакомым. По этой причине Андреас с ним вежливо поздоровался. Это был довольно пожилой, холеный господин. Он остановился, внимательно посмотрел на Андреаса и, наконец, спросил:

— Вам нужны деньги, милостивый государь?

Андреас узнал по голосу того самого господина, которого он встретил три недели назад. И потому сказал:

— Я хорошо помню, что все еще должен вам деньги, мне следовало вернуть их Святой Терезе. Но, знаете, с тех пор много чего случилось. И мне уже в третий раз помешали отдать деньги.

— Вы ошибаетесь, — возразил пожилой, хорошо одетый господин, — я не имею чести вас знать. Вы явно обознались, однако мне кажется, что вы в стесненном положении. Что же касается Святой Терезы, которую вы только что упомянули, то я по-человечески ей так обязан, что, разумеется, готов ссудить вам ту сумму, какую вы ей должны. Сколько это составляет?

— Двести франков, — ответил Андреас, — но, простите, вы же меня не знаете. Я человек чести, а вам навряд ли удастся потребовать от меня уплаты долга. Понимаете, честь-то у меня есть, а вот адреса нету. Я сплю под одним из этих мостов.

— О, это ничего! — воскликнул пожилой господин. — Я тоже имею обыкновение там спать. И вы прямо-таки окажете мне любезность, за которую я буду бесконечно вам благодарен, если примете от меня эти деньги. Ведь я тоже столь многим обязан маленькой Терезе!

— Тогда, — сказал Андреас, — я, конечно, к вашим услугам.

Он взял деньги, немного подождал, пока тот господин не поднялся по лестнице, а потом сам взошел по тем же ступеням и направился привычной дорогой прямо на улицу Четырех ветров, в русско-армянский ресторан «Тары-бары», где оставался до субботнего вечера. А тогда вспомнил, что завтра воскресенье и ему надо идти в часовню Святой Марии Батиньольской.

XV

В «Тары-бары» было полно народу, ведь многие, кто не имел крыши над головой, там дневали и ночевали, днем спали позади стойки, а ночью — на диванах. В воскресенье Андреас встал очень рано, не столько из-за мессы, которую боялся пропустить, сколько из страха перед хозяином — тот непременно потребовал бы, чтобы Андреас оплатил напитки, еду и ночлег за все эти дни.

Однако он заблуждался — хозяин встал задолго до него. Ибо этот хозяин знал его уже давно и приметил, что наш Андреас так и норовит улизнуть, не заплатив. Вот и пришлось нашему Андреасу заплатить за все время со вторника по воскресенье — за обильную еду и напитки, да еще немало сверх того, что он на самом деле съел и выпил. Владелец «Тары-бары» хорошо разбирался, кто из его клиентов умеет считать, а кто нет. А наш Андреас принадлежал к тем, кто считать не умеет, как многие пьяницы. Таким образом, Андреас отдал значительную часть денег, которые имел при себе, и все-таки пошел в сторону часовни Святой Марии Батиньольской. Однако он вполне отдавал себе отчет в том, что у него уже не хватит денег, чтобы отдать Святой Терезе всю сумму. Помнил он и о своем друге Войтеке, с которым сговорился о встрече, в той же мере, что и о своей маленькой кредиторше.

Итак, он подошел к часовне, к сожалению, и на сей раз после десятичасовой мессы, и снова навстречу ему устремилась толпа выходящих из церкви; когда же он, по привычке, направился к бистро, то услышал, как сзади его окликают, и внезапно почувствовал у себя на плече чью-то тяжелую руку. А когда обернулся, увидел полицейского.

Наш Андреас, у которого, как мы знаем, подобно столь многим его собратьям, не было документов, испугался и полез в карман, просто чтобы сделать вид, будто документы у него есть и они в порядке. Однако полицейский сказал:

— А я знаю, что вы ищете. Но в кармане вы ищете напрасно! Вы только что обронили бумажник. Вот он, — сказал полицейский и шутливо добавил: — Так бывает, когда в воскресенье с утра выпьешь слишком много аперитива.

Андреас поспешно схватил бумажник — ему едва хватило самообладания, чтобы приподнять шляпу, — и зашагал прямо в бистро.

Там уже сидел Войтек, только Андреас узнал его не сразу, а лишь через какое-то время. Но тем сердечнее наш Андреас его приветствовал. Оба приятеля никак не могли угомониться и наперебой угощали друг друга. Войтек, вежливый, как и большинство людей, встал с дивана и предложил это почетное место Андреасу, а сам, хоть и изрядно шатался, обошел вокруг столика, опустился напротив Андреаса на стул и стал говорить ему любезности. Пили они исключительно перно.

— Со мной опять случилось нечто удивительное, — сказал Андреас. — Иду это я сюда на свидание с тобой, как вдруг меня берет за плечо полицейский и говорит: «Вы обронили бумажник». И правда, протягивает мне бумажник, да только вовсе не мой, я его сую в карман, ну, а теперь хочу поглядеть, что это такое.

И с этими словами он вытаскивает бумажник и заглядывает вовнутрь — там ле-

жат разные документы, которые его нисколько не касаются, но видит он и деньги, считает их, и оказывается: в бумажнике ровно двести франков. И тут Андреас говорит:

— Вот видишь! Это Божье знамение. Теперь я пойду в церковь и наконец-то отдам деньги!

— У тебя еще есть время, — ответил Войтек, — пока не кончится месса. Месса-то тебе зачем? Во время мессы ты же уплатить не можешь. Вот после службы ты пойдешь в ризницу, а покамест мы выпьем.

— Ладно, будь по-твоему, — отозвался Андреас.

В этот миг открылась дверь, и Андреас, ощутив резкую боль в сердце и какой-то туман в голове, увидел, что вошла юная девушка и села на диван прямо против него. Она была совсем юная — таких юных девушек, казалось Андреасу, он еще никогда не видел, — и одета во все небесно-голубое. То есть она была такой голубизны, какая может быть только у неба, да и то лишь в немногие благословенные дни.

Пошатываясь, Андреас подошел к этой девочке, поклонился и спросил:

— Что вы здесь делаете?

— Жду родителей, они сейчас выйдут из церкви после мессы и заберут меня с собой, как всегда в последнее воскресенье месяца, — ответила она, совсем оробев перед немолодым человеком, который так неожиданно с ней заговорил. Она его побаивалась.

Тогда Андреас спросил:

— Как вас зовут?

— Тереза, — сказала девушка.

— Ах! — воскликнул Андреас. — Чудесно! Вот уж никак не думал, что такая великая, такая маленькая святая, такая великая и такая маленькая кредиторша окажет мне честь посетить меня, невзирая на то, что я так долго к ней не шел.

— Я не понимаю, что вы говорите, — сказала юная барышня, все больше смущаясь.

— Это вы только из деликатности, — возразил ей Андреас, — только из деликатности, но я способен ее оценить. Я давно уже должен вам двести франков и до сих пор не удосужился вам их вернуть, святая барышня!

— Никаких денег вы мне не должны, но у меня в сумочке немного есть, вот, возьмите и ступайте. Ведь скоро придут мои родители.

С этими словами она достала из сумочки бумажку в сто франков и дала ее Андреасу.

Все это видел в зеркале Войтек; пошатываясь, он встал со стула, заказал два перно и хотел потащить нашего Андреаса к стойке, чтобы тот с ним выпил. Но едва лишь Андреас делает шаг к стойке, он падает, как подкошенный. В бистро все напуганы, в том числе и Войтек. А больше всех девушка по имени Тереза. И поскольку поблизости нет ни врача, ни аптеки, Андреаса несут в часовню, вернее — в ризницу, ведь священники кое-что смыслят в расставании с жизнью и в смерти — неверующие официанты в это все-таки верят. Барышня по имени Тереза тоже не хочет остаться в стороне и идет вместе с ними.

Итак, приносят нашего бедного Андреаса в ризницу, говорить он, к несчастью, уже не может, только делает движение рукой, словно хочет сунуть ее в левый внутренний карман пиджака, где лежат деньги, которые он должен своей маленькой кредиторше; он молвит: «Мадемуазель Тереза!» — испускает свой последний вздох и умирает.

Пошли, Господи, всем нам, пропойцам, такую легкую и прекрасную смерть!

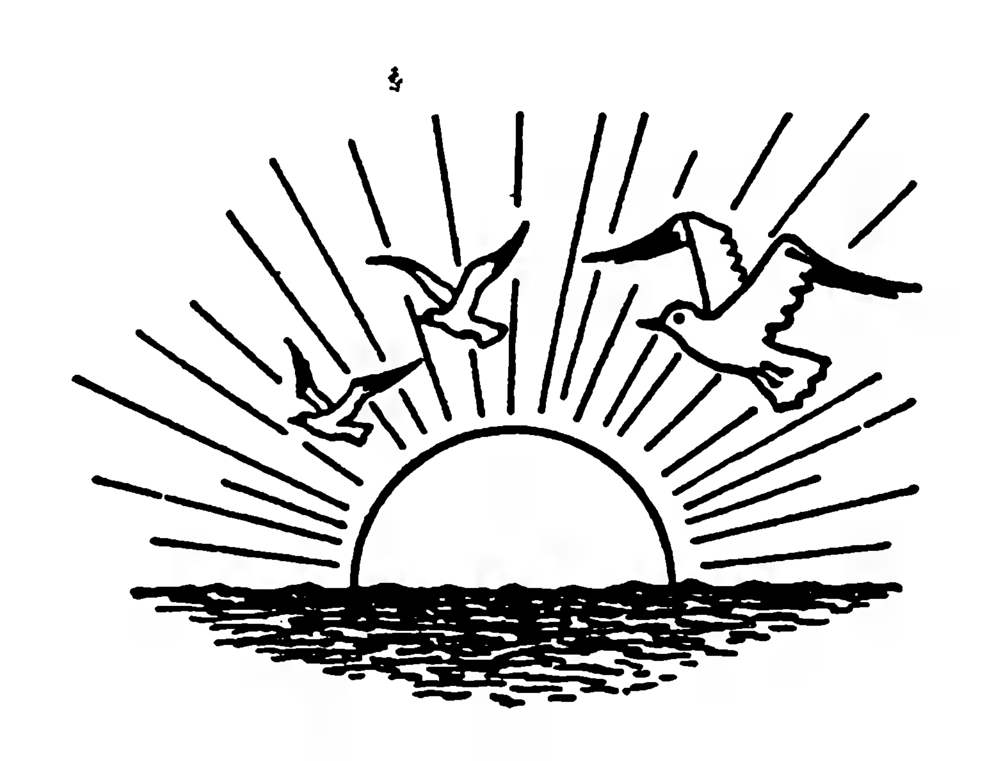
■



КИЧ, или К Интеллектуальному Чтиву

Мы переживаем период экспансии массовой культуры, когда халтура, пошлость и низкопробные поделки атакуют нас и с печатных страниц, и с кино-, видео- и телеэкранов. Что делать в этой ситуации тому автору, который не готов «понизить планку» эстетического вкуса, адаптироваться к уровню широкой аудитории? Наблюдать за происходящим свысока, отгородившись от внешнего мира в «башне из слоновой кости»? Или попытаться каким-то образом «переварить» рыночный материал, трансформировав непрезентабельное исходное сырье в качественный конечный продукт?

Может быть, в итоге получится элитарная «макулатура»?
Или интеллектуальное «чтиво»?





ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ
Макулатура

РОМАН

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

Посвящается плохой литературе

1

Я сидел в своем кабинете, аренда кончилась, и Маккелви уже начал процедуру выселения. Стояла адская жара, кондиционер не работал. По моему столу ползла муха. Я протянул руку и ладонью выключил ее из игры. Вытер руку о штанину, и тут зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Да?

— Селина читали? — спросил женский голос. Он звучал чувственно. У меня давно никого не было. Годы.

— Селин, — сказал я. — Хм-м.

— Я разыскиваю Селина, — сказала она. — Он мне нужен.

Такой чувственный голос, меня прямо разбирало.

— Селин? — сказал я. — Дайте мне какие-нибудь сведения. Поговорите со мной, леди. Не молчите...

— Застегнитесь, — сказала она.

Я посмотрел на брюки.

— Как вы узнали? — спросил я.

— Неважно. Мне нужен Селин.

— Он умер.

— Нет. Найдите мне его. Он мне нужен.

— А если я найду только кости?

— Нет, дурак, он жив!

— Где?

— В Голливуде. Я слышала, что он крутится возле книжного магазина Реда Колдовски.

— Так почему вы сами его не найдете?

— Во-первых, я должна быть уверена, что это в самом деле Селин. Я должна знать это наверняка.

— Но почему вы обратились ко мне? В городе сотни детективов.

— Вас рекомендовал Джон Бартон.

—А-а, Бартон, ну да. Послушайте. Мне нужен какой-нибудь аванс. И я должен встретиться с вами лично.

— Буду у вас через несколько минут, — сказала она.

Она повесила трубку. Я застегнул ширинку.

И ждал.

2

Она вошла.

То есть я хочу сказать — это просто нечестно. Платье обтягивало ее так, что чуть не лопалось по швам. Перебирает с шоколадками. А каблуки такие высокие, что смахивают на ходульки. Она шла, как пьяный калека, ковыляла по комнате. Головокружительная роскошь тела.

— Садитесь, леди, — сказал я.

Она села и закинула ногу на ногу, черт-те куда, чуть не вышибла мне глаз.

— Приятно видеть вас, леди, — сказал я.

— Пожалуйста, перестаньте пялиться. Ничего для себя нового вы не увидите.

— Тут вы не правы, леди. Можно узнать ваше имя?

— Леди Смерть.

— Леди Смерть? Вы из цирка? Из кино?

— Нет.

— Место рождения?

— Это несущественно.

— Год рождения?

— Не пытайтесь острить...

— Просто хочу получить какие-то сведения...

Я как-то смешался, стал глядеть ей на ноги. Ноги для меня — первое дело. Это первое, что я увидел, когда родился. Но тогда я пытался вылезти. С тех пор я стремлюсь в обратную сторону, но без большого успеха.

Она щелкнула пальцами.

— Эй, очнитесь!

— А? — Я поднял глаза.

— Речь о Селине. Помните?

— Ну конечно.

Я разогнул скрепку и концом показал на нее.

— Хорошо бы чек в оплату за услуги.

— Конечно. — Она улыбнулась: — Сколько вы берете?

— Шесть долларов в час.

Она вынула чековую книжку, что-то нацарапала там, вырвала чек и кинула мне. Он спланировал на стол. Я поднял его. Двести сорок долларов. Таких денег я не видел с тех пор, как угадал в экспрессе в Голливудском парке в 1988 году.

— Спасибо, леди...

— ...Смерть, — сказала она.

— Да, — сказал я. — А теперь чуть-чуть подробнее об этом так называемом Селине. Вы что-то говорили про книжный магазин?

— Он околачивался в магазине Реда, листал книжки... спрашивал о Фолкнере, о Карсон Маккалерс, о Чарльзе Мэнсоне...

— Околачивается в книжном магазине? Хм...

— Да, — сказала она, — вы знаете Реда. Любит выгонять людей из магазина. Можете истратить там тысячу долларов, потом задержитесь на лишнюю минуту-другую, и Ред скажет: «А не убраться ли тебе к чертям?» Ред хороший человек, но с приветом. Короче говоря, он все время вышвыривает Селина. Селин идет в бар Муссо и сидит там грустный. Через день-два приходит снова, и все повторяется.

— Селин умер. Селин и Хемингуэй умерли тридцать два года назад. Один, и через день — другой.

— Я знаю о Хемингуэе. Хемингуэй у меня.

— Вы уверены, что это был Хемингуэй?

— О да.

— Так почему вы не уверены, что Селин в самом деле Селин?

— Не знаю. Какой-то у меня с ним затор. Никогда такого не было. Может, я слишком долго в этом бизнесе. И вот пришла к вам. Бартон вас хвалит.

— И вы полагаете, что настоящий Селин жив? Он вам нужен?

— Ужасно, малыш.

— Билейн. Ник Билейн.

— Хорошо. Билейн. Мне нужна определенность. Что это в самом деле Селин, а не какой-то недоделанный хотень. Слишком много их развелось.

— Мне ли не знать.

— Так приступайте. Мне нужен лучший писатель Франции. Я долго ждала.

Она встала и вышла вон. Никогда в жизни я не видел такого зада. Не поддается описанию. Не поддается ничему. Не мешайте мне сейчас. Я хочу о нем подумать.

3

На другой день.

Я отменил свое выступление перед Торговой палатой в Палм-Спрингс.

Шел дождь. Потолок протекал. Дождь капал сквозь потолок — плям, плям, плям, и плям, и плям, плям, плям, плям, и плям, и плям, плям, и плям, и плям, и плям, плям, плям, плям...

Я согревался с помощью саке. Но как согревался? До нуля градусов. Вот мне 55 лет, а у меня нет горшка, чтобы подставить под капель. Отец предупреждал меня: кончишь тем, что будешь спускать в кулак на чьем-нибудь чужом крылечке в Арканзасе. Ну, время еще есть. Автобусы туда отправляются каждый день. Только у меня от них запор, и там всегда храпит какой-нибудь старпер с вонючей бородой. Пожалуй, лучше заняться Делом Селина.

Селин ли Селин или кто-нибудь еще? Иногда мне казалось, что я не знаю даже, кто *я* такой. Ладно, я Ники Билейн. Но это не точно. Кто-нибудь заорет: «Эй, Гарри! Гарри Мартел!» И я скорее всего откликнусь: «Да, в чем дело?» В смысле — я могу быть кем угодно, какая разница? Что в имени тебе моем?

Жизнь — странная штука, правда? В бейсбольную команду меня всегда включали последним — знали, что могу запулить их паршивый мяч к чертовой матери в Денвер. Завистливые хорьки!

Я был талантлив, и сейчас талантлив. Иногда я смотрел на свои руки и видел, что мог стать великим пианистом или еще кем-нибудь. И чем же занимались мои руки? Чесали яйца, выписывали чеки, завязывали шнурки, спускали воду в унитазе и т.д. Прошляпил я свои руки. И мозги.

Я сидел под дождем.

Зазвонил телефон. Я вытер его насухо просроченным извещением из Налогового управления, поднял трубку.

— Ник Билейн, — сказал я. Или я Гарри Мартел?

— Это Джон Бартон, — раздалось в трубке.

— Да, вы меня рекомендовали, спасибо.

— Я наблюдал за вами. У вас есть талант. Немного неотшлифованный, но в этом его прелесть.

— Приятно слышать. Дела идут плохо.

— Я наблюдал за вами. Все наладится, надо только потерпеть.

— Да. Чем могу служить, мистер Бартон?

— Я пытаюсь обнаружить Красного Воробья.

— Красного Воробья? Что еще за птица?

— Я уверен, что он существует. Просто надо его найти, я хочу, чтобы вы его нашли.

— Ниточки какие-нибудь есть?

— Нет, нет, но я уверен, что Красный Воробей где-то там.

— У этого Воробья есть имя, или как?

— В каком смысле?

— В смысле — имя. Ну, Генри или Абнер. Или Селин?

— Нет, это просто Красный Воробей, и я не сомневаюсь, что вы можете его найти. Я в вас верю.

— Это будет стоить вам, мистер Бартон.

— Если найдете Красного Воробья, я буду платить вам сто долларов в месяц до конца жизни.

— Хм-м... Слушайте, а может, дадите все вперед — чохом?

— Нет, Ник, вы спустите их на бегах.

— Хорошо, мистер Бартон, дайте мне ваш номер телефона, и я этим займусь.

Бартон дал мне номер телефона и сказал:

— Я очень на вас надеюсь, Билейн.

И повесил трубку.

Так, дела пошли на лад. Но потолок протекал еще сильнее. Я стряхнул с себя несколько капель, врезал саке, скрутил сигаретку, зажег, вдохнул и закашлялся от дыма. Потом надел мой коричневый котелок, включил автоответчик, медленно подошел к двери, открыл ее... Там стоял Маккелви. У него была широченная грудь и плечи словно подбитые ватой.

— Твоя аренда кончилась, гнида! — рявкнул он. — Выметайся отсюда в жопу!

Тут я обратил внимание на его брюхо. Оно напоминало мягкую гору дерьма, и кулак мой утонул в ней. Маккелви согнулся пополам, я встретил его лицо коленом. Он упал, откатился в сторону. Отвратное зрелище. Я подошел, вытащил его бумажник. Фотографии детей в порнографических позах.

Не убить ли его, подумал я. Но вместо этого взял его кредитную карточку «Золотая Виза», пнул его в зад и спустился на лифте.

Решил пойти в магазин Реда пешком. Когда я на машине, меня вечно штрафуют за неправильную парковку, а платные стоянки мне не по карману.

Я шел к Реду в угнетенном настроении. Человек рождается, чтобы умереть. Что это значит? Болтаешься и ждешь. Ждешь маршрута А. Августовским вечером ждешь пару больших грудей в гостиничном номере Лас-Вегаса. Ждешь, когда заговорит рыба. Когда свистнет рак. Болтаешься.

Ред был на месте.

— Тебе повезло, — сказал он, — разминулся с этим пьяницей Чинаски. Приходил тут, хвастался своей новой серией марок.

—Это ладно, — сказал я. — У тебя есть подписанный экземпляр «Когда я умирала» Фолкнера?

— Конечно.

— Сколько стоит?

— Две тысячи восемьсот долларов.

— Я подумаю...

— Прошу прощения, — сказал Ред.

Он повернулся к человеку, листавшему первое издание «Домой возврата нет».

— Пожалуйста, поставьте книгу в шкаф и убирайтесь к чертовой матери!

Это был хрупкий человечек, весь согнутый. И одет в какой-то желтый резиновый костюм.

Он поставил книгу в шкаф и прошел мимо нас к двери; глаза у него были на мокром месте. А дождь на улице перестал. Желтый резиновый костюм был ни к чему.

Ред посмотрел на меня.

— Можешь представить, некоторые из них приходят сюда, облизывая мороженое!

— Могу представить себе кое-что похуже.

Тут я заметил, что в магазине еще кто-то есть. Он стоял в глубине. Я, кажется, узнал его по фотографиям. Селин. Селин?

Я медленно подошел к нему. Совсем близко. Уже мог разглядеть, что он читает. Томас Манн. «Волшебная гора».

Он увидел меня.

— У этого парня проблема, — сказал он, подняв книгу.

— Какая же? — спросил я.

— Он считает скуку Искусством.

Он поставил книгу на полку и стоял передо мной, похожий на Селина.

Я посмотрел на него.

— Это поразительно, —сказал я.

— Что?

— Я думал, вы умерли, — сказал я.

Он посмотрел на меня.

— Я думал, что вы тоже умерли, — сказал он.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

Потом я услышал Реда.

— ЭЙ, ТЫ! — заорал он. — УБИРАЙСЯ ОТСЮДА К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!

Нас было только двое.

— Кому из нас убираться? — спросил я.

— ТОМУ, КОТОРЫЙ ПОХОЖ НА СЕЛИНА! УБИРАЙСЯ ОТСЮДА К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!

— Но почему? — спросил я.

— Я СРАЗУ ВИЖУ, КОГДА ОНИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ПОКУПАТЬ!

Селин, или кто он там, направился к выходу. Я за ним.

Он пошел к бульвару, остановился у газетного киоска.

Сколько помню, этот киоск стоял там всегда. Я вспомнил, как двадцать или тридцать лет назад подцепил там трех проституток. Я отвел их всех к себе домой, и одна дрочила моей собаке. Им это казалось забавным. Они были пьяные и на колесах. Потом одна проститутка пошла в ванную, упала там, разбила голову о край унитаза и все вокруг залила кровью. Я подтирал за ней большими мокрыми полотенцами. Потом уложил ее в постель, посидел с остальными, и наконец они ушли. Та, что в постели, пробыла еще четыре дня и четыре ночи, выпила все мое пиво и без конца говорила о своих двух детях в восточном Канзас-Сити.

А этот человек — Селин? — стоял у киоска и читал журнал. Подойдя ближе, я разглядел, что это «Нью-Йоркер». Селин(?) положил его на место и посмотрел на меня.

— У них только одна проблема.

— Какая?

— Они просто не умеют писать. Ни один из них.

Мимо проезжало пустое такси.

— ЭЙ, ТАКСИ! — крикнул Селин.

Такси притормозило, он подскочил к машине, задняя дверь открылась, и он влез.

— ЭЙ! — закричал я. — Я ХОТЕЛ У ВАС СПРОСИТЬ!

Такси промчалось к Голливудскому бульвару. Селин высунулся из окна, показал мне средний палец. И уехал.

Первый раз за десятки лет я повстречал в этих местах такси — то есть незанятое, без пассажира.

Ну, дождь перестал, но тоска не проходила. К тому же стало прохладно, и пахло так, как будто кто-то мокрый испортил воздух.

Я втянул голову в плечи и отправился к Муссо.

У меня была кредитная карточка «Золотая Виза». Я был жив. И кажется, даже стал ощущать себя Ники Билейном. Я стал напевать мотивчик Эрика Коутса:

Ад таков, каким ты его устроишь.

4

Я посмотрел в словаре Вебстера. Селин, 1891—1961. На дворе был 1993-й. Если он жив, значит, ему 102 года. Неудивительно, что ЛЕДИ СМЕРТЬ его разыскивает.

А тот, в книжном магазине, выглядел на 40—50. Ну ясно. Он не Селин. Или же он придумал, как победить процесс старения. Взять кинозвезд: они снимают кожу с зада и приживляют к лицу. На заду кожа морщится позже всего. Последние годы они дохаживают с ягодицами вместо лиц. Пошел бы на это Селин? Кому охота дожить до 102 лет? Только дураку. И с чего бы Селину захотелось жить так долго? Все это — какое-то сумасшествие. Леди Смерть сумасшедшая. Я сумасшедший. Пилоты авиалайнеров сумасшедшие. Никогда не смотри на пилота. Поднимайся на борт и заказывай выпивку.

Я понаблюдал, как трахаются две мухи, и решил позвонить Леди Смерти. Расстегнул ширинку и ждал ответа.

— Алло, — послышался ее голос.

— М-м-м, — сказал я.

— Что? А, это вы, Билейн. Как продвигается дело?

— Селин мертв. Он родился в 1891 году.

— Статистика мне известна, Билейн. Слушайте, я знаю, что он жив... где-то... и в книжном магазине мог быть он. Вы что-нибудь выяснили? Он мне нужен. Очень нужен.

— М-м-м... — сказал я.

— Застегнитесь.

— А?

— Дурак, я сказала — застегнись.

— А?.. Сейчас...

— Я должна определенно знать, *есть* он или *нет* его. Я вам сказала: у меня с ним не клеится. Психологический тормоз. Бартон рекомендовал вас, сказал, что вы один из лучших.

— А, да, кстати, я как раз сейчас работаю на Бартона. Пытаюсь разыскать Красного Воробья. Что вы об этом думаете?

— Слушайте, Билейн, распутайте историю с Селином, и я вам *скажу*, где Красный Воробей.

— В самом деле, леди? О, я бы для вас что угодно сделал!

— Ну например!

— Ну, убил бы моего любимого таракана, выпорол бы ремнем мать, если бы она была здесь...

— Хватит молоть! Я начинаю думать, что Бартон меня разыграл. Беритесь-ка лучше за дело. Или вы распутаете историю с Селином, или я *за вами* приду.

— Одну минутку, леди.

Трубка у меня в руке молчала. Я положил ее на рычаг. Ох. За мной-то она явится без всяких тормозов.

Меня ждала работа.

Я поискал глазами: нет ли где мухи, чтобы убить.

Дверь распахнулась, на пороге стоял Маккелви и большая слабоумная куча дерьма. Маккелви посмотрел на меня и кивнул на кучу.

— Это Томми.

Томми смотрел на меня мутными глазками.

— Очень приятно, — сказал он.

Маккелви улыбнулся мне жуткой улыбкой.

— Так вот, Билейн, Томми здесь с одной целью, и эта цель — медленно превратить вас в лепешку кровавого куриного говна. Так, Томми?

— Угу, — сказал Томми.

По виду он весил килограммов сто семьдесят. Ну, состричь на нем шерсть — будет этак сто шестьдесят.

Я любезно улыбнулся ему.

— Слушай, Томми, ты ведь меня не знаешь, правда?

— Угу.

— Так зачем тебе меня бить?

— Потому что мистер Маккелви так велел.

— Томми, а если мистер Маккелви велит тебе выпить твое пи-пи, ты выпьешь?

— Ты не путай моего парня! — сказал Маккелви.

— Томми, а если мистер Маккелви велит тебе съесть мамино ка-ка, ты съешь мамино ка-ка?

— А?

— Заткнись, Билейн, здесь разговариваю я!

Он повернулся к Томми.

— А ну-ка, разорви мне этого типа, как старую газету, разорви его в клочья и пусти к чертям по ветру, понял?

— Я понял, мистер Маккелви.

— Ну так чего ты ждешь, последней розы лета?

Томми шагнул ко мне. Я вынул из ящика стола люгер и навел на исполинскую тушу.

— Стой, Томас, или сейчас тут будет больше красного, чем на всех футболках стенфордской команды!

— Э, — сказал мистер Маккелви, — откуда у тебя эта штука?

— Сыщик без машинки все равно что кот с презервативом. Или часы без стрелок.

— Билейн, — сказал Маккелви, — ты чушь порешь.

— Мне уже говорили. А теперь скажи своему парню «тпру», или я проделаю в нем такое окошко, что арбуз пройдет!

— Томми, — сказал Маккелви, — отойди назад и встань передо мной.

Томми повиновался. Теперь надо было решить, что с ними делать. Это было непросто. В Оксфорде мне стипендию не платили. Биологию я проспал и в математике не отличался. Но до сих пор умудрялся остаться в живых.

Кажется.

А пока что я сдал себе некоего туза из некоей заряженной колоды. Ход был за мной. Сейчас или никогда. Приближался сентябрь. Вороны держали совет. Солнце исходило кровью.

— А ну-ка, Томми, — сказал я, — на четвереньки! Живо!

Он посмотрел на меня так, как будто не очень хорошо слышал.

Я холодно улыбнулся ему и щелкнул предохранителем.

Томми был глуп, но не окончательно.

Он упал на четвереньки, встряхнув весь 6-й этаж, как землетрясение в 5,9 балла. Мой фальшивый Дали упал на пол. Тот что с подтаявшими часами.

Глыбясь как Большой Каньон, Томми глядел на меня снизу.

— А теперь, Томми, — сказал я, — ты будешь слоном, а Маккелви будет погонщиком!

— А? — сказал Томми.

Я посмотрел на Маккелви.

— Давай-давай! Залезай!

— Билейн, ты спятил?

— Как знать? Безумие относительно. Кто определяет норму?

— Я не знаю, — сказал Маккелви.

— Залезай давай!

— Ладно, ладно. Но у меня никогда не было таких неприятностей с должниками.

— Залезай, жопа!

Маккелви вскарабкался на Томми. Но свесить ноги ему было трудно. Он чуть вдоль не разорвался.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь, Томми, ты слон, и ты повезешь Маккелви по коридору к лифту. Приступай!

Томми пополз из кабинета.

— Билейн, — сказал Маккелви, — я тебе отплачу. Клянусь лобком моей матери!

— Залупись еще раз, Маккелви, и я заткну твой член в мусоропровод!

Я открыл дверь, и Томми со своим погонщиком уполз из кабинета.

Он пополз по коридору, а я, засовывая люгер в карман пиджака, нащупал там что-то — скомканный листок. Я вынул его. Мои письменные ответы на экзамене, когда я пересдавал на водительские права. Все исчеркано красным. Я провалился.

Я бросил бумажку за спину и последовал за моими друзьями.

Мы подошли к лифту, и я нажал кнопку.

Я стоял, напевая мотивчик из «Кармен».

И вдруг вспомнил, как давным-давно прочел в газете о смерти Джимми Фоккса в номере какой-то загаженной гостиницы. Такой бейсболист — и умер среди клопов.

Подошел лифт. Дверь открылась, и я дал Томми пинка. Он вполз в кабину со своим наездником. Там стояли трое, читали газеты.

Продолжали читать. Кабина пошла вниз.

Я спустился по лестнице. Во мне было пятнадцать килограммов лишнего веса. Надо было сгонять.

Я насчитал 176 ступенек и очутился на первом этаже. Остановился у табачного киоска, купил сигару и «Программу бегов». Лифт приближался.

На улице я решительно окунулся в смог. Глаза у меня были голубые, а туфли старые, и никто меня не любил. Но меня ждала работа.

Меня, Ники Билейна, частного сыщика.

5

К сожалению, в этот день меня занесло на бега, а вечером я напился. Но времени зря не терял, я мыслил, анализировал факты.

Все были у меня в руках. В любую минуту головоломка могла решиться. Это точно.

6

На другой день я рискнул вернуться в кабинет. В конце концов, какой же ты сыщик без кабинета?

Я открыл дверь — и кого же я вижу за своим столом? Не Селина. Не Красного Воробья. Маккелви. Он улыбнулся мне приторной фальшивой улыбкой.

— Доброе утро, Билейн, как они качаются?

— Почему ты спрашиваешь? Хочешь взглянуть?

— Нет, спасибо.

Потом он почесал свои и зевнул.

— Ну Ники, мой мальчик, твоя аренда оплачена на год вперед каким-то таинственным благодетелем.

Леди Смерть с тобой играет, раздался голос у меня в голове.

— Кто-нибудь из знакомых? — спросил я.

— Я честью моей матери поклялся никому не говорить.

— Честью твоей матери? Она гусиных шеек перетрогала больше, чем любая птичница!

Маккелви встал из-за стола.

— Спокойно, — сказал я ему. — Если не хочешь очутиться в помойном ведре.

— Мне не нравится, что ты проезжаешься по моей матери.

— А что такого? Полгорода на ней проехалось.

Маккелви вышел из-за стола мне навстречу.

— Еще шаг, — сказал я, — и твоя голова будет дышать тебе в очко.

Он остановился. Когда меня заведут, я страшен.

— Ладно, — сказал я, — давай подробнее. Этот благодетель... он женщина, так или нет?

— Да. Да. В жизни не видел такой красотки!

Глаза у него замаслились, впрочем, они всегда были масленые.

— Ну же, Мак, подробней, говори дальше...

— Не могу. Я обещал. Честью матери.

— Тьфу ты, — сказал я. — Ладно. Убирайся, помещение оплачено.

Маккелви зашаркал к двери. Потом оглянулся на меня через левое плечо.

— Хорошо, — сказал он, — только ты тут не пачкай. Никаких вечеринок, никаких карт, никакой фигни. У тебя еще год. — Он подошел к двери, открыл ее, закрыл ее и был таков.

7

Итак, я опять у себя в кабинете.

Пора за работу. Я взял телефон и набрал моего букмекера.

— Тони, «Пицца на дом», — ответил он, — к вашим услугам.

Я назвал ему свое кодовое имя.

— Это мистер Кончина.

— Билейн, — сказал он, — за тобой 475 долларов, ставку у тебя не приму. Сперва расплатись с долгом.

— Я поставлю 25, и они привезут мне полкуска. А проиграю — все отдам, клянусь честью мамы.

— Билейн, за твоей мамой 230 долларов.

— Да? А у твоей бородавки на жопе!
— Что? Послушай, Билейн, ты был?..
— Нет, нет. Это был другой. Он сказал мне.
— Тогда ладно.
— Ладно, запиши: 25 на Белую Бабочку в шестом заезде.
— Принято. Желаю удачи. А то она, кажется, тебя забыла.

Я повесил трубку. Гадство. Человек рождается, чтобы сражаться за каждый дюйм земли. Рождается, чтобы сражаться, рождается, чтобы умереть.

Я подумал над этим. И подумал над этим.

Потом откинулся в кресле, хорошенько затянулся и выдул почти идеальное кольцо.

8

После ленча я решил вернуться в кабинет. Я открыл дверь, за моим столом сидел человек. Не Маккелви. Я не знал его. Люди любили садиться за мой стол. И кроме сидящего человека был еще один, стоящий. Вид у обоих недобрый, спокойный, но недобрый.

— Меня зовут Данте, — сказал тот, что сидел.
— А меня зовут Фанте, — сказал тот, что стоял.

Я ничего не сказал. Я блуждал в потемках. По спине у меня пробежал холодок и вылетел в потолок.

— Нас послал Тони, — сказал сидячий.
— Не знаю Тони. Вы, джентльмены, не ошиблись адресом?
— Ну прямо, — сказал стоячий.

А Данте сказал:

— Белая Бабочка сошла.
— Сбросила жокея на старте, — сказал Фанте.
— Вы шутите.
— Не шучу. Спроси у пыли.
— Не сгоношился твой гандикап, — сказал Данте.
— И Тони говорит, ты должен нам полкуска, — сказал Фанте.
— А-а, это, — сказал я, — они у меня тут...

Я направился к столу.

— Не дергайся, лох, — засмеялся Данте. — Мы конфисковали твою пукалку.

Я отступил.

— Теперь ты понял, — сказал Фанте, — что мы не позволим тебе приятно дышать воздухом, пока ты должен Тони полкуска?
— Дайте мне три дня...
— У тебя три минуты, — сказал Данте.
— Ну почему? — спросил я. — Почему вы, ребята, говорите по очереди? То Данте, то Фанте, то один, то другой — и никогда не собьетесь?
— Мы тут кое-что другое собьем, — отозвались они хором. — Тебя.
— Это было неплохо, — сказал я. — Мне нравится. Дуэт.
— Заткнись, — сказал Данте. Он вынул сигарету и взял в рот. — Хм, кажется, я забыл зажигалку. Поди-ка, мудила, дай огоньку.
— «Мудила»? Ты с собой говорил?
— Нет, с *тобой*, мудила, поди сюда. Дай огня! Живо!

Я отыскал зажигалку, подошел, остановился перед одной из самых отвратных морд, какие видел в жизни, щелкнул зажигалкой, поднес огонь к его сигарете.

— Умница, — сказал Данте, — теперь возьми эту сигарету из

моего рта и сунь в свой горячим концом вперед и держи, пока не скажу вынуть.

— Ну прямо, — сказал я.

— А нет, — сказал Фанте, — мы проделаем в тебе такую дырку, что эльфы из Диснейленда там смогут танцевать.

— Подождите минуту....

— У тебя 15 секунд, — сказал Данте и вынул секундомер. Пустил его и сказал: — Поехали. 14, 13, 12, 11...

— Вы серьезно?

— 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...

Я услышал щелчок предохранителя.

Я выдернул сигарету у Данте изо рта и сунул себе, горящим концом. Я пытался выделить побольше слюны и убрать язык подальше, но напрасно — меня достало, достало как следует, БОЛЬНО!!! Это было подло и больно! Я закашлялся и невольно выплюнул эту штуку.

— Шалун! — сказал Данте. — Я велел тебе держать, пока не скажу. Теперь придется начать сначала.

— Сволочь, — сказал я. — Убей меня!

— Ладно, — сказал Данте.

Но в эту секунду отворилась дверь и вошла Леди Смерть. И как упакованная! Я чуть не забыл про свой язык.

— Ого, — сказал Данте, — вот это краля! Ты знаешь ее, Билейн?

— Встречались.

Она подошла к креслу, села, закинула ногу на ногу, и юбка задралась еще выше. Мы прямо ослепли от этих ног. Даже я — а я их уже видел.

— Что за шуты гороховые? — спросила она меня.

— Эмиссары человека по имени Тони.

— Выгони их, твой клиент — я.

— Ну все, ребята, — сказал я. — Пора уходить.

— Да ну? — сказал Данте.

— Да ну? — сказал Фанте.

И стали смеяться. Потом вдруг перестали.

— Ну ты комик, — сказал Фанте.

— Да, — сказал Данте.

— Я их выпровожу, — сказала Леди Смерть.

И стала смотреть на Данте. А он сразу стал оседать в кресле. Он сделался бледным.

— Ой, — сказал он, — я плохо чувствую...

Он стал белым, потом стал желтым.

— Мне нехорошо, — сказал он, — ой, как нехорошо...

— Может, это от рыбных палочек, — сказал Фанте.

— Палочек, шмалочек, надо уходить отсюда! Мне нужен врач или кто-нибудь такой...

Тогда она стала смотреть на Фанте. И Фанте сказал:

— Голова закружилась... Что такое?.. Свет мелькает... Ракеты вспыхивают... Где я?

Он пошел к двери, Данте за ним. Они открыли дверь и побрели к лифту. Я вышел посмотреть, как они уедут. Посмотрел на них перед тем, как закрылась дверь. Они выглядели ужасно. Ужасно.

Я вернулся в комнату.

— Спасибо, — сказал я, — вы меня выручили...

Я огляделся. Ее не было. Заглянул под стол. Никого. Заглянул в ванную. Никого. Открыл окно и выглянул на улицу. Никого. То есть народу много, но ее не было. Могла бы хоть попрощаться. И все же это был милый визит.

Я снова сел за стол. Потом взял трубку и набрал номер Тони.

— Да? — сказал он. — Это...
— Тони, говорит мистер Кончина.
— Что? Ты еще можешь говорить?
— Отлично могу, Тони. В жизни не чувствовал себя лучше.
— Я не понимаю, как...
— Тут были твои мальчики, Тони...
— Ну? Ну?
— На этот раз они легко отделались. Пришлешь их еще раз — они к тебе не вернутся.

Я слышал в трубке его дыхание. Он очень смущенно дышал. Потом дал отбой.

Из левого нижнего ящика я вынул бутылку шотландского виски, отвернул пробку и врезал.

Наедешь на Билейна — будешь иметь неприятности. Очень просто.

Я закупорил бутылку, положил в ящик и задумался, что делать дальше. У хорошего сыщика всегда найдется дело. Вы видели это в кино.

9

В дверь постучали. Пять раз, быстро, громко, настойчиво.

Я всегда определяю по стуку. Определю, что стук плохой, — не открываю.

Этот был наполовину плохой.

— Войдите, — сказал я.

Дверь распахнулась. Мужчина, пятидесяти с лишним, отчасти богатый, отчасти нервный, ноги великоваты, слева на лбу бородавка, глаза карие, галстук. 2 автомобиля, 2 дома, бездетный. Бассейн, воды, играет на бирже, довольно глуп.

Он стоял, слегка потел и глядел на меня.

— Садитесь, — сказал я.
— Я Джек Басс, — сказал он, — и...
— Знаю.
— Что?
— Вы думаете, что ваша жена совокупляется с кем-то или с кеми-то.
— Да.
— Ей двадцать с чем-то.
— Я хочу получить доказательства, а потом хочу получить развод.
— К чему эти хлопоты, Басс? Разведитесь, и все.
— Мне нужны доказательства, что она... она...
— Плюньте. И так и так она получит свои деньги. На дворе Новая Эра.
— Это как понять?
— Называется: развод без претензий. Не важно кто что вытворял.
— Как это?
— Ускоряет отправление правосудия — в судах не такая толкучка.
— Но какое же это правосудие?
— Там считают иначе.

Басс сидел в кресле, дышал и смотрел на меня. Мне надо распутать дело Селина, разыскать Красного Воробья, а тут этот дряблый пузырь, озабоченный тем, что кто-то заделывает его жене.

Наконец он заговорил.

— Я просто хочу выяснить. Хочу выяснить для себя.

— Я недешево стою.

— Сколько?

— Шесть зеленых в час.

— По-моему, это не так много.

— А по-моему, в самый раз. У вас есть фотография жены?

Он залез в бумажник, вынул карточку, дал мне.

Я посмотрел.

— Ух ты! Она правда так выглядит?

— Да.

— У меня от одного ее вида встает.

— Что еще за остроты?

— Ах, извиняюсь... Но фотография останется у меня. Я верну ее, когда кончу.

Я положил фотографию в бумажник.

— Она еще живет с вами?

— Да.

— И вы уходите на работу?

— Да.

— И тогда, случается, она...

— Да.

— И что же заставляет вас думать, будто она...

— Признаки, телефонные звонки, голоса у меня в ушах, перемены в ее поведении, самые разные вещи.

Я подвинул к нему блокнот.

— Напишите ваш адрес, домашний и рабочий; телефон, домашний и рабочий. С этого и начнем. Я ее возьму за жопу. Я все раскрою.

— Что?

— Я берусь за это дело, мистер Басс. По увенчании его вы будете оповещены.

— Увенчании? — переспросил он. — Слушайте, вы в порядке?

— Извращениями не страдаю. А вы?

— О да, я тоже.

— Тогда не волнуйтесь, я тот, кто вам нужен, я возьму ее за жопу!

Басс медленно поднялся из кресла. Пошел к двери, потом обернулся.

— Вас рекомендовал Бартон.

— Ага, опять обратно! Всего хорошего, мистер Басс.

Дверь закрылась, и он ушел. Молодчина Бартон.

Я вынул ее фото из бумажника и сидел, смотрел.

Ну сука, думал я, ну сука.

Я встал, запер дверь, снял трубку с телефона.

Я сидел за столом и смотрел на фото. Ну сука, думал я, я тебя прищучу! Я тебе сделаю! Не жди пощады! Я тебя поймаю с поличным! Я тебя накрою! Ну шлюха, ну держись! Ну шлюха!

Я задышал тяжело, я расстегнул молнию. Тут началось землетрясение. Я уронил фото и нырнул под стол. Трясло как следует, баллов шесть. Продолжалось это минуты две. Потом кончилось. Я вылез из-под стола все еще расстегнутый. Нашел фотографию, засунул в бумажник, застегнулся. Секс — это западня, ловушка. Это для животных. Я не такой дурак, чтобы на это клюнуть. Я положил трубку на телефон, открыл дверь, вышел, запер дверь и направился к лифту. Меня ждала работа. Я был лучшим сыщиком Лос-Анджелеса и Голливуда. Нажал кнопку и стал ждать, когда подъедет блядская кабина.

10

Остаток дня и ночь пропускаю — никаких действий, заслуживающих рассказа.

11

На другое утро в 8 часов я сидел в своем «фольксвагене» напротив дома Джека Басса. Трещала голова с похмелья, и я читал «Лос-Анджелес таймс». Кое-что я успел выяснить. Жену Басса звали Синди. Синди Басс, в девичестве Синди Мейбелл. Из газетных вырезок явствовало, что она была победительницей мелкого конкурса красоты, Мисс Чили На Вынос 1990 года. Модель, актриса на выходах, любит лыжи, обучается игре на фортепиано, любит бейсбол и водное поло. Любимый цвет — красный. Любимый фрукт — банан. Любит прикорнуть днем. Любит детей. Любит джаз. Читает Канта. Ну да. Надеется, что однажды войдет в бар, и т.д. и т.д. Познакомилась с Джеком Бассом за рулеткой в Лас-Вегасе. Через две ночи они поженились.

Около 8.30 Джек Басс задним ходом выехал на своем «мерседесе» и отправился на свой административный пост в Ацтек Петролеум Корпорейшн. Остались я и Синди. Я намеревался ее расколоть. Она была в моей власти. Я еще раз проверил фото. Я начал потеть. Я опустил козырек в кабине. Шлюха, она гуляет от Джека Басса.

Я снова засунул фото в бумажник. У меня возникло суеверное чувство. Что со мной? Двинулся на этой дамочке? У нее кишечник как у всех. Волосы в ноздрях. Сера в ушах. Тоже мне. С чего это ветровое стекло передо мной пошло волнами? Должно быть, с похмелья. Водка с прицепами. Приходится расплачиваться. Но что хорошо, когда ты пьяница, — у тебя не бывает запора. Я порой прислушивался к своей печени, но моя печень молчала, она ни разу не сказала: «Перестань, ты убиваешь меня, а я убью тебя!» Если бы у нас была говорящая печень, нам не понадобилось бы Общество анонимных алкоголиков.

Я сидел в машине и ждал, когда выйдет Синди.

Было душное утро.

Я, должно быть, уснул в машине. Не знаю, что меня разбудило. Но теперь *ее* «мерседес» задним ходом выезжал на улицу. Она развернулась, поехала на юг, и я пристроился сзади. Красный «мерседес». Я проследовал за ней до шоссе на Сан-Диего; она встала в левый ряд и дала по газам. 75 миль в час. Похоже, ей не терпелось. Ей приспичило. Что-то шевельнулось у меня между ног. Лоб покрылся пленкой пота. Она разогналась до 80-ти. Как ее разбирает, суку! Синди, Синди! Я держался в четырех корпусах за ней. Я ее прищучу, так прищучу, как ее никто не прищучивал! Вот так! Настичь и оформить! Я Ник Билейн, я покажу ей, где раки зимуют! В зеркале заднего обзора замелькал красный огонь.

Черт!

Я перешел в правый ряд, остановился на обочине, вылез. Полицейские остановились в пяти корпусах от меня.

Вылезли и встали по обе стороны от своей машины. Я направился к ним, полез за бумажником. Высокий выхватил из кобуры револьвер, навел на меня.

— Стоять!

Я остановился.

— Какого черта — ты застрелить меня хочешь? Ну давай, давай, *застрели меня!*

Низенький зашел сзади, завернул мне руку, подвел меня к полицейской машине и бросил лицом на капот.

— Говнюк! — сказал он. — Знаешь что мы делаем с такими засранцами?

— Да уж как не знать.

— Смотри, какой умный засранец! — сказал низенький.

— Спокойно, Лу́и, — сказал высокий, — у кого-нибудь может оказаться видеокамера. Тут не место.

— Терпеть не могу умных, Билл!

— Мы его оформим, Луис. Оформим по всем правилам, но попозже.

Я был прижат к капо́ту. Автомобили на шоссе притормаживали. Зеваки глазели.

— Кончайте, ребята, — сказал я, — из-за нас затор на шоссе.

— Ты думаешь, нам не насрать? — спросил Билл.

— Ты угрожал нам, ты бежал к нам и лез рукой за пояс! — завопил Луи.

— Я полез за бумажником. Я хотел показать вам удостоверение. Я детектив с лос-анджелесской лицензией. Я вел наблюдение за подозреваемым.

Луи выпустил мою руку из мертвого захвата.

— Встань.

— Сейчас.

— А теперь медленно достань бумажник и вынь водительские права.

Я вручил ему сложенный листок.

— Это что еще такое? — спросил он. И вернул мне. — Разверни и отдай обратно.

Я развернул и сказал:

— Это как бы временные права. Старые у меня забрали — я не пересдал экзамен, письменный. А с этими я могу ездить в течение недели, до следующего экзамена.

— Ты что же, экзамен не сдал?

— Да.

— Слышишь, Билл, этот урод не мог сдать на права!

— Ну? Правда?

— Голова была занята другим...

— Похоже, она у тебя ничем не занята, — фыркнул Луи.

— Ну смех, — сказал Билл.

— И ты, значит, зарегистрированный детектив? — спросил Луи.

— Да.

— Не верится.

— Я преследовал подозреваемого, когда вы меня остановили. Еще чуть-чуть, и я бы взял ее за жопу.

Я вручил Луи фотографию.

— Мама ро́дная! — сказал он. Он уставился на карточку. Фотография была в рост. Синди была в мини и в открытой блузке, очень открытой.

— Эй, Билл, глянь-ка!

— Я сидел у ней на хвосте, Билл, еще чуть-чуть, и я бы взял ее за жопу.

Билл не сводил глаз с карточки.

— Ух-х, ух-х, ух-х, — твердил он.

— Верните мне фотографию. Вещественное доказательство.

— А, ну конечно, — сказал он и с неохотой отдал.

— И все-таки мы должны тебя оформить, — сказал Луи.

— Но не оформим, — сказал Билл, — запишем, что ты ехал 75,

хотя ты ехал 80. Но фотографию мы должны изъять.

— Что?

— Не слышал?

— Но это вымогательство! — сказал я.

Билл дотронулся до револьвера.

— Что ты сказал?

— Я сказал — лады.

Я вернул фотографию Биллу. Он стал выписывать квитанцию. Я стоял и ждал. Он дал мне квитанцию.

— Распишись.

Я расписался.

Он вырвал ее и вручил мне.

— Уплатить в течение десяти дней, а если не признаешь себя виновным, явишься в суд в указанный день.

— Благодарю вас, сэр.

— И езжай осторожно, — сказал Луи.

— И ты тоже, приятель.

— Что?

— Я сказал — хорошо.

Они пошли к своей машине. Я пошел к своей. Влез, завел мотор. Они продолжали сидеть. Я вырулил на полотно и поехал, держа 60.

Синди, думал я, ты мне за это заплатишь! Я тебя так прищучу, как никто тебя не прищучивал!

Доехав до поворота на Портовое шоссе, я свернул и поехал по 110-му, сам на знаю зачем.

12

Я проехал по Портовому шоссе до конца. Это был Сан-Педро. Я проехал по Гаффи, свернул налево на 7-ю, проехал несколько кварталов, свернул направо на Пасифик, проехал еще, увидел бар «Питейный кабанчик», остановил машину, вошел. Внутри было темно. Телевизор не работал. Бармен был старик лет восьмидесяти, весь белый — белые волосы, белая кожа, белые губы. И сидели еще два старика, белые как мел. Как будто из всех троих выпустили кровь. Они напомнили мне высушенных мух в паутине. Напитков видно не было. Никто не шевелился. Белое безмолвие.

Я стоял в дверях и смотрел на них. Наконец бармен издал звук:

— А?..

— Тут никто не видел Синди, Селина или Красного Воробья? — спросил я.

Она только глядели на меня. Губы одного из посетителей сложились в маленькое мокренькое «о». Он пытался заговорить. Второй посетитель опустил руку и почесал яйца. Или то место, где они когда-то были. Бармен остался недвижим. Он напоминал фигуру, вырезанную из картона. И старую. Я вдруг почувствовал себя молодым.

Я прошел вперед и сел на табурет.

— Что-нибудь выпить найдется? — спросил я.

— А... — сказал бармен.

— Водка — «Севен ап», лимона не надо.

А теперь выкиньте на помойку четыре с половиной минуты и забудьте о них. Вот сколько потребовалось бармену, чтобы принести мне стакан.

— Благодарю, — сказал я, — и, пожалуйста, сделай еще один, раз уж ты начал двигаться.

Я врезал. Оказалось неплохо. Он, видно, набил руку.

Два старикана сидели и глядели.

— Хороший денек, а, парни? — спросил я.

Они не ответили. У меня возникло такое чувство, что они не дышат. Или мертвых не положено хоронить?

— Слушайте, парни, когда кто-нибудь из вас в последний раз стянул трусики с женщины?

Один из стариков отозвался:

— Хе-хе-хе-хе!

— А-а, вчера ночью?

— Хе-хе-хе-хе!

— Понравилось?

— Хе-хе-хе-хе!

У меня испортилось настроение. Жизнь моя уходит псу под хвост. Мне нужно что-то — сверкание огней, блеск, что-нибудь эдакое, черт возьми. А я тут толкую с покойниками. Я прикончил первый стакан. Второй уже был готов. В дверь вошли двое, с чулками на лицах.

Я осушил второй стакан.

— ТИХО! БЕЗ ГЛУПОСТЕЙ! БУМАЖНИКИ, КОЛЬЦА И ЧАСЫ — НА СТОЙКУ! ЖИВО! — выкрикнул один.

Второй перемахнул через стойку и подбежал к кассе. Ударил по ней кулаком.

— ЭЙ! КАК ОТКРЫВАЕТСЯ ЭТА ХЕРОВИНА?

Он огляделся, увидел бармена.

— ЭЙ, ДЕД! ПОДИ ОТКРОЙ ЭТУ ШТУКУ! — Он навел на старика пистолет. И тот вдруг научился двигаться. Миг — и он уже у кассы, и она открыта.

А первый складывал в мешок то, что мы выложили на стойку.

— ВОЗЬМИ КОРОБКУ ИЗ-ПОД СИГАР! ПОД СТОЙКОЙ! — крикнул он напарнику.

Тот перекладывал в мешок деньги из кассы. Он нашел коробку из-под сигар. В ней были деньги. Он кинул ее в мешок и перепрыгнул через стойку.

Они постояли еще несколько секунд.

— *Меня разбирает!* — сказал тот, который прыгал через стойку.

— Кончай, уходим! — сказал другой.

— МЕНЯ РАЗБИРАЕТ! — заорал первый. Он прицелился в бармена. Он выпустил три пули. Все в живот. Старик три раза дернулся и упал.

— МУДАК! ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ? — заорал его партнер.

— НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МУДАКОМ! Я ТЕБЯ ТОЖЕ УБЬЮ! — Он повернулся и навел пистолет на партнера.

Но опоздал. Пуля попала ему в нос и вышла из затылка. Он упал, повалив табурет. Другой выбежал в дверь. Я досчитал до пяти, потом выбежал за ним. Оба старика еще были живы, когда я убегал. Кажется.

Я быстро сел в машину. Рванул от бордюра, проехал квартал, свернул направо, в переулок. Потом сбавил скорость, поехал не торопясь. Тут послышалась сирена. Я зажег сигарету от прикуривателя, включил радио. Играли рэп. Я не мог разобрать, чего он там рэпает.

Я не мог решить, ехать мне домой или в контору.

Кончилось же это все супермаркетом, где я погрузил в тележку пять грейпфрутов, жареную курицу и картофельный салат. Да, и еще 0,75 водки и туалетную бумагу.

13

Я очутился у себя на квартире. Я углубился в курицу и картофельный салат. Я покатал по ковру грейпфрут. Я был угнетен. Весь мир ополчился против меня.

Потом зазвонил телефон. Я выплюнул непрожаренное куриное крыло и взял трубку.

— Да?

— Мистер Билейн?

— Да?

— Вы выиграли бесплатную поездку на Гавайи, — сказал кто-то.

Я повесил трубку. Пошел на кухню, налил водки с минеральной водой, добавил соуса «табаско». Сел со стаканом, выпил половину, и тут постучали в дверь. Стук был плохой, но я, вопреки своему правилу, сказал: «Войдите».

И зря. Это был сосед из 302-й, почтальон. У него как-то странно были приделаны руки. И мозги тоже. И глаза смотрели не совсем на тебя, а куда-то тебе за голову. Так что ты не совсем понимал, где ты находишься. Были у него и некоторые другие недостатки.

— Привет, Билейн, а мне не найдется выпить?

— На кухне, налей сам.

— Понял.

Он ушел на кухню, насвистывая «Дикси». Вернулся вразвалочку, в обеих руках по стакану. Сел напротив меня.

— Взял с запасом, — сказал он, кивнув на стаканы.

— Знаешь, эта штука продается во многих местах, — сообщил я. — Ты бы запасся.

— Да плевать... Слушай, Билейн, я пришел поговорить по делу.

Он выпил то, что было в правой руке, разбил стакан об стену. Этому он научился от меня.

— Я пришел затем, чтобы открыть нам путь к легкой славе.

— Ясно, — сказал я. — Послушаем.

— Меланхолик Майк. Бежал на днях. Идет, как язык прокаженного по девичьей сиське, — первую четверть мили за 21,0. В торговом заезде 20-тысячников вышел на прямую на 5 корпусов впереди, проиграл всего полтора корпуса. Теперь его ставят в 15-тысячниках. Такую лошадь — на 3/4 мили. Они только под хвост ему будут смотреть. Ставки на него 15 к 1! Верняк! Я беру тебя в долю, друг!

— Зачем меня в долю? Зачем сам *все* не выиграешь?

Он выпил из второго стакана. Потом оглянулся. Поднял стакан.

— Стой! — сказал я. — Разобьешь этот стакан — и у тебя будут два задних прохода.

— А?

— Подумай сперва.

Почтарь тихо поставил стакан.

— Еще есть выпить?

— Ты знаешь где. И мне налей.

Он ушел на кухню. Я чувствовал, что теряю терпение.

Потом он вернулся, дал мне стакан.

— Стой, — сказал я, — я выпью твой.

— Как это?

— В нем крепче.

Он дал мне другой стакан, потом сел.

— Так я тебя спрашиваю, скороход, зачем меня в долю?

— Да вот, — сказал он.

— Ну, дальше?

— У меня с капустой туго. Поставить нечего. Но когда выигра-

ем, я тебе отдам из выигрыша.

— Неинтересно говоришь.

— Слушай, Билейн, мне нужно самую малость.

— Сколько?

— Двадцать зеленых.

— Это большущие деньги.

— Десять зеленых.

— Ну ты разбежался.

— Ладно, пять зеленых.

— Что?

— Два зеленых.

— Мотай отсюда!

Он допил и встал. Я тоже допил. Он стоял. Он сказал:

— А чего это грейпфруты на полу?

— А мне так нравится.

Я встал и подошел к нему.

— Пора уходить, приятель.

— Уходить пора? Да ну? Я уйду, когда пожелаю!

Он обнаглел от выпитого. Это бывает.

Я заехал ему кулаком в живот. А на кулаке был медный кастет. Чуть насквозь не прошел к чертям.

Он упал.

Я отошел и сгреб с полу битое стекло. Потом вернулся, открыл ему рот и бросил стекло туда. Потом потер ему щеки и немного пошлепал по ним. Губы у него покраснели.

Тогда я вернулся к прерванному питью. Прошло, наверное, минут 45, и почтальон зашевелился. Перекатился на живот, выплюнул пару стекляшек и пополз к двери. Вид у него был жалкий. Дополз до самой двери. Я открыл ее, и он пополз дальше к своей квартире. В следующий раз надо присматривать за ним.

Я закрыл дверь.

Я сел и нашел в пепельнице погасшую сигару. Зажег ее, затянулся, закашлялся. Попробовал еще раз. Довольно приятно.

На меня нашла задумчивость.

Решил больше ничего сегодня не делать.

Жизнь изнашивает человека, изнашивает до дыр.

Утро вечера мудренее.

14

Я снова пришел в магазин к Реду. Я снова занимался делом Селина. Ипподром был закрыт, и день был пасмурный. Ред проставлял цены на редких книгах.

— Сходим к Муссо? — предложил он.

— Не могу, Ред. Я, кажется, ем без остановки. Посмотри на меня.

Я распахнул пиджак. Рубашка обтягивала мое брюхо. Одна пуговица отскочила.

— Тебе надо отсосать этот жир. У тебя будет инфаркт. Жир отсасывают через трубку. Сольешь его в банку, будешь смотреть, и он тебе будет напоминать, чтобы ты не увлекался пончиками с повидлом.

— Я подумаю. Не хочешь грейпфрута?

— Грейпфрута? От него не толстеют.

— Знаю, но утром я поскользнулся на нем, когда встал. Грейпфруты опасны.

— А где ты спал, в холодильнике?

Я вздохнул.

— Слушай, давай переменим тему. Ты знаешь этого типа, который похож на Селина?

— А, этого...

— Этого. Не заходил тут?

— С того раза — нет. Ты следишь за этим гусем?

— Можно сказать, да.

И тут он входит, легок на помине. Селин.

Пролез мимо нас, прошел по проходу, вытащил книжку.

Я подошел к нему поближе. Совсем близко. Он держал подписанный экземпляр «Когда я умирала». Тут он заметил меня.

— В прежнее время, — сказал он, — жизнь у писателей были интереснее, чем их писания. А нынче — ни жизнь неинтересная, ни писанина.

Он поставил Фолкнера на место.

— Вы тут поблизости живете? — спросил я.

— Возможно. А вы?

— Когда-то у вас был французский акцент, правильно? — спросил я.

— Возможно. А у вас?

— Ничего подобного. Слушайте, вам никто не говорил, что вы на кого-то похожи?

— Каждый из нас более или менее похож на кого-то. Слушайте, у вас есть сигареты?

— Конечно.

Я полез за пачкой.

— Пожалуйста, — сказал он, — выньте одну сигарету, зажгите ее и курите ее. Чтобы было занятие.

Он пошел прочь.

Я зажег сигарету, затянулся. Потом пошел за ним. Кивнул на прощание Реду и вышел на улицу. Селин как раз садился в «фиат» 89-го года. А позади него стояло — что? Позади него стоял мой «фольксваген». Какая удача! Вот и не верь после этого в судьбу. В первый раз за сколько месяцев мне удалось поставить машину у тротуара! Я вскочил в нее, дал по газам и помчался за ним.

Он ехал на восток по Голливудскому бульвару.

Леди Смерть, подумал я, к вашим услугам.

Я бы упустил его у следующего светофора, если бы не проскочил под красный свет. Без осложнений; только пожилая дама в «кадиллаке» грязно обругала меня. Я улыбнулся.

Вскоре мы с Селином очутились на Голливудском шоссе; солнце прорвалось сквозь облака. Я держал Селина в поле зрения. Я чувствовал себя отлично. Может быть, пойду, и мне высосут жир через трубку. Я еще молодой человек. Все впереди.

Дальше Селин поехал по Портовому шоссе.

Потом — через Санта-Монику.

Потом — через Сан-Диего. На юг.

Потом Селин свернул с шоссе, и я свернул за ним. Местность казалась знакомой. Я ехал примерно на полквартала сзади. И надеялся, что он не особенно поглядывает в зеркальце.

Потом я увидел, что он притормаживает и останавливается. Я подъехал к бордюру, остановился и стал наблюдать.

Он вылез из машины, прошел несколько домов, потом, оглядываясь через плечо, пересек улицу. Остановился, снова оглянулся и двинулся по дорожке к дому. Поднялся на крыльцо, оглянулся и постучал. Дом был большой и показался мне знакомым.

Дверь открылась. Селин вошел.

Я тронулся с места и медленно проехал мимо. Это был дом Джека Басса. Интересное кино. Было только 2.30 дня. Красный «мерседес» Синди стоял перед домом.

Я объехал вокруг квартала и остановился на прежнем месте.

Сейчас я убью двух зайцев. Я раскрою Селина и прищучу Синди.

Я их не торопил. Дал им десять минут.

Когда я учился в средней школе, одна учительница спросила нас: «Кем вы хотите стать, когда вырастете?» Почти все мальчики сказали, что хотят быть пожарными. Это глупо, можно обгореть. Несколько ребят сказали, что хотят быть врачами или адвокатами, но ни один не сказал: «Я хочу быть сыщиком». И вот я сыщик. Да, а когда очередь дошла до меня, я ответил: «Не знаю...»

Прошло десять минут. Я схватил мою мини-видеокамеру, распахнул дверцу машины и направился к дому. Меня пробирала легкая дрожь. Я глубоко вздохнул и подошел к двери. С замком сложностей не было. Через 45 секунд я уже был внутри. Я прошел по передней, потом услышал голоса. Подкрался к двери. Они сидели за ней. Я слышал их голоса. Они говорили тихо. Я прижался к двери, прислушался.

Услышал Селина.

— Тебе нужно это... ты сама знаешь...

— Я... — Это говорила Синди. — Я не уверена... А что, если Джек узнает?

— Он не узнает...

— Джек бешеный...

— Он не узнает. Это для твоего же блага...

Синди засмеялась.

— Для моего блага?.. А тебе ничего не перепадет, да?

— Конечно... Ну-ка, ну-ка, возьмите его в руки... Начинается отсюда...

Я выждал несколько секунд, пинком распахнул дверь и ворвался в комнату с видеокамерой. Уже включенной и наведенной на резкость.

Они сидели за кофейным столиком, и Синди как будто подписывала какие-то бумаги. Она подняла голову и закричала.

— Тьфу ты, — сказал я.

Я опустил камеру.

— Что еще за чертовщина? — спросил Селин. — Ты знаешь этого типа?

— Первый раз вижу!

— А я знаю, — сказал Селин. — Околачивается в книжном магазине и задает дурацкие вопросы.

— Я вызову полицию! — сказала Синди.

— Стойте, — сказал я, — я все объясню.

— И поскладнее, — сказала Синди.

— Поскладнее, — сказал Селин.

Я ничего не мог придумать. Только стоял.

— Я вызову полицию, — сказала Синди, — немедленно!

— Стойте, — сказал я. — Меня нанял ваш муж, Джек Басс. Я детектив.

— Нанял? Зачем?

— Чтобы вас накрыть.

— Меня накрыть?

— Да.

— Я оформлял этой даме страховку, — сказал Селин, — а вы врываетесь с камерой.

— Извините, произошла ошибка. Пожалуйста, позвольте мне ее исправить.

— Как вы ее исправите, черт возьми? — спросил Селин.

— Я пока не знаю. Мне ужасно жаль. Я что-нибудь придумаю, чтобы поправить дело. Честное слово.

— Это какой-то выродок, — сказала Синди, — психически больной.

— Я извиняюсь, но мне надо идти. Я свяжусь с вами и обо всем условлюсь.

— Мы сдадим вас полиции! — заявила Синди.

— Я должен идти, — сказал я.

— Ну нет, — сказала Синди, — никуда вы не пойдете!

Я повернулся к двери, а она нажала звонок. Передо мной появилась приличная копия Кинг-Конга. Он был чудовищен. Он медленно двигался ко мне.

— Эй, малыш, — сказал я ему, — ты любишь конфетки?

— Сморчок, — сказал он, — ты моя конфетка!

— А игрушки? Ты какие игрушки любишь?

Кинг-Конг игнорировал мой вопрос. Он повернулся к Синди.

— Мне убить его?

— Нет, Брюстер, но отделай его так, чтобы он некоторое время поменьше двигался.

— Сейчас.

Он двинулся ко мне.

— Брюстер, — сказал я, — ты за кого голосовал на президентских выборах?

— А?

Он встал, задумался.

Я взял видеокамеру и швырнул ему прямо в игровую площадку. Она попала в цель. Он согнулся, схватился за причинное место.

Я подбежал, подобрал камеру и треснул его по затылку. Раздался звон стекла.

Кинг-Конг рухнул. Он упал лицом на кушетку и вырубился. Половина его тела лежала на кушетке, а другая где-то еще.

Я подобрал с полу бывшую камеру.

Я поглядел на Синди.

— Я все равно возьму тебя за жопу.

— Он сумасшедший! — сказала Синди.

— По-моему, вы правы, — сказал Селин.

Я круто повернулся и вышел вон.

Еще один потерянный день.

15

На другой день я сидел в кабинете. Казалось, все дела зашли в тупик. Ночь я провел ужасно: все время пил, чтобы уснуть. Но стены в моей квартире тонкие. Было слышно, чем занимались соседи...

— Детка, эта гусиная шейка начинена липким белым кремом, и, если его не выпустить наружу, меня хватит удар или что-нибудь такое!

— Это твоя проблема, малыш.

— Но мы женаты!

— Ты чересчур уродлив.

— А? Что? Ты никогда мне не говорила.

— Я только что решила.

— Крем ударяет мне в голову! Мне надо что-то делать!

— Только без меня, садун!

— Ах так? Ладно. Где кошка?

— Кошка? Нет, негодяй, *только не Цыганочку?*
— Где эта чертова кошка? Я видел ее минуту назад!
— Не смей! Не смей! *Мою Цыганочку!*
Водка не принесла мне сна. Я только сидел и лакал. Без толку.

Так вот, как я уже сказал, на следующее утро я сидел у себя в кабинете. Я ощущал себя совершенно никчемным. Я никчемный. Вокруг миллиарды женщин, и ни одна не постучит в мою дверь. Почему? Я неудачник. Я детектив, ничего не способный решить. Я понаблюдал за мухой, ползшей по моему столу, и приготовился отправить ее к праотцам.

И вдруг меня осенило!

Я вскочил.

Селин продавал Синди *страховку!* Они *застраховали жизнь* Джека Басса! Теперь они его уберут — и так, чтобы это выглядело естественно! Вот они что затеяли! Я держал их за яйца. То есть за яйца я держал Селина, а Синди... ну, ее я возьму за жопу. Джеку Бассу грозит опасность. А Леди Смерти нужен Селин. И Красный Воробей до сих пор не найден. Но я чувствовал, что продвигаюсь. К чему-то большому. Я вынул руку из кармана и взял телефонную трубку. Потом положил ее. Кому это к чертям я собрался звонить? Я же знал, который час. А Джек Басс влип крепко. Надо было подумать. Я попробовал. Муха все еще ползала по столу. Я скатал «Программу бегов», хлопнул по ней, промахнулся. Неудачный день. И неделя. И месяц. И год. И жизнь. Будь она проклята.

Я откинулся в кресле. Рождаешься, чтобы умереть. Рождаешься, чтобы жить, как загнанный бурундук. Где хористки? Почему такое чувство, будто я присутствую на собственных похоронах?

Дверь распахнулась. На пороге стоял Селин.

— Ты, — сказал я. — Я знал, что ты придешь.
— Знакомая песня, — сказал он.
— Ты никогда не стучишься?
— Смотря когда, — сказал Селин. — Не возражаешь, если сяду?
— Давай, только к делу.

Он залез в мою сигарную коробку, вынул сигару, снял наклейку, откусил кончик, взял зажигалку, закурил, выдул роскошный султан дыма.

— Знаешь, эти штуки продают, — сказал я.
— А что не продают?
— Воздух. Но скоро будут. Так чего тебе надо?
— Понимаешь, друг мой...
— Не тяни резину.
— Ну ладно, ладно... Значит так...

Селин положил ноги на мой стол.

— Красивые на тебе туфли, — сказал я. — Во Франции покупал?
— Франция, шманция, какая разница?

Он снова выдул дым.

— Ты тут зачем? — спросил я.
— Хороший вопрос, — сказал Селин. — Он гремит из века в век.
— Гремит?
— Да не придирайся ты к словам. Ведешь себя как человек с несчастным детством.

Я зевнул.

— Так значит так, — сказал он. — Ты сидишь в глубокой жопе по крайней мере по двум пунктам. Взлом и проникновение. Нападение и избиение.
— Что?

— А то, что Брюстер теперь евнух. Ты разбил ему яйца своей камерой, они похожи на два сушеных финика. Теперь он может петь колоратурным сопрано.

— И?

— Нам известно местонахождение преступника, осуществившего взлом и проникновение и лишившего другое лицо первичных мужских признаков.

— И?

— И возможно, что об этом сообщат полиции.

— У тебя есть неопровержимые улики?

— Три свидетеля.

— О-о, куча.

Селин спустил ноги на пол и, навалившись на стол всем телом, заглянул мне в глаза.

— Билейн, мне нужно в долг десять кусков.

— Я понял. *Понял! Шантаж! Сволочь! Шантажист!*

Я почувствовал возбуждение. Это было приятно.

— Не шантажирую, фрайер. *В долг* прошу десять кусков. В долг, понял?

— В долг? А у тебя есть обеспечение?

— Откуда к черту?

Я встал из-за стола.

— Ах ты слизняк! Думаешь, я это скушаю от тебя?

Я двинулся к нему вокруг стола.

— БРЮСТЕР! — завопил он. — ПОРА!

Дверь открылась, и вошел мой старый друг Брюстер.

— Привет, мистер Билейн, — сказал он тонким голосом. Но меньше ростом от этого он не стал. Такого здорового долбака я в жизни не видел. Я вернулся за стол, выдвинул ящик и достал свой 0,45. Навел на него.

— Сынок, — сказал я, — эта штука может остановить поезд. Хочешь поиграть в паровозик? Ну, давай, чух-чух, давай! Давай ко мне по рельсикам! Я спущу тебя под откос! Давай, чух-чух! Ехай сюда!

Я сбросил предохранитель и прицелился в массивное брюхо.

Брюстер остановился.

— Мне не нравится эта игра...

— Ага, — сказал я. — Тогда видишь ту дверь?

— Угу...

— Это дверь в уборную. А теперь ступай туда и сядь на горшочек. Штаны можешь спускать, а можешь не спускать, мне без разницы. Главное, чтобы ты пошел туда и сидел на горшочке, пока я не велю тебе выйти!

— Сейчас.

Он подошел к двери, открыл ее, закрыл и остался там. Слоновья куча, ноль без палочки.

Затем я навел 0,45 на Селина.

— Ты, — сказал я.

— Ты пролетишь, Билейн...

— Я всегда пролетаю. А ну-ка, марш к своему мальчику! Живо, живо, шевелись!

Селин погасил сигару и медленно направился к двери сортира. Я шел за ним следом. Я подтолкнул его стволом.

— Залезай!

Он вошел и закрыл за собой дверь. Я вынул ключ и запер ее. Потом вернулся к столу и стал медленно двигать его к двери сортира. Стол был очень тяжелый. Я с трудом одолевал сантиметр за сантиметром. Адская работа. Десять минут потребовалось на то, чтобы

передвинуть его на пять метров. Я припер им дверь.

— Билейн, — послышался из-за нее голос Селина, — ты выпусти нас, и будем считать, что квиты. Я не буду требовать в долг. Я не пойду к легавым. Брюстер тебя не обидит. И Синди я займусь.

— Нет, дорогой, — сказал я, — Синди я сам займусь! Я возьму ее за жопу!

Я покинул их. Запер дверь кабинета, прошел по коридору и поехал вниз на лифте. Настроение у меня улучшилось. Кабина остановилась на первом этаже, и я вышел на улицу. Первому же нищему я дал доллар. Второму нищему я сказал, что уже дал доллар другому. Третьему нищему — то же самое, и так далее. В этот день не было даже смога. Я двигался целеустремленно. Я уже знал, чем позавтракаю: креветками и жареным картофелем. Ноги мои шагали по тротуару красиво.

16

После завтрака я остановил машину за четверть квартала от дома Синди. На дорожке стоял ее красный «мерседес». Вероятно, она ждала возвращения Селина и Брюстера. Ай-я-яй. Я включил радио — послушать новости.

— Дурак, — раздалось из приемника, — ты нисколько не продвинулся!

— Кто, я? — спросил я.

— Ты же один тут сидишь, а?

Я огляделся.

— Да, — сказал я, — я тут один.

— Тогда давай пошевеливайся!

Это говорила со мной из приемника Леди Смерть.

— Слушай, крошка, я как раз занимаюсь твоим делом. Веду наружное наблюдение.

— За кем ты наблюдаешь?

— За знакомой Селина. Тут все завязано.

— И туфли у тебя тоже. Где Селин?

— В сортире с двухсоткилограммовым евнухом.

— Что он там делает?

— Остывает.

— Он мне нужен в целости и сохранности. Он мой.

— Я ничего ему не сделаю, крошка, честное индейское!

— Иногда, Билейн, мне кажется, что ты умственно неполноценный.

— КОНЕЦ СВЯЗИ! — заорал я и выключил приемник.

Потом я сидел, смотрел на красный «мерседес» и думал о Синди. При мне была запасная мини-видеокамера. Я уже ощущал нетерпение, хотелось действовать. Возникла мысль: пробраться в дом и что-нибудь обнаружить. Может, удастся подслушать ее разговор по телефону. Может, наткнусь на какую-нибудь разгадку. Конечно, это опасно. При свете дня. Но опасность — моя стихия. От нее у меня уже горели уши и сморщивался анус. Живем только раз, так ведь? Ну, кроме Лазаря. Бедный растяпа, ему пришлось умирать дважды. Но я — Ник Билейн. На эту карусель тебя пускают только раз. Жизнь удается смелым.

С видеокамерой в руке я бесшумно вылез из машины. А для отвода глаз взял портфель. Я надвинул котелок на левую бровь и направился к дому. Мои внутренние сенсоры были задействованы полностью. В доме что-то происходило. Я остро это ощущал. Я даже прикусил язык от волнения. Выплюнул кровь и приблизился к двери.

И на этот раз никаких затруднений. 47 секунд — и я внутри.

Насторожив уши, я крался по коридору. Мне показалось, что я услышал голоса. В самом деле услышал. Мужской и женский. Я замер перед лестницей. Да, голоса доносились сверху. Я стал медленно подниматься. Голоса слышались яснее. В одном я узнал голос Синди. Я продолжал подниматься, потом остановился перед дверью. Это явно была дверь спальни. Я прижал к ней ухо. Я услышал смех Синди.

— Что это ты собрался им делать?

— Попробуй угадай, детка! Я давно этого дожидался!

— Ты нашел нужное место, мой мальчик!

— Я прокачу тебя в ад и обратно, детка!

— Не может быть!

— Ах ты сука!

Я снова услышал смех Синди. Потом стало тихо. И некоторое время было тихо. Потом стало шумно. Я услышал тяжелое дыхание, какие-то равномерные толчки, а также работу матрасных пружин.

— О-о! — произнесла Синди. — О Боже!

Я поставил портфель, включил камеру, рывком распахнул дверь.

— ПОПАЛАСЬ, ДРЯНЬ!

— ЧТО? — Мужчина оглянулся, не переменив позиции. Ноги Синди опустились, и она ЗАКРИЧАЛА.

Мужчина спрыгнул на пол и повернулся ко мне лицом. Толстый, жуткого вида мерзавец.

— ЧТО ЕЩЕ ЗА ЁПТЬ? — заорал он.

Это был Джек Басс. Черт подери, Джек Басс!

Я повернулся и побежал вниз по лестнице.

— ЕДРИТЬ ТВОЮ! — заорал я.

Я подбежал к двери и распахнул ее. Краем глаза я увидел Джека Басса, голого, с яйцами. В руке у него был предмет. Револьвер. Он выстрелил. Пуля крутанула котелок у меня на голове. Он выстрелил снова. Я почувствовал, как смерть пронеслась мимо правого уха. Я помчался по тротуару. Выскочил на мостовую к своей машине. Я слишком поздно увидел препятствие: на велосипеде ехал старик и ел яблоко. Я врезался в старика и пробежал дальше, оставив его на асфальте, между вертящихся колес.

Миг — и я уже в своем «жуке». С визгом шин рванул от бордюра. Старик медленно поднимался. Я вильнул мимо него, подпрыгнул на бордюре, въехал на тротуар. И пронесся мимо дома Джека Басса. Он стоял в дверях, по-прежнему с яйцами, и выпустил еще три пули. Одна прошла сквозь обезьянку, висевшую у меня на зеркальце, вторая пролетела между мной и атмосферой. Третья пробила спинку переднего пассажирского сиденья и ушла в бардачок, сделав дырку. Наконец я ушел из-под обстрела. Для верности попетлял по переулкам. Потом нашел бульвар и нырнул в гущу уличного движения. Был типичный лос-анджелесский день: смог, полусолнце и который месяц без дождя.

Я подъехал к «Макдональдсу», заказал большую порцию картошки, кофе и цыпленка на булке.

17

Я вернулся в кабинет. Брюстер и Селин вырвались из сортира. Дверь сортира была распахнута. Я передвинул письменный стол на прежнее место. Это отняло 15 минут.

Я сел и попытался проанализировать факты. Теперь за мной охотились все: Селин, Брюстер, Синди, Джек Басс и Леди Смерть. Возможно, даже Бартон. Я уже плохо понимал, кто из них мои клиенты и

есть ли клиенты у меня вообще.

Меня могли арестовать за любое из недавних нарушений. Или кто-нибудь мог прийти сюда по мою душу. Мой кабинет стал опасным местом. Я проверил, лежит ли в кобуре мой 0,45. На месте, дружок. Ну ничего, из кабинета они меня не выживут. Сыщик без кабинета не сыщик.

И я до сих пор не знал, Селин ли Селин, и КРАСНОГО ВОРОБЬЯ не нашел. Все застопорилось.

День выдался трудный. Я положил ноги на стол, откинулся в кресле и закрыл глаза. Вскоре я уснул.

Во сне я сидел в дешевом баре. Я пил двойное виски с содовой. Кроме меня там был только бармен, но он как-то едва проглядывался. Стоял у другого конца стойки и читал «Нэшнл инкуайрер». Потом вошел какой-то распущенный поганец. Нестриженый, небритый и немытый. Одет он был в желтый дождевик, достававший ему до туфель. Из-под дождевика виднелась белая майка и линялый оранжевый галстук. Он обдал меня вонючим ветром. Он сел на табуретку со мной рядом. Я врезал виски. Бармен посмотрел в нашу сторону. Я встретился с ним глазами.

— Жрать хочу, — сказал бармен. — Кажется, лошадь бы сожрал.

— Хорошо бы ты сожрал тех, на которых я ставил, — сказал ему я. Неудивительно, что он плохо проглядывался. Его было мало. Он был тощий, как щепка. Щеки висели, тонкие, как бумага. Я отвернулся. А тот по-прежнему сидел рядом со мной.

— Псст... — произнес он.

Я оставил это без внимания. Снова поглядел на бармена.

— Слушай, — сказал я ему, — я сейчас допью, и ты можешь закрывать — ступай куда-нибудь, поешь.

— Спасибо, — сказал он. — Закрывать мне рано. Обойдусь. Что-нибудь придумаю.

— Псст... — снова произнес сосед.

— Не дыши мне в ухо, приятель, — сказал я.

— Есть информация...

— Не требуется. Читаю газеты.

— Такой информации нет в газетах.

— Какой же?

— Красный Воробей.

— Бармен! — крикнул я. — Налей джентльмену! Дай ему ром с кока-колой!

Бармен занялся коктейлем.

— Ты живешь в Редондо-Биче? — спросил тот.

— В Восточном Голливуде.

— Я знаю одного, похож на тебя, живет в Редондо-Биче.

— Да ну?

— Ага.

Ему подали стакан. Он выпил залпом.

— У меня был брат, — сказал он, — жил в Глендейле. Покончил с собой.

— Похож на тебя? — спросил я.

— Угу.

— Тогда понятно.

— У меня сестра есть, живет в Бербанке.

— Кончай трепаться.

— Я не треплюсь.

— Я хочу услышать про Красного Воробья.

— Ну да. Сейчас все расскажу.

— Ну?

— Выпить бы...

— Бармен! — крикнул я. — Еще один ром с кока-колой для джентльмена!

Он дожидался стакана. Стакан подали. Он выпил. Потом повернулся и посмотрел на меня круглыми, мутными, пустыми глазками.

— Воробей аккурат при мне, — сказал он.

— Что?

— Он у меня в кармане.

— Прекрасно! А ну посмотрим!

Он порылся в кармане. Снова порылся.

— Хм-м... что-то не могу найти...

— Ты, солоп! Разыгрывать меня? Я тебя размажу!

— Он точно где-то был...

— Я раскручу пружины в твоем будильнике.

— Постой... постой... где-то здесь... В другом кармане... Я искал не в том кармане...

— Да?

— Да, смотри... вот... вот он... Красный Воробей.

Вытащил из кармана и положил на стойку. Я посмотрел. Это был дохлый голубь.

— Это дохлый голубь! — сказал я.

— Нет, — сказал он, — это Красный Воробей.

Я выложил на стойку деньги за выпитое, потом встал и взял его за воротник замызганного плаща. Подтащил к двери, открыл и вышвырнул его на улицу. Потом повернулся и закрыл дверь. И увидел бармена. Он держал голубя в руках и ел его, грыз. Рот его был полон перьев и крови. Он подмигнул мне.

Тут зазвонил телефон на моем столе, и я проснулся.

18

Я поднял трубку.

— Детективное агентство Билейна...

— Моя фамилия Гроверс, Хал Гроверс, мне нужна ваша помощь. В полиции меня подняли на смех.

— Что случилось, мистер Гроверс?

— Меня преследует космический пришелец.

— Ха-ха-ха, мистер Гроверс, давайте серьезно...

— Вот видите, все надо мной смеются.

— Извините, Гроверс. Но прежде чем мы продолжим разговор, я сообщу мою таксу.

— Да?

— Шесть долларов в час.

— Ну это меня не затруднит.

— И никаких чеков с отскоком, иначе понесете свои грецкие орехи в сумочке, понятно?

— Деньги для меня не проблема. Проблема — женщина.

— Какая женщина, Гроверс?

— Черт, про какую мы говорим? Космический пришелец.

— Космический пришелец — женщина?

— Ну да, ну да...

— Откуда вы знаете?

— Она сама сказала.

— И вы ей верите?

— Конечно, я видел, что она вытворяет.

— Например?

— Ну, вылетает через потолок и так далее...

— Вы выпиваете, Гроверс?

— Конечно. А вы?

— Без этого разве можно... Теперь слушайте, Гроверс, прежде чем мы начнем, зайдите ко мне лично. Третий этаж здания Аякс. Перед тем как войти, постучите.

— Условным стуком?

— Да. Побрить-и-Постричь, Бам-Бам — тогда я буду знать, что это вы...

— Хорошо, мистер Билейн...

Пока дожидался его, я убил четырех мух. Черт, смерть кругом, повсюду. Люди, птицы, звери, рептилии, грызуны, насекомые, рыбы — у них никаких шансов. Всем крышка. Я не знал, что с этим делать. У меня испортилось настроение. Понимаете, смотрю на упаковщика в супермаркете, он пакует мои продукты, и вдруг вижу, что он самого себя засовывает в могилу вместе с туалетной бумагой, пивом и куриными грудками.

Потом раздался условный стук в дверь, и я сказал:

— Входите, пожалуйста, мистер Гроверс.

Он вошел. Из себя невидный. Метр сорок два ростом, 71 килограмм, 38 лет, глаза серо-зеленые, левый — с тиком, уродливые желтые усики, волосы того же цвета, с прогалиной на макушке слишком круглой головы. Вошел косолапо, сел.

Мы сидели и смотрели друг на друга. Больше ничего не делали. Прошло пять минут. В конце концов я разозлился.

— Гроверс, почему вы ничего не говорите?

— Я ждал, когда вы заговорите.

— Почему?

— Не знаю.

Я откинулся в кресле, закурил сигару, положил ноги на стол, вдохнул дым, выдохнул и выдул идеальное кольцо.

— Гроверс, эта женщина, эта... космическая пришелица... расскажите о ней что-нибудь...

— Она называет себя Джинни Нитро...

— Рассказывайте дальше, мистер Гроверс.

— Вы не будете смеяться надо мной, как полицейские?

— Никто не смеется так, как полицейские, мистер Гроверс.

— Ну... эта девочка из космоса — с товаром.

— Почему вы хотите избавиться от девочки с товаром?

— Я боюсь ее, она управляет моим сознанием.

— Как это?

— Ну, что она скажет, то я должен сделать.

— А если она скажет вам съесть ваше ка-ка, вы съедите?

— Наверно, да...

— Гроверс, просто вас лохматка оседлала. Это со многими мужчинами случается.

— Нет, она такие номера проделывает, что просто ужас.

— Все эти номера я видел, Гроверс, и даже такие...

— Вы не видели, как она появляется ниоткуда, вы не видели, как она улетучивается сквозь потолок.

— Гроверс, вы меня утомляете, все это муде-колеса.

— Нет, не колеса, мистер Билейн.

— Нет? Да откуда вы взялись, Гроверс, вы говорите как вахлак.

— А вы не похожи на детектива, мистер Билейн.

— А? Что? А на кого же я похож?

— Дайте сообразить, дайте подумать...

— Так шевелите пузырями. Это стоит вам шесть долларов в час.

— Ну, вы похожи на... сантехника.

— На сантехника? На сантехника. Хорошо. Что бы вы делали без сантехника? Вы знаете кого-нибудь важней сантехника?

— Президент.

— Президент? А вот и неправильно! Опять ошиблись! Вы как рот откроете, так сразу и ошиблись!

— Я не ошибся.

— Вот видите! Опять ошиблись!

Я отложил сигару и закурил сигарету. Этот человек был полный мудак. Но клиент. Я посмотрел на него долгим взглядом. Это был тяжелый труд — смотреть на него. Я перестал смотреть. Я стал смотреть мимо его левого уха.

— Ладно, что вы хотите чтобы я сделал? С этой космической пришелицей? С этой Джинни Нитро?

— Избавьте меня от нее.

— Я не киллер.

— Освободите меня от нее как угодно.

— Вы вступали в половые сношения?

— В смысле — сегодня?

— В смысле — *с ней?*

— Нет.

— Вам известно место жительства этой птички? Номер телефона? Род занятий? Татуировка? Хобби? Особые привычки?

— Только последнее...

— В частности?

— В частности, она улетает через потолок и всякое такое.

— Гроверс, вы сумасшедший. Вам нужно туда, где мозги чинят.

— Я уже там был.

— И что они сказали?

— Ничего. Только они берут больше чем шесть долларов в час.

— Сколько они берут?

— Сто семьдесят пять долларов в час.

— Это доказывает, что вы сумасшедший.

— Почему?

— Кто столько платит — обязательно сумасшедший.

Потом мы просто сидели и смотрели друг на друга. Довольно глупо. Я пытался думать. У меня заболели виски.

Потом распахнулась дверь. И вошла эта женщина. Ну что я могу вам сказать? На земле миллиарды женщин, так? Некоторые выглядят нормально. Большинство выглядят прилично. Но время от времени ПРИРОДА выкидывает номер: она изготовляет особенную женщину, невероятную женщину. То есть ты смотришь, и ты не можешь поверить. Колыхание спелых волн, ртуть, змеиный изгиб, ты видишь лодыжку, ты видишь локоть, ты видишь грудь, ты видишь колено, и все это сливается в колоссальное манящее целое, и красивые глаза улыбаются, углы рта чуть опущены, но губы сложены так, словно она вот-вот засмеется над твоей беспомощностью. И одеться они умеют, и длинные их волосы жгут воздух. Ну просто сил нет.

Гроверс встал.

— Джинни!

Она вплыла в комнату, как стриптизерка на роликовых коньках. Она остановилась перед нами, и стены задрожали. Она посмотрела на Гроверса.

— Хал, что ты делаешь с этим второсортным сыщиком?

— Эй, полегче, стерва! — сказал я.

— Понимаешь, Джинни, у меня небольшая проблема, и мне понадобилась помощь.

— Помощь? В связи с чем?

— Не могу сказать. Язык проглотил.

— Хал, у тебя нет проблем, пока у тебя есть я. Все, что может второсортный сыщик, я могу лучше.

Я встал. Впрочем, я уже стоял.

— Правда, красавица? А ну покажи, как у тебя встанет девятнадцатисантиметровый.

— Эротоман!

— Ну что, съела? *Съела?*

Джинни несколько раз прошлась по комнате, сводя нас всех с ума. Потом обернулась. Посмотрела на Гроверса.

— Поди сюда, пес! Ползи ко мне по полу! Быстро!

— *Не слушай ее, Хал!* — закричал я.

— А?

Он полз по полу к Джинни. Все ближе и ближе. Подполз к ее ногам и остановился.

— А теперь, — сказала она, — лижи языком мои туфли!

Гроверс подчинился. Лизнул. Стал лизать дальше. Джинни посмотрела на меня и ухмыльнулась. Ухмыльнулась грязной ухмылкой. Я не стерпел.

Я вскочил.

— АХ ТЫ КУРВА! — воскликнул я.

Я расстегнул ремень, выдернул его из брюк и, сложив вдвое, вышел из-за стола.

— Ну, курва, — сказал я, — СЕЙЧАС Я ТЕБЕ ПРОПИШУ!

Я бросился к ней. То, что оставалось у меня от души, дрожало от радостного предвкушения. Ее волшебный зад горел перед моим мысленным взором. Небо опрокинулось вверх тормашками и дрожало.

— Брось ремень, онанист, —сказала она и щелкнула пальцами.

Ремень выпал из моей руки. Я оцепенел.

Она повернулась к Гроверсу.

— Пойдем, глупыш, встань с коленок. Пошли из этого дурацкого места.

— Да, дорогая.

Гроверс поднялся и поплелся за ней к выходу; дверь открылась, закрылась, и их не стало. Я все еще не мог пошевелиться. Стерва, она, наверно, обработала меня из лучевого ружья. Оцепенение не проходило. Может, я неправильно выбрал профессию? Минут через двадцать я стал ощущать покалывание во всем теле. Потом оказалось, что я могу шевелить бровями. Потом — губами.

— Черт побери, — сказал я.

Потом начали постепенно оживать другие части. Наконец я сделал шаг. Два шага. Потом еще несколько — к столу. Обошел его. Открыл ящик. Нашел пол-литра водки. Отвернул пробку. И как следует врезал. Решил, что на сегодня — шабаш, а завтра все снова.

19

На другой день у себя в кабинете я понял, что нахожусь в тупике. Я уже не мог понять, кто мои клиенты и что вообще за чертовщина. Надо что-то делать, решил я. У меня был рабочий телефон Джека Басса. Я позвонил ему.

— Алло, — сказал он.

— Басс, это Билейн.

— Сукин сын.

— Полегче, Басс, у меня черный пояс.

— Он тебе пригодится, если еще раз помешаешь моим любовным занятиям.

— Джек, я только видел, как зад подпрыгивает. Я не знал, что это ты, пока ты не повернул голову.

— А кто же это мог быть, по-твоему? Чужой, что ли, будет шпарить ее в моем собственном доме?

— Так уже не раз бывало.

— Что?

— Я не говорю, что в твоем доме, Джек.

— А где же?

— Не имеет значения.

— Что не имеет значения?

— В смысле — к твоему делу это не относится. Давай поговорим о деле.

— Что?

— Ты хочешь, чтобы я им занимался?

— Ты ничего не раскрыл, только снял на видео мой бампер.

— Твое дело двигается, Джек.

— Это как же?

— Я выяснил связи.

— Что?

— У меня есть ниточка.

— Связи? Ниточка? О чем ты говоришь?

— Я могу установить ее связь с этим мужиком. Я его знаю. Темный тип. Они затевают что-то скверное.

— Ты застиг их вместе?

— Пока нет.

— Почему нет?

— Я действую осмотрительно. Они должны попасться сами.

— А сейчас ты не можешь их накрыть?

— Я должен ждать, пока он не засветится.

— Что?

— Должен поймать его с поличным.

— Ты хорошо все продумал, Билейн?

— Я хорошо продумал. Как только он засветится, я его зачалю.

— Ты как-то странно выражаешься.

— Басс, мир — это не детский сад. Подожди, я на них насяду.

— Насядешь?

— Я возьму ее за жопу. Ты же хочешь, чтобы я взял ее за жопу?

— Ты просто добудь мне улики.

— Не поймавши, курицы не щиплют, Басс.

— Так что-то начинает проясняться, Билейн?

— Я уже носом чую. Я напал на след. Я знаю, кто он. Он француз. Ты же знаешь, каковы французы, верно?

— Нет. А что французы?

— Если ты не знаешь, Басс, я тебе не могу объяснить. У меня нет на это лишнего дня. Так ты хочешь или нет, чтобы я распутывал это чертово дело?

— Ты сказал, что близок к разгадке?

— Я их практически оседлал.

— Что?

— Так продолжать или нет, Басс? Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре...

— Хорошо, хорошо, продолжай.

— Отлично, Джек. Тут только одна мелочь...

— Какая?

— Мне нужен аванс на месяц.

— На месяц? Я думал, ты уже у цели.

— Я должен устроить западню. Поставить ловушку. Все учесть. И когда он засветится...

— Хорошо, хорошо, высылаю чек!

Он бросил трубку. Ведет себя как влюбленный. Ну и лопух...

Затем я позвонил Гроверсу. Он дал мне рабочий телефон. После третьего гудка он взял трубку.

— Алло, — сказал он. — Похоронное бюро «Серебряная пристань» слушает.

— Мать моя, — сказал я.

— Что? — спросил он.

— Гроверс, вы со жмурами возитесь?

— Что?

— Со жмурами. Со жмурами! Это Ник Билейн.

— Что вам угодно, мистер Билейн?

— Я разрабатываю вашу инопланетянку, мистер Гроверс.

— Да, я помню.

— Скажите мне, Хал, зачем вы этим занимаетесь?

— Что вы имеете в виду?

— Возитесь с мертвецами. Зачем? Зачем?

— Это моя профессия. Человек должен зарабатывать на жизнь.

— Но колупаться со жмурами? Жуткое дело. Прямо извращение. Вы кровь спускаете? Что вы делаете с ней, когда спустите?

— Этим занимается мой служащий, Билли Френч.

— Дайте его сюда, я хочу с ним поговорить.

— Он обедает.

— Вы хотите сказать, он ест?

— Да.

Я помолчал. Я вдохнул, выдохнул. Потом заговорил:

— Слушайте, Гроверс, вы хотите, чтобы я занимался вашим делом?

— Вы о Джинни Нитро?

— Ну конечно. У вас в бюро есть другие космические крошки?

— Нет.

— Ну так вы хотите свалить ее с плеч?

— Конечно. И думаете, вам удастся? Во время вашей встречи вы, кажется, как-то застряли.

— Гроверс, даже трактор застревает. Я эту шлюху оформлю так, что вы ее больше не увидите.

— Я не считаю ее шлюхой, мистер Билейн.

— Это просто такое выражение. Не хотел обидеть вашу цыпу.

— Думаете, вам удастся чего-нибудь тут достичь?

— Пока мы с вами разговариваем, Гроверс, я уже отрабатываю версию, я нашел к ней ниточку.

— Какую?

— Не могу вам все раскрыть. Но тот факт, что вы возитесь со жмурами, а она космическая пришелица... это наводит на мысли.

— Что вы хотите сказать, мистер Билейн?

— Не могу вам все раскрыть. Но я консультировался со специалистом по этим делам. У него есть книга об инопланетянах, но он затребовал дополнительные сведения о вас.

— Хорошо. Что вы хотели узнать?

— Не суетитесь. Прежде чем я продолжу работу по этому делу, мне понадобиться еще один чек. Двухнедельный аванс.

— Вы думаете, вам что-то удастся?

— Черт побери, я же вам сказал, дело уже на мази!

— Хорошо, мистер Билейн, я отправлю чек сегодня же. Две недели.

— Вы умный человек, мистер Гроверс.

— Да... Мистер Билейн, Билли Френч как раз вернулся с обеда. Хотите с ним поговорить?

— Нет, но спросите его, что он ел на обед.

— Одну минуту...

Я ждал. Наконец он снова взял трубку.

— Он сказал, ростбиф и картофельное пюре.

— Это отвратительно!

— Что?

— Мне надо уйти, мистер Гроверс.

— Я думал, вы хотели получить дополнительные сведения обо мне.

— Я пришлю вам вопросник.

Я положил трубку, закинул ноги на стол. Все было под контролем. У меня. Детектива Ника Билейна. Но оставалось еще решить загадку Красного Воробья. Оставались Селин и Леди Смерть. Леди Смерть — куда же без нее.

И оставалась шлюха.

А как еще ее назвать?

20

Надо было подумать об этом. Надо было подумать обо всем. Каким-то образом это все увязывалось: космос, смерть, Воробей, жмуры, Селин, Синди, Басс. Но сложить это в единую картину я не мог. Пока что. В висках у меня застучало. Надо было уходить отсюда.

На стенах кабинета ответы не написаны. Ум заходил за разум, я воображал себя в постели с Леди Смертью, Синди и Джинни Нитро — со всеми одновременно. Это уже чересчур. Я надел котелок и вышел за дверь.

Я очутился на ипподроме. В Голливудском парке. Живых лошадей там не было. Бега проходили в Оук-Три. Их передавали по телевизору, а ставки принимали здесь как обычно.

Я поехал вверх на эскалаторе. Человек, стоявший сзади, наткнулся на мой брючный карман.

— Ах, извините, — сказал он. — Прошу прощения.

Бумажник я всегда ношу в левом грудном кармане. Учишься коечему, учишься. С годами.

Прошел мимо Скакового клуба, заглянул. Компания стариков. Денежных. Как им это удалось? И сколько тебе самому нужно? И что это все значит? Все мы умираем нищими, и большинство из нас живут в нищете. Это игра на истощение. Надеть утром туфли и то победа.

Я толкнул дверь и вошел во внутренний двор клуба. Там стоял почтальон и хлебал кофе. Я подошел к нему.

— Какой дурак тебя впустил? — спросил я его.

Лицо у него было деформировано. Распухло.

— Билейн, — сказал он, — я тебя убью.

— Тебе не надо пить кофе, — сказал я. — Ночью спать не будешь.

— Я замочу тебя, Билейн, твои дни сочтены.

— На кого бы ты хотел поставить?

— На Трепаного.

— На, — я сунул ему два доллара, — пусть тебе повезет.

— Ой, спасибо, Билейн!

— Не за что, — сказал я и отошел.

Нет человеку покоя. Вечно его достают. Не скроешься.

Я подошел к стойке и взял большой стакан кофе.

— На кого бы ты поставил, Билейн? — спросила официантка.

— Не скажу. Ставки поднимешь — выигрыша не будет.

— Ну спасибо тебе, урод, — сказала она.

Я стянул обратно со стойки чаевые и сунул в карман. Потом нашел свободный стул возле сетки, сел и раскрыл «Программу». Тут за спиной у меня раздался голос:

— Двумя долларами ты не обойдешься, Билейн. Тебе конец.

Это был почтальон. Я встал и повернулся к нему.

— Тогда отдавай к свиньям два доллара!

— Забудь о них.

— Я из тебя форшмак сделаю! — сказал я.

Он улыбнулся и шагнул ко мне. Я почувствовал лезвие, уткнувшееся в мой живот. Пока только кончик — остальное он прикрывал пальцами.

— У меня здесь 15 сантиметров, и я с удовольствием воткну их в твое толстое кретинское брюхо!

— Ты почему сегодня не работаешь? Кто будет почту разносить?

— Заткнись! Я сейчас решаю, убить тебя или нет.

— Друг, у меня с собой десять долларов. Можешь поставить их на Трепаного.

— Сколько?

— Двадцать.

— Сколько?

Острие ножа прокололо мне кожу.

— Пятьдесят.

— Ладно, залезь в свой бумажник, вынь пятьдесят и засунь мне в карман рубашки.

За ушами у меня вспотело. Я вынул из левого грудного кармана бумажник, извлек из него 50 долларов и засунул ему в карман. Он убрал лезвие.

— А теперь сядь, раскрой свою «Программу» и начинай читать.

Я подчинился. Потом ощутил острие затылком.

— Считай, что тебе повезло, — сказал он.

И ушел.

Я остался на месте и допил свой кофе. Потом встал и вышел. Спустился на эскалаторе. Пришел на стоянку. Сел в машину и уехал оттуда. Бывают такие неудачные дни. Я доехал до Голливуда, поставил где-то машину и зашел в кинотеатр. Купил воздушной кукурузы, лимонаду и сел. Фильм уже шел, но я не смотрел его. Только жевал кукурузу и пил лимонад. И думал, пришел ли Трепаный первым.

21

В эту ночь я не мог уснуть. Я пил пиво, я пил вино, пил водку, все без толку.

Я ничего не решил. Все дела на мертвой точке. Отец говорил мне, что я буду неудачником. Он тоже был неудачником. Дурная наследственность.

Я включил телевизор. В спальне у меня тоже был. Вылезла девица и сказала, что она поговорит со мной и мне станет хорошо. Единственное, что нужно для этого, — кредитная карточка. И я решил обойтись без этого. Потом лицо женщины исчезло с экрана и появилась Джинни Нитро.

— Билейн, — сказала она, — предупреждаю: не лезь в мои дела.

— Что? — сказал я.

Она повторила свои слова, и я выключил телевизор. Снова налил себе водки. Выключил свет и в темноте сел на кровать. И врезал водки.

Потом раздалось громкое жужжание, как будто пчел над потревоженным ульем. Потом вспышка малинового света, и передо мной возникла Джинни Нитро. Я испугался до смерти.

— Испугался, Билейн? — спросила она.

— С чего это, — ответил я. — Но что за манеры? Ты никогда не стучишься перед там, как войти.

Джинни Нитро оглядела комнату.

— Тебе нужна служанка, — сказала она. — У тебя свинарник.

Я допил водку, отбросил стакан.

— Тебя не касается, я тебя прищучу.

— Как сыщику тебе недостает трех качеств.

— Каких же?

— Напора, нацеленности и находчивости.

— Да? Ну, твою-то игру я раскусил, крошка.

— Да что ты?

— Ты втерлась к Гроверсу, потому что он похоронщик, а тебе нужны мертвые тела, чтобы поселить в них твоих друзей — пришельцев.

Она села в кресло, взяла мою сигарету, закурила и рассмеялась.

— Похоже, что я обитаю в мертвом теле?

— Да не очень.

— Мы сами создаем себе тела. Смотри!

Снова жужжание, вспышка малинового света, и в углу комнаты появилась другая Джинни Нитро. Она стояла возле моего цветочного горшка.

— Привет, Билейн, — сказала она.

— Привет, Билейн, — сказала та, что сидела в кресле.

— Э, — сказал я, — так это ты можешь быть одновременно в двух телах?

— Нет, — сказала Джинни Нитро, сидевшая в кресле. — Но, — сказала Джинни Нитро, стоявшая возле горшка, — мы можем переноситься из одного тела в другое.

Я вылез из постели, подобрал стакан и налил себе еще водки.

— Ты в трусах спишь, — сказала одна Джинни Нитро.

— Какая гадость, — сказала другая.

Я влез в постель со стаканом и облокотился на подушку.

Опять зажужжало, вспыхнул малиновый свет, и Джинни возле горшка исчезла. Я посмотрел на ту, что в кресле.

— Слушай, — сказал я, — Гроверс нанял меня, чтобы я его от тебя избавил, и я намерен это сделать.

— Для человека, чьи таланты не превышают нулевой отметки, ты много на себя берешь.

— Да? Ну, я справлялся с делами и покруче!

— Правда? Расскажи о каком-нибудь.

— Все мои досье секретны.

— Секретны или не существуют?

— Не раздражай меня, Джинни, или я...

— Что?

— Я... — Я поднес ко рту водку. И вдруг моя рука замерла в пяти сантиметрах от губ. Я не мог пошевелиться.

— Ты — третий сорт, Билейн. Не связывайся со мной. Я сейчас добрая. Считай, что тебе повезло.

— Считать, что повезло? Сегодня я это уже один раз слышал.

Жужжание, малиновая вспышка, и Джинни Нитро исчезла.

Я сидел на кровати, не мог пошевелиться, стакан был по-прежнему в пяти сантиметрах от губ. Я сидел и ждал. У меня было время поразмыслить о моей профессиональной судьбе. Размышлять было почти не о чем. Может, я выбрал не ту профессию. Но менять ее было уже поздно.

Я сидел и ждал. Минут через десять началось покалывание во всем теле. Я уже мог немного пошевелить рукой. Потом чуть больше. Я поднес водку ко рту, ухитрился наклонить голову и осушил стакан. Бросил его на пол, вытянулся на кровати и снова стал ждать сна. Услышал стрельбу за окном и понял, что мир в полном порядке. Через пять минут я уснул, так же как все остальные.

22

Я проснулся в угнетенном настроении. Я смотрел на потолок, на трещины в потолке. Я увидел пробегавшего по чему-то бизона. Я подумал, что по мне. Потом увидел змею с кроликом в пасти. Солнце проникло сквозь дырки в занавеске и образовало у меня на животе свастику. В заду у меня чесалось. Опять начинается геморрой? Шея занемела, во рту был вкус кислого молока.

Я встал и отправился в ванную. Смотреть в зеркало было противно, но я посмотрел. На лице подавленность и незадачливость. Темные мешки под глазами. Маленькие, трусливые глазки, глазки грызуна, пойманного етитской кошкой. Плоть моя выглядела так, как будто она уже не старается. Как будто ей отвратительно быть частью меня. Брови нависли, изогнулись, выглядели так, как будто они умалишенные; умалишенная волосяная поросль. Кошмар. Я выглядел отвратительно. И даже опорожниться был не готов. Закупорило. Я подошел к унитазу, чтобы пописать. Нацелился правильно, но почему-то пошло вкось и попало на пол. Я перенацелился и описал все сиденье, которое забыл поднять. Потом оторвал туалетной бумаги и подтер. Вытер сиденье. Кинул бумагу в корзину и спустил воду. Потом я подошел к окну, выглянул и увидел кошку, гадившую на соседней крыше. Вернулся к умывальнику, нашел зубную щетку, выдавил из тюбика. Выдавилось слишком много. Лениво шлепнулось на зубную щетку, а с нее в раковину. Почему-то зеленое. Как зеленый червяк. Я подцепил его пальцем, намазал на щетку и стал чистить. Зубы. Какая же это дрянь. Мы должны есть. Едим и снова едим. Мы все отвратительны, обречены на наши мелкие, грязные занятия. Едим, пердим, чешемся, улыбаемся, отмечаем праздники.

Я дочистил зубы и вернулся в постель. Из меня вышел весь пар, кончилась вся заводка. Я был как чертежная кнопка, как кусок линолеума.

Решил лежать в постели до полудня. Может, к тому времени половина мира вымрет, и переносить оставшуюся будет вполовину противней. Может быть, если встать в полдень, буду выглядеть лучше, чувствовать себя лучше. Я знал одного, который не опорожнялся по нескольку дней. В конце концов он просто взорвался. Натурально. Говно вылетело из живота.

Потом зазвонил телефон. Я не вмешивался. Утром я никогда не подхожу к телефону. Он прозвонил пять раз и замолчал. Слава Богу. Я наедине с собой. И хотя я отвратителен, это лучше, чем быть с кем-нибудь еще, с кем угодно, все они заняты своими жалкими мелкими фокусами и кульбитами. Я натянул одеяло до подбородка и ждал.

23

Я пришел на ипподром к четвертому заезду. Мне нужен был хоть где-нибудь, но успех. Все мои расследования зашли в тупик. Я вытащил список. У меня все было выписано:

1. Выяснить, Селин ли Селин. Сообщить о результатах Леди Смерти.
2. Разыскать Красного Воробья.
3. Выяснить, гуляет ли от Басса Синди. Если да — прищучить ее.
4. Избавить Гроверса от Космической Пришелицы.

Я сложил список и сунул в карман. Раскрыл «Программу». Лошади выходили на старт. Был спокойный теплый день. Все вокруг казалось погруженным в сон. Тут я услышал звук за спиной. Кто-то сидел позади меня. Я обернулся. Это был Селин. Он улыбнулся мне.

— Хорошая погода, — сказал он.

— А ты тут с какой стати? — спросил я.

— Заплатил за вход. Там вопросов не задавали, — сказал Селин.

— Следишь за мной, пакость? — спросил я.

— Хотел спросить у тебя то же самое, — сказал он.

— Я много чего не могу понять, — сказал я.

— Я тоже, — сказал он. Потом перелез через спинку и сел рядом со мной. — Надо потолковать.

— Правильно, — сказал я. — Для начала: как твое имя? Твое настоящее имя?

Я почувствовал, как в бок мне уткнулся короткоствольный револьвер. Он держал его под пиджаком.

— У вас есть на него разрешение? — спросил я.

— Вопросы здесь задаю я, — сказал он и слегка ткнул меня дулом.

— Ну задавайте, — сказал я.

— Кто вас навел на меня?

— Леди Смерть.

— Леди Смерть? — засмеялся он. — Не надо полоскать мне мозги!

— Я не полощу. Она так назвалась. «Леди Смерть».

— Ненормальная, что ли?

— Может быть.

— Где мне найти эту суку?

— Не знаю. Она сама со мной связывается.

— И думаете, я на это куплюсь?

— Не знаю, мне больше нечего продать.

— Что ей нужно?

— Она хочет знать, настоящий ли вы Селин.

— Вот как?

— Да.

— Кто тебе нравится в этом забеге? — спросил он.

— Зеленая Луна, — сказал я.

— Зеленая Луна? И я ее выбрал.

— Ладно, — сказал я, — я тоже на нее поставлю. Сейчас вернусь. — Я стал было подниматься.

— Сиди, — приказал он, — если не хочешь иметь сквозняк в организме.

Я сел.

— Так, — сказал он, — мне нужно, чтобы эта женщина перестала висеть у меня на хвосте. Мне нужно ее настоящее имя. Вздор насчет Леди Смерти мне не нужен. И я хочу, чтобы ты этим занялся. Конкретно говоря — прямо сейчас!

— Но моя клиентка *она*! Как же вы можете быть моим клиентом?

— А это ты сам придумай, пузатый.

— Пузатый?

— У тебя брюхо висит.

— Висит или не висит, если я на кого-то работаю, мне платят. А стою я недешево.

— А именно?

— Шесть долларов в час.

Он залез в карман и вытащил пачку денег. Бросил мне на грудь.

— Тут за месяц вперед.

В это время толпа зашумела. Лошади вышли на прямую — и кто, вы думаете, шел впереди на три корпуса? И кто выиграл четыре? *Зеленая Луна*. Ставки 6 к 1.

— Черт, — сказал я ему, — вы мне дорого стоите. Зеленая Луна выиграла.

— Заткнись, — сказал он, — и займись моим делом.

— Ладно, ладно, — сказал я, — как с вами связаться?

— Вот мой телефон, — сказал он и вручил мне клочок бумаги. Потом встал, вышел в проход и исчез.

Я понимал, что вовлечен в какую-то серьезную историю, но разобраться в ней не мог. Что ж, надо просто заняться делом, вот и все.

Я раскрыл «Программу» и выбрал лошадь в пятом забеге.

24

На другой день я отправился в похоронное бюро «Серебряная пристань» — поглядеть, что там и как. Чертовски выгодный бизнес — мертвых сезонов в нем не бывает. Я поставил машину и вошел. Приятное местечко. Тихий зал. Толстые грязные ковры. Я обошел его, заглянул в другую большую комнату. Заставлена гробами. Большими, маленькими, для толстых, для тощих. Некоторые приобретают гробы заранее. Я не собираюсь. К чертовой матери.

Людей никого не было. Я мог спереть гроб. Привязать его к машине. Уехать. Где Гроверс? Где все?

Потом меня стало подмывать, и все сильнее. И я не удержался. Поднял крышку гроба и заглянул внутрь. Я ЗАКРИЧАЛ. Я отпустил крышку.

Там лежала голая женщина. Молодая, красотка, но мертвая. Уй!

Вбежал Хал Гроверс.

— БИЛЕЙН! ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ?

— ДЕЛАЮ? ДЕЛАЮ? ТО ЕСТЬ КАК? А ВАС ГДЕ ЧЕРТИ НОСИЛИ, ГРОВЕРС?

— В МУЖСКОМ ТУАЛЕТЕ. ПОЧЕМУ ВЫ КРИЧИТЕ?

Я показал.

— У ВАС ТРУП В ГРОБУ! МАЛЮТКА! С БУФЕРАМИ!

Гроверс подошел и поднял крышку.

— Тут никого нет, мистер Билейн.

— Что?

Я подошел и заглянул. Гроб был пуст.

Я повернулся и схватил Гроверса за лацканы.

— Не валяй со мной дурака, мальчик! Я видел. Я видел ее в гробу! Мертвая курочка! Дурака из меня строить вздумали? Ты и... Билли Френч... кровосос! Со мной шутки плохи, Гроверс!

— Никто с вами не шутит, Билейн. У вас галлюцинации.

Я отпустил его лацканы.

— Извините, — сказал я. — Как же я не догадался.

— О чем?

— Это Джинни Нитро. Она мудрует надо мной. Она знает, что я

занялся вашим делом.

— Последние дни я ее не видел. Может быть, она убралась.

— Она не убралась. Она ждет, Гроверс.

— Чего ждет?

— Я пока не знаю.

Я круто повернулся и оглядел комнату.

— Гроверс, быстро! Сколько у вас здесь покойников?

— Мы подготовили двух. Они в Прощальном зале.

— Я должен их увидеть!

— Что?

— Вы хотите, чтобы я разобрался с делом?

— Я хочу, чтобы вы... разобрались.

— Тогда я должен увидеть обоих жмуров.

— Зачем?

— Если скажу, вы все равно не поймете.

— Что это значит?

— Неважно. Дайте мне взглянуть.

— Это против всяких правил.

— Давайте! Давайте!

— Хорошо. Идите за мной...

Мы перешли в Прощальный зал. Шикарное место. Темно. Свечи горят. Три гроба.

— Ладно, посмотрим, — сказал я Гроверсу.

— Вы можете объяснить мне зачем?

— Джинни Нитро хочет разместить своих космических пришельцев в этих мертвых телах. Дать им убежище, оболочку. Ну понимаете, как у черепахи. Нитро околачивается у вас, чтобы раздобыть эти тела.

— Но это мертвые тела, они разлагаются. А кроме того, мы намерены их похоронить. Как ими можно воспользоваться?

— Космические пришельцы прячутся в мертвых телах, покуда их не похоронили, а потом находят другие мертвые тела.

— Но если им нужно прятаться, зачем же в мертвых телах? Почему бы им не прятаться в цистернах, или в пещерах, или в чем-нибудь таком? Почему они не воспользуются живыми телами?

— Болван, живые тела будут реагировать на них. Откройте эти гробы, Гроверс!

— Билейн, я думаю, что вы сумасшедший!

— Давайте открывайте!

Гроверс открыл первый. Хороший дубовый гроб. Там лежал мужчина лет тридцати восьми, густые рыжие волосы, дешевый костюм. Я повернулся и посмотрел на Гроверса.

— Один из них сейчас в нем.

— Откуда вы знаете?

— Я видел, как он шевельнулся!

— Что?

— Я видел, он шевельнулся!

Я протянул руку и схватил мужчину за горло.

— Давай, давай! Вылезай! Я знаю, что ты здесь!

Когда я встряхнул его, рот у него открылся и выплюнул какую-то белую вату.

Я отскочил.

— ЧЕРТ! ЧТО ЭТО?

Гроверс только застонал.

— Билейн, я битый час трудился, подкладывал ему за щеки, чтобы у него был здоровый, цветущий вид. Теперь опять все ввалилось. Опять начинай все сначала.

— Извините, я не знал. Но думаю, мы близки к цели. Откройте другой гроб. Пожалуйста!

— Сами откройте. Это просто отвратительно. Не знаю, почему разрешил вам. Я, наверно, свихнулся.

Я подошел и открыл сосновый гроб. Заглянул. И не мог оторваться. Я не верил своим глазам.

— Это что, такая шутка, Гроверс? Так не шутят. Это вовсе не смешно.

Тело, вытянувшееся в гробу, было мной. Гроб был обит бархатом, и я улыбался восковой улыбкой. На мне мятый темно-коричневый костюм, а руки сложены на груди и держат белую гвоздику. Я обернулся и посмотрел в глаза Гроверсу.

— Это что за чертовщина? Где вы его раздобыли?

— О, это мистер Эндрю Дуглас, скоропостижно скончался от инфаркта. Несколько десятилетий он был одним из активнейших членов местной общины.

— Это фуфло, Гроверс. Этот жмур — я! *Я!*

— Ерунда, — сказал Гроверс. Он подошел к гробу и заглянул внутрь. — Это мистер Дуглас.

Я подошел и заглянул внутрь. Там лежал седой старик лет семидесяти или восьмидесяти. Выглядел он неплохо, ему нарумянили щеки, а губы подрисовали помадой. Кожа блестела, как навощенная. Но это был не я.

— Это Джинни Нитро, — сказал я, — крутит нам яйца.

— По-моему, вы совсем запутались, мистер Билейн.

— Заткнись, — сказал я.

Надо было подумать. Как-то это все сходилось. Должно было сойтись.

Тут вошел еще кто-то и встал в дверях.

— Тело подготовлено, Хал.

— Спасибо, Билли. Можете идти.

Билли Френч повернулся и вышел.

— Черт возьми, Гроверс, он руки не моет?

— То есть как?

— Я видел красное у него на руках.

— Ерунда.

— Я видел красное.

— Мистер Билейн, не угодно ли вам заглянуть в третий гроб? Хотя он пуст. Один джентльмен выбрал его заранее.

Я повернулся и посмотрел на гроб.

— А сам он здесь, Гроверс?

— Нет, джентльмен еще жив. Это предоплата. По предоплате мы делаем десятипроцентную скидку. Вы не хотите такой? У нас прекрасный выбор.

— Спасибо, Гроверс, но у меня назначена встреча... Я с вами свяжусь.

Я круто повернулся, вышел в зал, а оттуда — на свежий воздух. Тот подлец, который запасается гробом, — это тот подлец, который шесть раз в неделю трахается со своим кулаком.

Я влез в своего «жука», дал газу и вырулил на мостовую. Какой-то дурак в фургоне решил, что я его подрезал. Он показал мне палец. Я показал ему свой.

Начался дождь. Я поднял целое стекло в правой двери и включил радио.

25

Я поднялся на лифте на шестой этаж. Психиатра звали Сеймур Данди́. Я толкнул дверь; приемная была полна психов. Одни читал газету вверх ногами. Большинство остальных, мужчины и женщины, сидели тихо. Как бы даже не дышали. Атмосфера в комнате была тяжелая, мрачная. Я записался в журнале и сел. У моего соседа одна туфля была коричневая, другая черная.

— Слушай, друг, — сказал он.

— Ну? — ответил я.

— Не разменяешь цент?

— Сегодня — нет, — сказал я ему.

— Может, завтра? — продолжал он.

— Может, завтра, — сказал я.

— А если я тебя завтра не найду? — испугался он.

Надеюсь, что не найдешь, подумал я.

Мы ждали и ждали. Вместе. Не знает, что ли, психиатр, что ожидание — одна из тех вещей, которые сводят людей с ума? Всю жизнь люди ждут. Ждут новой жизни, ждут смерти. Ждут в очереди за туалетной бумагой. Ждут в очереди за деньгами. А если денег нет, ждут в очередях подольше. Ждешь, когда уснешь, а потом ждешь, когда проснешься. Ждешь женитьбу и ждешь развода. Ждешь дождя, ждешь, когда он кончится. Ждешь еды, а потом снова ждешь еды. Ждешь в приемной у врача вместе с психами и опасаешься, что ты один из них.

По-видимому, я ждал так долго, что уснул. Когда я проснулся, меня трясла секретарша и говорила:

— Мистер Билейн, мистер Билейн, вы следующий!

Это была уродливая старушенция, уродливей меня. Лицо ее было совсем близко, я даже испугался. Вот так, наверное, выглядит смерть, подумал я, — как эта перечница.

— Готов, моя золотая, — сказал я.

— Идите за мной, — сказала она.

Я прошел за ней через приемную. Она открыла дверь: за столом довольный жизнью мужик в темно-зеленой рубашке и расстегнутой вислой оранжевой кофте. Темные шторы, курит сигарету в мундштуке.

— Садитесь. — Он показал на кресло.

Секретарша закрыла дверь и куда-то делась.

Данди начал водить ручкой по бумаге. Уставясь на бумагу, сказал:

— Это обойдется вам в сто шестьдесят долларов за час.

— Хрен тебе, — сказал я.

Он поднял голову.

— Ха! Это мне нравится!

Поводил еще ручкой и сказал:

— Зачем вы пришли?

— Не знаю, с чего начать.

— Для начала посчитайте обратно от десяти.

— Посчитай твою мать, — сказал я.

— Ха! — сказал Данди. — А у вас со своей были сношения?

— Какого рода? Устные? Духовные? Поясни.

— Вы понимаете, о чем я спрашиваю.

— Нет, не понимаю.

Он сложил большой и указательный пальцы колечком и просунул в него указательный палец правой руки.

— Такие вот, — сказал он, — хм-м-м...

— Да, — сказал я, — вспоминаю: один раз она тоже сделала так рукой, а я туда просунул палец.

— Вы пришли надо мной насмехаться? — спросил Данди. — Не

надо со мной шутить!

Я навалился грудью на стол.

— Тебе повезло, дружок, что с тобой только шутят!

— Ах вот как? — Он откинулся в кресле.

— Так вот. И не валяй дурака, я невменяемый.

— Хорошо, хорошо, мистер Билейн. Что вам нужно?

Я грохнул кулаком по столу.

— ЧЕРТ ПОДЕРИ, МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!

— Ну конечно, мистер Билейн. А где вы меня нашли?

— На желтых страницах телефонной книги.

— На желтых страницах? Меня нет на желтых страницах.

— Нет, вы есть. Сеймур Данди, психиатр, Гарнер-билдинг, комната 604.

— Это комната 605. Я Сэмюэл Диллон, адвокат. Мистер Данди рядом. Боюсь, что вы ошиблись.

Я встал и улыбнулся.

— Морочишь мне голову, Данди, хочешь отделаться? Если думаешь меня перехитрить, у тебя куриное дерьмо вместо мозгов!

Я пришел сюда, чтобы выяснить, действительно ли действительность все эти дела с Селином, Красным Воробьем, Леди Смертью, космическими пришельцами, Сэмом и Синди Басс или у меня непорядки с психикой. Все это не лезет ни в какие ворота. Что-то со мной не так? И куда меня несет и зачем?

Человек, назвавшийся Сэмюэлом Диллоном, нажал кнопку на столе, и вскоре пришла секретарша. По-прежнему уродливей меня. Ничего нового.

— Молли, — сказал он, — пожалуйста, проводите джентльмена в соседний кабинет, к доктору Данди. Благодарю вас.

Я вышел за ней в коридор, она открыла мне дверь с номером 604 и шепнула:

— Соберись, шляпа...

Я опять вошел в набитую людьми приемную. Первым, кого я увидел, был тот, в коричневой туфле и в черной, который просил меня разменять цент. Он тоже меня увидел.

— Эй, мистер... — сказал он.

Я подошел к нему.

— С тобой то же самое, а? — спросил он.

— Что?

— Он, он... попал не в ту дверь... попал не в ту дверь...

Тогда я повернулся и вышел оттуда, поехал на лифте вниз. Подождал, пока лифт спустится на первый этаж. Потом подождал, пока откроется дверь. Потом вышел через вестибюль на улицу и нашел свою машину. Влез. Завел мотор. Подождал, пока он прогреется. Подъехал к светофору. Красный. Подождал. Нажал на прикуриватель и подождал. Зажегся зеленый, прикуриватель выскочил, и я прикурил на ходу. Я подумал, что мне лучше вернуться в свой кабинет. Я подумал, что меня там кто-то ждет.

26

Я ошибся. В кабинете никого не было. Я обошел его кругом и сел за стол.

У меня было странное чувство. Все как-то не складывалось. Почему, например, в приемной у адвоката человек читал газету вверх ногами? Ему полагалось сидеть у психиатра. А может, только наружные страницы газеты были напечатаны вверх ногами, а он читал внут-

ренние, напечатанные нормально?

И есть ли Бог? И где Красный Воробей? Вопросов передо мной стояло много. Вылезти утром из постели — все равно что уткнуться в глухую стену Вселенной. Может, лучше пойти в стриптиз-бар и засунуть пять долларов в трусики? Забыться. Или пойти на боксерский матч, посмотреть, как два мужика мудохают друг друга?

Но жизнь в человеке держится болями и бедами. Или стараниями избежать боли и бед. Это занятие ежедневное и на целый день, а иногда и ночь и не приносит отдыха. В последнем моем сне я лежал под слоном, я не мог пошевелиться, а он вываливал на меня одну из самых больших какашек, какие бывают в природе, и она уже почти упала, но тут мой кот Гамбургер прошел по моей голове и я проснулся. Расскажешь этот сон психиатру, и он сочинит из него что-то ужасное. Раз ты ему столько платишь, он обязан постараться, чтобы у тебя стало тяжело на душе. Он скажет тебе, что какашка — это пенис и что ты либо боишься его, либо хочешь его, — словом, какую-нибудь такую ахинею. В действительности же он сам боится или хочет пениса. А это просто сон про большую слоновью какашку, только и всего. Иногда вещи именно таковы, какими кажутся, и нечего огород городить. Лучший толкователь сна — тот, кто его видел. А деньги держи в кармане. Или поставь на хорошую лошадь.

Я врезал саке, неподогретой. Уши у меня вздрогнули, и я почувствовал себя немного лучше. Мозг мой стал разогреваться. Я еще не мертв, я только в стадии быстрого распада. А кто не в ней? Мы все в одной дырявой лодке, подлизываемся к жизни.

Возьмите, например, Рождество. Ага, возьмите его отсюда к черту. Человек, который его придумал, не таскал с собой лишнего багажа. А нам, остальным, надо сперва от барахла избавиться, чтобы выяснить, где мы есть. Ну ладно, не где мы есть, а где нас нет. Чем больше ты выкинул барахла, тем больше ты увидишь. Тут все наоборот. Иди задом, и нирвана вскочит тебе на колени. Обязательно.

Я еще врезал саке. Я приходил в себя. Выходил из виража. Яйца наотлет. Я Ник Билейн, суперсыщик.

Потом зазвонил телефон. Я взял трубку, как всякий нормальный человек взял бы трубку. Ну не совсем. Иногда телефон напоминает мне о слоновьей какашке. Столько всякого говна из него слышишь. Конечно, телефон он и есть телефон, а вот что идет через него — это другое дело.

— Вшивый из тебя философ, — сказала Леди Смерть.

— Какой есть, — ответил я.

— Люди живут иллюзиями, — сказала она.

— Ну. А что еще есть кроме?

— Конец иллюзий, — ответила она.

— Скажи пожалуйста, — сказал я.

— Сам скажи. Долго ты будешь валандаться с Селином?

— У меня все в ажуре, крошка.

— Просвети меня, толстяк.

— Давайте встретимся у Муссо завтра в 2.30 пополудни.

— Хорошо. Но смотри если у тебя ничего нет. Или есть?

— Крошка, я храню свою секрецию.

— Это еще что такое?

— Извините, я хотел сказать: *секреты.*

— Надеюсь, что они у тебя есть...

— Жизнью могу поклясться.

— Ты уже это сделал, — сказала Леди Смерть и повесила трубку.

Я положил трубку, поглядел в пустоту. Взял из пепельницы потухшую сигару, зажег, закашлялся.

Потом взял трубку и набрал номер Селина.
После четырех гудков он ответил:
— Да?
— Сэр, вы выиграли двухфунтовую коробку вишни в шоколаде и бесплатную поездку в Рим.
— Не знаю, кто ты, но не засирай мне мозги.
— Я Ник Билейн...
— Конфеты я возьму...
— Нам надо встретиться у Муссо, завтра в 2.30 пополудни.
— Зачем?
— Ты появись, французик, и твоим неприятностям придет конец.
— Ты угощаешь?
— Да.
— Приду... — Он повесил трубку.
Никто уже не говорит «до свидания», ни одна душа.
Я поглядел на саке.
А потом выпил.

27

Было 2.15 дня. Я занял столик у Муссо. Передо мной была водка с лимонадом. Предстояла встреча Селина с Леди Смертью. Оба — мои клиенты. Дела шли хорошо, но неизвестно куда. Из-за другого столика на меня пялился человек. Некоторые пялятся прямо как коровы. Они не понимают, что пялят. Я врезал водки, поставил стакан; поднял голову. Он продолжал пялиться. Дам ему две минуты, подумал я, и если не перестанет, начищу ему рыло.

Я вытерпел минуту и 45 секунд, но тут он встал и пошел к моему столу. Я пощупал кобуру. На месте. Твердый. Самая твердая конечность, какая бывает у человека. А малый этот был похож на сторожа платной стоянки. Или же на зубного врача. Отвратные усики и фальшивая улыбка. Или же отвратная улыбка и фальшивые усики. Подошел к моему столу и торчит надо мной.

— Слышь, друг, — сказал я, — извини, у меня нет лишней мелочи.
— Да я не стрельнуть у тебя хотел.
Не нравился он мне. Глаза как у дохлой рыбы.
— Так какие у тебя вопросы? Тебя выселили из мотеля?
— Нет, — сказал он, — я живу с мамой.
— Сколько тебе лет?
— Сорок шесть, — сказал он.
— Это плохо.
— Нет, *ей* плохо. Недержание. Клеенки. Все такое.
— А-а, — сказал я, — жаль.
— Мне тоже.
Он все торчал надо мной.
— Ну, — сказал я, — не знаю, не знаю, чем тебе помочь.
— Ничем не поможешь...
Я допил водку.
— Я просто хотел спросить, — сказал он, — спросить у тебя одну вещь.
— Ну-ну. Спрашивай.
— Ты не Спайк Дженкинс?
— Кто?
— Спайк Дженкинс. Ты выступал в Детройте, в тяжелом весе. Я видел твой бой с Тигром Форстером. Один из лучших боев на моей памяти.

— Кто победил? — спросил я.
— Тигр Форстер.
— Я не Дженкинс. Иди обратно и сядь на свое место.
— Ты не врешь мне? Ты не Спайк Дженкинс?
— И никогда не был.
— Ну надо же. — Он повернулся, ушел к своему столику и сел, как я велел ему.
Я взглянул на часы. Ровно 2.30. Где же они?
Я показал официанту «еще выпить»...
В 2.35 вошел Селин. Остановился, огляделся. Я помахал надетой на вилку салфеткой. Он подошел, сел.
— Мне шотландского с содовой, — сказал Селин.
Момент он выбрал удачно. Официант как раз подходил с моей второй водкой. Я дал ему заказ. А свою водку тут же выпил. У меня было странное чувство. Как будто ничто не имеет значения. Леди Смерть. Смерть. Селин. Эта гонка меня изнурила. Весь пар вышел. Существование не только абсурдно, оно вдобавок тяжелая работа. Подумать, сколько раз за жизнь ты надеваешь нижнее белье. Это кошмар, это отвратительно, это глупо.
А тот интересант опять торчал над нами. Он смотрел на Селина.
— Слушай, а этот мужик с тобой, он не Спайк Дженкинс?
— Сэр, — Селин посмотрел на него, — если вам дороги ваши яйца в их нынешнем состоянии, извольте немедленно отойти.
Тот ушел.
— Хорошо, — сказал Селин, — зачем я приглашен?
— Я собираюсь свести вас с Леди Смертью.
— Вот как, смерть — леди?
— Иногда...
Селину принесли стакан. Он выпил его залпом.
— А вашу Леди Смерть — мы намерены ее разоблачить? — спросил он.
— Вы когда-нибудь видели бой Спайка Дженкинса?
— Нет.
— Он был похож на меня, — сказал я.
— Мне не кажется это большим достижением.
Тут вошла *она*. Леди Смерть. Умопомрачительно одетая. Она подошла к нашему столу и поместила всю себя в кресло.
— Виски с лимонным соком, — сказала она.
Я кивнул официанту. Передал ему заказ.
— Я затрудняюсь представить вас друг другу, поскольку точно не знаю, кто вы такие на самом деле, — сказал я Селину.
— Какой же ты детектив? — спросил Селин.
— Лучший в Л.А.
— Да? А что значит Л.А.?
— Лох Ангельский.
— Ты пил?
— Недавно, — ответил я.
Прибыло виски для Леди Смерти. Она опрокинула. Потом посмотрела на Селина.
— Так представьтесь. Как вас зовут?
— Спайк Дженкинс.
— Спайк Дженкинс умер.
— Откуда вы знаете?
— *Я* знаю.
Я кивнул официанту и заказал нам еще по стакану.
Мы посидели, посмотрели друг на друга.
— Так, — сказал я, — кажется, мы на мертвой точке. Определен-

но на мертвой точке. А за напитки, между прочим, плачу я. Так давайте заключим небольшое пари, и кто проиграет, тот угощает по новой.

— Какое пари? — спросил Селин.

— Какое-нибудь простое, например: сколько цифр на ваших водительских правах. То есть в их номере.

— Глупый спор, — сказал Селин.

— Не порть нам игру, — сказал я.

— Не трухай, — сказала Леди Смерть.

— Ну, придется гадать, — сказал Селин.

— Попробуй, — сказал я.

— Не оплошай, малыш, — сказала Леди Смерть.

— Ладно, — решился Селин, — я скажу: восемь.

— Я говорю: семь, — сказала Леди Смерть.

— Я говорю: пять, — сказал я.

— Ну, — сказал я, — посмотрим на наши права, посмотрим.

Вынули права.

— Ага, — сказала Леди Смерть, — на моих семь!

— Черт, — сказал я, — на моих семь.

— На моих восемь, — сказал Селин.

— Не может того быть, — сказал я. — А ну-ка дай посмотреть.

Я взял у него права. Посчитал.

— На твоих семь. Ты засчитал букву, которая перед цифрами. Вот что ты сделал. Нате, посмотрите...

Я передал права Леди Смерти. Там было семь цифр и еще кое-какая информация: ЛУИ ФЕРДИНАНД ДЕТУШ, р. 1894.

Черт возьми. Я весь задрожал. Не крупной дрожью, но приличной. Громадным усилием воли я сократил ее до легкого трепета. Хорошенькое дело. Это *он*, и сидит с нами за столом у Муссо средь бела дня, клонящегося к 21-му веку.

Леди Смерть была в экстазе, иначе не скажешь — в экстазе. Она прямо вся расцвела и стала еще красивее.

— Отдайте мне, черт подери, права, — сказал Селин.

— Ну конечно, малыш, — сказала Леди Смерть и с улыбкой вернула их.

— Ну, — сказал я Селину, — похоже, мы с тобой проиграли. Так что бросим монету, кому угощать. А?

— Давай, — сказал Селин.

Я вытащил мой счастливый четвертак, подкинул его и крикнул Селину: «Говори!»

— Решка! — крикнул он.

Монета упала на стол. Орел.

Я взял ее и положил обратно в карман.

— Сдается мне, — сказал я Селину, — сегодня не твой день.

— Сегодня мой день, — сказала Леди Смерть.

И тут же принесли напитки.

— Запиши это на меня, — сказал Селин официанту.

Мы сидели, каждый со своим стаканом.

— Сдается мне, что меня кинули, — сказал Селин. И выпил. — Меня предупреждали насчет вас, чмыри лос-анджелесские.

— Как врач еще практикуешь? — спросил его я.

— Я убираюсь отсюда, — сказал он.

— Да брось, — сказала Леди Смерть, — выпей еще. Жизнь коротка.

— Нет, я отваливаю!

Он бросил на стол двадцатку, встал и ушел.

— Ну, — сказал я Леди Смерти, — он ушел от нас...

— Не совсем, — сказала она.

Раздался громкий визг тормозов. Потом глухой удар, как бы металла по телу. Я вскочил из-за стола и выбежал на улицу. Посреди Голливудского бульвара лежало неподвижное тело Селина. Толстуха в большой красной шляпе, сидевшая за рулем древнего «олдсмобиля», вылезла из машины и кричала, кричала, кричала. Селин лежал очень тихо. Я понял, что он мертв.

Я вернулся к Муссо. Леди С. исчезла. Я сел за стол. Водка моя стояла нетронутая. Я это исправил. Потом просто сидел. Праведные умирают старыми, подумал я. И продолжал сидеть.

— Эй, Дженкинс, — раздался голос надо мной. — Все твои друзья ушли. Куда ушли твои друзья?

Это был Торчала. Опять тут.

— Что ты пьешь? — спросил я.

— Ром с кока-колой.

Я поманил официанта.

— Два рома с кока-колой, — сказал я, — один мне, и один... — я показал, — ему.

Официант принес. Торчала сидел со своим ромом за своим столом, а я со своим — за своим столом.

Потом я услышал сирену. Вот когда ты ее не слышишь, она гудит по тебе. Я допил мой ром, получил счет, расплатился кредитной карточкой, оставил 20% на чай и ушел оттуда.

28

На другой день в кабинете я положил ноги на стол и закурил хорошую сигару. Я считал, что добился успеха. Я распутал дело. Я потерял двух клиентов, но дело распутал. Однако бабки подбивать рано. Оставался еще Красный Воробей. Оставался Джек Басс со своей Синди. И оставался Хал Граверс с этой космической, Джинни Нитро. Мысли мои перескакивали с Синди Басс на Джинни Нитро и обратно. Приятные размышления. Лучше, чем сидеть в шалаше и подстерегать с двустволкой летящих уток.

Я задумался о том, как приходят решения в жизни. Людям, которые что-то решают, помогает большое упорство и удача. Если упорствуешь достаточно долго, как правило, приходит и удача. Большинство людей, однако, не могут дождаться удачи — и бросают. Билейн — не такая сикуха. Боец. Козырь. Может, малость ленив. Но башка.

Я выдвинул правый верхний ящик, нашел водку и позволил себе выпить. За победу. Историю пишет победитель, и в окружении прекрасных дев...

Зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Билейн слушает.

— Мы еще встретимся, — сказала леди. Леди Смерть.

— Крошка, а мы не можем договориться?

— Это никому не удавалось, Билейн.

— Нарушим традицию, создадим прецедент, леди.

— Не выйдет, Билейн.

— Хорошо, ладно, может, договоримся о свидании, ну, СБЛИ?

— Что это значит?

— Свидание Без Летального Исхода.

— А какой в нем смысл?

— Леди, я смогу подготовиться.

— И без этого каждый должен подготовиться.

— Леди, они не готовятся, они забывают, они игнорируют. Или

так глупы, что не думают об этом.

— Меня это не интересует, Билейн.

— А что вас интересует, леди?

— Моя работа.

— Меня тоже, леди, меня тоже интересует моя работа.

— Тем лучше для тебя, толстяк. А позвонила я, чтобы сказать тебе, что я о тебе не забыла...

— Благодарю вас, леди, у меня просто от души отлегло.

— До скорого, Билейн...

Она дала отбой.

Всегда кто-нибудь испортит тебе день, а то и всю жизнь. Я погасил сигару, надел котелок, вышел за дверь, запер ее, дошел до лифта и поехал вниз. Постоял на улице, глядя, как они бегут кто куда. В животе у меня закрутило, и я прошел полквартала до бара «Затмение», вошел, сел на табурет. Надо было подумать. Оставались нераскрытые дела, и я не знал, с чего начать. Я заказал виски с лимонным соком. И с прицепом. Вообще-то хотелось залечь где-нибудь и пару недель проспать. Работа достала меня. Когда-то в ней был интерес. Не много, но все-таки. Да что тут рассказывать? Три раза женат, три раза разведен. Родился и созрел для смерти. Одно знал в жизни — распутывать дела, с которыми другой и мараться не стал бы. За мой гонорар.

Человек у дальнего края стойки смотрел на меня. Я чувствовал его взгляд. Кроме нас с ним и бармена — никого. Я допил свой стакан и попросил у бармена следующий. Никаких примет, кроме волос на лице, у него не было.

— Того же самого, а? — спросил он.

— Да, — сказал я, — только покрепче.

— За ту же цену? — спросил он.

— За какую можно, — ответил я.

— Что это значит?

— А ты не знаешь, хозяин?

— Нет...

— Ну так подумай, пока наливаешь.

Он отошел.

Человек с краю помахал мне рукой и крикнул:

— Как дела, Эдди?

— Я не Эдди.

— Ты похож на Эдди, — сказал он.

— Мне насрать, похож я на Эдди или нет, — ответил я.

— Ищешь неприятностей? — спросил он.

— Ага, — сказал я. — От тебя, что ли?

Бармен принес мне стакан, взял деньги, которые я положил на стойку, и сказал:

— Я думаю, вы не очень воспитанный человек.

— Кто сказал тебе, что ты можешь думать? — спросил я.

— Я не обязан вас обслуживать, — сказал он.

— Не хочешь моих денег — оставлю у себя.

— Я не *настолько* их хочу...

— Насколько же, скажи мне...

— БОЛЬШЕ ЕГО НЕ ОБСЛУЖИВАЙ! — заорал человек на краю.

— Еще слово, и я загоню тебе ногу в выхлоп! У тебя изо рта будут отсасывать красные пузыри резиновым шлангом.

Он только улыбнулся бледной улыбкой. Бармен стоял на прежнем месте.

— Слушай, — сказал я ему, — я зашел сюда, чтобы тихо и мирно выпить, а тут все начинают катить на меня шары! Кстати, ты не видел Красного Воробья?

— Красного Воробья? Кто это такой?

— Ты его узнаешь, когда ты его увидишь. Ладно, черт с ним...

Я допил стакан и вышел оттуда. На улице было лучше. И я пошел. Что-то должно был переломиться, но только не я. Я начал считать всех дураков, которые проходили мимо. Насчитал 50 за две с половиной минуты и вошел в соседний бар.

29

Я вошел и сел на табурет. И тут же бармен:

— Привет, Эдди, — сказал он.

— Я не Эдди, — сказал я.

— Я Эдди, — сказал он.

— Дурака валять будешь? — спросил я его.

— Нет, это ты валяешь, — сказал он.

— Слушай, бармен. Я мирный человек. Более или менее нормальный. Подмышек не нюхаю. Дамского белья не ношу. Но куда бы я ни пришел, меня начинают доставать, не дают передышки. Почему так?

— Я думаю, это тебе на роду написано.

— Ты, Эдди, погоди думать, а сообрази-ка мне двойную водку с тоником и лимончиком.

— У нас нет лимонов.

— Нет, есть. Я отсюда вижу.

— Этот лимон не для тебя.

— Ну? Для кого же? Для Элизабет Тейлор? Если хочешь спать сегодня в своей постели, давай лимон. Мне в водку. Мигом.

— Да? А то что ты сделаешь? Ты и чья армия?

— Еще одно слово, дурак, и у тебя будут проблемы с дыханием.

Он стоял, глядел на меня и раздумывал, продолжать ли базар. Потом моргнул и разумно отошел, занялся моим коктейлем. Я пристально следил за ним, чтобы без фокусов. Он принес стакан.

— Я пошутил, дорогой, ты что, шуток не понимаешь?

— Смотря как их скажут.

Эдди опять отошел, встал у дальнего края стойки.

Я поднял стакан, выпил залпом. Потом вытащил банкноту. Взял лимон, выдавил на банкноту. Потом обернул ею лимон и катнул по стойке к бармену. Лимон остановился прямо перед ним. Бармен посмотрел на лимон. Я медленно поднялся, немного размял шею, повернулся и вышел вон. Я решил вернуться в кабинет. Меня ждала работа. Глаза у меня были голубые, и никто не любил меня, кроме меня. Я пошел, напевая свой любимый мотивчик из «Кармен».

30

Я отпер дверь моего кабинета, распахнул ее — и кого я вижу? Джинни Нитро сидит за моим столом, нога на ногу и ногой болтает.

— Билейн, жалкий пьяница, как делишки? — улыбнулась она.

Выглядела изумительно. Понятно, почему влип Гроверс. А что из космоса — так не все ли равно? Выглядела так, что хотелось, чтобы их тут было побольше. Но Гроверс был мой клиент. Я должен был с этой разделаться, сковырнуть ее, убрать со сцены. Ни минуты покоя. Вечно на кого-то горбатишься.

Я обошел свой стол, плюхнулся в кресло, швырнул котелок на вешалку, закурил сигару и вздохнул. Джинни сидела на столе и болтала ногами.

— В ответ на твой вопрос, Джинни, делишки у меня ничего.

— Я пришла, чтобы заключить с тобой сделку, Билейн.

— Я бы лучше послушал сонату Скарлатти.

— Давно у тебя не было женщины?

— Кого это волнует?

— Тебя должно волновать.

— А если нет?

— А если да?

— Ты предлагаешь мне свой органон, Джинни?

— Может быть.

— Что еще за «может быть»? Или предлагаешь, или нет.

— Органон входит в сделку.

— Какую?

Джинни соскочила со стола и стала расхаживать по ковру. Она красиво расхаживала.

— Билейн, — сказала она, расхаживая, — я прибыла с первой волной вторжения из космоса. Мы намерены овладеть Землей.

— Зачем?

— Я с планеты Зарос. У нас перенаселенность. Нам нужна Земля для избыточного населения.

— Так какого же черта вы не едете? Вы совсем как люди. Никто ничего не заметит.

Джинни перестала расхаживать и повернулась ко мне.

— Билейн, мы выглядим не так. То, что ты видишь, — всего лишь мираж.

Она подошла и снова села на мой стол.

— А как ты выглядишь на самом деле? — спросил я.

— Вот как, — сказала она.

Вспышка малинового света. Я поглядел на стол. На нем лежало *создание*. Оно выглядело как средних размеров змея, только было покрыто жесткими волосами, а посередке располагался круглый мокрый горб с одним глазом. На голове глаз не было, только узкий ротик. Совершенно омерзительная штука. Я схватил телефон, поднял над головой и со всей силы ударил. Мимо. Пакость отползла в сторону. Она слезла на ковер.

Я побежал за ней, чтобы раздавить каблуком. Снова малиновая вспышка, и передо мной снова стояла Джинни.

— Идиот, — сказала она, — ты хотел меня убить. Не зли меня, а то я тебя ликвидирую.

Глаза у нее горели.

— Лады, крошка, лады, я просто немного растерялся. Извини.

— Ладно, забудем. Так вот, мы — передовой отряд, посланный на разведку. Но мы считаем разумным привлечь к нашему Делу коекого из людей, вроде тебя.

— Почему меня?

— Ты идеально подходишь: ты доверчив, эгоцентричен и бесхарактерен.

— Ну а Гроверс? Он зачем? Зачем мертвые тела? Это как вписывается?

Джинни рассмеялась.

— Не вписывается. Просто мы там *приземлились*. Я даже привязалась к нему... так, легкий флирт, чтобы не простаивать...

— А я? Ты в меня втрескалась, крошка?

— Ты можешь послужить нашему Делу.

Она двинулась ко мне. Я был в полном трансе. Ее тело прижалось к моему. Мы обнялись, и наши губы слились. Ее язык стрельнул мне в рот, он был горячим и ерзал, как змейка.

Я оттолкнул ее.

— Нет, извини, — сказал я, — не могу!

Она посмотрела на меня.

— В чем дело, Билейн? Устарел, что ли?

— Не в том дело, крошка...

— В чем?

— Не хочу тебя обидеть...

— Говори же...

— Ну, ты можешь опять превратиться в эту отвратную штуку с горбом посередке и одним глазом...

— Ах ты толстая скотина, заросцы прекрасны!

— Я знал, что ты не поймешь...

Я вернулся за стол, сел, выдвинул ящик, нашел пол-литра водки, отвернул пробку, врезал.

— Как вы приземлились? — спросил я у Джинни.

— В космической трубке.

— В космической трубке? Сколько вас?

— Шесть.

— Не знаю, смогу ли тебе помочь, крошка...

— Ты мне поможешь, Билейн.

— А если нет?

— Ты покойник.

— Черт! Сперва Леди Смерть. Теперь ты. Все вы, дамы, угрожаете мне смертью. Но, может, у меня найдется на это ответ!

Я полез в ящик за люгером. Я взял его в руку. Я снял его с предохранителя и направил на нее.

— Ты улетишь на свой Зарос, крошка!

— Давай, нажми собачку!

— Что?

— Я сказала: нажми собачку, Билейн!

— Думаешь не нажму? — Я почувствовал, что виски у меня вспотели. — Думаешь не нажму? — повторил я.

Джинни только улыбнулась.

— Нажми же собачку, Билейн!

Все лицо мое покрылось потом.

— Прошу тебя, вернись на Зарос, милая!

— НЕТ!

Я нажал спуск. Раздался выстрел, и пистолет подбросило у меня в руке. Я смахнул пот с глаз и поглядел. Джинни стояла там же и улыбалась мне. Я поглядел внимательней. У нее было что-то во рту. Пуля. Она поймала пулю зубами. Она подошла к столу, остановилась. Потом выплюнула пулю мне в пепельницу.

— Крошка, — сказал я, — с этим трюком мы можем заработать кучу денег. Давай объединимся! Мы разбогатеем! Подумай!

— И думать не хочу, Билейн. Это будет пустая трата моих талантов.

Я еще врезал водки. С Джинни было совсем непросто.

— А теперь, — сказала Джинни, — хочешь ты или нет, ты будешь служить нашему Делу, Делу Зароса. Мы еще уточняем наш план заселения Земли. Тебе дадут знать о нашем окончательном решении.

— Слушай, Джинни, а ты не можешь завербовать для этой чертовщины кого-нибудь другого?

Она улыбнулась.

— Билейн, ты *избран!*

Вспыхнvл малиновый свет, и она исчезла.

31

Я позвонил Гроверсу. Он был на месте.

— Как идут дела, Гроверс?

— Равномерно, — сказал он, — без простоев.

— Ваше дело с Джинни Нитро закрыто. Больше она вас не потревожит. Я пошлю вам счет за последние услуги.

— Последние услуги? Вы хотите надуть меня?

— Гроверс, я избавил вас от космической куколки. Теперь платите.

— Ладно, ладно. Но как вам это удалось?

— Профессиональный секрет, малыш.

— Ладно, я, наверно, должен быть благодарен.

— Не наверно, а точно. И заплатите по счету, если не хотите поселиться в одном из своих сосновых ящиков. Или вы предпочитаете ореховый?

— Так, давайте подумаем... — начал он.

Я вздохнул и бросил трубку.

Я положил ноги на стол. Дело двигалось. Оставалось только прищучить Синди Басс и отыскать Красного Воробья. Конечно, Джинни Нитро была теперь *моей* головной болью. Теперь я сам свой клиент. Зато Селина и Гроверса можно вычеркнуть. В каком-то смысле я уже ощущал себя настоящим профессионалом. Но не успел я расслабиться, как мои мысли снова посетила Леди Смерть. Она никуда не девалась.

Зазвонил телефон. Я поднял трубку. Это была Леди Смерть.

— Я никуда не девалась, Билейн.

— Почему бы вам не взять отпуск, красавица?

— Не могу. Мне очень нравится моя работа.

— Слушайте, можно задать вам вопрос?

— Конечно.

— Вы только на Земле работаете?

— В каком смысле?

— Ну, в смысле — распространяется ли ваша работа на... скажем, космических пришельцев?

— Конечно. На космических пришельцев, на червей, собак, блох, львов, пауков, на кого угодно.

— Приятно слышать.

— Что приятно слышать?

— Что вы работаете с космическими пришельцами.

— Вы мне надоели, Билейн.

— Это тоже приятно слышать.

— Слушайте, у меня дела.

— Ответьте только на один вопрос.

— Так уж и быть. На какой?

— Как вы убиваете космического пришельца?

— Элементарно.

— Пуля не действует. Чем вы пользуетесь?

— Это профессиональный секрет, Билейн.

— Мне вы можете сказать, крошка, у меня рот на замке.

— Толстяк, — сказала она перед тем, как дать отбой. — Возможно, я помогу вам в этом.

Я положил трубку и снова положил ноги на стол.

Черт, шесть космических пришельцев рыщут по земле и подключают меня к своему Делу. Надо бы сообщить властям. Ну да, много от них будет толку. Нет, надо разбираться самому. Дело, похоже, тяжелое. Может быть, стоит с ним повозиться. Я откупорил водку и

немного глотнул. Как-никак, а оставались еще Красный Воробей и Синди Басс. Я взял монету и подбросил: орел — Красный Воробей; решка — Синди Басс. Выпала решка. Я улыбнулся, откинулся в кресле и подумал о ней: Синди Басс. Надо прищучить.

32

Итак, чтобы отпраздновать мои успехи как лучшего, возможно, детектива в Лос-Анджелесе, я закрыл кабинет, спустился вниз на лифте и вышел на улицу. Попробовал пойти на юг, получилось. Вышел на бульвар Сансет и зашагал дальше. Чем плох Сансет в моем районе — там маловато баров. Пришлось пройтись. Наконец отыскал один, не первосортный. Мне не хотелось сидеть на табурете. Я сел за столик. Подошла официантка. Она была на высоких каблуках, в мини-юбке, в прозрачной блузке с бюстгальтером на поролоне. Все ей было мало́: ее наряд, ее мир, ее мозги. Лицо твердое как сталь. Когда она улыбалась, было больно. Больно ей, и больно мне. Но она улыбалась. Улыбка была такая фальшивая, что у меня поднялись волосы на руках. Я отвернулся.

— Здравствуй, птенчик! — сказала она. — Что будем пить?

Я не смотрел на ее лицо. Я смотрел ей в живот. Он был голый. На пупок налеплена бумажная розочка. Я сказал бумажной розе:

— Водку и тоник с лимоном.

— Несу, птенчик!

Она засеменила прочь, стараясь заманчиво вертеть помидорами. Не получалось.

У меня сразу испортилось настроение.

Не смей, не смей, Билейн, сказал я себе.

Не подействовало. Кругом гумозники. Победителей нет. Есть только кажущиеся победители. Все мы гоняемся за килограммом пустяков. Изо дня в день. Единственная потребность, кажется, — выжить. Но, кажется, этого недостаточно. Когда тебя дожидается Леди Смерть. Эта мысль сводила меня с ума.

Не думай об этом, Билейн, сказал я себе.

Не подействовало.

Пришла официантка со стаканом. Я выложил деньги. Она их взяла.

— Спасибо, птенчик.

— Погоди, — сказал я, — принеси мне сдачу.

— Тут сдачи нет.

— Тогда считай ее чаевыми.

Она широко раскрыла глаза. Они были пустые.

— Ты кто? Тоже ковбой чертов?

— Кто такой ковбой?

— Не знаешь, кто такой ковбой?

— Нет.

— Это кто даром прокатиться хочет.

— Это ты сама придумала?

— Нет. Так их девушки называют.

— Какие девушки? Пастушки?

— Мистер, у тебя клещ в жопе или что?

— Скорей всего «что».

— МЕРИ ЛУ! — услышал я громкий голос. — ЭТОТ МУДАК ТЕБЯ ДОСТАЕТ?

Кричал бармен, пигмей с большими бровями.

— Не беспокойся, Энди, с этим мудаком я управлюсь.

— Да, Мери Лу, — сказал я, — вижу, ты любишь с ними управляться.

— АХ ТЫ ГОВНОЕД! — завизжала она.

Я увидел, что бровастый перемахнул через стойку. Неплохо для такого плюгавого. Я осушил стакан и встал ему навстречу. Нырнул под его правую и въехал коленом ему между ног. Он упал, покатился по полу. Я пнул его в зад и вышел на бульвар Сансет.

Чем дальше, тем больше не везет мне с барами.

33

Я отправился домой и стал пить, и так прошли этот день и ночь.

Проснулся я в полдень, удалил шлаки, почистил зубы, побрился, задумался. Чувствовал себя неплохо. Мало чего чувствовал. Оделся. Взял яйцо, поставил варить. Выпил стакан томатного сока пополам с пивом. Облил яйцо холодной водой, облупил и съел. Теперь я был в полной готовности, полнее некуда. Я взял телефон и позвонил в контору Джеку Бассу. Сказал ему, кто я. Он как будто не обрадовался.

— Джек, — сказал я ему, — помнишь, я говорил тебе про француза?

— Да? Что с французом?

— Я его устранил.

— Как?

— Он умер.

— Хорошо. Так это он был?

— Ну, он был с ней в контакте.

— В контакте? Что еще за контакт?

— Не хочу тебя огорчать.

— А ты попробуй.

— Слушай, я пытаюсь прищучить Синди. Ты меня для этого нанял. Так?

— Не знаю, зачем я тебя нанял. Кажется, это была ошибка.

— Джек, я разобрался с французом. Он мертв.

— Ну и что это нам дает?

— Он не может ее трахать.

— А он трахал?

— Джек...

— А ты? Все эти «взять за жопу»! Ты что, извращенец?

— Слушай, я сел ей на хвост. Нам нужны неопровержимые улики.

— Ну вот, снова здорово!

— Мы близки к цели, Джек. Теперь уже недолго. Доверься мне.

— Так там был не один француз?

— Я думаю, да.

— Ты думаешь? Думаешь? Дьявол, я плачу тебе хорошие деньги. Сколько недель прошло? И все, что ты можешь мне сообщить, это мертвый француз и «я думаю»? Ты там груши околачиваешь! Мне нужен результат! Мне нужны доказательства! Мне нужна полная ясность!

— Еще семь дней, Джек.

— Даю тебе шесть.

— Шесть дней, Джек.

Трубка замолчала. Потом он снова заговорил:

— Ладно. Через час я уезжаю в аэропорт. У меня дела на Востоке. Вернусь через шесть дней.

— Все будет разгадано, малыш.

— Не называй меня малышом. Что еще за номера?

— Это уменьшительное.

— Кончай тянуть волынку, или я пошлю тебя к чертовой матери, говноед!

— Это ты мне, Джек?

Трубка у меня в руке молчала. Он там повесил. Балбес. Ладно... пора было браться за дело...

34

И вот я снова сижу в машине невдалеке от дома Басса, за треть квартала. Вечер, часов 8. Красный «мерседес» Синди стоял на дорожке. Я чувствовал: что-то будет. Что-то должно случиться. Это носилось в воздухе. Я погасил сигару. Взял радиотелефон и позвонил в тотализатор, чтобы узнать результаты 9 заезда. Опять проиграл. Жизнь изнуряла. Я ощущал подавленность, пустоту. Болели ступни.

Синди, наверно, сидит там, скрестив теплые ноги, смотрит какую-нибудь очередную глупость по телевизору и смеется. Потом я подумал о Джинни Нитро и пяти ее космических приятелях. Они хотят завербовать меня. Я не продаюсь. Я должен накрыть эту шайку. Есть какой-нибудь способ. Может быть, если сумею найти Красного Воробья, Красный Воробей пропоет мне ответ. Или я рехнулся? Или это сон?

Я взял телефон и позвонил Джону Бартону. Он был на месте.

— Алло, Джон, говорит Билейн. Никак не могу выйти на Красного Воробья. Может, вам взять другого человека?

— Нет, Билейн, я в вас верю, вы справитесь.

— Вы правда так думаете?

— Не сомневаюсь ни минуты.

— Хорошо, я продолжаю поиски.

— Правильно.

— Если что-то возникнет, я с вами свяжусь.

— Действуйте. Спокойной ночи.

Он повесил трубку. Хороший мужик.

Я хотел было снова зажечь сигару. Чуть не выплюнул ее. Из дома вышла Синди Басс. Она направлялась к машине. Влезла.

Детка, детка, откройся мне.

Она завела мотор, включила фары, задом подала на улицу. Развернулась, поехала на север. Я следовал за ней в нескольких десятках метров. Потом она свернула на главный бульвар, точнее, на Тихоокеанское прибрежное шоссе. Она направлялась на юг. Я держался в трех корпусах за ней. Она проехала перекресток, а передо мной зажегся красный свет. Пришлось рисковать. Прошел под чьим-то носом, но не столкнулся. Я услышал гудки, и кто-то обозвал меня мудаком. Не хватает людям оригинальности.

Я снова шел за ней в трех корпусах. Она ехала по правой полосе. Сбавила ход, свернула направо, к мотелю. Мотель «Медовые дюны». Мило. Остановилась у номера 9. Я подъехал к номеру 7. Выключил зажигание, погасил фары и стал ждать.

Она вылезла, прошла по дорожке к двери и постучалась. Дверь открылась, там стоял мужчина.

Эх, Синди!

Мужчина стоял на свету, и я разглядел его. Интересная внешность. То есть не для меня. Для нее, наверно. Он был молод. Невыразительное гладкое лицо с тонкими бровями, пышные волосы. Похоже было, что у него косичка. Вы знаете эту породу. Заплетенная. Законченный осел. Они обнялись в дверях. Ну и поцелуйчик! Я услышал смех Синди. Потом она вошла, и дверь закрылась.

Я схватил видеокамеру и отправился к администратору. Вошел. Там никого не было. Маленький письменный стол. Звонок. Я нажал

кнопку. Ничего. Нажал со всей силы, шесть раз.

Потом он появился. Старый пердун. Он был босой, в длинной ночной рубашке и вязаном колпаке.

— Ага, — сказал я, — наладился маленько вздремнуть, а?

— Может, наладился, а может, нет. Твое какое дело?

— Без обид, сэр. Нужна комната. Есть свободные?

— Ты сутенер?

— О нет, сэр.

— Торгуешь наркотиками?

— Нет, сэр.

— Жалко. Мне бы коксику.

— Я продаю Библии, сэр.

— Какая гадость!

— Несу людям Слово.

— Ко мне это говно не вноси.

— Как угодно.

— На хер!

— Хорошо, сэр, мне нужна комната.

— Есть две. Номер 8 и номер 3.

— Вы сказали — номер 8?

— Я сказал — номер 8 и номер 3. Плохо слышишь?

— Дайте номер 8.

— Тридцать пять долларов. Наличными.

Я отсчитал. Он схватил деньги, швырнул ключ.

— А квитанции не полагается?

— Что?

— Квитанции?

— Скажи по буквам.

— Не сумею.

— Тогда не получишь.

Я взял ключ, вышел от него, дошел до номера 8, отпер дверь. Приятная комнатка — если ты бездомный.

Я нашел на кухне стакан. Принес его в комнату и приставил к стене соседнего номера 9. Повезло. Их было слышно.

— Билли, — услышал я голос Синди Басс, — давай не торопиться. Давай сперва немного поговорим.

— Потом поговорим, — сказал Билли. — У меня вон шлямбур, с ним что-то надо делать. Мне нужно тело, а не слова!

— Я хочу сперва в душ, Билли.

— В душ? Ты что, в саду работала?

— Ох, Билли, какой ты остроумный!

— Ладно, иди в душ. А я пока лед положу на эту кобру!

— Ой, Билли, ха-ха-ха!

Я улыбнулся, впервые за несколько недель.

Теперь я ее прищучу.

35

Я прижимал стакан к стене и продолжал слушать. Послышался шум воды в душе. Бедняга Басс, он был прав. Но тут все правы — или не правы. Или задом наперед. И какая разница, в конце концов, кто кого пялит? Как это все уныло. Бум-бум-бум. Но люди втягиваются. Только перережут им пуповину, они привязываются к другим вещам. К зрелищам, звукам, сексу, деньгам, миражам, матерям, онанизму, убийству, к утренним похмельям в понедельник.

Я опустил стакан, залез в пиджак, нашел полбутылки джина, глот-

нул. Это всегда прочищает мозги.

Я задумался, а не сменить ли мне работу? Вот сейчас я ворвусь и засниму сцену совокупления — и мне это совсем неинтересно. Это просто работа, деньги на квартиру, на водку, просто коротаешь время до последнего дня или ночи. Жвачка. Муть. Мне бы стать великим философом — я бы сказал им, как это глупо — торчать тут и гонять через легкие воздух.

Черт, что-то я впал в мрачность. Я еще врезал джина, потом приставил стакан к стене. Она уже, наверно, выходит из душа.

— Мамочки, — сказал он, — ты сложена как десять кирпичных сортиров!

— Ой, Билли, ты правда так думаешь?

— Я же сказал тебе, а?

— Ты всегда что-нибудь приятное скажешь, Билли.

— Нет, ты посмотри, какого *размера* груди! Ты бы все время падала на нос, но, думаю, тебя уравновешивает большой зад.

— Нет, у меня зад не большой, Билли.

— Рыбка, это не зад! Это фруктовый сад, желе и сливки с ямочками!

— А я *сама*, Билли? Тебе неинтересно, что у меня *внутри*?

— Рыбка, ты что, не видишь, как эта вещь передо мной пульсирует и скачет? Я *буду* у тебя *внутри*!

— Билли, кажется, я передумала...

— Детка, нечего тут думать! Иди сюда! И влезь на эту Башню Страсти!

Я отнял стакан от стены, проверил мою камеру, выскользнул за дверь и подошел к крыльцу номера 9. Замок был легкий. Я открыл его кредитной карточкой.

Услышал, как просят пощады пружины в спальне. Я включил камеру и бросился туда. Есть. Билли пахал, как десять кроликов. Каким-то образом он заметил меня. Слез, соскочил на пол. Разинул рот. Он был очень удивлен, а потом очень разозлился. Естественно.

Он смотрел на меня.

— Бля, это что еще такое?!

Синди села на кровати.

— Он сыщик, Билли. Он ненормальный. Он вломился к нам, когда мы лежали с Джеком, и стал снимать. Он совсем помешанный.

Я посмотрел на нее.

— Заткнись, Синди! Допрыгалась! Я все-таки взял тебя за жопу!

Билли двинулся ко мне.

— Эй ты, думаешь, я выпущу тебя отсюда живым?

— Еще как, мой мальчик, у меня не будет никаких проблем с уходом, никаких.

— Это кто сказал?

— Это мой дружок сказал.

Я вынул из наплечной кобуры мой 0,32.

— Эта дрянь меня не остановит.

— А ну попробуй, гниль!

Он медленно шел на меня.

— Я убил трех человек, четвертый для меня — пустяк!

— Врунишка, врунишка. — Он улыбнулся, наступая на меня. — Твоя мамка ворочается в гробу!

— Еще шаг, пердила, и тебе конец!

Он сделал шаг. Я выстрелил.

Он не шелохнулся. Потом залез себе в пупок и вынул пулю. Ни крови, ни даже синяка.

— Пули для меня — тьфу, — сказал он, — и ты тоже.

Он отнял у меня револьвер и швырнул в угол.

— А теперь потолкуем как мужчина с мужчиной, — сказал он.

— Слушай, друг, давай обсудим. Можешь взять мою видеокамеру. Я бросаю эту работу. Ты меня больше не увидишь.

— Знаю, что не увижу, потому что я убью тебя!

— Да, — крикнула с кровати Синди, — убей этого подлого шпика!

Я обернулся.

— А ты не лезь, Синди, мы с джентльменом сами разберемся.

Я поглядел на Билли.

— Правда, Билли?

— Правда, — ответил он.

Потом он поднял меня и швырнул через всю комнату. Я ударился о стену и упал на пол.

— Билли, — сказал я, — неужели нас поссорит эта курва? С ней полгорода спало!

Билли засмеялся и двинулся ко мне.

36

Тут меня осенило. Этот тип тоже космический пришелец. Вот почему он не почувствовал пулю.

Я встал и прижался к стене.

— Я раскусил тебя, Билли!

Он остановился.

— Да? Ну-ка скажи.

— Ты космический пришелец!

Синди захохотала.

— Я же сказала — он ненормальный!

Я поглядел на Синди.

— Этот малый просто-напросто мохнатая змея одноглазая. Он прячется как бы в человеческом теле, но это мираж.

Билли замер и смотрел на меня.

— Где ты познакомилась с этим малым? — спросил я.

— В баре. Но я в эту чушь не верю. Он не пришелец.

— Спроси его.

Синди снова рассмеялась.

— Ну, Билли, ты космический пришелец?

— А? — спросил он.

— Вот видишь, видишь! — сказал я Синди.

Билли повернулся к ней.

— Ты поверишь этому полоумному?

— Конечно нет, Билли. Ну давай, кончай его!

— Сейчас, детка.

Билли двинулся ко мне. Но тут в комнате вспыхнул малиновый свет, и перед нами возникла Джинни Нитро.

— Джинни, — сказал Билли, — я...

— Заткнись, паскудник, — сказала Джинни.

— Что за чертовщина тут творится? — спросила Синди и начала одеваться.

Билли по-прежнему стоял голый, как дурак.

— Паскудник, — продолжала Джинни, — сказала тебе: никакого братания с людьми!

— Детка, я не удержался, меня разобрало. Сижу как-то вечером в баре, и входит эта цыпа.

— Был приказ: Никакого Секса С Землянами!

— Джинни, ты же знаешь, кроме тебя, мне никто не нужен. Ты

просто была занята и прочее...

— Ты доигрался, Билли! — Она направила на него правую руку.

— Нет, Джинни, нет!

Вспыхнул малиновый свет, и Билли мгновенно превратился в волосатую змею с одним мокрым глазом. Извиваясь, он быстро пополз по полу. Снова Джинни показала на него правой рукой, снова вспышка и грохот, и гость из космоса Билли исчез.

— Я не верю своим глазам! — сказала Синди.

— Да, — сказал я, — понимаю.

Тогда Джинни повернулась ко мне.

— Не забывай, Билейн, ты избран служить нашему Делу, Делу Зароса.

— Да, — сказал я, — не забуду.

Затем третья вспышка, и Джинни исчезла.

Синди уже была полностью одета, но не могла прийти в себя.

— Я не верю своим глазам.

— Малютка, Джек нанял меня, чтобы разгрести твою грязь, и я это сделал.

— Я хочу уйти отсюда! — сказала она.

— Ступай. И не забудь, что тут у меня заснято. Будь паинькой, иначе отдам это Джеку.

— Ладно, — вздохнула она, — твоя взяла.

— Я лучший детектив в Лос-Анджелесе. Теперь ты это поняла.

— Слушай, Билейн, я могу тебе кое-что дать за эту кассету.

— А?

— Ты знаешь, о чем я.

— Нет-нет, Синди, меня ты не купишь. Но молодец, что предложила.

— Ну и черт с тобой, толстый! — сказала она. Она повернулась и пошла к двери. Я смотрел, как движутся изумительные ягодицы.

— Синди! — сказал я. — Подожди минуту!

Она обернулась с улыбкой.

— Да?

— Нет, ничего. Ступай...

И она вышла за дверь. Я отправился в ванную и там облегчился — я имею в виду не кишечник.

Но работу я сделал профессионально. Распутано еще одно дело.

37

На другой день у себя в кабинете я набрал номер Джека Басса.

— Ты все еще хочешь развестись с ней, Джек?

— Не знаю. У тебя на нее что-нибудь есть?

— Скажем так. Два джентльмена, имевшие с ней контакт, теперь мертвы.

— Контакт? Да что за контакт, черт возьми?

— Послушай, Джек, оба парня умерли: там был француз и космический пришелец.

— Космический пришелец? Что за хреновину ты несешь?

— Не хреновину, Джек. К нам вторглись несколько космических пришельцев с Зароса. С одним она познакомилась в баре. Малый с приличным прибором.

— Так он умер?

— Да, я же говорю — и он, и француз.

— Ты убиваешь людей?

— Джек, этих ребят нет. Синди больше баловать не будет. Мо-

жешь быть спокоен.

— Почем я знаю, что она больше не будет баловать?

— Не беспокойся. У меня на нее прихватка. Баловать не будет.

— Ты что-то снял на пленку, и она не хочет, чтобы я это видел, так?

— Может быть, так, может быть, нет. Скажем просто: я могу ее прижать, если забалует.

— Но я хочу, чтобы она была со мной ради меня, а не из-за какого-то шантажа.

— Шантаж, монтаж, Джек, больше она баловать не будет. Я убрал ее знакомых, и она не будет спускать штанишки. Чего ты еще хочешь? Может быть, она тебя даже полюбит. Дай ей шанс исправиться. Молодая, захотелось оттянуться, какого черта?

— С космическим пришельцем?

— Будь доволен. Никто не узнает, кем он был. Этого почти как бы не было.

— Но было же. Говоришь, с приличным прибором? А что, очень большой?

— Трудно сказать. Он был занят...

— И ты смотрел?

— Я это прекратил.

— А француз? Он тоже с хорошим прибором?

— Джек, оба парня мертвы. Забудь об этом. Через пару дней ты получишь мой счет по почте.

— Что-то в этом не совсем мне нравится.

— Она больше не забалует, Джек.

— А если?

— Никаких «если» — она знает, что я прищемлю ей хвост.

— Опять ты за свое. Ты ее не трахал, скажи?

— Джек, Джек, Джек, прошу тебя! Я профессионал.

— А эти мужики умерли? Откуда мне знать?

— Джек, ты поймешь по ее поведению. И кончай дергаться. Тебе ничего больше не надо распутать? Я лучший сыщик в Лос-Анджелесе.

— Сейчас пока нечего.

— Ладно, Джек, всего хорошего.

— Пока, пока...

Я положил трубку.

Я выдвинул ящик стола и достал водку; врезал. Все путем. Теперь осталось только найти Красного Воробья. И как-нибудь отвязаться от космических пришельцев. И от Леди Смерти.

Я еще врезал водки. И позволил себе расслабиться. На время.

38

Потом я позвонил Джону Бартону. Он был хозяином полиграфической компании на севере.

— Джон, это Билейн...

— Рад слышать вас, Ник. Как продвигается дело?

— Не особенно, Джон. Мне нужна дополнительная информация об этом Красном Воробье.

— Мы хотим сделать Красного Воробья эмблемой нашей компании. Сделать его популярным. Но прошел слух, что где-то есть еще другой Красный Воробей. Нам надо выяснить, так ли это.

— И это все, на чем вы основываетесь?

— Да... ну, может, еще... какое-то предчувствие...

— Вы когда-нибудь видели этого Красного Воробья?

— Я слышал, что он был замечен.
— Вы слышали? Где вы слышали?
— Источники секретные. Я не могу их раскрывать.
— Допустим, я найду птицу. Что мне с ней делать? Посадить в клетку?
— Нет, просто представьте мне убедительные доказательства, что она существует. Чтобы удовлетворить мое любопытство.
— А если я не смогу найти птицу?
— Если она есть, вы ее найдете. Я верю в вас.
— Слушайте, это самое мутное дело, с каким мне приходилось сталкиваться.
— Я всегда внушал людям, что вы великий детектив. Вы это докажете. Вы найдете Красного Воробья.
— Хорошо, Джон. Я займусь этим. Но я уже не юноша. Я просыпаюсь усталым. Хватка у меня уже не та.
— Вы в расцвете сил. Вы справитесь.
— Хорошо, Джон, попробую...
— Прекрасно!
Я положил трубку. Так, понятно. Но с чего я начну?
Я решил, что с ближайшего бара.

Было часа 3 дня. Я нашел свободный табурет и сел. Подошел бармен. Какой-то неприкаянный. У него не было век. А на ногтях нарисованы маленькие зеленые крестики. Псих какой-то. Никуда от них не денешься. Мир по большей части безумен. А там, где не безумен, — зол. А где не зол и не безумен, — просто глуп. Никаких шансов. Никакого выбора. Крепись и жди конца. Тяжелая работа. Тяжелее не придумаешь. Я заставил себя поглядеть на бармена.
— Шотландского с водой, — сказал я.
Он ни с места.
— Шотландского с водой, — повторил я.
— А, — сказал он. И засеменил прочь.
Я увидел, как она вошла, краем глаза. Почему говорят «краем глаза»? У глаза нет краев. Словом, я увидел, что она вошла. Старая подруга. Села справа от меня.
— Привет, растяпа, — сказала она. — Угостишь?
— Конечно, крошка.
Это была Леди Смерть.
— Эй! — крикнул я бармену. — Сделай два!
— А? — сказал он.
— Пожалуйста, два шотландских с водой.
— А, ладно, — сказал он.
— Что поделываешь, толстяк? — спросила Леди.
— Распутываю дела, как всегда.
— То есть медленно или безрезультатно.
— Нет, крошка, нет, понимаешь, я лучший сыщик в Лос-Анджелесе.
— Тоже не бог весть что.
— Да уж потрудней, чем масло левой рукой сбивать.
— Не похабничай со мной, толстяк, или я тебя вывинчу, как лампочку.
— Извини, крошка, нервы. Надо выпить.
А бармен уже ставил перед нами стаканы.
— Что у тебя с веками? — спросила его Леди.
— Газовая колонка утром взорвалась...
— Как же ты будешь спать сегодня?
— Обмотаю голову полотенцем.

— А сейчас не можешь? — спросил я.
— Зачем? — спросил он.
— Да так... — Я заплатил за виски.
Я поднял стакан. Леди подняла свой.
— Будем здоровы, — сказала Леди.
— Будем, — сказал я.
Мы чокнулись и выпили.
Я заказал по второму...

Мы просидели минут 30, прежде чем вошел новый посетитель. Тоже женщина. Она вошла и села на табурет слева от меня. Две женщины — это значит вдвое больше неприятностей, чем одна женщина. Теперь неприятности у меня были с обеих сторон. А я посередке. В пролете.

Второй женщиной была Джинни Нитро.
Я заказал бармену еще одно виски с водой.
— Ники, — шепнула она, — мне надо с тобой поговорить. Что это за стерва с тобой сидит?
— Ни за что не догадаешься, — сказал я.
Тут мне зашептала Леди Смерть:
— Это что за стерва?
— Ни за что не догадаешься, — сказал я.
Подали стакан, и Джинни его осушила.
— Так, — сказал я, — кажется, пора вас представить...
Я повернулся к Леди Смерти.
— Леди, это Джинни Нитро...
Потом я повернулся к Джинни.
— Джинни, это — Леди... Леди...
— Леди Кранк, — подсказала Леди.
Они уставились друг на дружку.
А это может получиться интересно, подумал я. И сделал знак бармену, чтобы он нам налил...

39

Итак, я сидел, в сущности, между Смертью и Космосом. В форме Женщины. На что рассчитывать в такой позиции? А между тем мне предстояло разыскать Красного Воробья, возможно не существующего. У меня было очень странное чувство. В первый раз я попал в такой переплет. И непонятно, с какой радости. Что же мне делать?

Не суетись, болван, — родилось решение.
Хорошо.
Подали напиток.
— Ну, дамы, ваше здоровье!
Мы чокнулись и засадили.
Почему я не кто-то другой и не сижу на бейсбольном матче? Волнуясь за результат. Почему я не повар и не сбиваю омлет, как бы отстраненно? Почему я не муха на чьем-то запястье и не заползаю в рукав с затаенным волнением? Почему не петух в птичнике и не клюю зернышки? За что мне такое?
Джинни толкнула меня локтем и шепнула:
— Билейн, мне надо поговорить с тобой...
Я положил на стойку деньги. Потом посмотрел на Леди Смерть.
— Надеюсь, вы не заимеете на меня клык, если...
— Знаю, толстяк, ты должен поговорить с дамой наедине. С чего это мне заиметь на тебя? Я в тебя не влюблена.

— Но вы всегда крутитесь около меня, леди.

— Я около всех кручусь, Ник. Просто ты чаще меня замечаешь.

— Да. Ну да.

— Ну, ты помог мне с Селином...

— Да, с Селином...

— Поэтому я пока оставлю вас с дамой наедине. Но только пока. У нас с тобой одно незавершенное дело, так что увидимся.

— Леди Кранк, я в этом не сомневаюсь.

Она допила свое виски и слезла с табурета. Потом повернулась и пошла к двери. Ее красота пробуждала суеверное чувство. Она скрылась.

Бармен подошел за деньгами.

— Кто это такая? — спросил он. — Как она ходит! У меня прямо голова закружилась.

— Будь доволен, что только закружилась, — сказал я ему.

— Как тебя понять? — спросил он.

— Если скажу, все равно не поверишь, — ответил я.

— А ты попробуй.

— Незачем. Слушай, освободи пространство, я хочу поговорить с дамой.

— Сейчас. Только скажи мне одну вещь.

— Ну?

— Почему это такому толстому уроду достается весь товар?

— Потому что у меня там медом намазано. А теперь исчезни.

— Не хами, приятель, — сказал он.

— Ты же спросил.

— Но грубить не обязательно!

— Если ты думаешь, что это грубость, постой тут еще.

— Дурак, бля, — сказал он.

— Очень находчиво, — сказал я. — А теперь отойди, пока не поздно.

Он медленно отошел к краю стойки, остановился там на секунду, потом почесал зад. Я снова повернулся к Джинни.

— Извини, детка, чуть не с каждым барменом у меня получается такой конфликтный диалог.

— Можешь не извиняться. — Вид у нее был грустный. — Я должна тебя покинуть.

— Ну что ж. Тогда давай на посошок.

— Нет, понимаешь, совсем покинуть, я и все, кто со мной, мы должны покинуть... Землю. Не знаю почему, но я к тебе даже привязалась.

— Это понятно, — засмеялся я, — но почему вы собрались покинуть Землю?

— Мы все обдумали; здесь ужасно. Мы не хотим колонизировать вашу Землю.

— А что ужасно, Джинни?

— Земля. Смог, убийства, отравленный воздух, отравленная вода, отравленная пища, ненависть, безнадежность — все. Единственное, что тут прекрасно, — это животные, но их истребляют, и скоро все исчезнут, кроме прирученных крыс и скаковых лошадей. Это так грустно — неудивительно, что ты пьешь.

— Да, Джинни. Ты еще забыла наши ядерные арсеналы.

— Да, кажется, вы сами себя хороните.

— Да, мы можем исчезнуть через два дня, а можем протянуть еще тысячу лет. Что будет, мы сами не знаем, и поэтому большинство людей на все махнули рукой.

— Я буду скучать по тебе, Билейн, и по животным...

— Вы правы, что улетаете, Джинни...

На глаза у нее навернулись слезы.

— Джинни, не плачь, пожалуйста, черт возьми...

Она взяла стакан, выпила залпом и посмотрела на меня такими глазами, каких я никогда и нигде не видел и никогда больше не увижу.

— Прощай, толстяк, — сказала она с улыбкой.

И ее не стало.

40

И вот новый день, и я у себя в кабинете. Осталось выполнить одно задание — разыскать Красного Воробья. Никто не ломился ко мне в дверь с предложением новой работы. Прекрасно. Настало время систематизации, подведения итогов. В целом из того, что я намеревался совершить в жизни, я совершил довольно много. Я сделал несколько удачных ходов. Я ночевал не на улице. Конечно, на улице ночует немало хороших людей. Они не дураки, просто они не вписались в нужные механизмы эпохи. А механизмы эти постоянно меняются. Это невеселый расклад, и если оказывается, что ты ночуешь в собственной постели, — одно это уже великолепная победа над силами. Мне везло, но и некоторые мои ходы были не совсем бестолковыми. Но в общем это довольно жуткий мир, и мне часто было жаль большинство людей, тут поселившихся.

Ладно, к черту это. Я вынул водку и врезал. Лучшие периоды жизни зачастую те, когда ты совсем ничего не делаешь, а просто обдумываешь ее, размышляешь. Ну, скажем, ты решил, что жизнь бессмысленна, тогда, значит, она уже не совсем бессмысленна, потому что ты осознаешь ее бессмысленность, и твое осознание бессмысленности почти придает ей смысл. Понятно, о чем я говорю? Оптимистический пессимизм.

Красный Воробей. Это все равно что поиски Святого Грааля. Может, мне это не по зубам и не по плечу.

Я еще принял водки.

В дверь постучали. Я снял ноги со стола.

— Войдите.

Дверь открылась, и вошел мужичок, тщедушный, одетый в какую-то дрянь. От него попахивало. Каким-то керосином. Не то еще чем-то. У него были маленькие глаза-щелки. Он пошел ко мне бочком, потом остановился прямо перед столом, наклонился ко мне. И голова у него как-то подергивалась.

— Билейн, — сказал он.

— Ну допустим.

— Я принес тебе известие.

— Хорошо, — сказал я, — а теперь унеси его к чертовой матери.

— Спокойно, Билейн. Я знаю слово.

— Ну да? Какое слово?

— Красный Воробей.

— Скажи еще что-нибудь.

— Мы знаем, что ты его ищешь.

— «Мы»? Кто это «мы»?

— Не могу сказать.

Я встал, обошел стол, схватил его за грудки.

— А если я заставлю тебя сказать? Выбью из тебя?

— Не могу. Не знаю.

Почему-то я ему поверил. Отпустил. Он чуть не упал на пол. Я вернулся, снова сел в кресло.

— Меня зовут Амос, — сказал он, — Амос Краснодол. Я могу вывести тебя на Воробья. Хочешь?

— Как?

— Адрес. Она знает о Воробье.

— Сколько?

— 75 долларов.

— Иди в жопу, Амос.

— Не хочешь? Ладно, мне надо идти, надо поспеть к старту. Я знаю сегодняшний дубль.

— 50 долларов.

— 60, — сказал Амос.

— Ладно, давай адрес.

Я вынул три двадцатки, а он сунул мне бумажку. Я развернул ее и прочел: «Дежа Фаунтен, кв. 9, Радсон-драйв, 3234. Зап. Л.А.».

— Слушай, Амос, ты мог написать здесь что угодно. Почем я знаю, что это не фуфло?

— Ты сходи туда, Билейн. Это хороший адрес.

— Ну смотри, Амос, если ты меня обманешь.

— Мне надо поспеть к старту, — сказал он. Потом он повернулся и вышел за дверь.

А я остался сидеть без 60 долларов и с клочком бумаги в руке.

41

Я дождался вечера, поехал туда, остановился возле дома. Район приличный. Определение приличного района: место, где жить тебе не по карману. Я глотнул водки, вылез из кабины, запер машину и пошел к подъезду. Нажал кнопку против фамилии Дежа Фаунтен. Раздался голос, приятный, но слегка раздраженный:

— Да?

— К Дежа Фаунтен. Насчет Красного Воробья. От Амоса Краснодола. Меня зовут Ник Билейн.

— Сэр, я ни черта не понимаю.

— Тьфу.

— Что?

— Ничего. Меня накололи...

— Я пошутила, Ники. Входите, пожалуйста.

Послышалось громкое жужжание. Я толкнул дверь. Она открылась. Я прошел по плюшевому ковру к квартире 9. Что такое в цифре 9? В ней чувствовалась какая-то опасность. Но меня тревожат почти все цифры. Я люблю только 3, 7 и 8 и их сочетания.

Я нажал кнопку. Послышались шаги. Потом дверь открылась.

Красотка. В красном платье. Зеленые глаза. Длинные темно-каштановые волосы. Молодая. Класс. Анфас. Пахнет мятой. Ее губы улыбались.

— Заходите, пожалуйста, мистер Билейн.

Я вошел за ней в комнату. В спину мне уперся твердый предмет.

— Замри, бледная немочь! Кроме рук! Руки кверху! Попробуй достать до потолка, поганка бледная!

— Ты черный? — спросил я.

— Что?

— Почему ты назвал меня «бледным»?

Он меня ощупывал. Нащупал пистолет, забрал.

— Ладно, можешь повернуться, мистер Билейн.

Я повернулся и посмотрел на него. Большой. Но белый.

— Но ты белый, — сказал я.

— Ты тоже, — сказал он.

— Чтоб мне лопнуть, — сказал я.

— Это твое дело. Пистолет получишь, когда будешь уходить.

Дежа отвела меня в другую комнату, показала на кресло.

Комната была большая. Холодная. В ней ощущалась опасность.

Дежа разместилась на кушетке, вынула маленькую сигару, развернула, лизнула, откусила конец, зажгла, выдохнула соблазнительную голубую струйку. Уставилась на меня зелеными глазами.

— Насколько я понимаю, вы ищите Красного Воробья.

— Да, для клиента.

— Которого зовут?..

— Это секрет.

— У меня такое чувство, что мы можем стать хорошими друзьями, мистер Билейн. Очень хорошими друзьями.

— Правда?

— Вы интересный мужчина — в своем роде — и сознаете это. У вас вид хорошо пожившего человека. Впрочем, вам идет. Большинство мужчин хорошо не живут, они просто изнашиваются.

— В самом деле?

— Можете звать меня Дежа.

— Дежа.

— Хм-м... может быть, перейдете сюда и сядете поближе?

Я перенес его поближе и опустил на кушетку рядом с ней. Она улыбнулась.

— Хотите выпить?

— Конечно. Есть шотландское с содовой?

— Берни, — сказала она, — пожалуйста, шотландского с содовой.

Прошло несколько секунд, и появился этот поганец, который взял у меня пистолет. Поставил передо мной стакан на кофейный столик.

— Спасибо, Берни.

Он убрался.

Я ударил по виски. Неплохое. Неплохое.

— Мистер Билейн, — сказала она, — меня просили передать вам, что вы должны забыть о Красном Воробье.

— Я никогда не бросаю дело, если того не пожелает клиент.

— Это вы должны бросить, мистер Билейн.

— Хм-м.

— Вам не противно, что я курю сигару?

— Хм-м.

— Не хотите затянуться?

— Ухм.

Дежа передала мне сигару. Я как следует затянулся, выдохнул, вернул сигару ей. Сначала комната была ровной, потом стены стали немного сдвигаться, ковер приподнялся, опал. Перед глазами пролетела струя голубого света. Потом ее губы прижались к моим. Она поцеловала меня и отодвинулась. Засмеялась.

— Сколько времени у тебя не было женщины, Билейн?

— Не припомню...

Она снова засмеялась, и снова ее губы прижались к моим. Надолго. Ее язык проскользнул ко мне в рот, как змея. Ее тело было как змея.

Потом я услышал шаги, голос:

— КОНЧАЙТЕ!

Это был Берни. Он стоял с пистолетами в обеих руках. В одном из пистолетов я признал свой.

— Ладно, Берни, ладно, — сказал я.

Берни тяжело дышал, словно в воздухе не было кислорода. Он смотрел на Дежа. Глаза у него были мутные.

— ДЕЖА, — сказал он, — ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! Я ТЕБЯ УБЬЮ! СЕБЯ УБЬЮ!

Позиция у меня была идеальная. Я взмахнул правой ногой и заехал ему в мошонку. Он вскрикнул и упал, схватившись за промежность. Я подобрал пистолеты, вложил один в кобуру, а другой взял в правую руку. Левой поднял Берни и бросил в кресло. Оттянул его голову за волосы. Рот у него раскрылся, и я сунул туда дуло.

— Пососи его, мальчик, пока я думаю, что с тобой сделать.

Берни забулькал горлом.

— Не убивай его! — сказала Дежа. — Пожалуйста, не убивай!

— Что тебе известно о Красном Воробье, поганец? — спросил я его.

Он не ответил.

Я засунул ствол поглубже. Берни пернул. Громко. И навонял. Я убрал пистолет и швырнул Берни на пол.

— Это омерзительно! Больше никогда так не делай!

Я повернулся и посмотрел на Дежа.

— У него здесь есть комната?

— Да.

Я посмотрел на Берни.

— А теперь ступай в свою комнату и сиди там, пока не скажу тебе выйти!

Берни кивнул.

— Ну пошел, — приказал я.

Он встал на ноги и поплелся прочь, свернул за угол. Вскоре я услышал, как закрылась дверь.

Дежа потушила сигару. Она уже не улыбалась.

— Так, малышка, — сказал я, — продолжим с того места, где мы остановились.

— Не хочу.

— Что? Почему? Твой язык уже был у меня в пищеводе.

— Я тебя боюсь, ты жестокий.

— Он же сказал, что убьет тебя, ты не слышала?

— Может, он просто так сказал.

— «Может» — слабая карта, когда на кону любовь и пистолеты.

Дежа вздохнула.

— Я беспокоюсь за Берни. Он сидит там совсем один.

— Что, у него нет телевизора? Кроссвордов? Комиксов?

— Прошу вас, мистер Билейн, уйдите!

— Малышка, я должен докопаться до этого Красного Воробья.

— Не сегодня... не сегодня.

— А когда?

— Завтра вечером. В то же время.

— Отправь Берни в кино или еще куда-нибудь.

— Хорошо.

Я схватил мой стакан, прикончил его. Она сидела на кушетке, уставясь на ковер; я закрыл за собой дверь, прошел по коридору, вышел из подъезда и направился к моей машине. Влез, запустил мотор. Посидел, пока он прогревался. Стояла теплая лунная ночь. И у меня все еще стоял.

42

Я поехал к бару, где у меня еще не было ссор, — к Блинки. На

первый взгляд место приятное: много кожаных сидений, дураков, полутьма, дым. Приятная мертвоватая атмосфера. Я нашел свободный отсек, сел. Появилась официантка в каком-то дурацком пляжном наряде — шорты с рубашкой. Грудь подперта ватой. Она улыбнулась жуткой улыбкой, оскалив золотой зуб. Ее глаза показывали ноль.

— Что будем пить, дорогой? — проскрипела она.

— Две бутылки пива. Без стакана.

— Две бутылки, дорогой?

— Да.

— Какого?

— Какого-нибудь китайского.

— Китайского?

— Две бутылки китайского пива. Без стакана.

— Можно у тебя спросить?

— Да.

— Ты оба пива выпьешь?

— Надеюсь.

— Тогда почему тебе не выпить одно, потом заказать другое? Холодненькое будет.

— Я так хочу. Наверно, есть причина.

— Когда найдешь причину, золотко, скажи мне...

— А зачем тебе говорить? Может, я хочу держать ее про себя.

— Сэр, вы знаете, мы не обязаны вас обслуживать. Мы сохраняем за собой право отказать в обслуживании кому угодно.

— Говоришь, ты не будешь обслуживать меня, потому что я заказываю два китайских пива и не говорю почему?

— Я не сказала, что мы вас не обслужим. Я сказала, мы сохраним за собой такое право.

— Слушай, причина — безопасность, подсознательная потребность в безопасности. У меня было тяжелое детство. Две бутылки разом заполняют вакуум, нуждающийся в заполнении. Возможно. Я не уверен.

— Я тебе вот что скажу, дорогой. Тебе нужен психиатр.

— Хорошо. Но пока его нет, могу я получить две бутылки китайского пива?

Подошел крупный мужик в грязном белом фартуке.

— Что за базар, Бетти?

— Он хочет две бутылки китайского пива. Без стакана.

— Бетти, может, он ждет друга.

— Блинки, у него нет друга.

Блинки посмотрел на меня. Очередной толстый мужик. Нет, он был как два толстых мужика.

— У тебя нет друга? — спросил он меня.

— Нет, — сказал я.

— Тогда зачем тебе две бутылки китайского пива?

— Я хочу их выпить.

— Так почему не закажешь одну — выпьешь ее, закажешь другую?

— Нет, я хочу так.

— Никогда о таком не слышал, — сказал Блинки.

— Почему мне нельзя? Это противозаконно?

— Нет, просто странно, больше ничего.

— Я сказала ему, что ему нужно к психиатру, — вмешалась Бетти. Они оба стояли и смотрели на меня. Я вынул сигару и закурил.

— Эта штука воняет, — сказал Блинки.

— Твои экскременты тоже, — сказал я.

— Что?

— Подай мне, — сказал я, — три бутылки китайского пива. Без стакана.

— Это психопат, — сказал Блинки.

Я посмотрел на него и рассмеялся. Потом сказал:

— Больше со мной не разговаривай. И ничего, ничего не делай такого, что могло бы меня раздражить. Иначе я размажу твои губы по всей твоей гнусной харе, дружок.

Блинки замер. Он глядел на меня так, как будто ему вдруг понадобилось опорожнить кишечник.

Бетти стояла рядом.

Прошла минута. Потом Бетти сказала:

— Что мне делать, Блинки?

— Подай ему три бутылки китайского пива. Без стакана.

Бетти ушла за пивом.

— А ты, — сказал я Блинки, — садись-ка напротив меня. Будешь смотреть, как я пью три бутылки китайского пива.

— Сейчас. — Он протиснулся за мой столик и сел.

Он потел. Все три его подбородка дрожали.

— Блинки, — спросил я, — ты видел Красного Воробья? Или нет?

— Красного Воробья?

— Да, Красного Воробья.

— Я его не видел, — сказал Блинки.

Бетти принесла китайское пиво.

Наконец.

43

На следующий вечер я стоял перед ее домом. Туфли у меня были начищены, и я успел принять всего три или четыре пива. Шел мелкий, немного зловещий дождь. «Бог сикает», — говорили мы в детстве, когда шел дождь. Я ощущал усталость и в теле, и в мыслях. Мне надоела эта игра. Хотелось на покой. Куда-нибудь вроде Лас-Вегаса. Бродить между игорных столов с умным видом. Смотреть, как дураки просаживают состояния. Вот что такое в моем представлении веселье. Расслабляться при ярком свете, когда могила раскрывает для тебя зев. Но черт возьми, у меня не было денег. И надо было найти Красного Воробья. Я нажал кнопку в квартиру 9. Подождал. Снова нажал. Ничего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне даже думать об этом не хотелось. Неужели смылись? Дежа и этот поганец. Надо было прижать их вчера. Неужели я дал им ускользнуть?

Одной рукой я зажег сигару, а другой нажал на фомку. Дверь отворилась, и я вступил в коридор. Дошел до номера 9. Прижал ухо к двери. Тишина. Даже мышь не шуршит. Ой-ой. Черт возьми. Я подковырнул дверь и вошел. Прошел прямо в спальню, открыл шкаф. Пусто. Одежда исчезла. Ничего, кроме голых вешалок. Какое жуткое зрелище! Моя первая ниточка к Красному Воробью превратилась в 32 пустых вешалки. Потерял след. Как сыщик я дурак. Мелькнула мысль о самоубийстве, я ее отогнал, залез в карман, достал бутылку водки, врезал, выплюнул сигару.

Потом я повернулся, вышел из квартиры в коридор и по коридору дошел до нужной двери. На ней значилось:

УПРАВЛЯЮЩИЙ М.ТОХИЛ

Я постучался.

— Да? — послышался ответ. Кажется, еще один верзила.

— Цветы, мистер Тохил. Посыльный из цветочного магазина к М.Тохилу!

— Как вы сюда попали?

— Парадная дверь была открыта, мистер Тохил.

— Не может быть!

— Мистер Тохил, выходила дама, и когда она выходила, я вошел.

— Так делать не полагается.

— Я не знал. А как полагается?

— Полагается позвонить мне с улицы и сказать, кто вы такой и что вам надо.

— Хорошо, мистер Тохил. Я выйду на улицу, позвоню и скажу, что доставил вам цветы. Это будет нормально?

— Не надо, мальчик. Иди...

Дверь распахнулась. Я прыгнул внутрь, пинком захлопнул дверь и схватил его за пояс. Там было что схватить. Крупный мужик. Небритый. Попахивал серой. Потянет килограммов 110.

— Ты что, гад, делаешь? Где цветы? Отпусти к чертям мой пояс!

— Спокойно, Тохил. — Я отпустил его. — Я частный сыщик с лицензией. Я хочу выяснить местонахождение Дежа Фаунтен, квартира 9.

— Поцелуй меня в жопу, приятель, и убирайся отсюда.

Я отступил.

— Спокойно, мистер Тохил. Я хочу получить эту информацию, и тогда я уйду.

— Информация не для посторонних, и ты уйдешь без нее. Я выдворяю тебя отсюда!

— У меня черный пояс, Тохил. Это смертельное оружие. Не вынуждай меня применить его!

Он засмеялся и шагнул ко мне.

— Ни с места! — заорал я.

Он остановился.

— Тохил, я должен обнаружить Красного Воробья, и Дежа Фаунтен имеет отношение к моей задаче. Мне надо знать, куда она отправилась со своим дружком.

— Они не оставили адреса, — сказал Тохил. — А теперь убирайся, пока я не пернул тебе в лицо!

Я вытащил 0,32 и направил ему в брюхо.

—ГДЕ ДЕЖА ФАУНТЕН? — заорал я.

— Иди в жопу, — сказал он, надвигаясь на меня.

— Стой на месте! — приказал я.

Он продолжал наступать. Он был дурак. Я запаниковал, нажал спусковой крючок.

Осечка.

Тогда он схватил меня за горло. Руки у него были как окорока, окорока с громадными, тупыми, неутомимыми пальцами. Я не мог вздохнуть. В мозгу сверкали грохочущие вспышки. Я ударил его в пах коленом. Безрезультатно. Он был урод. Его половые органы располагались где-то в другом месте, может быть под мышкой. Я был беспомощен. В воздухе уже разливалась смерть. Но моя прошлая жизнь не мелькнула передо мной. Только голос в голове произнес: «Тебе надо сменить шину на правом заднем колесе...» Глупость, глупость. Мне конец, крышка. Все кончено.

И вдруг я почувствовал, что его руки отпустили меня. Я попятился, всасывая воздух стратосферы и всех остальных слоев.

Я посмотрел на Тохила. Он нехорошо выглядел, совсем нехорошо. Он глядел на меня, но он не глядел на меня. Я увидел, как он схватился за левую руку. Он схватился за левую руку, и лицо его искривила ужасная гримаса боли. Он охнул, поднял к небу глаза и упал на пол.

Я подошел, наклонился над ним и пощупал пульс. Нет пульса. Умер? Будь здоров.

Я отошел, сел в кресло. А на кушетке, напротив меня, собственной персоной — кто? Леди Смерть. Красива как никогда. Какая девочка! Никогда не подведет. Чистое золото. Она улыбнулась.

— Как дела, Билейн?

— Не могу пожаловаться, леди.

Она была одета во все черное. Она хорошо смотрелась в черном. В красном тоже.

— Ты следи за своим весом, Билейн. Слишком много ешь жареной картошки, картофельного пюре, десертов... пиво дуешь из горла...

— Да. Вообще-то...

Она опять улыбнулась. Крепкие, без единой щербинки зубы. Газовый ключ перекусят.

— Ладно, — сказала она, —мне пора идти. Небольшое дельце поблизости.

— Кто-нибудь знакомый?

— Ты знаком с Гарри Доббсом?

— Не уверен.

— Ну, если знаком, забудь его.

Она исчезла. Как не было ее.

Я подошел к Тохилу, вытащил его бумажник. Там была полусотенная, две двадцатки, пятерка и доллар. Я сунул их в правый брючный карман. Подошел к двери, открыл ее, закрыл и двинулся по коридору. Вокруг — никого. Открыл парадную дверь, шагнул на улицу. Дождик еще моросил. Он приятно остужал лицо. Я вдохнул, выдохнул, направился к моей машине. Она стояла на месте. Я обошел ее сзади и осмотрел правую заднюю шину. Ну точно, лысая. Мне нужен новый скат.

44

Ну вот, снова испорчено настроение. Я приехал домой, вошел и открыл бутылку шотландского виски. Мой старый друг, шотландское с водой. Шотландское виски не тот напиток, к которому привязываешься сразу. Но когда ты поработал с ним немного, он действует на тебя чудесно. Я находил в нем особую теплоту, которой нет в бурбоне. Словом, у меня была тоска, и я сидел в кресле, а рядом — 0,7. Телевизор я не включил — я давно заметил, что если тебе плохо, то от этого подлеца становится еще хуже. Одно тупое лицо за другим, и конца этому нет. Бесконечная череда идиотов, в том числе знаменитых. Комики не смешные, а драма третьесортная. Обратиться не к чему, кроме бутылки.

Тихий дождик превратился в сильный дождь, и я слушал, как он стучит по крыше.

Я позволил этим говнюкам ускользнуть. И знал, что никогда не найду моего первого информатора. Все надо начинать сначала. Красный Воробей ушел из моих дурацких рук. Мне 55 лет, и я по-прежнему блуждаю в потемках. Сколько я еще протяну? И заслуживает ли что-нибудь бестолочь, кроме пинка в зад? Папаша говорил мне: «Иди в любое дело, где сперва тебе дают деньги, а потом надеются получить их обратно. Это банковское дело и страховое. Бери у людей вещи и давай им взамен листок бумаги. Пользуйся их капиталом, и он пойдет к тебе в руки. *Ими* движут две вещи: алчность и страх. Ты же оседлай одну — удобный случай». Совет как будто бы неплохой, только папаша умер нищим.

Я налил себе еще.

Черт, и даже с женщинами у меня не задалось. Три жены. Каждый раз — ничего такого серьезного. Все подтачивалось мелкими препирательствами. Перебранками из-за пустяков. Склоками по любому поводу. Изо дня в день, из года в год пилежка. Вместо того чтобы помогать друг другу, вы грызетесь, цепляетесь. Придирки. Бесконечные придирки. Все превращается в грошовую борьбу. И когда ты занялся ею, она входит в привычку. Ты уже не можешь из этого выбраться. Да и почти не хочешь выбраться. А потом выбираешься. Совсем.

И вот, пожалуйста. Сижу и слушаю дождь. Если я сейчас умру, в мире не прольется ни одной слезинки. Разве этого я добивался? Как странно. До какой степени можно быть одиноким? Но мир полон таких старых ослов вроде меня. Сидят, и слушают дождь, и думают, куда это все катится. Вот когда понимаешь, что ты стар, — когда сидишь и думаешь, куда же это все катится.

Да никуда это не катится, и катиться некуда. Я на три четверти мертвый. Я включил телевизор. Шла реклама. ОДИНОКИ? ПОДАВЛЕНЫ? ВЗБОДРИТЕСЬ. ПОЗВОНИТЕ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ. ОНИ ЖЕЛАЮТ ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ. ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ МАСТЕР ИЛИ ВИЗА. ПОГОВОРИТЕ С КИТТИ, ИЛИ ФРЭНСИ, ИЛИ БЬЯНКОЙ. ТЕЛЕФОН 800-435-8745. Показали девушек. Самая красивая — Китти. Я врезал виски и набрал номер.

— Да? — Голос был мужской. Противный.

— Китти, пожалуйста.

— Вам 21 и больше?

— Больше, — сказал я.

— Мастер или Виза?

— Виза.

— Сообщите номер и по какое число действительна. Кроме того, адрес, номер телефона, номер карточки социального обеспечения и номер водительских прав.

— Э, а почем я знаю, что вы не воспользуетесь этими сведениями в своих целях? Может, вы хотите меня наколоть? Использовать эти сведения в своих интересах?

— Слушай, друг, ты хочешь поговорить с Китти?

— Ну наверное... .

— Мы даем объявления по телевидению. Мы работаем уже два года.

— Ладно, сейчас выковырю это из бумажника.

— Друг, если мы тебе не нужны, то и ты нам не нужен.

— А о чем со мной будет говорить Китти?

— Тебе понравится.

— Откуда ты знаешь, что понравится?

— Эй, друг...

— Ладно, ладно, минутку...

Я сообщил ему все данные. Потом была пауза, пока они проверяли мой кредит. Потом я услышал голос:

— Здравствуй, малыш, это Китти!

— Здравствуй, Китти, я Ник.

— У-у, какой у тебя *сексуальный* голос! Я уже немного волнуюсь.

— Да нет, у меня не сексуальный голос.

— Ах, ты просто такой скромный!

— Нет, Китти, я не скромный...

— Знаешь, я ощущаю такую *близость* к тебе! Такое чувство, как будто я свернулась калачиком у тебя на коленях. И гляжу на тебя

снизу глазами. У меня большие голубые глаза. Ты наклоняешься ко мне, сейчас ты меня поцелуешь!

— Это ерунда, Китти, я сижу здесь один, сосу виски и слушаю дождь.

— Слушай, Ник, напряги немного воображение. Не стесняйся — и ты удивишься, как много мы можем сделать вместе. Тебе нравится мой голос? Он тебе не кажется немного... э-э, сексуальным?

— Да, немного, но не очень. Он у тебя как будто простуженный. Ты простужена?

— Ник, Ник, мальчик мой, какая простуда? Я вся горю!

— Что?

— Я сказала: я вся горю, какая простуда?

— А говоришь как простуженная. Может быть, слишком много куришь?

— Я курю *только одну вещь*, Ник!

— Какую, Китти?

— Не догадываешься?

— Нет...

— Посмотри вниз, Ник.

— Ну?

— Что ты видишь?

— Стакан. Телефон...

— А что еще, Ники?

— Туфли...

— Ник, а что это такое *большое* торчит, пока ты со мной разговариваешь?

— А, это! Это мое *пузо*!

— Говори со мной, Ник. Слушай мой голос, представь себе, что я у тебя на коленях и у меня немного задралось платье, видны мои колени и бедра. У меня длинные белокурые волосы. Они падают мне на плечи. Представь себе это, Ник, представь...

— Хорошо...

— Ну, что ты *теперь* видишь?

— То же самое: телефон, мои туфли, стакан, пузо...

— Ник, ты плохой мальчик! Так и хочется прийти и отшлепать тебя! Или чтобы ты меня *отшлепал*!

— Что?

— *Нашлепать, нашлепать*, Ник!

— Китти...

— Да?

— Можно я отлучусь на минуту? Мне надо в туалет.

— Ну, Ник, я знаю, что ты хочешь делать! Тебе не надо в туалет, ты можешь сделать это прямо *по телефону*, разговаривая со мной!

— Нет, Китти, не могу. Мне надо пописать.

— Ник, — сказала она, — можешь считать наш разговор оконченным!

Она повесила трубку.

Я пошел в туалет и помочился. И все это время слышал шум дождя. Что ж, разговор получился паршивый, но хотя бы отвлек меня от мыслей о Красном Воробье и о других предметах. Я спустил воду, вымыл руки, посмотрел в зеркало, подмигнул себе и вернулся к своему виски.

45

И вот на другой день я снова в кабинете. Ничего я не выполнил, и дела обстоят довольно говенно. Никуда я не продвинулся, да и ос-

тальной мир тоже. Все мы болтаемся без толку, ждем смерти и заполняем время мелкими делишками. А некоторые и мелких делишек не делают. Овощи. И я один из них. Не знаю, какой я овощ. Я ощущал себя репой. Я закурил сигарету, вдохнул дым и притворился, будто знаю, какого черта.

Зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Да?

— Мистер Билейн, на вас выпал выигрыш. По вашему выбору: телевизор, поездка в Сомали, 5 тысяч долларов или складной зонтик. Вас ожидает бесплатная комната и бесплатный завтрак. Вам следует лишь посетить один из наших семинаров, где мы предложим вам неограниченных размеров недвижимость.

— Слушай, приятель, — сказал я.

— Да, сэр?

— Беги воруй!

Я бросил трубку. Я смотрел на телефон. Проклятая штука. Но можно позвонить по ней 911. Неизвестно, когда понадобится.

А мне нужен был отпуск. Мне нужны пять женщин. Мне нужно вынуть серу из ушей. Сменить в машине масло. Я не заполнил налоговую декларацию. И дужка на очках для чтения сломана. В квартире у меня муравьи. Пора почистить зубы. На туфлях каблуки стесались. У меня бессонница. Кончилась страховка на автомобиль. Режусь при каждом бритье. 6 лет не смеялся. Беспокоюсь, когда беспокоиться не из-за чего. А когда есть из-за чего беспокоиться, напиваюсь.

Снова зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Билейн? — спросил голос.

— Возможно, — ответил я.

— Не валяй дурака, — продолжал голос, — или ты Билейн, или ты не Билейн.

— Ладно, твоя взяла. Я Билейн.

— Ну вот, Билейн, нам известно, что ты ищешь Красного Воробья.

— Да? Из каких источников?

— Из интимных.

— Мало ли что у тебя есть интимного — ты же иногда показываешь?

— В данном случае мы воздержимся.

— Ладно, — сказал я, — ближе к делу.

— Десять тысяч, и мы кладем тебе в руки Красного Воробья.

— У меня нет десяти.

— Сведем тебя с человеком, который тебе одолжит.

— В самом деле?

— В самом деле. Всего под 15 процентов. В месяц.

— Но у меня нет никакого обеспечения.

— Обязательно есть.

— Какое?

— Твоя жизнь.

— И только? Поговорим.

— Конечно, Билейн. Будем у тебя в кабинете. Через десять минут.

— А как я пойму, что это вы?

— Мы тебе скажем.

Я положил трубку.

Через десять минут в дверь постучали. Громко. Вся дверь затряслась. Я проверил, в столе ли мой люгер. На месте, красавец. И обнаженный.

— Открыто, черт возьми, входите!

Дверь распахнулась. Свет заслонило огромное тело. Горилла с сигарой и в розовом костюме. При нем две обезьяны поменьше.

Я показал ему на кресло. Он сел, заполнив его целиком. Ножки кресла чуть разъехались. Обезьяны встали по бокам.

Главная обезьяна рыгнула, наклонилась ко мне.

— Я Сандерсон. Гарри Сандерсон. Эти, — он кивнул на шестерок, — мои мальчики.

— Ваши сыновья? — спросил я.

— Мальчики, мальчики, — сказал он.

— Ну да, — сказал я.

— Ты в нас нуждаешься, — сказал Сандерсон.

— Ну да.

— Красный Воробей, — сказал Сандерсон.

— Вы связаны с этой девицей и ее лошаком, которые сбежали вчера из своей квартиры?

— Ни с какой девицей я не связан, — ответил он. — Я просто ими пользуюсь для одного дела.

— Для какого? — спросил я.

— Для подтирки нижней палубы.

Обе обезьяны захихикали. Они подумали, что это остроумно.

— Не думаю, что это остроумно, — сказал я.

— Нам все равно, что ты думаешь, — сказал Сандерсон.

— Справедливо, — сказал я. — А теперь поговорим о Красном Воробье.

— 10 тысяч, — сказал Сандерсон.

— Я сказал — у меня их нет.

— А я сказал — мы найдем тебе заимодавца на выгодных условиях, 15 процентов в месяц.

— Ладно, давайте вашего Заимодавца.

— Мы — Заимодавец.

— Вы?

— Да, Билейн. Мы даем тебе деньги, ты отдаешь их нам. Потом платишь 15 процентов от десяти тысяч каждый месяц, покуда полностью не выплатишь долг. Все, что от тебя нужно, — подписать бумажку. Живые деньги вообще не возникают. Мы держим их у себя, чтобы не передавать туда-сюда.

— И за это вы...

— Отдадим Красного Воробья тебе в руки.

— А почем я знаю?

— Что знаешь?

— Что вы отдадите Воробья мне в руки?

— Ты должен доверять нам.

— Да, кажется, ты так сказал.

— А ты, Билейн?

— Что?

— Не доверяешь нам?

— Почему? Но лучше бы вы мне доверяли.

— Это как?

— *Сперва* отдайте Воробья мне в руки.

— Что? За кого ты нас принимаешь — за портновских болванов?

— Ну... да...

— Не нагличай, Билейн. Если хочешь увидеть Красного Воробья, ты должен нам доверять. У тебя нет другого выхода. Подумай хорошенько. У тебя есть 24 часа.

— Ладно, подумаю.

— Думай, Билейн. — Большая обезьяна в розовом костюме вста-

ла. — Подумай хорошенько и сообщи нам. Даем тебе 24 часа. После этого сделка отменяется. Навсегда.

— Ладно, — сказал я.

Он повернулся, и одна из его обезьян побежала открывать ему дверь. Другая стояла и смотрела на меня. Потом они ушли. А я остался сидеть. Не зная что делать. Подкинули мне задачку. А часы стучали. А, какого черта. Я вынул из стола бутылку водки. Было время обеда.

46

Ну, что теперь делать? Я так разволновался, что уснул за столом. Когда проснулся, было уже темно. Я встал, надел пальто и котелок и вышел на улицу. Сел в машину и проехал 5 миль на запад. Просто проехался. Потом остановил машину и огляделся. Я стоял перед баром. «Аид» — гласила неоновая надпись. Я вылез из машины, вошел. Там было пятеро. 5 миль, 5 человек. Кругом пятерки. Там был бармен, девушка и трое вялых, худых, глупых парней. Как будто бы с гуталином в волосах. Они курили длинные сигареты и щерились на меня и на все остальное. Девушка сидела у одного конца стойки, парни у другого, бармен стоял посередине. Я наконец привлек внимание бармена, взяв пепельницу и дважды уронив ее на стойку. Он моргнул и направился ко мне. Голова у него была похожа на лягушачью. Но он не прыгал, а плелся ко мне; остановился.

— Шотландского и воды, — сказал я ему.

— Вам воду в виски?

— Я сказал — шотландское и воду.

— А?

— Шотландское и воду, отдельно, пожалуйста.

Трое парней смотрели на меня. Заговорил средний.

— Эй, старик, хочешь, сделаем тебе больно?

Я только поглядел на него и улыбнулся.

— Мы бесплатно делаем, — сказал средний. Все трое щерились. Продолжали щериться.

Подошел бармен с моим виски и водой.

— Я, пожалуй, подойду и выпью из твоего стакана, — сказал все тот же.

— Только дотронься до стакана, и я переломлю тебя пополам, как кусок сухого говна.

— Ой-ё-ёй, — сказал он.

— Ой, — сказал второй.

— Ой, — сказал третий.

Я выпил виски, а воду не тронул.

— Старик думает, что он крутой, — сказал тот, что посередине.

— Может, проверить, какой он крутой? — сказал его приятель.

— Да, — сказал третий.

Господи, какие они скучные! Как все почти остальные. Ничего нового, ничего свежего. Тупость, мертвечина. Как в кино.

— Того же самого, — сказал я бармену.

— Что там было — вода и виски?

— Точно.

— Этот старик так себе выглядывает, — сказал средний.

— Выглядит, — сказал я.

— Чего выглядит?

— Старик так себе выглядит.

— Так ты с нами согласен?

— Я вас поправил. И надеюсь, что поправлять сегодня больше не придется.

Бармен принес мне виски. И отошел.

— Может, мы тебе рыло поправим, — сказал самый говорливый.

Я оставил его слова без внимания.

— Может, мы тебе морду к жопе приварим, — сказал другой.

Какие же скучные люди. По всей земле. И размножаются почкованием. Вонючий зверинец. Земля кишит ими.

— Может, мы дадим тебе пососать морковку, — сказал один из них.

— Может, он хочет пососать три морковки, — сказал другой.

Я ничего не сказал. Я выпил мое виски, запил водой, встал и кивнул в глубину бара.

— Смотри, он хочет потолковать на улице!

— Может, он хочет наши морковки!

— Пойдем поглядим!

Я пошел в глубину бара. Услышал их шаги за спиной. Потом услышал щелчок выкидного ножа. Я повернулся и выбил его ногой из руки. Потом рубанул ладонью за ухом. Он упал, и я перешагнул через него. Остальные двое бросились бежать. Они пробежали через весь бар и выскочили в парадную дверь. Я их не преследовал. Я вернулся к упавшему. Он еще был без сознания. Я поднял его, вскинул на плечо, вынес на улицу. Положил на скамью у автобусной остановки. Потом я снял с него туфли и выкинул в сточный люк. Туда же и его бумажник. Потом вошел в бар, поднял его нож, спрятал в карман, сел на свою табуретку, заказал еще.

Я услышал кашель девушки. Она закуривала сигарету.

— Мистер, — сказала она, — мне это понравилось. Мне нравятся настоящие мужчины.

Я оставил ее слова без внимания.

— Я Трахея, — сказала она.

Она взяла свой стакан, подошла и села рядом. Чересчур надушенная, и помады хватило бы другой на неделю.

— Мы могли бы узнать друг друга ближе, — сказала она.

— Это ничего не даст, это будет просто глупо.

— Что заставляет вас так говорить?

— Опыт.

— Может, вам встречались не те женщины?

— Может, я к этому пристрастился.

— А я могу оказаться той.

— Конечно.

— Угостите меня.

Как раз прибыло мое виски.

— И налейте Трахее, — сказал я бармену. — Джин с тоником, Бобби...

Бобби заковылял прочь.

— Вы не сказали, как вас зовут, — просюсюкала она.

— Дэвид.

— О, как хорошо. Я когда-то знала Дэвида.

— Что с ним стало?

— Я забыла.

Трахея прислонилась ко мне боком. Весила она килограммов на двенадцать больше, чем следует.

— Вы милый, — сказала она.

— Почему? — спросил я.

— Ну, не знаю... — Она помолчала. — Я вам нравлюсь?

— Вообще, нет.
— Я понравлюсь. Я заботливая.
— Это как? Вы сиделка?
— Нет, но кое-чему помогаю встать.
— Чему же это?
— Сами знаете!
— Нет, не знаю.
— Догадайтесь.
— Солнцу?
— Вы остряк.
— Мне говорили.
Ей принесли стакан. Она отпила.
Чем больше я глядел на нее, тем меньше в нее влюблялся.
— Черт, — сказала она, — моя зажигалка!
Она открыла сумочку и стала вытаскивать вещи. Открывалка для пива. Помада трех оттенков. Жевательная резинка. Свисток. И... что?
— Нашла! — сказала она, подняв зажигалку. Она постучала сигаретой, закурила.
— Что это там за вещь?
— Где?
— Вон. На стойке. Красная.
Я показал.
— А, — сказала она, — это мой воробей.
— Он живой? Он был живой? Раньше?
— Нет, глупышка, это чучело. Сегодня купила в зоомагазине. Для моей киски. Это кискин воробей. Киска их любит.
— О черт, уберите его.
— Дэвид, смотрите, вы заволновались! Вас возбуждают птицы?
— Только Красный Воробей.
— Хотите его?
— Нет, не нужно.
— У меня еще есть воробьи для киски. Можете познакомиться с моей киской.
— Нет, не надо, Трахея. Мне пора идти.
— Хорошо, Дэвид, но вы не знаете, чего вы лишились.
Я встал, прошел вдоль стойки, кинул деньги бармену и вышел. Сопляка уже не было на скамейке. Я сел в машину, тронулся и выехал на запруженную улицу. Было около десяти вечера. Стояла луна, и жизнь моя медленно текла в никуда.

47

На другой день я сидел у себя в кабинете. Дверь распахнули пинком, и вошел Гарри Сандерсон со своими двумя обезьянами. На этот раз Сандерсон был одет в светло-пурпурный костюм. Дикий вкус у человека. Я знал когда-то девицу, она тоже любила одеваться в какой-нибудь дикий цвет. Придем в ресторан есть — все оборачиваются и на нее глазеют. Беда только в том, что там посмотреть было не на что. Даже с похмелья и с трехдневной щетиной я выглядел лучше нее. Так возвращаясь к Сандерсону...
— Ну что, опарыш? — сказал он. — Твои 24 часа истекли. Ты все балуешься с пипкой или что-нибудь уже надумал?
— Я еще балуюсь с пипкой.
— Тебе нужен Красный Воробей или нет?
— Нужен. Но вы, ребята, напоминаете мне тех ребят, которые работали у моей тети в Иллинойсе.

— У твоей тети? Что еще на хер за тетя?

— У нее текла крыша.

— В самом деле?

— Да. Эти ребята пришли к ней и сказали, что починят крышу, что у них новый супергерметизатор. Дали ей подписать листок бумаги, заставили выписать чек и полезли туда.

— Куда, опарыш?

— На крышу. Влезли туда и все облили смазочным маслом. И смылись. Пошел дождь, все протекло, и дождь, и масло. Испортило тете весь дом.

— Серьезно, Билейн? Ты меня прямо растрогал! Но хватит разговоров! Ты хочешь Воробья или ты хочешь, чтобы мы ушли отсюда?

— Собираетесь одолжить мне 10 кусков, а? Которых я даже не получу и буду платить вам 15 процентов в месяц? Ничего поинтересней не предложите? Ну посудите сами: вы на моем месте клюнули бы на такое тухлое предложение?

— Билейн, — улыбнулся Сандерсон, — если есть за что мне благодарить судьбу, так за то, что я не на *твоем* месте.

Обе его обезьяны ухмыльнулись.

— Ты спишь с этими ребятами, Сандерсон?

— Сплю? Что значит сплю?

— Ну, спишь. Закрываешь глаза. Ладошку под щеку. В таком роде.

— Мне бы тебя шлепнуть, Билейн, чтобы от тебя осталось не больше бздеха в пустой церкви!

Обе мартышки захихикали над этим.

Я вдохнул, выдохнул. Я почувствовал, что почему-то начинаю злиться. Но со мной это часто бывало.

— Так ты говоришь, Сандерсон, что можешь дать мне в руки Воробья?

— Без сомнения.

— Ну так пошел ты в жопу.

— Что?

— Я сказал: пошел в жопу!

— Да что с тобой, Билейн? Начинаешь злиться?

— Да. Да. Именно.

— Одну минуту...

Сандерсон притянул к себе обеих обезьян. Я услышал, как они жужжат и стрекочут. Потом кучка рассыпалась.

Сандерсон глядел сурово.

— Это твой последний шанс, опарыш.

— Что? Какой?

— Мы решили отдать тебе птицу за 5 тысяч.

— 3 тысячи.

— 4 тысячи — и это все.

— Где ваши сраные бумаги?

— Они у меня, здесь...

Он залез к себе в пиджак и выкинул их на стол. Я попробовал их прочесть. Сплошной юридический жаргон. Я должен подписать долговое обязательство «Акме Ликвидаторам». 15% в месяц. Это я понял. И там было что-то еще.

— Там все еще написано 10 тысяч долгу.

— А, мистер Билейн, это мы можем исправить, — сказал Сандерсон. Он схватил бумаги, зачеркнул 10, надписал 4, поставил подпись. Швырнул бумаги мне на стол.

— Теперь распишись...

Я нашел ручку и подписал этот чертов договор.

Сандерсон схватил бумаги и засунул в пиджак.
— Громадное мерси, мистер Билейн. Всего хорошего. — Вместе с двумя обезьянами он направился к выходу.
— Э, а где Красный Воробей?
Сандерсон остановился, обернулся.
— А-а, — сказал он.
— Бэ, — сказал я.
— Жди нас завтра на Большом центральном рынке в два часа дня.
— Это большой рынок. Где?
— Найди мясной магазин. Стой возле свиных голов. Мы тебя найдем.
— Свиных голов?
— Да. Мы тебя найдем.
Они повернулись и вышли из кабинета. Я сидел и смотрел на стены. У меня было такое чувство, что меня кинули.

48

И вот в два часа дня я стоял на Большом центральном рынке. Я нашел мясной магазин и стоял возле свиных голов. Они смотрели на меня дырками вместо глаз. Я встретил их взгляд, пыхнул сигарой. Сколько грустного на свете. Бедные варят из этих черепов суп.
Я подумал: кажется, меня продинамили. Эти ребята могут не прийти.
Ко мне шел какой-то бедный. Он был одет в лохмотья. Когда он подошел поближе, я заговорил с ним:
— Эй, друг, дашь доллар на пиво? У меня язык уже вывесился...
Недоносок повернулся и пошел прочь. Иногда я подаю, иногда не подаю. Смотря с какой ноги встал утром. Наверно. Кто знает?
Денег в мире не хватает на всех. Никогда не хватало. Я не знаю, что с этим делать.
Потом я увидел их. Сандерсона и двух его обезьян. Они шли ко мне. Сандерсон улыбался и нес что-то, накрытое материей. Похоже было на птичью клетку. Птичья клетка?
Они остановились передо мной. Сандерсон окинул взглядом свиные головы.
— Радуйся, Билейн, что ты не свиная голова.
— Почему?
— Почему? Свиная голова не может трахать бабу, есть конфеты, смотреть телевизор.
— Что у тебя под тряпкой, Сандерсон?
— Кое-что для тебя, малыш, тебе понравится.
— Точно, — сказала одна из обезьян.
— Ага, — сказала другая.
— Эти мальчики когда-нибудь не соглашаются с тобой, Сандерсон?
— Им умирать неохота.
— Нам жить охота, — сказала одна обезьяна.
— До старости, — сказала другая.
— Я спрашиваю, Сандерсон, что у тебя в клетке?
— Нет, это не твоя клетка, эта клетка пустая.
— Ты хочешь дать мне пустую клетку?
— Это приманка, Билейн.
— Зачем тебе нужна приманка?
— Мы просто любим поиграть. Мы игривые.

— Замечательно. Ну а где настоящая клетка?

— На переднем сиденье твоего автомобиля.

— Моего автомобиля? Как вы туда...

— Ну это мы умеем, Билейн.

— А как же ты сказал, что мне понравится?

— Что понравится?

— Да вот эта клетка. Ты сказал, что она мне понравится. И твои шестерки согласились.

— Это шутка. Мы любим шутить. Это светская болтовня.

— Светская болтовня? Когда ты перестанешь болтать? Когда начнется дело?

— На переднем сиденье твоего автомобиля, Билейн. Убедись. Мы пошли. До встречи в городе. Через 30 дней.

Они удалились. А я остался со свиными головами.

Так. Я вышел оттуда и направился на стоянку. По дороге увидел прислонившегося к стене понурого алкоголика. Его атаковали мухи. Я остановился и засунул ему в карман доллар.

Наконец я очутился на стоянке. Я подошел к машине, залез. Там стояла еще одна клетка, накрытая. Я посмотрел, подняты ли все окна. Потом набрал в грудь воздуху и стащил тряпку. В клетке была птица. Красная. Я присмотрелся. Это был не воробей. Это была канарейка, покрашенная в красный цвет. Хм-м, хм-м. Угу. Ох.

Могли поймать воробья и покрасить красным. Нет, подсунули сраную канарейку. И я не могу ее выпустить. Сдохнет с голоду. Придется оставить у себя. Влип.

Шляпа.

Я завел машину и выехал со стоянки. Наплевав на светофоры, вырвался на шоссе. Внезапно я услышал тихий звук. Дверца клетки открылась, и птица вылетела. Она стала метаться по кабине. Красная канарейка. Водитель на соседней полосе увидел эту ерунду и стал надо мной смеяться. Я показал ему палец. Лицо его исказила злобная гримаса. Я увидел, что он протянул куда-то руку. Он опустил стекло, направил на меня пистолет, выстрелил. Стрелок он был паршивый. Промахнулся. Но я почувствовал ветер от пролетевшей мимо носа пули. Птица продолжала метаться, и я нажал на газ. В обоих моих окнах появились отверстия, одно входное, другое выходное. Я не оглядывался. Я дал полный газ и ехал так до своего поворота. Там я оглянулся. Друга моего не было видно. Тут я снова почувствовал птицу. Она стояла у меня на макушке. Я чувствовал ее кожей. Потом она опорожнилась. Я чувствовал, как капают мне на голову ее какашки.

Не особенно приятный день.

Не самый для меня удачный, черт возьми.

49

Я сидел в кабинете. Кажется, это была среда. Новых дел не наклевывалось. Я по-прежнему занимался Красным Воробьем, обдумывал, просчитывал ходы. Единственный ход, который приходил мне в голову, — убраться из города, пока не истекли 25 дней.

Черта с два. Они не выкурят меня из Голливуда. Я и есть Голливуд — то, что от него осталось.

В дверь очень вежливо постучали.

— Да, — сказал я, — смелее.

Дверь открылась, и появился маленький человек во всем черном — черные туфли, черный костюм, даже рубашка черная. Только галстук на нем был зеленый. Как зеленый лимон. За спиной у него мая-

чил телохранитель-горилла. Только у гориллы больше мозгов.

— Я Джонни Темпл, — сказал он, — а это мой помощник Люк.

— Люк, да? А что делает Люк?

— То, что я ему скажу.

— Может, скажешь ему, чтобы убирался?

— В чем дело, Билейн, тебе не нравится Люк?

— А должен нравиться?

Люк сделал шаг вперед. Лицо у него сморщилось, как будто он хотел заплакать.

— Ты не любишь меня, Билейн? — спросил Люк.

— Ты не встревай, Люк, — сказал Темпл.

— Да, не встревай, — сказал я.

— Ты любишь меня, Джонни? — спросил Люк.

— Конечно! Конечно! А теперь, Люк, иди, встань перед дверью и никого не впускай и не выпускай.

— Тебя тоже?

— Ты о чем, Люк?

— Тебя тоже не впускать и не выпускать?

— Нет, Люк, меня ты впускай и выпускай. Но больше никого. Пока я тебе не скажу.

— Ладно.

Люк отошел и встал перед дверью.

Темпл подтащил кресло, сел.

— Я от «Акме Ликвидаторов». Я должен тебя проинструктировать. Наш коммивояжер, Гарольд Сандерсон...

— Коммивояжер? Ты называешь его коммивояжером?

— Он у нас один из лучших.

— Надо думать, — согласился я. —Посмотри на это.

Я показал на птичью клетку, подвешенную в углу. В ней сидела красная канарейка.

— Это он мне всучил, — сказал я.

— Гарри может всучить кожу с мертвого тела, — сказал Темпл.

— И всучал, наверно, — сказал я.

— Это к делу не относится. Мы должны тебя проинструктировать.

— Ну давай инструктируй.

— Это неостроумно, Билейн. Мы одолжили тебе 4 куска под 15 процентов месячных. Это будет 600 долларов. Мы хотим убедиться, что ты все понял, прежде чем придем получать.

— А если у меня не будет?

— Мы всегда получим, мистер Билейн, тем или иным способом.

— Вы ломаете ноги, Темпл?

— Наши методы варьируются.

— Допустим, ваши методы не оправдались. Вы убьете человека за 4 куска и проценты?

Темпл вытащил пачку сигарет, постучал одной об стол и прикурил от зажигалки. Потом медленно затянулся, выдохнул.

— Ты меня утомляешь, Билейн.

Потом он сказал:

— Люк...

— Да, Джонни?

— Видишь красную птицу в клетке?

— Да, Джонни.

— Люк, теперь ты туда подойди, возьми птицу из клетки и съешь ее живьем.

— Да, Джонни.

Люк направился к клетке.

— ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ТЕМПЛ, ВЕРНИ ЕГО! ВЕРНИ ЕГО! ВЕРНИ ЕГО! — закричал я.

— Люк, — сказал Темпл. — Я передумал, не надо есть эту птицу живьем.

— Мне ее сперва поджарить, Джонни?

— Нет, нет, пусть сидит. Вернись и стань перед дверью.

— Да, Джонни.

Темпл посмотрел на меня.

— Видишь, Билейн, мы непременно получим деньги, так или иначе. И если не срабатывает один метод, мы применяем другой. Мы не имеем права споткнуться. Нас знает весь город. Мы дорожим своей репутацией. Мы не можем допустить, чтобы на нее легло пятно. Постарайся это усвоить.

— Кажется, я понял, Темпл.

— Отлично. Первая выплата у тебя через 25 дней. Ты проинструктирован.

Темпл встал, улыбнулся.

— Всего хорошего, — сказал он.

Повернулся.

— Люк, открой дверь, мы уходим.

Люк повиновался. Темпл обернулся и взглянул на меня в последний раз. Он уже не улыбался. Наконец они удалились.

Я подошел к клетке и посмотрел на мою красную канарейку. Местами краска уже слиняла, из-под нее проглядывал природный желтый цвет. Птица была симпатичная. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Потом она издала слабенький птичий звук «чик!» — и мне почему-то стало приятно. Мне легко угодить. Сложнее — остальному миру.

50

Я решил пойти домой и немного выпить. Надо было все продумать. Дело Красного Воробья и моя жизнь зашли в тупик. Я подъехал к дому, поставил машину и вылез. Надо убираться из этой квартиры. Я прожил здесь 5 лет. Можно сказать, свил гнездо — только ничего не вылупилось. Слишком многие знали, где я живу. Я подошел к моей двери, отпер ее. Толкнул, но что-то ей мешало. Тело. Там развалилась девушка. Нет, черт, это была надувная кукла, одна из тех надувных штук, с которыми некоторые мужчины сожительствуют. Только не я, извините. Девушка была полностью надута. Я поднял ее и перенес на кушетку. Потом увидел записку, привязанную к ее шее: «Билейн, отстань от Красного Воробья, иначе будешь дохлее этой резиновой барухи». Приятная записка. Итак, у меня был гость. Который не желает, чтобы я продолжал дело. Но это вселило в меня надежду. Красный Воробей должен существовать — в противном случае такой записки не написали бы. Единственное, что мне надо сделать, — это напасть на след. След должен быть. Уж больно много кругом признаков. Возможно, я вышел на что-то крупное. Возможно, в международном масштабе. А может быть, в потустороннем? Красный Воробей. Черт возьми, это становится интересно. Я налил себе как следует, врезал. Тут зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Да?

— Писюн, чем занимаешься?

По спине у меня пробежал мороз. Это была одна из моих бывших жен, Пенни. Последнее, что я слышал о ней лет 5 назад, после нашего развода, — она исчезла куда-то с неким Сэмми, крупье из Лас-Вегаса.

— Простите, мадам, вы ошиблись номером.
— Я узнала твой голос, Писюн. Как поживаешь?
Она дала мне такую кличку. Без всяких оснований.
— Паршиво поживаю, — сказал я.
— Тебе нужно общество.
— Угу.
— Ты никогда не знал, что тебе нужно, Писюн.
— Может, и так, зато знал, что мне не нужно.
— Я поднимаюсь.
— Угу.
— Я внизу. Я звоню из холла.
— Где Сэмми?
— Кто?
— Сэмми.
— А-а, он... Слушай, я поднимаюсь.
Пенни повесила трубку. Я чувствовал себя ужасно, словно кто-то обмазал меня всего говном. Я допил стакан, налил другой. Постучали. Я открыл дверь. Там стояла Пенни, на 5 лет постаревшая, на 15 килограммов потяжелевшая. Она улыбалась жуткой улыбкой.
— Рад меня видеть?
— Заходи, — сказал я.
Она перешла за мной в другую комнату.
— Налей мне выпить, Писюн!
— Сейчас...
— Э, что это?
— Что?
— Резиновая штука. Резиновая женщина.
— Это надувная кукла.
— Ты ей пользуешься?
— Пока нет.
— Что она здесь делает?
— Не знаю. На́ стакан.
Пенни скинула куклу на пол и села со стаканом. Врезала.
— Я скучала, Писюн.
— По чему?
— А, по разным пустякам.
— Например?
— Сейчас не припомню.
Она глотнула из стакана, окинула меня взглядом, улыбнулась.
— Мне нужны деньги, Писюн. Сэмми смылся со всем, что у меня было.
— Я в пролете, Пенни. Один тип пришьет меня, если я не заплачу проценты по займу.
Я отошел, снова налил нам обоим, вернулся.
— Мне совсем немного, Писюн.
— Я нищ, черт возьми.
— Я тебе его поцелую. Помнишь, тебе нравилось?
— Слушай, у меня всего 20 долларов. На́...
Я вынул деньги и отдал ей.
— Мерси...
Пенни спрятала их в сумочку. Мы сидели и потихоньку пили.
— Иногда мы неплохо жили, — сказала она.
— Вначале, — ответил я.
— Не знаю. Меня это стало угнетать.
— Слушай, мы развелись, потому что не смогли ужиться.
— Да, — сказала она. — А ты с этой теткой спишь?
— Нет, кто-то ее подкинул.

— Кто?

— Не знаю. Кто-то надо мной мудрует.

— Хочешь со мной переспать?

— Нет.

— Можно я еще посижу и выпью?

— Долго?

— Часика два.

— Ладно.

— Спасибо, Писюн.

Уходила она уже пьяной. Я дал ей еще 20 долларов на такси. Она сказала, что ей недалеко.

Она ушла, я остался сидеть. Потом поднял надувную куклу и посадил на кушетку рядом с собой. Я пил водку с тоником. Вечер выдался тихий. Тихий вечер в аду. А земля горела, как гнилое полено, источенное термитами.

51

Вы не представляете себе, как быстро проходят 25 дней, когда ты не хочешь, чтобы они прошли.

Я сидел в своем кабинете, как вдруг распахнулась дверь. Это был Джонни Темпл. При нем две новые обезьяны.

— «Акме Ликвидаторы», — сказал он. — Мы пришли за деньгами.

— У меня нет, Джонни.

— У тебя нет шестисот долларов?

— У меня нет шестидесяти.

Джонни вздохнул.

— Нам придется наказать тебя в назидание другим.

— Это как? Хотите бить меня из-за паршивых шестисот долларов?

— Не бить, Билейн, а убрать тебя. Совсем.

— Я тебе не верю.

— Неважно, во что ты веришь, — сказала она из обезьян.

— Ага, неважно, — сказала другая.

— Нет, подожди минуту, Джонни. Говоришь, вы убьете меня за проценты с 4-х тысяч? За 4 тысячи, которых я в глаза не видел? И Красного Воробья вы мне не достали. Что же вы делаете с теми, кто вам много должен? Почему вы их не убьете? Почему меня?

— Дело вот в чем, Билейн. Мы мочим тебя из-за мелочи. По городу разносится слух. И тем, кто должен нам много, становится *страшно*! Они соображают: если мы с тобой так поступили из-за ерунды — какую же баню мы устроим им? Понял?

— Да, — сказал я, — понял. Но ведь мы говорим сейчас о моей жизни. Как будто она ничего не значит, а?

— Не значит, — сказал Джонни. — У нас бизнес. А бизнес ничем не интересуется, кроме прибыли.

— Это что-то немыслимое, — сказал я, потихоньку выдвигая ящик стола.

— Стой! — сказал один из громил и, шагнув вперед, сунул люгер мне в ухо. — Эту железку я возьму.

Он забрал из ящика мой 0,32.

— Толстожопый, а проворный, — сказал я ему.

— Да. — Он улыбнулся.

— Ладно, Билейн, — сказал Джонни Темпл, — мы возьмем тебя прокатиться.

— Средь беда дня?!

— Тебя лучше будет видно. Вставай, поднимайся!

Я встал из-за стола, и его шестерки зажали меня с боков. Темпл шел сзади. Мы вышли из кабинета, направились к лифту. Я сам нажал кнопку.

— Спасибо, опарыш, — сказал Джонни.

Подошла кабина, двери раскрылись. Пусто. Меня затолкнули внутрь. Поехали вниз. Пустота в груди. Первый этаж. Вестибюль. Мы вышли на улицу. Там было людно. Кругом пешеходы. Я хотел закричать: эй, эти люди меня убивают! Но побоялся — они могли кончить меня на месте. Я шел с ними. День был прекрасный. Мы остановились перед их машиной. Шестерки сели сзади, я между ними. Джонни Темпл сел за руль. Он выехал на улицу.

— Все это скверный, бессмысленный сон, — сказал я.

— Это не сон, Билейн, — сказал Джонни Темпл.

— Куда вы меня везете?

— В Гриффит-парк, мы устроим маленький пикник. Маленький пикник на уединенной тропинке. В интимной обстановке.

— Бляди, как можно быть такими бездушными? — спросил я.

— Очень легко, — сказал Джонни, — мы такими уродились.

— Ага, — заржал один из громил.

Мы продолжали ехать. Мне не верилось, что это происходит со мной. Может быть, это не произойдет. Может быть, в последнюю минуту они скажут мне, что это шутка. Просто хотели меня проучить. Что-нибудь в таком роде.

Наконец мы приехали. Джонни остановил машину.

— Так. Вынимайте его, ребята. Мы немного прогуляемся.

Один из громил выдернул меня из кабины. Потом оба взяли под руки. Джонни шел позади нас. Мы очутились на заброшенной конной тропинке. Ее загораживали кусты и ветви деревьев, солнце сюда не проникало.

— Слушайте, ребята, — начал я. — Хватит вам. Скажите мне, что это шутка, и мы пойдем куда-нибудь выпьем.

— Это не шутка, Билейн, мы тебя кончаем, — сказал Джонни.

— 600 долларов. Не могу поверить. Я не могу поверить, что мир устроен таким образом.

— Устроен. Мы тебе изложили наши соображения. Шагай, — сказал Джонни.

Мы пошли дальше. Потом Джонни сказал:

— Вот вроде подходящее место. Повернись, Билейн.

Я повернулся. Я увидел дуло. Джонни выстрелил. Четыре раза. Прямо мне в живот. Я упал ничком, но сумел перевернуться на спину.

— Большое спасибо, Темпл, — выдавил я.

Они ушли.

Не знаю, я, наверное, потерял сознание. Потом очнулся. Я понимал, что мне осталось недолго. Кровь вытекала из моего тела.

Потом мне почудилась музыка — музыка неслыханная. А потом совершилось. Что-то стало вырисовываться передо мной, приобретать очертания. Оно было красное-красное — подобно музыке, *невиданно красное*. Это был он:

КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ.

Гигантский, сияющий. Красавец, живой, невиданной величины, невиданного великолепия.

Он стоял передо мной. А потом... возникла Леди Смерть. Она стояла рядом с Воробьем. И никогда еще не выглядела такой прекрасной.

— Билейн, — сказала она, — ты влип в нехорошую историю.

— Мне трудно говорить, Леди... Разъясните мне все обстоятельства.

— Твой Джон Бартон очень проницательный человек. Он чувствовал, что Красный Воробей реален... как-то, где-то существует. И что ты его найдешь. Ты нашел. Большинство остальных — Дежа Фаунтен, Сандерсон, Джонни Темпл — были аферисты, они хотели тебя обмануть, вытянуть из тебя деньги. Поскольку ты и Муссо — последние могикане старого Голливуда, подлинного Голливуда, они решили, что у тебя много денег.

Я улыбнулся.

— Леди, а что за надувная кукла у меня в комнате?

— А, это? Это почтальон. Он слышал, что ты уехал на поиски Красного Воробья, и захотел еще раз отплатить тебе за побои. Взломал дверь и подбросил куклу.

— Что теперь, Леди?

— Я оставляю тебя с Красным Воробьем. Ты в хороших руках. Прощай, Билейн, я была рада знакомству.

— Да...

И я остался с гигантской сияющей птицей. Она стояла надо мной.

Этого не может быть, подумал я. Такое не должно происходить с людьми. Нет, такое не должно происходить.

А потом, глядя на меня, Воробей медленно раскрыл клюв. Страшная пустота дохнула на меня. А в клюве возник громадный желтый вихрь, невероятный, яростнее солнца.

Это не так должно происходить, снова подумал я.

Клюв раскрылся широко, голова Воробья надвинулась, и ослепительное желтое солнце разлилось вокруг и поглотило меня.

■



ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ

Чтиво

РОМАН

Перевод с польского К.СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Я услышал монотонный настойчивый стук. Говорю: стук, хотя, возможно, это был назойливый скрип неплотно закрытой двери. Вначале навязывающий свои порядки сон пытался объяснить эти звуки по своему усмотрению, но постепенно начала возвращаться реальность. Я увидел перед собой стену — незнакомую, с расплывчатыми тенями; потом заметил в углу подушки бурое пятнышко, похожее на засохшую каплю крови, и почувствовал жгучую пульсирующую боль во лбу. Где я? — была первая мысль. Как оказался у исчерченной темнотой стены? Между тем кто-то продолжал с грохотом ломиться в дверь.

Я медленно встал с кровати и машинально пошел в ту сторону, откуда доносился стук. По пути опрокинул стул, вероятно, с моей собственной одеждой. Впереди мерцала точечка яркого света. Похоже, это была моя квартира и мой глазок на темной плоскости двери.

«Сейчас. Минутку. Открываю», — хотел сказать я, но голос не желал повиноваться, и я только захрипел, мучительно закашлявшись.

Едва я повернул защелку замка, дверь приоткрылась. На площадке стоял молодой лысоватый человек в светлом костюме, а за ним двое полицейских.

— Можно войти? — спросил блондин.

— Да. Но... почему?

— Сейчас объясню, — и шагнул через порог, а за ним и оба полицейских.

— Что случилось? — снова спросил я.

Один из полицейских остался у незакрытой двери. Второй последовал за блондином, легонько подталкивавшим меня в глубь квартиры.

— Совершено убийство, — сказал блондин, а я подумал, что подобные тексты мне откуда-то хорошо знакомы.

— Где совершено убийство? — я постепенно узнавал свою прихожую с большой вешалкой, на которой неподвижно висели наши зимние пальто.

— У вас. В вашей квартире.

Я вдруг подумал, что хорошо было бы рассмеяться, и попробовал это сделать. Но блондин не обратил внимания на мои потуги и опять подтолкнул меня в комнату.

— Может, вы немного приведете себя в порядок, — сказал он; каждую фразу он начинал с глубокомысленного мычания, словно был выпускником Оксфорда.

Я опустил глаза и оцепенел. На мне была только пижамная куртка. Я принялся искать недостающую деталь одежды, безуспешно обшарил постель и наконец обнаружил свои штаны валяющимися на полу.

Блондин деликатно подождал, пока я завершу туалет, и лишь после этого подошел к окну и энергичным движением раздвинул шторы.

Я увидел нашу комнату при свете раннего утра. Полку с книгами, телевизор с мутным бликом на стеклянном экране, опрокинутый стул, мое чудо-деревце, которое, разрастаясь, расчленилось на множество толстых стволов, увенчанных чахлой кроной.

— Моя фамилия Корсак, — сказал блондин. И добавил что-то вроде: — Помощник комиссара Корсак.

Мы еще не привыкли к новым полицейским чинам — мы, клиенты прежней коммунистической милиции.

— Понимаете, у меня болит голова. Не могу собрать мысли.

— Немудрено. У вас шишка на лбу.

— Шишка? — я подошел к нашему старому зеркалу, испещренному благородными проплешинами. Пощупал черную корку запекшейся крови над правой бровью.

Тощий молодой полицейский с белой дубинкой на боку, похожей на обрывок бельевой веревки, взглядом указал штатскому на нашу кушетку, служившую одновременно ящиком для постельного белья и раскладным диванчиком, на который мы иногда укладывали редких гостей.

А я заметил, что дрожу от утреннего холода и не могу унять эту дрожь. Хрипло кашлянул пару раз, прочищая горло.

Блондин, то есть помощник комиссара Корсак, неторопливо направился к кушетке, огибая разбросанную по полу одежду. Остановился спиной ко мне, разглядывая продолговатый бугорок под скомканным пледом. Потом медленно нагнулся и рывком сдернул этот старый, верой и правдой служивший нам плед. И мы, все трое, увидели лежащую навзничь молодую женщину. Приоткрыв рот, она смотрела в потолок. Сползшие к подмышкам белые груди — идеально округлые, точно очерченные циркулем; темный кудрявый треугольник внизу живота.

— Подойдите.

Я с опаской приблизился. С огромным усилием проглотил слюну, густую, как столярный клей.

— Вы ее знаете, верно?

— Нет, скорее, нет.

Я видел следы легкого загара на обнаженном теле, отчего оно казалось восковым.

— Ну, так кто же это?

— Не знаю. Кажется... возможно, мы вчера познакомились.

Она лежала перед нами, лишенная сексуальности, вызывающая новое для меня чувство удушливого, панического страха.

— Мне нехорошо. Можно на минуточку выйти на балкон?

Корсак задумался, помычал и нехотя проговорил:

— Идите, только дверь попрошу не закрывать.

Нетвердым шагом я вышел на воздух. Боже, что произошло.

Почему именно со мной должно было такое случиться. Этого же не может быть. Я невольно покосился через плечо. Полицейский прикрывал незнакомую девушку пледом, а Корсак, от которого меня отделял лишь порог балкона, внимательно за мной наблюдал.

Я увидел перед собой туннель тихой улицы, полуголые неподвижные деревья и в самом конце — массивную громадину Дворца культуры. Но Дворец этот странным образом приблизился. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, хоть пощупай, пугающе отчетливый, будто вырезанный из толстого коричневого картона, с черными прямоугольниками окон, в которых не было не только света, но и стекол. Мертвая театральная, точнее, оперная, декорация, до такой степени реальная, незатуманенная привычной дымкой, вечным смогом, отдаленностью, что я подумал: из города выкачали воздух. Я стоял и смотрел, не в силах оторвать глаз от этого архитектурного монстра и перевести взгляд на что-нибудь другое.

Тут на балкон вышел помощник комиссара, или как там его, в штатском, перегнулся через ржавые перила и подал кому-то знак рукой. Потом выпрямился и тоже посмотрел на Дворец и выцветшее синее небо за ним, снизу подсвеченное анемичной красноватой зарей.

— Схватите воспаление легких, — сказал он.

— Да нет. Мне не холодно.

— Идите обратно.

Мы вернулись в комнату. Я услышал шум на лестнице, решительные голоса, кто-то топтался за дверью. Наконец вошли несколько мужчин; один из них, в сером халате, тащил огромный чемодан. Наверное, следственная бригада. Известный ритуал. Привычная картинка нашей повседневности.

Разумеется, какой-то пожилой господин, вероятно, врач, сбросил плед и склонился над телом молодой женщины. Что происходит, подумал я. И что будет дальше. Чем это кончится. И что я делаю в этой обстановке, которую словно видел когда-то во сне. И себя тоже словно вижу во сне.

— Значит, вы не можете сообщить анкетные данные покойной?

Да, и терминология соответствующая. Он ко всему еще чуть-чуть заикается. Ровно настолько, чтобы придать своей речи изысканность. Теперь заикание в моде: это свидетельствует о глубокомыслии и некоторой противоречивости суждений, апломбе и одновременно склонности к детальному анализу.

— Не знаю, — ответил я, стуча зубами. — Впрочем, кажется, ее зо... звали Верой.

— А где ее одежда?

— Одежда? Должна где-то быть. Может, в ванной.

Мне стало стыдно. Я машинально проверил, на месте ли штаны. Хоть бы уже это кончилось. Хоть бы вообще не начиналось.

Корсак пошел в ванную и через минуту вернулся с пустыми руками.

— Зажги свет, — деловито распорядился полицейский, который принес чемодан. Кто-то щелкнул выключателем. Я зажмурился от резкого света.

— Ну что ж, — произнес помощник комиссара, предварительно помычав.

Но тут один из бригады протянул в нашу сторону поблескивающий на свету скальпель.

— На простыне следы спермы.

— Матерь Божья. Не может этого быть. Я аккуратный, — тихо простонал я.

Все на меня уставились. Откуда-то из путаницы улиц за окном донесся вой сирены. Истерический, как сигнал «скорой».

— Прошу прощения, — сказал тот же человек. — Это засохший крахмал.

И на том спасибо, подумал я. Почему я не умер раньше. Сколько было возможностей. Все идет кувырком. Уже который год.

— Ну что ж, — повторил Корсак. А я ужасно не люблю, когда мысль начинают излагать со слов «ну что ж». — Поедем в комиссариат.

Я наспех оделся, достал из шкафчика документы — сам достал, по собственной инициативе, — и в сопровождении Корсака и двух пришедших с ним полицейских вышел на лестничную площадку. Двери соседних квартир были приоткрыты, я заметил несколько впившихся в меня пар глаз. Наплевать, подумал. Теперь уже наплевать. Так должно было кончиться. Но что должно было так кончиться. Моя жизнь. Моя судьба. Мое невезение.

Внизу возле дома, рядом со «скорой помощью», стоял легковой автомобиль. На крыше крутились разноцветные мигалки. Я заметил, что левая — красная, а правая — голубая. Раньше уводили пешком. Иногда увозили на поезде.

Оба полицейских сели спереди, а мы с Корсаком — сзади. Машина выехала на сумрачную улицу и сразу попала в пробку. Под блеянье клаксонов мы медленно катили к площади Трех Крестов. Вялое движение в вялом городишке увядшего континента, подумал я. Руины позабытых войн, скончавшихся режимов, незавершенных цивилизаций. Какая-то утренняя звезда, наверняка поддельная, таращилась на долину улицы.

— Я, кажется, умираю, — прошептал я.

— Что вы говорите? — очнулся блондин. В свете уличного фонаря я увидел его аккуратную макушку. Вероятно, он очень заботится о своих мягких, как цыплячий пух, волосенках, упрямо отступающих к затылку. Педант. Боязнь облысеть приучает мужчин к педантичности.

— Мне нехорошо. Все еще темно. Который час?

— Девятнадцать, — сказал он, поглядев на пустое запястье.

— Девятнадцать? — переспросил я. — А мне казалось, раннее утро. Я где-то потерял целые сутки.

Что случилось. Что со мной случилось. Откуда я все это знаю. Кто-то мне рассказывал. Или я читал в газете. Он так печется о своих волосах, а у меня волос слишком много. Я бы мог оставить их ему в наследство. Мне они уже надоели.

— Посмотрите. Горбачев идет, — сонно сказал я.

— Где?

— Вон там, возле бутика. Все, уже вошел в подъезд.

Корсак поглядел на меня настороженно.

— Врач был похож на Юлия Цезаря.

— Какой врач?

— Тот, что приехал с вашей бригадой. Вы, наверно, кроме права изучали психологию?

— Нет, астрономию. Но не закончил.

Хорошо бы у нас были огромные, с дом, морозильники. Заморозиться и переждать. Пока все не забудется, пока настоящее не станет прошлым. По полицейской рации слышны какие-то посторонние разговоры. Кто-то смеется. Кто-то кому-то желает спокойной ночи. А может, она вдруг встанет, встанет и пойдет, обнаженная, в ванную.

— Приехали, — сказал блондин.

Мы вышли из машины перед комиссариатом. Я знал этот дом, обыкновенный доходный дом. Когда-то меня приводили сюда патрули. Когда-то я интересовался политикой и любил свою несчастную родину.

Около грубой деревянной двери, которую неизвестно зачем много раз выламывали, корежили ломами и обливали краской, — около этой двери лежала на тротуаре цыганка, прижимая к себе спящего ребенка. Увидев нас, она стала жалобно просить на незнакомом языке милостыню.

А внутри шел ремонт. Стояли обросшие известкой козлы, на полу валялись газеты былых эпох, суетились маляры в бумажных треуголках.

— Прямо, прямо, — сказал Корсак и повернул налево.

Мы подошли к двери, обитой ржавой жестью. Корсак отпер ее ключом, зажег свет и указал на две табуретки возле кухонного стола. Я сел на ближайшую.

— Подождите.

И вышел, не заперев двери. Я бы мог воспользоваться случаем. Но лучше умереть. Хорошо бы закрыть глаза и оказаться по другую сторону. Здорово придумано: оказаться по другую сторону. Бесконечные туннели, таинственные закоулки, неглубокие расщелины. Убогая фантазия.

Пустая комната. Темно-серые панели на голых стенах.

Кто-то что-то выцарапывал на этой серости. Протестующий крик души, а может, имя случайной подружки или застрявшие в мозгу афоризмы. Он астроном. В голове у него трехмерная модель вселенной. Он ни на минуту не забывает, что сине-белый чуточку сплющенный шар летит в мнимой пустоте. Для нас — ночь, а для него — полоборота чес-

толюбивой и самоуверенной планетки вокруг своей оси.

Я вытащил скверный жребий из шапки судьбы. Во лбу тикает боль. К горлу подступает тошнота.

Вернулся Корсак. На ходу причесал свой весенний пушок.

Поставил на середину стола магнитофон в кожаном футляре и, как-то странно, но энергично разведя локти, ладонями пригладил волосы на висках.

— Вам придется ответить на несколько вопросов.

— Хорошо. Попробую.

Он защелкал клавишами магнитофона. Потом помычал по-своему и спросил:

— Ну, так как это началось?

Тут лязгнула дверь, и в щель просунулась голова с физиономией американского президента.

— Мы собрали все, что смогли. Несколько волосков, разных. Какой-то мусор, куча пыли и пуговица от немецкого мундира времен войны. Отдаю в лабораторию.

Корсак кивнул, а когда дверь закрылась, вроде бы сочувственно меня подбодрил:

— Ну, я вас слушаю.

Черты лица у него были довольно резкие, но как будто в последний момент смягченные создателем. Он наверняка умеет улыбаться тепло и дружелюбно — в соответствующих обстоятельствах.

— Не знаю. Не знаю, как было. У меня все перепуталось.

Прошлое, давнее и недавнее, вчерашний день и последняя ночь. Не знаю. Помню только, я маялся от скуки. Но мне всегда скучно. Пробовал чем-то заняться, ждал каких-то телефонных звонков. Но это была только попытка обмануть самого себя. Я вышел на балкон, поглядел на воробьев, они дрались, бесстыдно совокуплялись, ждали, что я брошу им крошки. Тяжелые тучи разошлись, и из тумана выплыл Дворец культуры, на который я часто смотрю и ничего особенного не вижу. Потом пролетел самолет, вероятно, из Москвы в Париж, пролетел так высоко, что виден был только белый рыхлый след на чистом небе. И тут я заметил, что эта белая полоса очень круто загибается вниз, и осознал, как мала наша планета и как опасно близок горизонт, за которым, под отвесным обрывом, чужие края, чужие моря. Мне стало еще неуютнее. Я почувствовал себя одиноким и не нужным никому, даже статистике, а может, даже самому Господу Богу. Хотя где-то в подсознании вертелось, что я приглашен на именины к милым, но тоже никому не нужным людям. Я давно уже охладел к бессмысленным сборищам малоинтересных мне личностей, которые с рюмками в руках стоят по углам и беседуют обо всем, а значит, ни о чем. Мне страшно находиться в замкнутом пространстве с ближними, которых я избегаю на улицах. Я отгораживаюсь от них уставленным закусками столом, удираю на кухню, прячусь в ванной. Когда-то мне нравилось общаться с незнакомыми или едва знакомыми людьми. Меня, точно охотника в лесной чащобе, охватывал азарт. То вдруг кого-нибудь очарую, то соблазню, то удивлю насмерть. Но со временем охотничий инстинкт притупился, надоело устраивать засады на небогатых, потрепанных, беспомощных ближних. Им хочется получить от меня нектар оптимизма, амброзию бодрости, услышать простые, пускай даже затасканные слова утешения, но мне уже нечего раздавать. Я сам нуждаюсь в приятной лжи и хотя бы мимолетном восхищении. Такая милостыня нужна мне как легкая понюшка дешевого наркотика, но я ее презираю. Оттого заранее думал об этой вечеринке с отвращением и целый день клялся себе, что скорее сдохну, чем выйду из дома. Обошел всю квартиру, вымел из-под безжизненных батарей свернувшуюся колбасками пыль, снял с полки книжку и попытался читать, включил и выключил телевизор, а потом вдруг быстро, чтобы не передумать, схватил пиджак и выскочил на лестницу.

— Простите, — перебил меня блондин. — Надо кое-что проверить. — И стал нажимать клавиши; я услышал какую-то музыку, а потом собственный хриплый голос.

— Все в порядке. Слушаю вас.

— Я не случайно начал с пространной преамбулы, мне хочется, чтобы вы поняли мое состояние, — может, так вам будет проще разобраться в дальнейшем.

Я на минуту умолк, а он, воспользовавшись паузой, странным автоматическим движением широко развел локти и пригладил ладонями пушок на висках. За стеной кто-то ужасно кричал. Корсак поощряюще улыбнулся.

— Не знаю, у меня все путается. Но я стараюсь ничего не скрывать. Говорить только правду — со своей колокольни, разумеется. Знаю, объективной истины не существует, так что пускай будет моя собственная, личная. Итак, я оказался на именинах, и все шло, как заведено. Только на этот раз там была одна незнакомая странноватая девушка. Правда, странность ее почему-то меня не удивила. Вам, конечно, тоже встречались такие молодые женщины: вызывающе одетые, ярко накрашенные, которые на третьем часу знакомства начинают плакать и рассказывать о каком-то Здзишеке или Збышеке, тайком уехавшем в Америку и бесследно пропавшем, — я замолчал от внезапной острой боли, пронзившей голову от виска до виска. — Знаете, мне расхотелось говорить. Лучше вы задавайте вопросы.

Корсак вскочил с табурета, пробежался наискосок по комнате, а потом улыбнулся — отчасти себе, отчасти мне.

— Астрономию эту я давно забыл. Моя жена — психолог, но и у нас есть свои проблемы. У всех проблемы. У президентов и бездомных бродяг. У фабрикантов и безработных. У дебилов и художников.

— Да, но я-то как раз думал, что у меня нет проблем, что они остались далеко позади. Однако эта девушка, эта молодая женщина, на первый взгляд чужая, наглая и неприятная, показалась мне откуда-то знакомой — точно явилась из моей юности, из другой эпохи с другими нравами, точно специально для меня переоделась. С некоторых пор я мало пью. Свое в жизни я уже выпил. И в тот вечер мне несколько раз предлагали рюмочку, но я отказывался и вдруг ни с того ни с сего под ее издевательским взглядом опрокинул целую стопку. Я знаю. Я все знаю. Мне доподлинно известны все формы нашего поведения: кажется, подчиняясь особым, неповторимым обстоятельствам, ты поступаешь оригинально, как никто другой бы не поступил, хотя на самом деле тобой управляют всего лишь рефлексы, свойственные каждой особи нашего вида. Итак, я все знаю и могу даже предвидеть гнусный автоматизм последующих жестов и шагов; короче, все это зная, я выпил вторую стопочку, чтобы расслабиться и не ощущать банальности ситуации на этом банальном торжестве по случаю именин. Потом, испытывая отвращение от того, что придется нести бессмысленную светскую чушь, вступил с этой особой в беседу, а вернее, в беззлобный поединок, словесную баталию. Как все самцы рода человеческого, старался быть язвительным и немного агрессивным, слегка развязным, а иногда даже остроумным. Мысленно я сам за собой наблюдал с ужасом, но несся вперед, готовый, впрочем, в нужный момент ретироваться. Еще четверть часика, говорил я себе, и смоюсь. Подумаешь, какие-то пятнадцать минут, все равно к одиннадцати буду дома. До чего приятно наконец оказаться в собственной постели.

— Простите, — Корсак щелкнул клавишами. — Знаете, полгода назад у нас был такой случай: один литератор повесился, убедившись, что невольно совершил плагиат. Впрочем, обокрал он классика девятнадцатого века.

— А какое это имеет отношение к делу?

— Никакого. Просто вспомнилось. У нас при комиссариате есть не-

большой театральный кружок. Хотим попробовать Шекспира. Пожалуй, у полиции больше всего прав ставить Шекспира. Продолжайте, я вас слушаю.

— Я бы выпил воды.

— Мне очень жаль, но у нас ремонт.

— Трудно в этом признаться, но, должен сказать, она произвела на меня впечатление. Показалась красивой, по-настоящему красивой. Она подавала себя с нагловатой небрежностью. Да, это наиболее точно передает ее очарование. У нее были темные или казавшиеся темными при неярком свете волосы, фиалковые глаза и, простите за банальность, ослепительно белая, вернее, бледная кожа, будто она тщательно прятала от солнца лицо под широкополой шляпой. Вообще-то, таких девушек полно на американских, французских или польских приемах. Но она напомнила мне мою юность, а может быть, даже детство. В тех местах, откуда я родом, часто встречались темноволосые молодые женщины с бледными лицами и фиалковыми глазами. Потом они уехали в Сибирь или повыскакивали замуж за геройских партизан, вскоре спившихся, или невесть почему остались старыми девами. Вы очень похожи на одного актера. Знаете?

— Знаю, — Корсак снисходительно усмехнулся. — Мне об этом часто говорят. Однажды в костеле даже попросили автограф. — Он быстро пригладил волосы на висках, на минуту забыв, что должен заикаться.

— Бюст у нее был вроде бы прикрыт, но уж лучше б она его совсем открыла. Неловко рассказывать о таких вещах, я ведь уже немолод, но что было, то было, никуда не денешься. Я понимал, что смешон, сгорал от стыда и все же пошел танцевать. К своему ужасу, вел себя как сексуально озабоченный юнец, она делала вид, что удивлена, но не протестовала. Если б я мог все это отменить, перечеркнуть, уничтожить раз и навсегда. Итак, мы танцуем, я ей: детка, она мне: папочка — пошлость, жуткая пошлость, но между делом я, кажется, принял третью стопку, тормоза ослабли, я каким-то уголком сознания отмечал, что гости обалдело на нас пялятся, кто-то указывал на меня пальцем, какая-то барышня залилась смехом, а ведь я не хотел пить, у меня повышенная кислотность, это они пили, лакали, жрали водку, я же, если трезвый вижу бутылку, готов швырнуть ее об стену. Поверьте, я не виноват, правда, не виноват, на меня нахлынули воспоминания, Европа, да, центрально-восточная Европа, войны, революции, душевные кризисы, стыд, отчаяние, унижения, недостойные поступки и благородные порывы. Я боролся с собой и все время, в каждом проблеске света, видел ее дерзко сощуренные глаза и презрительную улыбку — такие же глаза и такую улыбку до меня видели миллионы ополоумевших мужчин на берегах Вислы, Волги или Рейна. Ничего не понимаю, голова болит, меня трясет.

— Простите, вы живете один?

— Нет, конечно. Я женат. Жена уехала. Перед отъездом сказала: знаешь, у меня предчувствие. Матерь Божья, хоть в петлю полезай. В Польше есть смертная казнь?

— Может быть, вы устали?

— Ах, не имеет значения. Поскорей бы все кончилось. Позор. Что на меня накатило. Но мне казалось, что я куда-то возвращаюсь. В другое измерение. В залитое нежным светом пространство, будто во сне, который снится раз в десять лет. Сколько я видел своих приятелей, увязавших в точно такой трясине праздника. Теперь меня мучает совесть, но вчера я пустился во все тяжкие. Пан комиссар, похожий на киногероя, я не эротоман. За каждой сукой, как пес, не гоняюсь. У меня нет комплексов, я умею управлять своими эмоциями, влечениями, порывами. Любовью занимаюсь в меру. Чтобы скрасить идиотское существование.

— А что с ней, с покойницей? — вдруг спросил Корсак.

— С покойницей? — остолбенел я.

— Да. Вскоре у нас будут ее анкетные данные.

— Анкетные данные, — повторил я и умолк. Меня трясло. С минуту я, дрожа, глядел на вертящиеся магнитофонные бобины. Что я тут делаю. Куда меня занесло. И что занесло. Меня, который всегда так осторожно шагал по жизни. Осторожно. А война, а интеллектуальные и моральные срывы, а весь этот житейский хлам. В нескольких сотнях метров отсюда мой дом, моя повседневность, моя скрипучая кровать. Какая сила вырвала меня из моего угасающего существования.

— Может, хотите отдохнуть? Вам полагается ужин — вероятно, мы вас задержим.

Я даже не обратил внимания на последнюю фразу, хотя она давала повод для размышлений.

— Я не голоден. Кажется, у меня температура. Меня саданули дубиной по башке. Дубиной с острыми каменными шипами, — я прикоснулся пальцем ко лбу и почувствовал омерзительную корку засохшей раны. — Мне показалось, что я ее люблю. Я готов был, не раздумывая, на ней жениться. Осыпать купленными в кредит бриллиантами — и сам умилялся своему великодушию, презрению к мещанским нормам, презрению свободного человека, управляющего собой и своей судьбой. Она убегала от меня, я натыкался на каких-то смущенных барышень, но вскоре она находилась, какие-то мужчины деликатно выходили из комнаты, я пытался ее облапить, но она была уже у открытого окна и с риском для жизни высовывалась наружу, я спасал ее, шутливо, без особого пыла шептал ласковые слова, где-то хлопали двери, кряхтя поднимался лифт, гости начали расходиться, глаза ее уже затуманились, пусти, говорила она, пусти, не сейчас, нельзя, не нужно, потом кто-то подталкивал меня к двери, спасибо, было очень приятно, пока, до свидания. Боже, теперь начнется самое страшное.

— Здесь можете не стесняться, — шепнул Корсак. — У нас тут только грехи. Мы привычные.

— Могу я подойти к окну?

— Конечно. Пожалуйста.

Я подошел к ржавой решетке. В оконном стекле с застывшими пузырьками воздуха смутно отражалась комната. Комиссар тоже поднялся из-за стола. Проделал какие-то странные упражнения, что-то вроде гимнастики для расслабления мышц. Потом стал корчить рожи, резко растягивая и сжимая губы, словно поправлял вставную челюсть или пытался проглотить рыбью кость.

В доме напротив тоже шел ремонт. Перемазанные известкой рабочие потрошили нутро первого этажа, оборудуя помещение для будущего магазина мод. У меня, наверно, сотрясение мозга, подумал я. При каждом движении тошнит. Хоть бы обошлось небольшим сотрясением. Где-то за кулисами того, что я видел, под покровом позднего вечера белело или желтело растянувшееся на кушетке, странно уменьшенное наготой тело незнакомой девушки, которая назвалась немодным и нездешним именем Вера.

Подо мной был кусочек улицы с небрежно припаркованными полицейскими автомобилями. Я помнил, что где-то здесь, по правой или по левой стороне, стоит старый неказистый дом, каким-то чудом переживший войну. В этом доме жил и писал великий польский прозаик. Его герои неотлучно сопутствовали мне — в детстве, во время войны и в мирные годы, немногим отличавшиеся от военных, поскольку интеллектуальная и духовная жизнь смахивала на какую-то дикую партизанщину.

Улица замерла в ожидании ночи. Несколько освещенных окон, несколько темных. Кое-где над крышами едва заметные звезды, вернее, следы от вчерашних звезд. Полумертвые неподвижные деревья, стиснутые машинами. У витрины магазина остановился прохожий. На углу двое русских с гитарами поют песню собственного сочинения; перед ними зазывно поблескивает жестяная консервная банка из-под икры. Неужели

таким неприглядным и бессмысленным должен быть мой конец, коли уж пробил час.

Я вернулся к столу. Корсак энергично нажал клавиши магнитофона. Поощряюще кивнул и этим ограничился.

— Понимаете, пан комиссар, понимаете... Я никогда не был тряпкой — из породы тех, об кого история походя вытирает ноги. У меня были некие амбиции. Вначале очень большие, потом поменьше. Миру опять понадобились образцы, и я старался быть образцом для всяких недотеп, которые, тараща слезящиеся глаза, вечно задают вопросы.

Корсак внимательно на меня посмотрел. Не верит, подумал я. Он опять пошевелил губами, будто прополаскивая воздухом десны. Мне знаком этот тип людей. Всю жизнь я на них натыкался. Посмотрим, когда наш комиссар расколется.

— Мне пришла в голову одна мысль. Правда, не на тему. В нашем европейском опыте просматривается любопытный феномен. Порабощенные общества любят и уважают друг друга, но едва обретут свободу, все начинают всех ненавидеть и норовят засадить в тюрьмы или лагеря.

Я замолчал, ожидая, какова будет реакция Корсака. Но он сложил губы трубочкой, давая понять, что сосредоточенно размышляет, а потом торопливо произнес:

— Я слушаю, слушаю. Говорите. Говорите все что хотите.

— Мы оказались на улице. Кажется, моросил дождь. Не знаю, я очень смутно все помню. Мы куда-то шли. Пошатывались. Она взяла меня под руку. Сказала: пойдем ко мне. Остаток здравого смысла откуда-то издалека подсказывал, что не стоит этого делать, что добром это не кончится. Но одновременно во мне разгорался гнев, бунт против самого себя и против каждого случайного встречного. В конце концов мы очутились в подъезде, каких в Варшаве тысячи. Поднимались по мокрым терразитовым ступенькам, а путь нам освещал грязный полумрак ночи из разбитого окна. Наконец мы остановились на площадке. Стали целоваться, а капли дождя попадали нам в рот. Я полез к ней под блузку и отыскал груди — огромные и горячие, как мне показалось. Меня трясло от холода, от сырости и, наверное, от усталости, и при этом, как пишут в книгах, обожгло внезапным огнем желания. Прижав ее к стене, чтоб не упала, я задрал ей юбку и начал одной рукой возиться с бельем, а другой высвобождал свое, готовое к действию вожделение, искал подступы к ее распаленному лону, становился все настойчивее, а она боком сползала по стене, и вдруг мы, то ли запутавшись в собственных ногах, то ли поскользнувшись на терразите, покатились вниз по крутым ступенькам и ударились головами об пол на площадке нижнего этажа, и с минуту прислушивались к эху жуткого грохота, бившемуся где-то наверху, очень высоко, под самой крышей. Жива, шепнул я. Да, пока еще жива, засмеялась она. Я не чувствовал боли, только слышал шум, возможно, проливного дождя, который был во мне и вокруг меня. Мы с трудом поднялись с каменного пола. В темноте я ее не видел, только водил рукой по мокрым плечам, по волосам, по шее и в тот момент, кажется, даже не помнил, как она выглядит, чем меня привлекла, не помнил ее иронически сощуренных глаз. Но тут стали распахиваться двери квартир. Какие-то головы, растрепанные или в бигудях, высунулись из ярко освещенных пещер и молча с испугом на нас уставились. А мы, то на четвереньках, то на полусогнутых, в панике поползли вниз, к выходу. Что было дальше, не помню. Наверно, пошли ко мне, потому что я очнулся перед своей дверью.

Корсак предостерегающе поднял руку. Я замолчал. Он щелкнул клавишей магнитофона и сказал:

— Пленка кончилась. Завтра продолжим. У вас очень усталый вид. А царапины около уха — это что?

— Царапины? — повторил я, ощупывая шею за ухом. — Видно, покалечился, когда падал с лестницы.

— Похоже на следы ногтей.

— Не знаю. Возможно. Нет, не припоминаю. Между нами ничего не было.

Комиссар усмехнулся и энергичным размашистым движением прихлопнул реденькую поросль на висках.

— Вы же говорите, что многого не помните. Ладно, вскрытие покажет.

— Вскрытие? — прошептал я, с трудом проглотив колючий комок слюны.

— Да. Она уже труп. Всего лишь труп. Я вас замучил. Нам обоим необходимо отдохнуть. Я отведу вас в помещение, где вы выспитесь, придете в себя, а завтра видно будет.

— Как это? Я не могу вернуться домой?

— Пока нет. Мы имеем право задержать вас на сорок восемь часов. Потом видно будет.

Я покорно согласился. Только бы мне не показывали труп и не проводили так называемый следственный эксперимент. Почему именно со мной это случилось. Почему один мой невинный, непреднамеренный поступок вызвал лавину гадких, просто омерзительных последствий. Проклятые именины.

Корсак вывел меня в коридор. Маляры уже разошлись по домам. Несколько полицейских возились с алкашами, орало включенное на полную мощность радио. Пробегавший мимо молодой человек крикнул Корсаку:

— Есть уже анкетные данные. Ее зовут Вера Карновская.

Комиссар остановился в том месте, где коридор сворачивал вправо. Задумчиво уставился на заляпанный известкой пол.

— Вам что-нибудь говорит эта фамилия?

— Нет. Ничего. Хотя... не знаю. Может, когда-нибудь слышал.

Я бы, вероятно, покраснел, если б мог, — мне почему-то показалось, что я вру.

***

Помещение было похоже на гостиничный номер. У стен друг против друга стояли две узкие койки, посередине — стол и два вполне приличных стула. А на столе я увидел стакан недопитого чая.

— Надеюсь, вас это устроит, — сказал Корсак. — Отдыхайте.

И вышел. Щелкнул замок. Где-то в темноте за зарешеченным окном бурно отмечали именины. Возможно, тезки хозяина дома, где я был. Все во мне разладилось. Надо взять себя в руки. Но зачем. Что случилось. И как это я влип в такую идиотскую историю.

Я присел к столу и протянул руку к стакану с чаем. Тогда из вороха серых, как мешки, одеял на койке вынырнул пузатый коротышка.

— Угощайся, — едва слышно прохрипел он; звук его голоса больше походил на шипенье, чем на нормальную человеческую речь. — Я тебя давно поджидаю. Это ты убил женщину?

— Я? Нет. Я никого не убивал.

— Ну конечно. Уточним позже, — рассмеялся он, слезая с койки. На нем был изношенный полувоенный костюм. Зеленая повязка на лбу стягивала всклокоченные, необыкновенно густые черные волосы, тронутые сединой. На куртке были нашиты гнезда для патронов, в выцветших зеленых штанах я заметил множество карманов. Даже носки смахивали на портянки.

Но больше всего меня поразила его голова. Огромная, с широким, сплошь заросшим полуседой щетиной лицом, на котором белели только глазницы с невидимыми зрачками да узкая полоска лба.

— Я всем говорю «ты». Такая у меня привычка. А ко мне можешь обращаться: «пан президент». Потом объясню почему.

— Хорошо, с удовольствием. Но мне бы лечь, я едва живой.

— Тогда выпей чайку и в постельку. Ты тоже ждешь психиатрическую экспертизу?

— Не знаю. Меня только что привезли. Голова ужасно гудит.

— Со мной можешь откровенно. Я — фигура общественная.

Когда он говорил, во рту у него, почему-то напоминавшем вокзальный сортир, происходили какие-то пугающие процессы. Два почерневших верхних зуба странным образом двигались сами по себе, не совпадая с движением губ. Внутри темной пасти что-то клбилось, клокотало, зловеще поблескивало. Тем не менее, эта волосатая образина чем-то смахивала на сказочное доброе чудовище.

— У меня ощущение, будто моя жизнь кончена.

Президент беззвучно рассмеялся. Во рту его что-то перекатывалось, лопались какие-то пузырьки, губы червяками расползлись по лицу. Мне расхотелось пить. Я отставил стакан с холодным чаем и плюхнулся на койку.

— А ты знаешь, — прохрипел наконец президент, — ты знаешь, для того, чтобы наша планета в ее нынешнем виде могла с грехом пополам существовать, следовало бы каждые сутки отправлять в другую галактику по меньшей мере сто тысяч человек?

— Никогда не слыхал.

— Тогда слушай и запоминай. Это была твоя жена?

— Нет. Жена уехала.

— Шлюха?

— Нет. Точно нет.

Президент стал расхаживать в своих солдатских носках вокруг стола.

— Дуриком влип?

— Пан президент, я чуть живой. Меня два часа допрашивали.

— Ладно. Отдыхай. Тебя наверняка пошлют на экспертизу. Теперь в моде научные методы. Психи обследуют психов.

Я лег на спину. Под потолком висела обыкновенная электрическая лампочка, засиженная мухами, точно такая, какие я сотни раз видел в детективных фильмах.

— Выкрутишься, — прохрипел президент. — У них в кутузках уже не хватает мест. Тюрьмы тоже переживают кризис.

Он обошел стол и остановился в ногах моей кровати.

— Она тебе башку разбила.

— Нет. Я упал с лестницы. То есть мы вместе упали. А чей вы президент?

— Сынов Европы.

— Только сынов? А как насчет дочерей?

Он внезапно сплюнул и вернулся на свою койку. Расправил одеяла, а потом тяжело сел, натянув одно на себя.

— Америке уже кранты. Объевреилась, обнегритосилась, обындеилась. Червивый гриб. Первый нешуточный ураган ее сметет. Осталась только Европа.

— А за что вас взяли, пан президент?

— Мы устраивали акции протеста на аэродромах. Знаешь небось, что все главы правительств летят в Москву. Встреча на высшем уровне. Глобальный заговор против Европы. Гигантский пир людоедов всех мастей.

Под сомкнутыми веками у меня неотвязно маячит образ вытянувшегося на кушетке обнаженного женского тела с его никому уже не нужной стройностью, красотой, с пугающе белыми холмиками навеки окоченевших грудей. Да ведь не может такого быть. Еще позавчера я был изнывающим от скуки соломенным вдовцом, не знающим, как распорядиться своей жизнью среди столь же растерянных людей. Кто это инсценировал. Наш тиран — божественный промысел?

— Пан президент, Европу захлестнет потоп с востока, с юга, с севе-

ра. Гигантская волна беззащитных, голодных, голых. Мы станем последней Атлантидой перед концом света.

Президент, кутаясь в одеяло, подошел к моей койке.

— А вот и нет. Нас заливает волна нигилизма, непоследовательности, анархии. Чтобы спастись и выжить, нужна дисциплина, авторитет и сила. Тоталитаризм уже воскресает. Внушающий привычное отвращение тоталитаризм прекрасен, поскольку сохранит жизнь планете, которую увлекает в пропасть, в ледяную пропасть небытия, бесконтрольно разбухающая магма человеческой плоти.

— Пан президент, у меня своих идиотских забот хватает. Вам завтра идти на обследование. Засните и забудьте про ваши проблемы, которые и без вас разрешит Господь Бог, провидение или случайное стечение обстоятельств.

Он опять засмеялся. Густой бурьян на щеках шевелился размеренно, как черные водоросли на дне озера. Страшное и притягивающее лицо. Разбойник и философ. Где-то я его уже видел. Может быть, он проповедовал буддизм или объявлял детские передачи по телевизору. Одичал от интенсивной работы ума, но скорее всего от самой жизни. Нет, пожалуй, он был учителем. Реформатором педагогики. Боролся с тоталитаризмом в польской школе.

Президент залез обратно в свою берлогу.

— Спокойной ночи, дружище, медуза бесхребетная.

— Спокойной ночи, президент.

Заснул он мгновенно. Из густых седоватых зарослей вырывались разнообразнейшие звуки: писк младенца, шум водопада, уханье филина. Это тоже жизнь, подумал я. Еще один вариант судьбы. Монах современности. Суровый друг людей. Европейцев.

В какой-то момент и я провалился в сон. Передо мной, как обрывки старых газет, смутно мелькали чьи-то искаженные трагические лица, несвязанные клочья событий, кривые перспективы ночных улиц. И где-то рядом тихо и монотонно, как телеграфный столб перед грозой, жужжал подкрадывающийся страх.

Потом, ночью, я внезапно проснулся, разбуженный, кажется, стуком собственного сердца. Президент лежал не шевелясь и не издавал своих характерных звуков. Я подошел к его койке и почувствовал облегчение. Серебристый мох вокруг рта едва заметно, но шевелился — жив, значит. Возможно, в эту минуту он, не дыша, возносился на небеса, забыв на краткую вечность о своих обязанностях спасителя.

За проволочной сеткой зеленовато светились капли дождя на оконном стекле. Дальше была улица со сгорбившимися автомобилями у края тротуара. Со стороны черного мертвого перекрестка приблизилась промокшая парочка. Они остановились в подворотне неподалеку от комиссариата и начали целоваться, с трудом удерживая равновесие на скользких плитах, которыми подворотня была вымощена. А мне вдруг стало разом и холодно и душно. Я бросился к двери, но дверь была заперта. Президент страдальчески застонал, видно, проваливаясь обратно в ад. Я на цыпочках подбежал к своей койке, лег, затаив дыхание, на бок и попытался прогнать из-под век туманный образ застывшего в неподвижности нагого женского тела.

***

Меня разбудил какой-то шорох. Я увидел затянутое проволочной сеткой окно и над крышами домов кусочек неба. По этому клочку, словно вытянувшиеся на бегу борзые, мчались наискосок сизые тучи. Где я. Что случилось. И случилось ли на самом деле. Президент спал на левом боку, свернувшись клубочком, как дитя, и из густой поросли на его лице вырывалась нежная тоненькая мелодия.

Кто-то толкался в дверь нашей комнаты, нашей камеры. Наконец

заскрипели петли, сквозной ветерок пролетел к окну, взметая с пола пыль. На пороге появилась странная особа с бутылкой советского шампанского и пластмассовым стаканчиком. Поскольку обе руки у нее были заняты, она пыталась правым локтем прикрыть за собою дверь.

— Добрый день. Привет. Какое приятное общество.

Да, похоже, это все-таки была женщина. По крайней мере, о том свидетельствовал ее экзотический наряд, эдакая смесь романтических изысков с тибетской небрежностью. На голове красовалась большая соломенная шляпа, увенчанная клумбой ярких искусственных цветов. Сверху на шляпу была наброшена восточная шаль, кое-как завязанная под остроконечным подбородком. Торс гостьи скрывало индейское пончо, украшенное вышивкой в стиле карпатских гуралей. Из-под пончо торчали края множества несвежих сорочек и юбок.

— Выпьете шампанского, господа? — спросила она демонстративно сладким голосом.

— Вон, — буркнул, не открывая глаз, президент.

Даму его хамство ничуть не смутило. Расплывшись в улыбке, она направилась к моей койке.

— Надеюсь, вы не откажетесь? У меня сегодня день рождения. Выпьете со мной, правда? — и стала наливать шипучую жидкость в пластмассовый стаканчик.

— Это ненормальная Анаис, — мрачно пробормотал президент и принялся искать затерявшуюся в постели пачку сигарет.

— Когда-то трахалась с каждым очередным диктатором. Управляла всей Польшей. Вон из этого дома.

Анаис резко повернулась к нему. Ее лицо под полустершимся макияжем было совершенно желтым.

— Ах ты сукин сын. Тебе я уже никогда больше не дам.

Президент заткнулся. Долго рылся в куче скомканных одеял, а затем смущенно произнес:

— Не верьте ей. Она трехнутая. Жертва большой политики. Доживает свой век в комиссариатах.

— Я тебя, падла, обгадила в своих воспоминаниях. Думаешь, люди забудут, кем ты был. Выпейте за мое здоровье.

Трясущейся рукой я взял стаканчик и поднес ко рту. К горлу подступила тошнота. В голове мерно тикала колючая боль.

— Такой симпатичный, а убили девушку, — сказала Анаис с назойливой слащавостью. — Начальник этого комиссариата был когда-то моим студентом. Писал у меня дипломную работу о силлаботоническом стихе в старопольской поэзии. Почему вы это сделали?

— Я ничего не знаю. Я болен, — простонал я.

За окном шумела какая-то демонстрация. Слышен был топот сотен ног и отдельные неразборчивые выкрики. Президент, повернувшись к нам спиной, что-то писал или рисовал пальцем на видавшей виды стене. На кого эта особа похожа, подумал я. На труп, да, на труп.

— Хотите почитать мои воспоминания? — проворковала гостья, вытаскивая из-под пончо кипу грязных замасленных бумаг. — Я уже который месяц ищу издателя. Может, у вас есть связи?

— Я не знаю, что со мной будет. Я попал в совершенно абсурдное положение.

Она забрала у меня стаканчик, наполнила его теплым шампанским и принялась изысканно отпивать по глоточку.

— Я все описала. Все и всех. Полвека этой страны. Половину двадцатого столетия. Я ненормальная, но это не имеет значения.

Анаис стояла надо мной, лучезарно улыбаясь. Возможно, она даже была недурна много лет назад, когда куражилась над этой страной.

— Послушай, ты, невежливо поворачиваться спиной, — тоном учительницы сказала она президенту, прикинувшемуся неживым.

— Вон, — зашелестело в клочкастой поросли, которая была не толь-

ко седоватой, но и зеленой, а местами даже голубой.

— Вы такой симпатичный, — снова обратилась она ко мне. — Я вас откуда-то знаю, только не помню откуда. Опишите мне чувства, которые испытываешь, убивая человека.

И достала из притороченного к пончо узла огромную шариковую ручку.

Но в этот момент в комнату ворвались двое очень молодых и очень худых полицейских.

— Кто вам разрешил открывать камеру? — крикнул один из них.

— А я сама себе разрешила, малыш, — сказала Анаис страстным сдавленным голосом. — Хочешь, покажу сиську? — Она полезла под пончо. — Гляди, какая маленькая, бедненькая.

Красные от смущения полицейские подхватили ее под руки, один стал одергивать пончо с гуральской вышивкой. Она, не сопротивляясь, позволяла тащить себя к двери. Бутылка с остатками шампанского, упав, неуверенно каталась взад-вперед по цементному полу.

— Пока, мальчики, — сладко прошептала Анаис, которую когда-то трахал истеблишмент свергнутого режима. — Я к вам еще загляну. Покажу и сиську, и письку.

Юные полицейские наконец выволокли ее из камеры и захлопнули дверь.

Пресвятая Богородица, подумал я, наверно, мне это снится. Но сказать «наверно, мне это снится» — просто. Все так себя утешают в трудную минуту. Сон — короткий, рваный, поверхностный, а жизнь долгая, затянутая, как фильм, и очень мучительная. А ведь я мог позавчера не выходить из дома, почитать скучную книжку и погрузиться в неглубокий сон, который ничего не дает, но и ничего не отнимает.

Президент вылез из своей берлоги. Бурьян на его физиономии заколыхался, словно на сквозняке. Этого я тоже знаю. Знаю по вечерним рассказам при свете керосиновой лампы.

— Ну и вульгарная же баба, — сказал президент. — Что за жаргон!

— Теперь все так говорят, пан президент. Может, избавляются от комплексов, а может, ищут ярких способов самовыражения. Все вульгарные.

Я хотел еще добавить, что и себя таковым считаю, поскольку влип в вульгарную историю, но тут на пороге появился помощник комиссара Корсак. Широко разведя локти, пригладил волосы на висках.

— Попрошу вас ко мне, — бросил он в мою сторону.

— А я? — натужно прохрипел президент.

— Вам придется подождать, пока главы правительств не разъедутся из Москвы.

Мы вышли в коридор, по которому уже сновали маляры.

— Как прошла ночь? — спросил Корсак.

— Кое-как.

— Президент этот голову не морочил?

— Он мне изложил любопытные и актуальные идеи.

— Сегодня пойдет на обследование, и опять члены комиссии разойдутся во мнениях. Вы не считаете, что ученые тоже большие путаники?

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Мир в тупике. Запутался в собственных потрохах. Ну ладно, неважно.

Мы миновали дежурку, где сидел полицейский, поразительно похожий на Гиммлера, и оказались в небольшом зале, который, вероятно, время от времени служил полицейской столовкой. На подоконнике нас поджидал знакомый магнитофон с кровавым глазом.

— Садитесь, — сказал Корсак, указывая на шаткий стульчик.

Я сел. Передо мной был обшарпанный подоконник, решетка и уголок школьной спортплощадки. Мальчишки гоняли по мокрому асфальту мяч весь в бело-черных заплатах. Мне стало тошно. Опять надо воз-

вращаться к этим мглистым, неясным, теряющимся во мраке минутам, которые так далеко отступили назад, что кажутся почти нереальными, попросту невозможными.

— Он чокнутый, — сказал Корсак.

— Кто?

— Ну, этот, президент Сынов Европы, — засмеялся комиссар и резким движением проверил, есть ли у него на голове волосы. — Сдвинулся в Штатах, когда стажировался в Гарварде. Американская демократия так на него повлияла. Ладно, неважно. Начинайте. Расслабьтесь, это неформальный допрос, мы тоже экспериментируем.

Что за времена, подумал я. Все исследуют, ощупывают, проверяют.

— Пан комиссар, — сказал я. — Мне нужно еще раз вернуться к началу.

— Возвращайтесь.

— Позавчера я вышел из дома не просто так. Вроде бы причина была: скука, одиночество, безделье. Но на самом деле я уже несколько месяцев болен. Да, болен, мое состояние можно назвать болезнью, и рано или поздно врачи найдут подходящее определение для этой невидимой, незаметной, неосознаваемой эпидемии, которая постепенно расползается по нашей стране, а может, и по Европе, и даже в Америке наверняка есть отдельные случаи. Так вот: появился некий вирус, вероятно, подобный вирусу СПИДа, хотя, нет, прошу прощения, этот опаснее, он, пожалуй, ближе к компьютерному, тому, что стирает целые программы и парализует банковские системы. Такой вирус проник в мое сознание, и я первый его открыл, понял, как он действует, и обязательно его опишу, если будет возможность. Этот загадочный вирус убивает импульс к жизни. Однажды вы просыпаетесь и чувствуете, что вам не хочется любить родину, не хочется зарабатывать деньги, что вам безразлична слава, почести, восхищение ближних, надоели риск и азарт, и даже страха перед Господом Богом как не бывало. Вы меня слушаете?

— Слушаю, слушаю, — равнодушно сказал Корсак, разглядывая свои ухоженные ногти.

— Повторяю: человеку становится все равно, попадет он в рай или в ад.

Тут я замолчал: мне показалось, что таким признанием я усугубляю свою вину. Корсак не смотрел на меня, словно опасаясь спугнуть.

За окном моросил дождь. Пара голубков нежно целовалась на жестяном колпаке уличного фонаря. Библейские птицы, подумал я, но какое мне до них дело. Какое мне дело до этого дождя, барабанящего по грязным стеклам.

— А теперь я могу вернуться к тому моменту, на котором вчера остановился. Кажется, мы с этой девушкой были на улице и не знали, что делать дальше.

— Возможно. Но вы покороче. Говорите только о самом существенном.

— Да я не знаю, что самое существенное.

Корсак вздохнул и резко вытянул ноги.

— Неважно. Итак, вы были на улице. И что дальше?

— Не знаю. Видимо, я предложил пойти ко мне. С одинокими мужчинами такое бывает. Тут необходимо добавить, что я не влюбчив. Если когда и любил, то вполсилы, так сказать, вполнакала. Любовь, или то, что мы называем любовью и что приукрашивает наш животный инстинкт к размножению, любовь эта, по-моему, — какое-то унизительное ограничение, утрата самостоятельности, временная или хроническая ущербность. Человек в таком состоянии деградирует, теряет способность управлять собой, попадает в бесконтрольную зависимость от другого человека. Но вместе с тем любовь — условная форма нашей культуры, определенный этикет, а также некий вид эмоциональной забавы.

За дверью вдруг поднялся шум, кто-то даже запел. Корсак нахмурил-

ся, энергично направился к двери. Выглянув в коридор, строго крикнул:

— Потише там! Не мешайте работать.

Потом вернулся ко мне, хотел пригладить волосы, но передумал.

— У дежурного именины. Что поделаешь. Так и должно быть, когда полицейские из чертей превращаются в ангелов. То, что вы говорите, любопытно, но, может, все-таки перейдем к моменту, когда вы оказались в своей квартире.

— Хорошо. Я плохо помню этот момент. Припоминаю свою комнату, откуда ушел вечером, незадернутые шторы, развернутую газету, непременный стакан чая на столе — другой посудой, когда жена уезжает, я не пользуюсь. Да, я припоминаю эту комнату, погруженную в полутьму — полутьму кирпичного цвета, потому что за окном у меня фонарь, уличный галогенный фонарь, который всю ночь издает металлическое жужжанье, и оно меня убаюкивает, под эту своеобразную колыбельную я засыпаю в полночь или под утро. Свет я не зажигал, а девушка быстро и ловко, точно ей это было не в новинку, разделась где-то в уголке и скользнула под одеяло на моей кровати. Хотя я плохо соображал, но ее поведение на секунду неприятно меня поразило. Вероятно, в моем затуманенном мозгу промелькнула тревожная мысль: что я делаю, ведь это безумие. Но меня подстегивало какое-то грязное любопытство, темное влечение, неведомая сила, отвратительная внутренняя дрожь от страха, смешанного с легкомысленной отвагой. Короче, и я неуклюже разделся, что-то звякнуло, вылетев из кармана, ключи или мелочь, но мне не захотелось ползать по полу, я подсознательно откладывал все на потом, на завтра, а что откладывал, не сумел бы определить, — какие-то последствия, неудобства, расчеты с совестью. И приподнял одеяло, ее тело сверкнуло в рыжеватом свете, она что-то мурлыкала, примащивая голову на подушке, я осторожно лег рядом, полежал немного не шевелясь, но потом подумал: надо что-то делать, и робко привлек к себе эту красивую девушку или молодую женщину, а она негромко завыла, именно завыла, не застонала, не зашипела, а хрипло завыла и вдруг обвила руками мою шею, как-то странно, то ли притягивая, то ли отталкивая. Я невольно подумал, уж не привычка ли это, наверно, ей не раз случалось в беспамятстве отражать агрессивные нападки мужчин, и легонько поцеловал ее в щеку около уха, а она вернула мне поцелуй вслепую, наугад. И сразу заснула. Я с минуту прислушивался к ее тяжелому дыханию, во мне постепенно разгоралось желание, я положил руку ей на грудь и удивился, какая эта грудь нежная, а она вздохнула во сне. Потом я стал осторожно ее ласкать — всю, от едва заметно пульсирующей шеи до того места, от которого в ушах нарастал адский грохот, раскалывалась голова и пересыхало горло. Она лежала беззащитная, отгороженная от меня сном; казалось, жизнь в ней чуть теплится. Отчасти невольно, отчасти сознательно я сбросил с нее одеяло, оправдывая это тем, что в комнате душно.

Теперь я хорошо видел ее, обнаженную, залитую кирпичным светом мерно жужжащего фонаря. Видел прекрасное до неприличия лицо, которому полумрак придавал какую-то таинственную величавость, смотрел на стройное тело и поражался его совершенству. Внезапно обретя ясность мысли, восхищался изумительными пропорциями и на удивление правильной формой грудей — не слишком больших и не слишком маленьких, словно очерченных циркулем, как будто творец особо позаботился об идеальной гармоничности вылепленной им плоти. Красоты этой было чуточку в избытке, и меня немного пугала расточительность природы или Господа Бога, создавшего эту незнакомую девушку, даже имени которой я не запомнил. С боязливым восхищением я смотрел на линию плотно сдвинутых ног и робкий кустик тонких, как осенняя трава, волос в том месте, где эти великолепные ноги сходились. Смотрел и испытывал стыд от того, что, воспользовавшись неожиданно подвернувшимся случаем, нарушил застрявшие в подсознании правила, оскорбляю

ее достоинство, чувства, женскую гордость. Но инстинкт взял верх, и, стесняясь своих преступных намерений, я снова принялся несмело ласкать все, что дико меня возбуждало, железными тисками сжимало горло. С каким-то отчаянием я упал на нее, навалился, но не нашел в себе мужества поддаться биологическому инстинкту, не отважился дать волю тому, что уже переполняло меня, гудело в висках, в разбитом лбу, в бешено пульсирующей крови. И тут она, не просыпаясь, со звериным воплем сбросила меня и начала вслепую, точно когтями, царапать воздух, одеяло и мою шею, которую я не решался защитить. Потом опять застыла в неподвижности хмельного сна. Да, эта красивая девушка была пьяна, одурманена простейшим из наркотиков, лишившим ее индивидуальности, той непостижимой тайны, которая превращает несколько десятков килограммов химических элементов в несхожего ни с кем человека. Я снова стянул с нее одеяло. Она показалась мне еще прекраснее, но душа отсутствовала, и это превращало ее во всего лишь фантастически красивое животное. Я прислушивался к шуму бушующей в жилах крови, а может быть, к властному инстинкту, которым наделила меня природа, прислушивался, колеблясь, борясь с собой, мучительно стараясь справиться с наваждением, а потом, в каком-то шоке, встал с кровати; за окном кряхтел просыпающийся для жизни город, жужжал уличный фонарь, а я еще раз растерянно посмотрел на идеальную женскую наготу, какой, наверно, никогда больше не увижу; наглядевшись на эту неподвижную, застывшую, окаменевшую на моей кровати девушку, я нагнулся, подсунул под нежную теплую спину ладони и попытался ее поднять. Но она, не просыпаясь, резко привстала и опять начала вслепую царапать воздух и мою грудь и шею, подвывая, как молодой пес. Я подождал, пока она успокоится, осторожно стащил с кровати и по холодному полу поволок на кушетку, уложил поудобнее, а она перекатилась на левый бок; теперь я видел ее невероятно красивый профиль, геометрически безупречную, ослепительно белую, устремленную ко мне грудь. Еще раз попробовал обуздать хаос своих желаний, рефлексов и страхов. С безграничным сожалением, с внезапным идиотским сочувствием к самому себе, с пронизывающим душу отчаянием подошел к шкафу, отыскал плед, вернулся с ним к кушетке. Ее тело светилось все тем же колеблющимся рыжевато-красным светом. Нет краше женщины в этой земной юдоли, подумал я. Ну да, ну да, так и должно быть. Но что должно быть. Не знаю, предназначение, случай, а может быть, простая нелепость. И я прикрыл ее пледом, как саваном, глазами попрощавшись с необыкновенной, несказанно прекрасной грудью, которая доверчиво клонилась ко мне, ошалевшему от эмоций, спиртного и дурных предчувствий. Потом меня разбудили ломившиеся в дверь полицейские.

Комиссар Корсак смотрел на меня зимним взглядом, да, да, именно зимним, а не холодным и не ледяным; взглядом, прозрачным, как зимнее утро. Но думал, боюсь, о другом.

— Литературщина, — наконец сказал он. — Вы что, сами не замечаете? Мой школьный учитель любил говорить, что жизнь подражает литературе, а потом литература подражает скопированной с нее жизни и так далее. Вам, должно быть, сейчас вспоминается Достоевский. Но мы не будем никому подражать. У нас нет времени, да и голова не тем занята.

— Она правда умерла?

— Это единственное не вызывает сомнений. Хотите что-нибудь добавить?

— Не знаю. Я все сказал. Но мог бы рассказать еще раз совсем по-другому. Столько всего в тот вечер произошло. Но не с ней — со мной, во мне. Вы помните, что я говорил вначале?

— Не знаю, о каком начале идет речь.

— Я имею в виду открытый мной вирус. Вирус, который отбивает охоту жить.

Корсак проделал быстрое плавное движение локтями, точно хирург, готовящийся к сложной операции, а затем два раза энергично выдвинул вперед челюсть.

— Не верю я в ваш вирус. Просто вы придумали броское название для неудовлетворенности, лени, безволия и душевной неряшливости.

— Пан комиссар, я работящий, упрямый, педантичный человек и рад бы любить жизнь. Но нет импульса...

— Хорошо, — Корсак поднялся со стула. — Возвращайтесь к себе. Попозже, может быть, выйдем на прогулку.

А у меня сильно забилось сердце. Значит, мои дела не так плохи. Выйдем на прогулку. Куда выйдем. За окном сверкало пронзительно синее небо — такое я видел когда-то в юности тревожной, сулящей надежды весной.

В нашей камере президент сидел за столом и ел с замасленной бумаги кровяную колбасу, закусывая батоном.

— Ну что? — спросил он.

— Ничего, — ответил я. — Рассказываю.

— Придурок.

— Кто?

— Да полицейский этот. Чего-то в его бедной головке сдвинулось. Знаешь, есть такие субчики: культуризм, альпинизм, мужская дружба.

Он нашел что-то в каше, которой была начинена колбаса. Поднес к глазам белую крошку и с разных сторон ее рассматривал.

— Теперь у каждого есть рецепт спасения мира. Раньше нас обольщали две-три партии или две-три системы. Можно было поразмыслить, не спеша подыскать себе теплое местечко. А теперь всякий норовит немедля тебя заарканить. Минуты нет, чтоб собраться с мыслями.

— У вас тоже есть рецепт.

— У меня? — удивился президент. Комочек колбасного фарша катился по горной сосне на его подбородке. — Это не рецепт. Это рассчитанное на компьютере сальдо, сальдо нашей действительности на рубеже столетий и тысячелетий.

— Ох уж эти календарные даты. Да это всего лишь наш взаимный ничего не значащий уговор. Коллективное самовнушение, дорогой пан президент.

Президент энергично выплюнул очередной комочек, который, пролетев через всю комнату, звонко ударил по оконному стеклу.

— По-твоему, может, и вселенная с ее идиотской бесконечностью и с нами посередке тоже только самовнушение недужного общества?

Я молча улегся на свою койку. Какое мне до всего этого дело. Зачеркнуть бы последнюю неделю и начать все сначала. Но что начать. Зачем начинать.

В коридоре снова раздались крики, кто-то тонким неустановившимся голосом вопил: «Сто лет!»

— И это называется комиссариат, — пожал плечами президент. Встал из-за стола, старательно собрал крошки в бумажку, завернул и бросил в угол, где забыли поставить мусорную корзину.

— А теперь попрошу ни под каким предлогом меня не беспокоить, я должен написать воззвание.

***

В комнату вошел молоденький полицейский с внешностью чахоточного из романов прошлого века.

— Прошу, — сказал он мне, указывая измазанной чернилами рукой на нашу заржавелую дверь.

И вывел меня в коридор, где аскетического вида полицейские чокались со сворой маляров. Какие-то посетители пытались отыскать проход в лабиринте стремянок и ведер с краской. Около выхода плакала ста-

рушка, с ног до головы обляпанная известкой.

Мы вышли во двор, и юный полицейский в нерешительности остановился. Отпустят, подумал я, одурев от свежего воздуха. Но ведь нужны какие-то формальности. Не знаю. Ничего я не знаю. Так близко мой дом, моя квартира. Да, та комната, где умерла девушка или молодая женщина, красивая молодая женщина.

Полицейский наконец принял решение, и мы свернули в проулок между гаражами и флигелем дома довоенной постройки. Откуда-то налетел ветер, расшвырял по земле канцелярские бланки. Наши тайны, подумал я. Неразгаданная загадка — моя и той девушки.

В небольшом скверике за домом нас ждал помощник комиссара Корсак.

— Можете идти, — сказал он полицейскому и, понизив голос, доверительно обратился ко мне: — Надеюсь, вы меня не подведете: я поступаю не по правилам.

— Ну конечно, пан комиссар. Мне и через канаву не перепрыгнуть. Похоже, у меня сотрясение мозга.

— Вот и хорошо, — сказал погруженный в свои мысли полицейский. Поставил ногу на бордюр прошлогодней клумбы, посреди которой торчала голая акация. — Чего он вам про меня наговорил?

— Кто?

— Бродяга этот.

— Ничего. Рассуждал на общие темы. Хочет спасти Европу.

— Он хочет спасти Европу, — язвительно рассмеялся комиссар и резким движением пригладил слегка растрепавшийся пух над ушами. — Видите, какие настали времена. Кругом одни пророки, одержимые, нравственные авторитеты, отцы народа, а то и всей Европы. Ему бы только меня очернить. Сочиняет какие-то дурацкие манифесты, а ведь ребенку ясно, что избавление придет с востока. Lux ex oriente. С коммунизмом вышла неувязка: никто не желал верить в славянство, славянство в чистом виде, славянство как богатейший кладезь духовных и жизненных сил. Простите, пожалуйста, не перебивайте, я знаю, что вы хотите сказать. Мол, Россия, славянофилы... Это все было и быльем поросло. России нет. Есть татары, чухонцы, якуты, киргизы — кто угодно. Русские растворились в азиатском океане. Теперь Польша должна объединить и возглавить славянскую стихию. Но не на Европу повести, а слиться с Европой. Мы впрыснем в этих слюнтяев нашу славянскую сперму — у них глаза на лоб полезут. Нам хочется жить, у нас много сил, мы даже покойника воскресить можем. А этот тип крайне подозрителен. Приглядитесь к нему. Что за вид. Ублюдок. Ублюдок Европы, вознамерившийся защитить континенты от дикарства. Смешно.

— Пан комиссар, тысячелетие на исходе, и мне понятна ваша тревога, но после этой идиотской катастрофы я ни о чем другом не могу думать.

— Была эпоха римлян, потом германцев, а теперь наступает эра славян. Мы искупили все грехи мира, мы сойдем с креста...

— Пан комиссар, мне ужасно холодно, я едва держусь на ногах.

— Молчать! — рявкнул Корсак. — Весь этот комиссариат — гнездо слюнтяев. Тонут в демократии, как в яме с дерьмом.

На ветках деревьев я видел чуть обозначившиеся бугорки набухших почек. Какая-то припозднившаяся белая туча неслась напрямки над крышами домов. Два библейских голубка сидели на железной ограде и, не шевелясь, внимательно на нас смотрели.

— Что со мной будет, пан комиссар?

— Больно уж вы чувствительны. Померла одна шлюха, то ли дочка, то ли внучка высокопоставленного деятеля сдохшего и забытого режима. Чего вы так дрожите?

— У меня перед глазами все плывет. Вы меня даже врачу не показали.

Но Корсак не слушал. Отломав прутик от оживающего куста, раздраженно похлопывал им по штанине джинсов.

— Любопытный был ваш самоанализ, — наконец произнес он негромко. — Жалко таких людей, как вы. Ну ладно. Пошли обратно.

Время скоропалительных обращений в новую веру, подумал я. Или эпоха изобретенных в нервной спешке религий. Мы меняемся, но и мир преображается. Мне-то что до этого. Что я делаю в этом городе, похожем на оскверненный склеп. Откуда меня вырвало и занесло сюда, как тополиный пух.

Опять нам пришлось пройти по коридорам комиссариата, которые я помнил с давних времен, по мрачным туннелям, полным тайн и угроз, — непременной принадлежности ревнивой и самолюбивой идеи, придуманной, дабы превратить обветшалую планету в алмазный самородок, летящий в пустом пространстве без Бога. Но теперь здесь все по-другому. Полицейские упорно продолжают отмечать именины дежурного офицера, того самого, показавшегося мне похожим на Гиммлера человечка с выцветшими усиками и в очках в металлической оправе. Царицей бала была Анаис, не то гостья, не то арестантка, бродившая в расшитом пончо по закоулкам этого учреждения, прижимая к себе, точно неживого подкидыша, свой узел.

Корсак куда-то пропал, и я стал стучаться в разные комнаты, но почти все были заперты. В одной, правда, меня радостно поприветствовали:

— Добро пожаловать, пан депутат!

А во мне постепенно нарастал гнев. Вокруг страшный хаос, как перед надвигающейся бурей. Ужасающий гул перед взрывом. Что я, сам себя должен допросить, осудить и наказать. Если б я мог наступить огромной ножищей на этот старый дом, нашпигованный бессмысленным движением и воплями дебилов, моих так называемых братьев.

— Малыш, — подскочила ко мне Анаис, — на, прочти кусочек про Господа Бога, — и стала совать мне свой засаленный манускрипт. — Я когда-то прогнала Бога, как бешеного пса, а теперь ищу потерю, брожу по кабакам, канавам, полицейским участкам. А может, хочешь, чтобы я сама прочитала?

— Отцепись от Господа Бога и от меня, — грубо сказал я, хотя намеревался выразиться интеллигентно, с использованием философской терминологии.

Анаис расплылась в демонстративно сладкой улыбке, — видно, привыкла к хамству своего окружения.

В коридорах вдруг поднялась кутерьма, худосочные полицейские забегали взад-вперед, на ходу застегивая ремни. А я наконец отыскал дверь своей камеры.

Президент делал перед окном гимнастику, поглядывая на оконное стекло, по которому ползли поблескивающие капли весеннего дождя.

— Кошмар, — отдуваясь, прохрипел он, как старая фисгармония. — Через полчаса начинается моя демонстрация.

— К черту все. Провались вы пропадом. Я больше не выдержу.

— О, о, хорошо говоришь, — обрадовался президент. — Да, наступает, а быть может, уже наступила новая эра. Ты заметил, что в нынешнем году две девятки? Девятка — это одухотворение. Девятка — это тирания духа.

— А я все вижу увеличенным. Окно огромное, нос огромный, капли дождя огромные.

— Европа пухнет. Европа собирается еще раз родить. Постучи в дверь. Пускай нас выпустят. Внимание, я падаю в обморок.

И повалился на свою койку. Пролежал минуту, раскинув руки, на скомканном одеяле. В непролазных дебрях его бороды отчаянно моргали черные налитые кровью глазки.

— Президент, — сказал я, — у меня на этот год потрясающий гороскоп. Я могу совершить фантастический подвиг или сделать эпохальное открытие.

— Задыхаюсь, — сказал президент. — Разбей окно.

***

Как много раз в жизни, так и в ту минуту, в тот час я балансировал на грани сна и яви. Отрезвили меня, вернув к реальности, взрывы смеха в коридоре. Издавна знакомый хохот — я его слышал на железнодорожных вокзалах, за стеной у соседей, в годы войны, а потом, привыкнув к веселью ближних и успокоившись, стал возвращаться сквозь невидимую летнюю тень в свой старый сон, где мой дедушка шел садом к нашему дому в деревне, вернее, в маленьком городке у восточной границы, шел, облитый красным заревом заката, и, как мне казалось, нес что-то в вытянутых руках, но он ничего не нес, просто шел в белой рубашке и черном жилете, а на плечах у него, на этом жилете, краснели огромные, будто у российского генерала, погоны, но то были не погоны, а пятна кровавого зарева, и позади него мерцал этот красный свет, и из-за белых стволов фруктовых деревьев просачивался густой свет заходящего солнца. Дед никогда не доходил до дома и до меня, поджидавшего его у окна или на крыльце, и я в конце концов просыпался и думал, что, возможно, мой дедушка существует и останется во вселенной, раз я так отчетливо, так ясно его вижу и воссоздаю на краткий миг в своих снах, в своей памяти, в своем пульсирующем сознании.

В камеру, сильно хлопнув дверью, вошел один из здешних многочисленных молодых и худых полицейских. По деревенскому обычаю поманил меня пальцем.

— Вещи захватите.

— У меня нет вещей.

— Значит, без вещей.

Опять мы шли по коридору, огибая козлы и баки с известкой. На сей раз тут было тихо, пусто и только на застеленном газетами полу еще валялась бутылка от советского шампанского.

В дежурке двойник Гиммлера, подозрительно румяный, с мутными глазами, подсунул мне какой-то листок.

— Распишитесь в получении бумажника.

— У меня не было никакого бумажника.

— Расписывайтесь, спорить будем потом.

Я расписался. За открытой дверью сыпал крупный весенний град. Где-то монотонно бормотала полицейская рация.

— Можете отправляться домой.

— Вы меня отпускаете?

— Отпускаем. Под залог.

Ошеломленный, я стоял перед деревянным барьерчиком, который помнил по былым временам.

— Значит, ничего не случилось? — пробормотал я, и в висках у меня застучало.

— Случилось, что должно было случиться. А за вас уплачены большие деньги. Попрошу никуда не уезжать и каждые три дня отмечаться в комиссариате.

Я вертел в руках незнакомый, потертый, во многих местах распоровшийся бумажник.

— А она?

— Какая еще она? Идите и не морочьте людям голову.

Может быть, меня взяли просто за то, что я надрался, подумал я. Как хорошо сидеть в тюряге за невинное, безгрешное пьянство. Да, я бы, вероятно, стал алкоголиком, если б не слабое здоровье. Отгородиться от неудобств мира четвертинкой водки, отсечь тяготы повседневности, накачаться наркотиком до неожиданной, быстрой агонии. Боже, Боже.

Я спустился по ступенькам к выходу. В лицо ударили шершавые ледяные градины. Откуда-то вынырнул помощник комиссара Корсак. Описал локтями полукруг и энергично выдвинул вперед подбородок, словно пытаясь проглотить крутое яйцо.

— Вам известно насчет неразглашения? Следствие еще не закончено.

— Но домой я могу идти? — спросил я, и по спине у меня побежали мурашки, потому что я вспомнил свой дом — большой, как Монблан, и свою маленькую квартирку, в которой ни от чего нельзя спрятаться.

— Идите и забудьте о наших неофициальных беседах. Или нет, не забывайте. Они вам вскорости пригодятся. Два слова: Славянский Собор.

— Я уже ни на что не гожусь, пан комиссар. Меня занесло на вершину горы, и теперь всё вместе со мной кубарем катится вниз.

Он показал мне два растопыренных пальца — знак победы — и скрылся в коридоре, где кто-то завыл; прежде такой вой говорил о пытках, а сейчас мог означать, что кого-то тоска заела.

Я вышел на улицу и остолбенел. Перед комиссариатом впритирку к тротуару стоял гигантский автомобиль с длинным капотом, казалось, достающим до перекрестка. В черных и словно бы жирных стеклах я увидел свою осунувшуюся физиономию. Шофер, как будто из довоенного фильма, то есть во френче цвета маренго, брюках-галифе и облегающих икры крагах, молодой человек, держащий в руке форменную фуражку, приоткрыл передо мной дверь этого лимузина не из нашего мира. А вокруг клубилась толпа с помятыми и разорванными транспарантами. Демонстранты, завороженные видом заграничного автомобиля, позабыли, зачем собрались.

— Мне садиться? — спросил я пересохшими губами.

Шофер кивнул и шире открыл дверцу. Я влез в сумрачный салон. Какой-то человек с лицом далай-ламы сидел, развалясь, в углу машины и смотрел на меня со странной усмешкой.

— Ну и что? — спросил он.

— Знаете, у меня ужасные неприятности, я совершенно раздавлен.

— Слыхал, слыхал. Не узнаешь?

— Простите. Не узнаю.

— Мицкевич.

— Что Мицкевич?

— Мицкевич. Из гимназии. Мы вместе учились с первого до третьего класса.

— Минутку. Мицкевич... Мицкевич из еврейского квартала?

— Нет. Я караим. Антоний Мицкевич.

Меня опять начало мутить. Я уже не поспевал за жизнью.

— Да, узнаю, хотя... столько лет.

— Тони Мицкевич. Это я тебя выкупил.

— Ты меня выкупил?

— Да. Из участка. Возвращаюсь через черт-те сколько лет на родину, и на тебе — единственный приятель сидит. Прокатимся?

— Можно прокатиться, хотя меня тошнит.

— Не беда. Включим кондиционер.

Он что-то сказал по-английски в микрофон, и заокеанский лайнер мягко поплыл, прихватывая в затемненные окна разинутые рты демонстрантов и мокрые маркизы магазинов. Салон начал наполняться прохладным лесным воздухом.

— Приятно так ехать, правда?

— Да, приятно.

— Люблю эту машину. В моем самолете для нее есть специальный отсек. Я ее всегда беру с собой.

Матерь Божья, Матерь Божья, подумал я. Не иначе скоро конец света. Всю жизнь, стоило мне скопить немного денег, происходила девальвация.

— Как поживаешь? — спросил Мицкевич, и только тут я заметил, что он говорит с иностранным акцентом. — Ох, прости. Шерше ля фам. У тебя неприятности. Не горюй, я вызову из Америки адвокатов.

— Да. Что-то произошло. Что-то идиотское и абсолютно непонят-

ное. Как черепица с крыши или гром с ясного неба. А у тебя как дела? Извини, сам вижу. У меня уже сутки болит голова.

— Помнишь, в конце войны меня отправили к белым медведям. Десять лет Воркуты, слыхал про такой лагерь? Нет, погоди, одиннадцать, а потом я слинял в Америку. Брался за все без разбору. Наконец обзавелся небольшой строительной фирмой возле Чикаго. Но меня это не устраивало. Все делали деньги, а я чем хуже? В общем, думал, думал и придумал. Я заметил, что у американцев проблемы с опорожнением кишечника. У них со всем проблемы. А мы с тобой у себя на востоке кое-чему научились. У нас срали в лесу, в кустах, на жердочке, на не-оструганной доске, даже стоя, кто половчее. И я сочинил на эту тему трактат. Никто не хотел его печатать, все надо мной смеялись, соседи показывали пальцем. Но я не сдался. Купил бумагу, договорился с типографией и напечатал сам. Не поверишь — разошлось пять миллионов экземпляров. Год я не слезал с первого места в списке бестселлеров. А дальше пошло автоматом. Я запатентовал одну позицию, так называемое противогрыжное испражнение на корточках. Мы тут с тобой лясы точим, а в эту минуту десять миллионов американцев срут и платят мне проценты.

И задумался, уставившись на темный экран телевизора.

Антоний Мицкевич. Караим из нашей гимназии. Такова жизнь.

— Выпьем? — внезапно спросил он и потянулся к холодильнику.

— Нет, спасибо. У меня жуткое похмелье.

— Хочешь колы? Отлично помогает.

Мы чокнулись стаканчиками, и он потрепал меня по плечу.

— Выше нос, старик. Какой-нибудь выход всегда найдется.

Громадный автомобиль плавно преодолевал повороты. Мы не слышали уличного шума, вообще ничего не слышали, и на меня вдруг почему-то накатил страх.

— Что происходит, дружище? Ты мне тут сказки рассказываешь, а у меня беда, и я не знаю, чем все это кончится.

— Я рад, что тебя отыскал. А другие живы? Я помню какие-то фамилии, какие-то лица. Куда бы меня ни заносило, постоянно кажется, что я вижу кого-то из нашей школы или с моей улицы. А ты с кем-нибудь встречаешься?

— Нет. Сейчас нет. Раньше встречался. Кругом все больше новых людей.

— Да. Это не наш город. Наш остался на том берегу. Ты хоть иногда туда ездишь...

— Нет. Не хочу. Не могу. Предпочитаю помнить.

Автомобиль незаметно остановился. Просто пейзаж за темным окном в какой-то момент замер, и услужливый шофер с фуражкой в руке, наш элегантный водитель, как кучер в былые времена, помог нам выйти из лимузина.

Мы были на гигантской площади перед Дворцом культуры, на самой большой площади Европы и в самом центре Европы. В глазах рябило от киосков, ларьков, лотков, палаток. У подножья Дворца, как разноцветные гусеницы, вытянулись два длинных крытых павильона. Тут торговали все народы Азии и Восточной Европы. Туда-сюда сновали корейцы и монголы, турки и армяне, арабы и казаки, индусы и уйгуры. Мелькали представители неизвестных древних наций в архаичных нарядах, возможно, ассирийцы или хетты. И все объяснялись жестами, изредка издавая какие-то гортанные звуки — быть может, это были слова на языке эпохи ранних шумеров или позднего комсомола. Иногда сквозь толпу осторожно протискивался проржавевший легковой автомобиль с территории бывшего Советского Союза или из сегодняшней России. И купить здесь можно было все, что создали древние цивилизации, а также ядерная эпоха. На восточных ковриках высились пирамиды духов Диора и стояли глиняные горшки с кумысом из пустыни Гоби. Валялась японская электроника и березовые веники из русской бани, у бровок

тротуаров дремали украинские грузовики и блеяли небрежно привязанные козы с Кавказа, в тени сломанных ограждений сверкали яркими красками порнографические журналы и ждали покупателей ракетные орудия типа «Катюша».

Мой приятель Мицкевич покачал головой.

— Мир изменился с твоих времен, — сказал я.

Тони поднял голову.

— Видишь домишко? — он указал глазами на Дворец, который, точно допотопный птеродактиль, заботливо склонялся над этим всемирным торжищем, похожим на опрокинутую Вавилонскую башню. — Собираюсь его купить.

— И что там будет?

— Пока не знаю. Может, музей лагерей или детский городок с аттракционами. А скорее всего Диснейленд эпохи Иосифа Виссарионовича. Тебя назначу директором.

— Знаешь, Тони, я тебя плохо помню. А честно говоря, совсем не помню. Где-то на дне памяти вертится фамилия Мицкевич, одноклассник Мицкевич. Но, возможно, я тебя путаю с нашим великим поэтом, он ведь тоже всегда был с нами в школе, на улицах и в книгах.

— Как? Мы ведь с тобой даже раз дрались после уроков на Буффаловой горке.

— Знаешь, Тони, я несколько месяцев назад заболел. Подцепил вирус, который отбивает охоту жить. Физически, если не считать легкого сотрясения мозга, я в полном порядке, довольно энергичен, склонен к педантизму, рассудителен и деловит, но утратил жизненные импульсы.

— Это что же такое?

— Раньше я тоже не знал, что это такое. Мир теряет объемность и становится плоским, как фотография. Думаю, в конце концов выяснится, что это за вирус. Но я до тех пор не доживу. Я уже обречен.

И тут вдруг откуда-то выкатилась Анаис. В подоле пончо она несла свой сверток, из которого во все стороны торчали какие-то диковинные предметы, вероятно, ее движимое имущество. Остановившись возле нас, она приторно-сладко улыбнулась Мицкевичу.

— Этот прелестный автомобильчик ваш?

— Да, мой, — в некотором замешательстве ответил Мицкевич.

— Приятно, должно быть, в нем ездить, — еще слаще заулыбалась она. — У одного моего знакомого в Лондоне точь-в-точь такой же.

— Брысь, — голосом президента прохрипел я.

Анаис не обратила на меня внимания. Достала зеркальце и принялась жуткой коричневой помадой мазать губы, которые когда-то целовали диктаторы этой страны на берегах Вислы. Тем временем подошел какой-то кочевник в сером войлочном халате, вытащил из-за пазухи толстенную пачку измятых долларов и стал черным пальцем указывать то на лимузин, то на деньги. Но Мицкевич отрицательно покачал головой.

Из-за мертвого обелиска Дворца вылезло красноватое солнце и уставилось на эту площадь без начала и конца, на тысячи молча жестикулирующих землян и на нас, стоящих возле неправдоподобно длинного автомобиля, обитого изнутри то ли настоящей шкурой леопарда, то ли искусственным тигровым мехом.

— Знаешь, Тони, спасибо тебе за все, но я пойду домой. Хочу прилечь. У меня были очень трудные дни.

— Нет проблем. Могу тебя подвезти.

— Спасибо. Мне недалеко. Я должен собраться с мыслями.

— Хорошо. Я объявлюсь — ведь я к тебе приехал.

— Ко мне?

— Да. Сорок лет я о тебе думаю. Вернее, не могу забыть.

— Но почему?

— Скажу в следующий раз.

— А сейчас не можешь?

— Нет. Это сложно. Отдыхай, собирайся с мыслями, надеюсь, результаты следствия окажутся для тебя благоприятными.

— Да. Спасибо. Пока.

— Приветик, — сказал он; когда-то мы так здоровались и прощались в школе.

Я зашагал по извилистым улочкам этого города, который вырос здесь неведомо когда и неведомо когда исчезнет, сметенный так называемым ветром истории. Ветер истории, ветер космоса, ветер или ураган гнева Господня.

Мир вокруг был залит горячим красным светом, а меня пробирала дрожь. Вернуться домой. Значит, в ту комнату, где это случилось. Но ведь я не могу там ночевать, я уже не сумею там жить. Хорошо бы дом сгорел дотла прежде, чем я до него дойду. Ее, наверное, давно унесли. Но ведь осталась смерть. И частица ее души, если душа существует. Она знает, что я не виноват, нисколько не виноват. Что происходило с того момента, когда я оставил ее спящей, с белой грудью, клонящейся к полу, до страшной минуты появления полиции. Помню, что занавески не были задернуты и уличный фонарь освещал нашу пьяную возню на грани эротики и тягостного полусна. Но когда я открывал дверь полицейским, окна были затянуты шторами. Кто их закрыл в лунатической летаргии. Я или она.

Меня передернуло. Огромные окна универмага пылали багровым заревом. Кончался день — как в кошмарном сне или хмельном забытье. Ее красота пугала. Почему именно меня она высмотрела в этой веселой и скучной компании, меня, с моим разладившимся механизмом жизненных импульсов. Она, эта роковая незнакомка, неизвестная молодая женщина, зловещая варшавская сирена.

На кирпичной стене современного здания — мемориальная доска: здесь во время последней войны было расстреляно несколько десятков заложников. Красная лампочка в фонаре. Вечный электрический огонек нашей ненадежной памяти. А над доской огромная надпись черной краской из пульверизатора: «Славянский Собор». А дальше на столбах, на стенах, на балконах — плакаты, рекламирующие индийских философов и российских знахарей. Мир кишит целителями душ и врачевателями тел.

Перед моим домом по опустевшей к этому времени улочке носились дети — на досках, на роликах, на велосипедах. Как ласточки, вылетевшие перед наступлением ночи из гнезд.

В туннеле подворотни стоял пожилой мужчина в белой рубашке и коричневых брюках. Я давно знал его в лицо. Он жил в одном из многочисленных подъездов нашего дома. Я подозревал, что этот тип служил в органах безопасности, поскольку при случайных встречах он неизменно сверлил меня злым взглядом, таившим неясную угрозу.

— Отпустили, — сказал он, и это были первые слова, которые я услыхал от него в жизни, в жизни большого варшавского дома.

— Да, отпустили.

— Я приглядывал за вашей квартирой. Пойдемте, надо сорвать печати. Буду свидетелем.

Мы наискосок пересекли двор, загроможденный трубами, обломками стен, разбитыми раковинами и унитазами.

В одной из квартир сантехники долбили стену. Из открытых окон летела вниз белая известковая пыль. Все старухи, сидевшие у подъездов на остатках скамеек, все эти опирающиеся на палки и костыли ведьмы, бдительно подняв головы, уставились на нас, как на патруль особого назначения, строевым шагом направляющийся на исполнение важного служебного задания.

— Знаете, это я вас увидел на рассвете, — сказал мой спутник. У него были кудрявые рыжие, чуть осветленные сединой волосы, точно ореолом окружавшие пухлое, но отнюдь не добродушное лицо. В детстве он был, вероятно, похож на ангелочка, некрасивого и злобного ангелочка.

— Услышал, как кто-то грохнулся на тротуар. Встал с кровати и подошел к окну. То ли вы ее поднимали с земли, то ли она вас. Ух, оба были здорово поддатые.

— Я, пожалуй, уеду из этого дома. Но куда мне деваться? — тихо простонал я.

— Вот именно. Сейчас капитализм, на капризы деньги нужны.

Мы поднимались по лестнице, по моей лестнице, знакомой с незапамятных времен. Таинственный сосед, которого я всегда боялся, пыхтел рядом очень по-человечески и понятно.

— Это вы позвонили в полицию?

Он пропустил мой вопрос мимо ушей. Где-то под крышей, на седьмом или восьмом этаже, работала дрель. Кто-то из жильцов собирался открыть частное предприятие — посредническую контору или фабрику по производству зубочисток.

— Я всегда думал, что на пенсии отосплюсь за целую жизнь. И нате вам: теперь по ночам глаз не могу сомкнуть. Постоим, я передохну, — громко сопя, он остановился на площадке между этажами.

— Честно говоря, вы мне раньше не очень-то нравились. Смотрели на меня так, точно хотели убить взглядом.

— Не буду скрывать, вы у нас доверия не вызывали. Подозрительные личности к вам ходили, наверняка вы якшались с оппозицией, а мы тогда действовали решительно. Кто знал, что так получится. Все наши труды кошке под хвост.

— Чьи?

Он заколебался и посмотрел в окно, за которым нежничали наши библейские голубки.

— Сами знаете, — произнес заговорщически. — Сейчас другое время, незачем ворошить былое.

— Вы не жалуетесь?

— Я никогда не жалуюсь. Пирог, оставшийся от социализма, мы аккуратно порезали, и каждый получил свой кусок. Дети у меня устроены, все, доложу я вам, фабриканты или банкиры.

Мы тяжело потопали наверх; идти уже оставалось немного.

Моя дверь была крест-накрест перечеркнута коричневыми бумажными лентами с синими печатями.

— У вас есть ключи?

— Есть.

— Давайте сюда, — ловко содрав печати, он отпер дверь и вернул мне ключи. — Желаю успеха на новом пути. Не бойтесь. Ее увезли сразу после вас.

Я сунул ключи в карман, где лежал бумажник, выданный мне при освобождении. Преодолевая страх, захлопнул дверь перед носом соседа, который не спешил уходить.

Глядя прямо перед собой, затаив дыхание, я чуть ли не на цыпочках вошел в свою комнату. Занавески были раздвинуты, солнце уже лежало на крыше с нашлепками слуховых окон, похожими на сгорбленные фигуры людей, невесть чего ищущих под небом. Красный закат. К ветру, подумал я. Но какая мне разница — будет завтра ветер или не будет.

Резко обернувшись, я посмотрел на кушетку. Она была пуста. Сверху лежал клетчатый плед, свешиваясь одним концом на пол. Вся мебель была переставлена, картины на стенах перекосились, воздух пропитан чужим запахом табака. Я распахнул окно и посмотрел на нашу улицу. Матери звали домой детей, с грохотом раскатывающих на досках и самокатах. Голые деревья замерли в ожидании ночи. В открытой телефонной будке болталась на шнуре трубка, которую кто-то поленился повесить. Я вынул из кармана потертый распоровшийся бумажник. Не мой, подумал. Пускай лежит. И положил на стол.

Потом сел на незастланную кровать. Солнце уже скрылось. Осталась только огромная полоса красного неба. Когда-то я знал, отчего

вечерами краснеет небо и увеличивается солнечный диск.

Почему-то я побоялся принять душ. Только, раздевшись до пояса, тщательно умылся, поглядывая в сторону комнаты, где царила сонная неподвижность. Опять сел на кровать, разворошенную полицейскими. Что делать дальше. Ничего, ждать ночи. Сантехники в соседнем подъезде все еще долбили стену. Ремонт. Капитальный ремонт после неудавшегося эксперимента. А, неважно. Кто так говорит. Неважно.

Надо попытаться уснуть. Другого выхода нет. Я лег лицом к стене. И все равно спиной ощущал присутствие этой кушетки, которая тыщу лет стояла на своем месте, безымянная, ничья, возможно, даже ненужная в этой квартире. А теперь вдруг стала чем-то, а скорее, быть может, кем-то. Неожиданно обрела пугающее лицо. Я не мог, не в состоянии был не смотреть на нее, не коситься в ее сторону, не проверять, так ли уж она неподвижна. Перевернулся на другой бок и теперь видел ее, дремлющую в розовом, а вернее — кирпичном, полумраке, и видел выцветшую черноту соседней комнаты, бывшего гнездышка моей жены, которая год за годом от меня отдалялась, а я отдалялся от нее, хотя мы жили под одной крышей, ели одно и то же на завтрак и на ужин, вместе оплачивали счета, стирали семейное белье, горевали над судьбой ребенка-инвалида, чья неполноценность не была заметна, но существовала, как постоянная угроза жизни. Жена уехала с сыном за океан, и когда мы нежно прощались, оба знали, что, если представится возможность, она останется в том далеком краю, останется навсегда, и это будет лучше для нее, для меня и, пожалуй, даже для мальчика. Мы уже исчерпали весь внутренний запас, данный нам для совместного употребления. В нас уже угас тот огонь, который когда-то казался пожаром, стал только пеплом обыденности.

Нет. Не могу. Мучает меня эта кушетка. Я не в силах удержать взгляд, который со злобным упорством ежеминутно возвращается, ежесекундно подкрадывается к этому невзрачному и враждебному предмету. Она еще здесь, незнакомая девушка с редким именем Вера. Над кушеткой еще витает ее неизрасходованная энергия, возможно, ее оборвавшаяся мысль, внезапно рухнувшие надежды, неосознанное отчаяние. Она ведь стонала во сне, борясь с памятью, с неизвестным мне прошлым или дурными предчувствиями.

Я не могу поверить, что это произошло тут, на расстоянии вытянутой руки, что это случилось во время моего недолгого отсутствия, пока я барахтался в проклятой трясине полусна, полуяви. Но — случилось. Где-то здесь затихает ее шепот, замирает дыхание, остывает тепло и выцветает стройная белизна ее погруженного в сон тела, стирается темнотой идеально округлая, поражающая своей безукоризненностью нагая беззащитная грудь, склоненная ко мне, мучимому внезапно вспыхнувшим вожделением и предощущением плохого конца.

Все-таки я встал и передвинул кушетку. Заскрипели ее хилые ножки, и я увидел на полу светлые пятна ненатертого пола. Отдуваясь, вернулся на свою кровать. Так будет лучше.

Однако лучше не стало. Любили ли меня в жизни. Что значит быть любимым. Может, чья-то любовь спасла меня от каких-то неприятностей или катастроф. Да, люди меня любили. Вначале больше, потом меньше. Я был любим, но не избежал краха.

Правильнее всего было бы убрать эту роковую кушетку. Запихнуть в другую комнату, склад прошлого, кладовую минувшего.

Я перетащил кушетку в комнату жены и бросил посередине. Хотел закрыть дверь, но раздумал. Пусть остается открытой. По крайней мере, буду знать, что там происходит, если вообще в комнате, где обитают ночные призраки, может что-то происходить.

Видимо, я все же заснул, потому что меня разбудили пугающе громкие выстрелы, точно снова была война. Я подбежал к окну, но уже все стихло. Где-то на поперечной улице зафырчал и смолк мотор проехавшего автомобиля.

Я открыл балконную дверь, испятнанную непросохшими каплями дождя. Внизу пустая улица и спящие на тротуарах машины. В окне дома напротив мерцает мертвенно зеленый экран телевизора. Какой-то полуночник глушит бессонницу.

И тут я увидел возле нашей подворотни мужчину. Того самого кудрявого пенсионера, которого я столько лет ненавидел.

— Кто стрелял? — спросил я.

Он поднял голову, вглядываясь в мою перегнувшуюся через перила балкона фигуру.

— Мафии между собой разбираются. Небось русская с чеченской или итальянская с немецкой. Все у нас пошло наперекосяк. Знаете, мне иногда кажется, что здесь, в центре страны, торчит верхушка, кончик, острие невидимой оси. Возможно, вдоль нее распространяется какая-то еще не опознанная энергия. Другой конец вылезает где-нибудь в Тихом океане, и там рыбы сходят с ума, море встает на дыбы, а из воздуха улетучился кислород. Только никто об этом не знает — кому охота совать туда нос. А у нас результаты давно уже налицо. Мы живем в воронке. В чудовищной центрифуге. Неудивительно, что у людей мозги набекрень, жизнь ненормальная и история свихнулась. Может, уже кому-то известно об этой польской аномалии, но все помалкивают, чтобы не вызывать паники. А те, кому надо сводить счеты, предпочитают заниматься этим здесь — все равно тут уже ничего не вызреет. Ни социализм, ни капитализм, ни то, что родится в будущем.

— Возможно, вы в какой-то степени правы, но мне не до того, мне бы со своей бедой разобраться.

— Вам все сойдет с рук, можете мне поверить. Сейчас и полиция сбрендила. А у меня есть для вас предложение, — он подошел поближе к балкону, понизил голос, словно собираясь поделиться каким-то секретом. — Я организую в нашем доме Дворовый Театр Абсурда. Что вы на это скажете?

— Ничего. Удивляюсь.

— А знаете, какой будет первый спектакль?

— Нет. Откуда мне знать.

— «Настоящий конец света».

— Впервые слышу про такую пьесу.

— А я ее сам сочинил. Над нами висит настоящий конец света. Повисит, а потом втихаря опустится, как туман.

— Вы верите в Бога?

Он даже охнул от изумления.

— Чего, чего? И придет же такое на ум! Вы небось еще в шоке. Раньше я считал, что Бога нет. А сейчас, на старости лет, когда не спится по ночам, иной раз под утро накатит страх, и начинаешь думать: а вдруг Бог есть? Но все равно, ту жизнь, что прожил, я не изменю.

— И я не изменю, — шепнул я самому себе, но он, видно, услышал.

— Вам-то чего менять? По-вашему вышло. Что я могу сказать? — и, опечалившись, замолчал. Но быстро себя утешил: — Мне грех жаловаться. Дети устроены, я тоже живу не тужу. Правда, работа вся пошла насмарку. Знаете, для меня работа была как наркотик.

— Вы мучили людей.

Он там, внизу, задохнулся от негодования и чуть не бегом бросился к подворотне. Однако остановился, вернулся под балкон, поднял казавшуюся странно красной в свете нашего фонаря руку и словно бы через силу сдавленным голосом произнес:

— Я хотел, чтобы люди стали лучше.

Потом вздохнул и махнул высоко поднятой рукой.

— Не получилось. Натуру не переделаешь.

Небо над крышами с правой стороны медленно светлело. Из глубины улицы прилетел ветер и зашуршал валяющимся в водосточной канаве обрывком транспаранта. Город с тяжелым вздохом просыпался. Кто

это сказал. Наверное, Достоевский. Если Бога нет, все позволено. Ну да, ну да. Но если все позволено, значит ли это, что Бога нет?

***

Слава тебе, верховное существо, слава тебе, высочайший разум, слава тебе, высочайшее чувство.

Слава всему тому в тебе, чего мы не знаем и не в состоянии вообразить.

Мы боимся тебя, пугаем тобой и потому смиренно чтим. Наша любовь неискренна и корыстна. Она крепнет, когда мы в беде, угасает, когда добиваемся успеха. Мы придумали тебя по своему образу и подобию. Мы наделили тебя чертами, которые видим у ближних по большим праздникам. И потому нам кажется, что тебя можно купить красивыми словами, фарисейской покорностью, притворной лестью. Мы прекрасно знаем, что сделать ты для нас ничего не можешь или не хочешь, и всякий наш провал, как и всякая удача — дело его величества случая или твоих безжалостных правил.

Некоторые из нас подражают твоей тени, твоему призраку, твоему искаженному изображению в зеркале нашего сознания. Эти третируют ближних, унижают, посылают на смерть. Другие вместо тебя и для тебя составили своды законов, этические и моральные кодексы, о которых ты, возможно, никогда не узнаешь.

За твоей спиной, но с твоим именем на устах мы губим планету, на которой оказались невольно и неосознанно, а заодно калечим себя и себе подобных, созданных из таинственным образом оживленной материи.

И случилось самое худшее. Жалкие и ничтожные химические процессы, которые в нас происходят, хилые микротоки, которые мы возбуждаем в своем прозябании, породили нечто, чего мы не умеем ни описать, ни объяснить и что называем сознанием. Это сознание, будучи началом нашего освобождения, постепенно становится проклятием. Оно раздувается, как воздушный шар, справиться с которым нам не под силу, и, как аэростат, увлекает нас в глубины бесконечности — в твое орлиное гнездо на вершинах неведомого.

Наш дух прикован к нескольким ведрам воды, в которой растворена щепотка простейших элементов. Но что будет, когда он оторвется от этого балласта, к которому ты нас привязал, а может быть, вовсе не ты, а опрометчиво запущенные тобой механизмы. Что будет, когда мы появимся под тобой, рядом с тобой, над тобой, свободные от законов физики, природы или твоего промысла, разбухающие, разрастающиеся в геометрической, а то и еще более устрашающей прогрессии? Что будет, если ты окажешься в новой бесконечности, заполненной нашими законами, нашими желаниями и нашим голодом?

***

Я услышал телефонный звонок, и это меня поразило. Я забыл, что дома есть телефон. Много дней он молчал, и сегодня молчал, будто из уважения к бессмысленному трагизму, затаившемуся во всех углах квартиры. Мне было страшно. Страшно заходить в кухню, в ванную и особенно в комнатку сына. Телефон прозвонил несколько раз с грубой назойливостью и умолк. Я попытался внушить себе, что это лишь злая шутка воображения. Ведь я нередко просыпался среди ночи, уверенный, что слышу резкий, отчетливый телефонный звонок.

За окном бушевало преждевременное лето. Солнце, запутавшееся в голых ветвях деревьев, светило, как в июле. Обескураженные галки, а может, грачи нервно носились над домами. Из-за спины Дворца выглядывали обрывки белых, подбитых голубизной облачков. И я вдруг подумал, что уже который год не вижу ворон. Не вижу птиц моего детства. Что

случилось с воронами.

И тут опять зазвонил телефон. У наших варшавских телефонов своеобразный норов. Часто звякнут разок и смолкнут. Два звонка тоже не гарантируют соединения. Я напряженно уставился на старомодный аппарат из черного эбонита с тяжелым, как гиря, механизмом. Когда-то мне нравился его голос, обещающий что-то неожиданное, может быть, приятную новость. Теперь я боюсь телефонных звонков. А уж сегодня тем более.

Сглотнув горьковатую слюну, я жду с бьющимся сердцем. Да, телефон зазвонил в третий раз. Надо взять трубку. Незачем оттягивать неизбежное. Лучше сразу узнать, что меня ждет.

Я очень медленно поднимаю трубку, не спешу с ответом и слышу чириканье птиц, шуршанье автомобильных шин, далекие невнятные голоса.

— Алло, — говорю я хрипло.

— Это вы?

Вопрос меня удивляет, сбивает с толку. Я молюсь в душе, чтобы можно было побыстрее повесить трубку.

— Да, я. А кто говорит?

Выслушиваю долгую тревожную тишину, наполненную неразборчивым бормотаньем города.

— Я, — наконец отзывается голос в трубке, и лишь теперь до меня доходит, что голос принадлежит женщине. По-видимому, молодой.

— Что значит я, простите? — осмеливаюсь я говорить агрессивно, а в моей бедной больной голове проносятся обрывки тревожных мыслей, недобрых предчувствий и парализующих страхов.

— Отложите трубку и выгляните в окно. Я звоню из автомата.

Оцепенев, я кладу трубку на стол, который служит мне письменным столом, откладываю эту обросшую пылью трубку и на негнущихся ногах иду к окну. Действительно, в стеклянной телефонной будке, установленной среди деревьев, на которых едва набухли почки, в этом пронизанном солнечными лучами аквариуме с зелеными ребрами стоит спиной ко мне молодая женщина, прижимая трубку к закрывающей ухо прядке темных волос.

Одета эта женщина по моде моей молодости. Я ясно вижу темные туфли, догадываюсь о существовании чулок, замечаю изящный приталенный костюмчик, сумочку под мышкой, а волосы, волосы, которые я откуда-то помню, венчает маленькая шляпка. Наверное, с вуалеткой, потрясенный, думаю я. Теперь так никто не одевается. Так давным давно одевались мои девушки. Меня, кажется, сейчас хватит удар. Что все это значит. Что за лавина камней пришла в движение вчера или позавчера.

Чуть живой, я возвращаюсь к телефону, пытаюсь взять трубку, но она выпадает у меня из рук. Несколько секунд я вожусь с нею и со шнуром, который извивается, как змея.

— Да. Я вас видел, — наконец выдавливаю я сквозь пересохшее горло.

— Можете на минутку ко мне спуститься?

Я хочу спросить, зачем спускаться, но меня одолевает робость. Наконец, справившись с собой, я нерешительно говорю:

— Хорошо. Через десять минут спущусь.

Потом думаю: зачем тянуть. Лишние десять минут нервотрепки.

— Уже иду, — поправляюсь я.

Хватаю пиджак, но не могу попасть в рукава, слышу, как трещит подкладка, краем глаза кошусь в окно. Она уже повесила трубку, но не оборачивается, я вижу ее узкие плечи, плотно обтянутые серой, а может, голубоватой тканью немодного костюма.

Я опрометью сбежал вниз по лестнице. Во дворе меня попытался задержать сосед-пенсионер. Мы много лет не признавали друг друга, и вдруг сейчас ему понадобилось столько мне рассказать, столько заман-

чивых предложений сделать.

Неучтиво оттолкнув соседа, я вышел на улицу. Поежился от холода. Она все еще стояла в будке, склонив голову, словно собиралась с мыслями или старалась что-то припомнить. Я замедлил шаг. Какая-то собачонка в стеганом жилете затявкала на меня, норовя вцепиться зубами в штанину. Я шел, неуклюже дрыгая правой ногой, глядя на изящную, как старинный, забытый музыкальный инструмент, спину, шел, преследуемый настырной собачонкой, которая невесть почему на меня взъелась, приближался к телефонной будке, лихорадочно гадая, что меня ждет, что еще на меня свалится, что потрясет в эту предвесеннюю пору, так много обещающую, если верить гороскопу из бульварной газетки или передаче для домохозяек. Солнце опередило календарь. Греет мертвую землю.

И тут она медленно повернулась. Я остолбенел. Это была Вера Карновская.

— Добрый день, — сказала она, сдержанно улыбнувшись.

Я застыл с разинутым ртом. Собачонка, вдруг потеряв ко мне интерес, убежала. Откуда-то издалека доносились унылые восклицания демонстрантов.

— Добрый день, — повторила она.

У меня упало сердце. Она была на кого-то похожа, на какую-то девочку из моего детства или ранней юности. У нее были пышные темные волосы, темнее, чем тогда, два или три дня назад, и вовсе не блестящие, а скорее матовые, будто подернутые дымкой, и глаза цвета перелесок, которые росли в лесах моей молодости, глаза до того яркие, что во мне вспыхнул смутный, смешанный с нежностью страх. Когда-то, очень давно, я такой представлял себе свою будущую жену.

— Вы живы, — прошептал я.

— Да. Конечно. Жива.

Несколько ночей назад она была современной, вызывающей, развязной девицей, с непривычной одеждой которой я не мог справиться, а сейчас стояла передо мной, преобразившаяся, словно вернувшаяся из дальних странствий, из былых времен, которые мне иногда снятся.

— Простите. Последние дни у меня были очень тяжелые, — тихо сказал я и невольно коснулся лба с засохшим струпом.

— Да. Я знаю.

Та ночь не оставила на ней никаких следов. Она была свежа и элегантна. Мне почудилось, будто слабое дуновение еще не проснувшегося ветерка принесло от нее запах каких-то экзотических трав, запах, усугубивший мою тревогу. Сейчас, днем, ее красота, подчеркнутая шикарным старомодным нарядом, чересчур слащава, подумал я. Вот и хорошо. Неважно почему, но так, безусловно, лучше. Лучше для меня.

Она посмотрела на мой балкон, откуда высовывался красный носик забытой лейки.

— У вас найдется немного времени?

— Да. У меня много времени.

Опять меня начал бить озноб. Наверно, подскочила температура. И вдруг захотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, умереть на несколько часов или дней, но одновременно внутри всколыхнулось какое-то неприличное любопытство, какое-то рискованное желание броситься очертя голову вперед, в омут солнечного дня нежданной весны.

— Пройдемся? — спросила она.

— С удовольствием, — пробормотал я, не зная, чего мне больше хочется: убежать или остаться на этой улочке, среди голых деревьев.

По Новому Святу со стороны Краковского Пшедместья валила нестройная толпа демонстрантов; другая манифестация приближалась от площади Де Голля. Будет драка, подумал я. В моей жизни было много женщин. В том смысле, что я многих женщин встречал, знакомился, проходил мимо. Иногда ненадолго влюблялся, а потом удивлялся сам

себе, иногда вынужден был деликатно обороняться от навязываемого мне чувства, а случалось, заводил длительные изощренные романы, которые заканчивались ничем, мимолетным поцелуем, внезапной вспышкой вожделения на танцплощадке или сентиментальным прощанием на железнодорожном вокзале. Собственно, я исчерпал все варианты и нюансы игры, которую мы называем любовью или флиртом. А если что-то обрывалось на середине, доводил до конца в своем воображении бесконечно длинными ночами на рубеже осени и зимы, ночами, заполненными бессонницей, призраками и сожалением о том, чего не случилось и уже не случится никогда.

Мы оказались в полукруглом скверике, где умирало несколько голых деревьев. Молча сели на сломанную скамейку, вокруг которой валялись погнутые банки из-под пива. Она положила сумочку на колени, и я увидел ее запястье, кисть руки, нежную и беззащитную, как у ребенка. Эта рука тоже напомнила мне о чем-то трогательном.

Я не знал, что сказать, и боялся открыть рот. Неприятное чувство, оставшееся от той ночи, может быть, отвращение или стыд, мешало начать разговор.

— Ну и что? — спросила она со снисходительной усмешкой.

— Ну и ничего.

Боже, как хорошо, что в ту ночь ничего больше не произошло, что я только перетащил ее на эту роковую кушетку и попрощался взглядом, запомнив лишь пугающе округлую, ошеломительно прекрасную белую грудь. Я покосился украдкой в сторону молодой женщины, сидящей рядом со мной на обломках парковой скамейки. Она смотрела на край обрыва, окаймленный зарослями безлистных кустов, на белый лабиринт монастырских строений на склоне, на неряшливое нагромождение крыш и блестящую, как ртуть, полоску воды у бурого горизонта. Не стоит в это влезать, подумал я. Возможно, эгоцентризм заключается в притуплении слуха, ослаблении зрения, замедлении рефлексов. Но при этом содержимое черепной коробки разбухает, размягчается, расщепляется на волокна чрезмерной чувствительности. Нет, игра не стоит свеч.

— Простите, — сказал я.

— За что?

— За все. За то, что было и прошло.

— Тогда и вы меня простите.

— Забудем и начнем сначала.

Она посмотрела на меня — когда-то у женщин были такие глаза. Да, это перелески, мелкие ярко-синие цветочки, ненадолго расцветающие ранней весной над сверкающими ручьями. И я подумал, что много лет тосковал по этим глазам.

— Может, не все стоит забывать? — немного погодя спросила она.

— Да. Пожалуй, не все.

Что она помнит из долгих часов амока, который мы пережили. Возможно, у нее от того вечера остались более приятные воспоминания. Но хорошо, что она есть, что беспечно сидит на жердочке, которая когда-та была скамейкой. Я ощутил внезапную благодарность, и мне захотелось коснуться ее маленькой, почти детской руки на синей, а может быть, черной сумочке с позолоченной цепочкой. Она угадала мое желание, улыбнулась с немым вопросом в глазах.

По другой стороне овражка, ведущего к заброшенному монастырю, овражка, где лежал перевернутый вверх дном скелет легкового автомобиля, по краю крутого холма, где когда-то был парк, шагала вразвалочку Анаис, прижимая к себе пестрый узел, из которого свисали разноцветные тряпки. Вероятно, она увидела внизу, на крыше монастыря, черный крест, так как внезапно остановилась и принялась истово креститься.

— Я вас давно знаю, — неожиданно сказала Вера.

— Откуда вы меня можете знать? — встревожился я.

— Встречаю на Новом Святе, на Краковском Пшедместье. У вас

всегда такое лицо, будто вы идете по очень важному делу или вот-вот совершите великое открытие.

— Я просто много хожу. Всю жизнь иду, хотя фактически стою на месте.

— Не надо ничего бояться.

— А с чего вы взяли, что я боюсь?

— У вас такой растерянный, даже немного испуганный взгляд.

— Это от близорукости.

— Мне захотелось увидеть вас днем.

— Ну и что?

— Ну и ничего.

Да, мы с ней когда-то купались в темной реке около шлюзовых затворов, за которыми гудела и бурлила вода, падая по цементному стоку в каменистое русло, стиснутое с обеих сторон песчаными обрывами, добела раскаленными августовским солнцем. Мне было лет четырнадцать или пятнадцать, и в голове страшно шумело, шумело и стучало от какого-то неведомого прежде волнения, когда я кружил около нее, плескался, нырял — лишь затем, чтобы увидеть ослепительно белый краешек груди, глотнуть холодной, пахнущей лесом воды, которая касалась ее губ.

— Нехорошо. Случится что-то нехорошее, — шепнул я.

— Простите, не поняла.

— Я говорю сам с собой. Иногда.

— Когда волнуетесь?

— Да. Пожалуй.

— Может быть, я навязываюсь?

— Ну что вы, — горячо возразил я.

Она навязывается, подумал с негодованием. Такая красота, очарование и таинственность. Девушка из моей юности, заблудившаяся в канун конца света. Настоящего конца. Каждое поколение ждет конца света. Что-то в этом есть. Или, по крайней мере, должно быть.

— И все-таки вы боитесь.

— Чего мне бояться?

— Это из-за чувства вины.

Меня опять залихорадило. На одном из деревьев под нами расселись сотни воробьев. Их пронзительное чириканье было похоже на жужжанье большого трансформатора. Что она имеет в виду. О какой вине говорит. Чем это кончится. И все же мне хотелось, чтобы она сидела тут со мной, согреваемая прозрачным солнцем нежданно нагрянувшей весны, чтобы не уходила, чтобы не растворилась в унылой повседневности.

— Может быть, вы психолог?

Она вдруг рассмеялась, весело и непринужденно.

— Не угадали. Я художница. Делаю картины из старых благородных тряпок.

— Я откуда-то помню вашу фамилию.

— Я тоже этим страдаю. Мне кажется, будто я все уже откуда-то знаю.

Чересчур много, подумал я. Чересчур много разом предлагает мне эта женщина. Тогда она мне показалась совсем еще девочкой. Теперь я вижу, что это молодая женщина. И она видит, что я боюсь. Опасаюсь вылезти из своей раковины на дневной свет.

Да, мы встретились во время войны. Она приехала к нам в отряд на мужском велосипеде. На ней было цветастое платье, какие тогда носили девушки, на ногах туфли на деревянной подошве, а по спине вилась толстая темная коса. Я запомнил цвет ее глаз, потому что рядом, вокруг, везде, на каждом шагу в лесу были озера, пруды, ручьи перелесок. Возможно, в тот раз я и обратил на нее внимание, хотя она, окруженная партизанскими командирами, лихими сердцеедами, вряд ли меня заметила.

— Знаете, мне хочется вас обнять.

— О, это уже что-то новое, — засмеялась она, озарив меня синевой своих глаз.

Откуда на этом жалком свете такая кожа. Откуда такие ресницы, такой чистый рот. Легкомысленная расточительность скаредной природы. Поразительный феномен в потопе случайностей.

— Вы не против, чтобы я изредка вам звонила?

— Конечно нет. Буду ждать.

— Без всяких обязательств. Может, позвоню, а может, и нет.

Да, мы познакомились с ней после войны. Она стояла на лесах у стены костела и шпателем соскребала что-то с изъязвленной поверхности. А потом этот шпатель упал на землю, и я его поднял, взобрался по лестнице и подал девушке с лесными глазами, которая была студенткой, обучалась не то истории искусств, не то живописи или прикладной графике. Она тогда что-то дружески мне сказала, и я ответил шуткой, а сам подумал: как жаль, что я ухожу, хотя мне не хочется уходить, как жаль, что нельзя остаться с ней навсегда вопреки всем и всему.

— Пожалуйста, не вставайте, — сказал я, предупреждая ее намерение.

— Хотите, чтобы я не уходила?

— Да. Очень хочу.

Она как-то печально улыбнулась и вдруг показалась мне совершенно другой, обремененной зловещей тайной или роковым предназначением.

Между тем из-за деревьев вынырнула Анаис и направилась к нам с нарочито приветливой улыбкой. Сегодня вместо шляпы она нацепила какой-то восточный тюрбан. Высохшее лицо с вертикальными, пугающе длинными морщинами было обсыпано кошмарной коричневой пудрой. На ходу Анаис нервно поправляла вылезающие из узла мятые бумаги и драные тряпки.

— Здравствуйте, — сладко пропела она. — Добрый день. Позвольте угостить вас сигаретой.

— Добрый день. Спасибо, мы не курим, — не скрывая удивления, ответила Вера.

— Жалко, — протянула Анаис. — Я иду в монастырь. Туда, вниз, — рукой с окурком она, как балерина, описала полукруг, сверля меня многозначительным взглядом.

И пошла, но как бы нехотя. Останавливалась, пятилась, безуспешно раскуривала погасшую сигарету. Откуда-то прилетели голуби. Хлопая крыльями, садились рядом с ней в надежде на угощенье.

— Это муза павшего режима. Призрак минувшей эпохи.

— Вы ее знаете?

— Да. Познакомился в комиссариате. Где ее только ни встретишь. Везде наводит страх на людей. На митингах, в костеле, в участке. Наше общее угрызение совести.

Позади нас, в музыкальной школе, раздались звуки рояля.

Кто-то разучивал сонату, которую я помнил с давних времен.

— Бедная, — шепнула Вера.

— Все мы бедные. Я здоров, но тяжело болен. Страдаю атрофией той неизвестной железы, которая заставляет совершать привычные движения, включаться в будничную суету, велит по утрам вставать, бриться и выходить из дома, чтобы вырвать кусок у ближнего изо рта. Честно говоря, я чувствую себя в некоторой степени обманщиком. Все видят во мне конкурента, а я безвреден. И дело тут не в возрасте. Утрата желания жить, отупение, апатия усталого организма. И случилось это внезапно, в один день. Я от кого-то заразился неведомым микробом. Думаю, нас много. Все, что молчат или улыбаются без слов, больны.

— А я люблю жизнь, — сказала Вера. Достала из сумочки помаду и стала подправлять рисунок губ.

— Вот я вам и представился. Не с лучшей стороны.

— Да я же вас знаю. Может, я давно за вами охочусь.

Смутившись, я принялся носком ботинка стирать белый рисунок мелом, рисунок, запечатленный на плитах дорожки детской рукой.

— Мне пора идти. Проводите меня немного.

— Конечно, — я вскочил со скамейки.

Страшная проблема разрешилась сама собой. Она жива, я вижу у нее под ухом, под прядкой волос, под нежной кожей, слегка придымленной прошлогодним загаром, вижу в этом месте, будто созданном для поцелуев, медленно пульсирующую жилку. Она жива.

Потом мы шли по Краковскому Пшедместью, и я испытывал какое-то радостное облегчение. Что-то ужасное вдруг закончилось, а что-то тревожное, но приятное начинается. И я, если наберусь смелости, могу это продолжить, а могу завтра забыть и опять погрузиться в летаргический сон.

Со стороны Старого Мяста надвигалась очередная колонна демонстрантов. Я с удивлением увидел шествующего в первом ряду президента. Теперь, на улице, ясным солнечным днем, он походил на обросшую черным мхом кочку из лесного урочища. Президент тоже меня заметил и что-то сказал идущему рядом человеку. Оба отделились от колонны и торопливо зашагали к нам.

— Привет, мой юный друг! — воскликнул президент. — Хочу познакомить вас с великим человеком, — он указал на своего спутника, который был поразительно похож на атамана Хмельницкого. Сзади с его лысого черепа свисал слипшийся от пота оселедец. — Лидер Фиолетовых.

Хмурый атаман небрежно поклонился и уставился на Веру.

— Мы идем на Бельведер[1], — сообщил президент, нервно шевеля бровями, похожими на веточки кладбищенской туи.

— Сейчас все ходят к Бельведеру, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

— Естественно. Бельведер — символ нашей независимости, которая обычно продолжается у нас не дольше весенней грозы. Надо пользоваться случаем, — засмеялся президент.

— А потом что?

— Потом очередной раздел. Кто-нибудь непременно на нас позарится.

— А Сыны Европы?

— Сыны Европы вас спасут. Прощайте, мадам. Пока, мой юный друг.

Но лидер Фиолетовых, похожий на атамана Хмельницкого, стоял как столб и пялился на Веру.

— Пан президент, мне по ошибке выдали ваш бумажник! — крикнул я.

— Оставьте у себя. Мы еще встретимся, — и потянул своего соратника в ряды демонстрантов.

У стен домов дремали наркоманы, выставив перед собой истрепанные картонные таблички, призывающие прохожих подавать милостыню. Румынская цыганка, остановившись, начала переписывать на свою картонку мольбу молодой наркоманки. Та внезапно очнулась и ревниво повернула свою табличку обратной стороной.

— И все-таки я люблю жизнь. Такую, какая она есть, — сказала себе Вера. — Идемте.

— Почему вы так настойчиво это повторяете?

— Потому что это правда.

Возле колонны короля Зигмунта на Замковой площади представители двух неизвестных соперничающих политических партий ожесточенно дрались, колотя друг дружку разноцветными транспарантами. Но

[1] Дворец XVII века, ныне резиденция главы государства.(*Здесь и далее — прим.перев.*)

никто из прохожих не обращал внимания на эту историческую битву. Площадь пересекала, приплясывая под грохот бубнов, процессия приверженцев экзотической восточной религии. В отдалении, у подножья серых нагромождений Праги, голубовато мерцала вздувшаяся от весеннего паводка Висла. Может быть, Вера права. Может, еще стоит полюбить жизнь.

Я украдкой покосился на Веру. Она шла, выпрямившись, зажав под мышкой сумочку с позолоченной цепочкой. Близоруко щурясь, смотрела вперед. Странно, что Господь Бог, не пожалев сил, с таким артистизмом создал именно эту молодую женщину. Обычно провидение предназначало подобных женщин другим мужчинам, а я только издали на них поглядывал. Быть может, моя жизнь автоматически продлилась из-за какой-то ошибки в программировании судеб.

Мы замешались в стадо туристов. Между контрфорсами стен примостились художники из России, с Украины, из Белоруссии, специализирующиеся на моментальном изготовлении портретов. Где-то неподалеку постанывала шарманка.

Вера остановилась перед железными воротами.

— Я пришла, — сказала. — Спасибо.

— Это вам спасибо.

Мы стояли лицом к лицу, улыбающиеся и смущенные.

— Я рад, — шепнул я.

— И я рада.

Мне хотелось еще что-нибудь сказать. Какая-то странная смесь обиды, радости, страха и внезапной надежды переполняла мою разбитую голову. По спине опять пробежала холодная дрожь, хотя все вокруг утопало в преждевременном тепле ползущего над самыми крышами солнца.

— Не знаю, что сказать.

— Ничего не говорите.

— Ну так что же?

— Ну так что же?

— Лучше всего подождать. Поглядим, что принесет жизнь.

— Не знала, что вы такой осторожный.

— Осторожный, неверующий и педантичный.

— Поглядим, поглядим.

— Это очень рискованно.

— Увидим. До свидания.

— До свидания.

Она скрылась в тени подворотни. Уже совсем другая, чужая, из иного, неведомого мира. Вот так, шепнул я.

И тут в каком-то открытом окне заговорило радио. Не старый, но очень скрипучий голос с надрывом вещал:

— Черная земля скована льдом. Серые деревья побиты морозом. Мокрое небо замерло в неподвижности. Белая бумага скрипит под пером.

Одна из последних зим нынешнего столетия и нынешнего тысячелетия. Все мои близкие незаметно растаяли в темноте. Они уже на том берегу или в совершенно другом измерении. Но что такое тот берег или неизвестное измерение. Еще одна изощренная выдумка с целью приукрасить монотонное движение скромного потока мелких событий, незначительных случаев, неглубоких душевных травм, недолгих депрессий, крохотных взлетов и нарастающего гула, но что это за гул — усталости, бунта или вечного хаоса?

Белая бумага скрипит под пером. Вокруг леденящая пустота скупо обогреваемого города. Иногда пробежит, не оставляя следов, бездомная дворняга. На горизонте маячит сгорбленный силуэт человека, идущего неведомо откуда и куда. Не хватает только звезд на морозном небе. Но и звезд уже нет. То есть, возможно, они еще есть, но на них никто не обращает внимания. Иногда только какой-нибудь малыш задерет голов-

ку и скажет: «Ооо!» И мы увидим проткнувшую темноту анемичную робкую капельку холодного света. Только белая бумага скрипит под пером, как прошлогодний снег.

***

Я ехал в автобусе, с трудом пробиравшемся по улицам, то и дело застревая в пробках: дорогу преграждали шествия и демонстрации, одни поскромней, другие повнушительнее. Пассажиры безучастно смотрели через грязные стекла на этот парад лозунгов, призывов и обещаний. Весны как не бывало. Со всех сторон летел холодный ветер, пропитанный запахами недавней зимы.

Потом я вошел в комиссариат, где все еще продолжался ремонт. Арестанты и маляры шастали по коридорам, застеленным старыми газетами — прессой былых времен. Я зашел в комнатку дежурного полицейского. Это был худой, заморенный и нерасторопный молодой человек.

— Простите, комиссар Корсак у себя?

— Кто?

— Комиссар Корсак.

— Корсак? У нас такой не работает.

— Работает, работает. Два дня назад меня арестовали, и я сидел здесь в камере. Там, в глубине коридора, слева. А может, справа.

Обилие деталей в моей информации озадачило юного служителя правопорядка. Он с минуту разглядывал меня, разинув рот, а потом вежливо сказал:

— Подождите, пожалуйста. Я пойду узнаю.

Немного погодя он вернулся — медленно, как сомнамбула.

— Точно, есть такой. Но у него совещание.

— Умоляю, сходите еще раз. Это очень важное дело. Скажите, пришли... ну, насчет убитой девушки.

Полицейский опять уставился на меня с открытым ртом.

Почему я сказал «убитая девушка»? Я тоже приоткрыл рот; так мы довольно долго друг на друга смотрели.

— Вы насчет убитой девушки? — уточнил полицейский.

— Да, это очень срочно.

Он опять ушел и вернулся, сонно волоча ноги.

— Подождите.

Я вышел в коридор. Посмотрел в окно, заляпанное известкой. Ветер расшвыривал по захламленным дворам бумаги, картонные коробки и пожелтевшие высохшие елочки. Неправда, что я помню детство и юность. Они совершенно поблекли, и я едва различаю стершийся рисунок событий. Иногда что-нибудь припомнится явственно — например, упорно возвращающаяся картина: мой дедушка, на закате идущий по саду, но ведь я не знаю, увиденная ли это когда-то и застрявшая в памяти реальность или выдумка, обрывок сна либо видения в бреду. Меня не детство сформировало, а длинный ряд происшествий, случайностей, непредвиденных поворотов судьбы, которые, точно пейзаж за окном мчащегося поезда, исчезали где-то за горизонтом моей жизни. Я подражаю ближним и помогаю себе, ссылаясь на пережитое в молодости, опыт и утраченные пространства минувшего времени.

Из глубины коридора прибежал возбужденный помощник комиссара Корсак.

— Голубчик, у меня нет времени. Совещание по поводу Славянского Собора, — он хотел, широко разведя локти, пригладить желтый мох на висках, но передумал, видно, и на это у него не было времени.

— Я отниму у вас одну минутку.

Он энергично выдвинул нижнюю челюсть, будто намереваясь проглотить назойливую муху.

— Говорите, я слушаю.

— Она жива.

Корсак нервно заморгал.

— Кто?

— Ну, она. Девушка из моей квартиры.

— Как это — жива?

— Она мне сегодня звонила.

— Вы что, рехнулись?

— Нет. Правда. Пришла ко мне, и мы пошли гулять.

— Кто? Вера Карновская?

— Вера Карновская. Та самая.

Корсак посмотрел на меня озабоченно.

— Знаете, придется и вас отправить на психиатрическое обследование.

— Пан комиссар, клянусь.

Он приблизился ко мне и отчеканил:

— У меня есть результаты вскрытия. Она умерла от кровоизлияния, вызванного правосторонней травмой черепа.

— Этого не может быть.

— Может. Я буду вынужден еще раз вас допросить. Попрошу не уезжать из города.

— Но ведь я два часа назад ее видел.

— Примите что-нибудь успокаивающее.

Я стоял перед ним, ошеломленный. Кто-то пробежал у меня за спиной, шурша старыми газетами.

— Я уже сам ничего не понимаю.

— Знаете, приходите на славянский конгресс. Это будет событие европейского, да что я говорю, мирового масштаба. А теперь до свидания, у меня дел невпроворот.

И энергично пошел обратно, потом вдруг остановился, словно что-то припомнив, но только махнул рукой и сказал, глядя в окно:

— А, неважно.

Я вышел на улицу. Постоял у дверей, собираясь с мыслями. К тротуару подкатывали полицейские машины, другие, припаркованные на небольшом пятачке, резко срывались с места, включая голубые мигалки на крыше. Отовсюду сползались тучи, пузатые, черные; где-то вдалеке прогремел гром, а может быть, старый дом обвалился. Пресвятая Богородица, что происходит. Все начинается сызнова. Судьба на меня ополчилась. Это какое-то недоразумение. Но если эта девушка, или молодая женщина, действительно лежит, раскромсанная, в прозекторской... Я же сегодня с ней разговаривал, даже хотел обнять или хотя бы коснуться руки. Может, мне впервые в жизни снится бесконечный сон — никогда раньше я не видел во сне приличного полнометражного фильма. Господи, почему на меня такая напасть. Наверное, надо помолиться, но ведь в этот момент миллиарды людей о чем-то просят Бога. Кто должен исполнять наши желания, которые, будучи исполнены, только нарушат логику природы, предназначения и того автоматизма, который мы называем роком.

Я закашлялся, сердце опять застучало о ребра, горло сдавил панический страх, хотелось куда-то бежать, удирать, но куда бежать и зачем.

Большая капля шлепнула меня по лбу. Я побрел вперед. Спустился по ступенькам в подземный переход. Все стены были исписаны и изрисованы краской из пульверизатора. Стены плача, стены греха, стены бунта.

Я остановился и машинально прочел чей-то стих или афоризм, запечатленный на стене красной акриловой краской: «Поэт идет поэт видит поэт правду скажет поэт по совести осудит — а поэту в жопу х...»[1]

[1] Парафраза известной реплики Поэта из драмы С.Выспянского «Свадьба».

Никто этой надписи не стер. Привыкли. Вульгарность — наше Мертвое море. Хамство — наше Красное море. Омут. Бешеная круговерть недоступных пониманию волн отчаяния. Это уже было. Все уже было. Но неизвестно, что будет.

Я вышел на площадь Трех Крестов. Поперек тротуара лежала опрятно одетая женщина, держа над собой большой плакат: «Спасите Польшу». Неподалеку на стоянке такси водитель бил несговорчивого клиента. Никто не спешил бедолаге на помощь, зато к демонстрирующей даме то и дело подходили прохожие и вступали с ней в дискуссию.

Когда-то меня волновала судьба моего отечества, но со временем и это прискучило. Я внутренне разбит. Вернее, зеркало моего сознания разбилось на мелкие осколки. Вроде бы все отражает, но в виде атомов. И не мурашки бегают по спине, а что-то пересыпается под грудиной, под разбитым лбом — раздробленные мысли, раздробленные предчувствия, раздробленные инстинкты.

Я вернулся домой. Сел на кровать, уже который день не застилавшуюся. Тупо посмотрел на кушетку: зачем я приволок ее обратно в свою комнату. Что делать. Лучше бы всего пойти на почту и отправить себя заказной бандеролью. Но куда. Кому.

За окном клубились темные тучи, сталкиваясь с еще более темными. Где-то над Старым Мястом с глухим гулом прокатился первый гром. Первый гром первой весенней грозы.

Но ведь я ее видел. Шел с ней рядом, касаясь рукой ее сумочки, сидел на скамейке, так близко, что не только чувствовал запах восточных духов, но и ощущал легкое тепло ее тела. Что делать.

Раздался звонок. Я машинально поднял трубку и услышал длинный гудок. Звонили в дверь. Первым моим желанием было спрятаться под кровать. Но толку-то что. Хуже на этом свете мне уже не будет.

Я открыл дверь. Передо мной стоял Тони Мицкевич с зонтом в руке. Пожалуй, он все-таки больше похож на поэта, чем на далай-ламу. Аккуратно закрыл зонтик.

— Я пришел с утешительницей. Можно?

— Можно.

В комнате он вытащил из кармана бутылку виски какой-то незнакомой и, видимо, очень дорогой марки.

— Выпьем по маленькой, как в старые времена.

— Какие времена?

— Так говорится. Доставай стаканы.

Я подошел к окну. Со стороны Дворца культуры летел сильный дождь, разбиваясь об асфальт сотнями сверкающих брызг. Под моим балконом мок бесконечно длинный лимузин. Значит, это не сон. Тони настоящий, и миллионы его настоящие.

— Все усложняется. Нет у меня больше сил терпеть.

— Что усложняется?

— А, долго рассказывать.

— Тогда тащи стаканы.

Я подошел к буфету, сильно потрепанному жизнью. После отъезда жены я его ни разу не открывал. Дверцу заклинило, но я кое-как справился. Внутри стояло несколько бутылок с остатками спиртного, валялись старые поздравительные открытки. Я достал два стакана. Поставил на стол.

— Закусить нечем.

— Не беда, — сказал Тони. — Я об этом подумал.

И вынул из кармана пальто красиво упакованную изящную коробочку, в которой были бутерброды с черной икрой.

За окном сверкнуло. Потом прогремел гром. Мы с минуту смотрели в окно, исхлестанное крупными каплями.

— Это здесь случилось? — спросил Тони, разливая виски.

— Да, здесь, — неуверенно ответил я.

— На этой кровати?

— На кушетке.

Тони оглядел неудачный гибрид канапе с оттоманкой и молча покачал головой.

— Ты меня ни с кем не путаешь? — внезапно спросил я.

Он удивленно на меня посмотрел.

— Лететь за тысячи километров ради какого-то неудачника?

— Нет, это ты. Я тебя до конца дней не забуду.

— Но почему?

— Неважно. Потом скажу.

Мне стало не по себе. Только этого не хватало. Хорошо бы открыть балконную дверь и сигануть головой вниз, на лимузин, выстланный изнутри шкурой бедного тигра или несчастного леопарда. Опять сверкнуло и загремело. Я отпил глоток, поперхнулся и долго кашлял под сочувственным взглядом Мицкевича. Да, в моих родных краях многие носили эту прославленную фамилию.

А он задумчиво глядел в свой стакан.

— Знаешь, я иногда думаю: может, купить у русских эту Воркуту, купить, сровнять с землей и засадить тюльпанами. Кажется, они хорошо переносят холода. Недурная идея, как ты считаешь?

— Тони, столько лет прошло.

— Но я не могу забыть. И чем дальше, тем хуже. Глушу себя работой, миллионами, Америкой — без толку.

— Не было Воркуты. Забудь. За это время выросло несколько поколений. Мы живем среди чужеземцев.

Он начал рыться в набитом кредитными карточками бумажнике. Большая часть из них была золотого цвета. Я уже знал, что это значит.

— На, прочти, — он протянул мне четвертушку бумажного листа.

Я увидел частокол славянских букв и вполголоса прочитал по слогам:

— МВД СССР, Министерство внутренних дел Коми АССР. Управление исправительно-трудовых учреждений, архивный отдел, 14 января 1992 года, город Воркута. Справка. Выдана гр-ну Мицкевичу Антону Михайловичу, по национальности поляк, уроженец гор. Троки, Литва, осужденному особым совещанием при МВД СССР 25 июля 1945 года по ст.58-Ia, 58-II УК РСФСР на семь лет лишения свободы, в том, что он действительно отбывал срок наказания в местах лишения свободы с 4 декабря 1945 года по 4 декабря 1956 года, откуда освобожден по отбытии срока наказания. Зав. архивом УиД МВД КОМИ АССР И.С.Кулик, архивариус Т.В.Назарова.

Кончил читать, сложил листок и вернул Тони.

— Звучит как строфы из современной Библии, — сказал я.

Мицкевич, напряженно слушавший этот читаный-перечитаный текст, вздохнул, спрятал свою реликвию и поднял стакан.

— Да, за каждой буквой, за каждой запятой кровь и кости.

Где-то над городом гремел гром, иногда сверкала молния, а проливной дождь барабанил по окнам, подоконникам, жестяным крышам и обвисшим маркизам над витринами магазинов.

Я встал, чтобы зажечь свет, но Тони удержал меня движением руки, на которой сверкнули огромные золотые часы.

— Не надо.

Я сел на стул. С минуту мы прислушивались к неистовству первой грозы.

— Зачем ты себя терзаешь? Честное слово, не понимаю.

— И не поймешь. Никто из тех, кто там не побывал, не в состоянии понять.

— Но это прошлое погребено под благополучием, успехом, другой сумасшедшей жизнью.

Мицкевич вертел в пальцах стакан.

— Я прочел много воспоминаний об этих лагерях. Собственно, все, что до сих пор опубликовано. Но часто меня раздражает назойливое морализаторство авторов. Чем меньше человек пробыл в лагере, тем с большей легкостью осуждает ближних. А я уже никого никогда не буду судить.

Он на минуту умолк.

— Но почему ты именно ко мне с этим приехал?

— Погоди. Я несколько лет, да, изрядный кусок времени провел в шахте, и был у меня там приятель, паренек из наших краев. Осенью сорок четвертого этому мальчишке — ему тогда было семнадцать лет — командир, не то капитан, не то ротмистр, приказал привести в исполнение приговор: убрать осведомителя НКВД. Малый пошел, агента застрелил, но его схватили. Под пытками он выдал своего командира. А теперь, много лет спустя, я читаю исторические труды, в которых этот командир прославляется как герой и мученик, а мой лагерный друг, в то время почти ребенок, остался в истории страны как предатель, ренегат, символ позора. Ну и что получается? Человека, который легкомысленно отправил пацана на ужасное задание, возводят в ранг святых, а жертву его беспечности раз и навсегда сталкивают в наше национальное пекло. Нет, с этим я не могу согласиться.

Я смотрел на кушетку и видел, что она стоит криво. В изголовье лежал заблудившийся отблеск продравшегося через грозовые тучи солнца, а может, уличного фонаря.

— Строка в истории — случайность. И развенчание истории тоже. Так уж сложилась жизнь у этого ротмистра и у этого парня. И ничего ты тут не изменишь.

— Но я постоянно об этом думаю. И о разных других случаях, и обо всей нашей лагерной Голгофе.

Он полез в карман за сигаретами. Прикурил от зажигалки, кажется, тоже золотой, украшенной какими-то камушками.

— А помнишь, кто меня выдал?

Я встал, чтобы повернуть выключатель.

— Кто тебя выдал? Не знаю. Откуда мне знать?

Комнату залил яркий свет.

— Ты, — сказал он, сощурившись. — Ты меня выдал.

Остолбенев, я застыл посреди комнаты.

— Я? — выдавил с трудом.

— Да. Ты. Погаси свет.

Я послушно погасил.

— Тони, с тобой творится что-то неладное. Ты в этом безумном мире рехнулся. Ведь мы знакомы с партизанских времен. Вспомни, кажется, это было на Пасху сорок пятого. Мы сидели в какой-то усадьбе на краю Рудницкой пущи. Светало, мы чистили оружие, и мне пришла в голову дурацкая идея поиграть в русскую рулетку. Я повернул барабан нагана, барабан с одним патроном, и нажал курок. На мою беду, револьвер выстрелил, пуля пробила тебе ладонь, когда ты поднял руку, чтобы перекреститься или пригладить волосы. Помнишь, мы целый день убегали, петляли в пуще, потому что вокруг полно было карательных батальонов, и я все время тебя тащил, хотя другие сменялись каждые полкилометра.

Мицкевич криво усмехнулся.

— Да ведь я никогда не крестился, я же караим, то есть был караимом. Ты меня выдал в городе. Из-за своего длинного языка. Протрепался кому-то, что я прячу оружие, кстати, советский наган.

— Тони, я, кажется, тоже начинаю сходить с ума. Меня же не было в городе. Мы вместе ушли к партизанам. Покажи правую руку.

Он затянулся сигаретой и спрятал руку под стол.

— Зачем тебе моя рука? Я приехал не для того, чтобы сводить с тобой счеты. Или с кем-нибудь еще.

Я выскочил из-за стола. Стекла звенели от очередного удара грома, не спеша удалявшегося в сторону Праги.

— Дай руку, — я схватил Мицкевича за плечо, а он со все той же кривой усмешкой отвел руку назад.

Тогда я зажег свет и с силой рванул вяло сопротивляющуюся руку.

— Гляди, Тони, вот он, шрам. Прямо посередине. Пуля прошла навылет.

А он беззлобно рассмеялся.

— Это дрель прошла навылет. В автомастерской, в начале моей американской карьеры.

Обескураженный, я вернулся на свою развороченную постель. Сел, обхватив руками тяжелую, как цементная глыба, голову. Опять где-то ударил гром, электрический свет на мгновенье померк.

— Тони, ведь, если постараться, можно найти свидетелей. Одна из наших связных живет в Гданьске...

— Не надо усложнять нашу общую судьбу. Ты начитался партизанских книжек, у вас они были в моде. Выдал меня, и точка.

Подошел, похоже, с намерением дружески меня обнять, но только потрепал по плечу

— Я же знаю, ты не нарочно. И не будем больше к этому возвращаться.

— Ты специально прилетел на собственном самолете, чтобы мне это сказать, напомнить, пристыдить.

— Нет, я прилетел с другой целью. Но ты, единственный на свете, — свидетель моей молодости. Нам с тобой снятся одни и те же сны.

— Тони, мне вообще никакие сны не снятся. Я мало что помню, но не забыл, что прострелил руку товарищу, которого мы потом спрятали в лесной сторожке.

— Ну хорошо. Мне пора. У меня назначена встреча.

— Почему ты внес за меня залог?

Он молча направился к двери.

— Не знаю, встретимся ли мы еще когда-нибудь.

Он обернулся и торжественно произнес:

— Я тебя прощаю.

Я кинулся за ним вдогонку, но он уже был на лестнице. Я подбежал к окну. Тучи медленно расступались. За Дворцом темнота треснула, и на небо выплеснулась пригоршня красного закатного зарева.

Лишь бы кое-как собрать мысли. Лишь бы унять эту дрожь во мне, около меня, надо мной. Я человек доверчивый. Принадлежу к разряду людей, которым можно внушить все что угодно. Какая-то вина лежит на мне, на моих близких, на всем Ноевом ковчеге. Кто-то внес это ощущение греха в наш генетический код.

Из неестественно длинного лимузина выскочил шофер и раскрыл огромный черный зонт. Но нужды в этом не было. Мицкевич вышел из подворотни под собственным зонтом, наверно, с золотой или платиновой ручкой.

Они сели и уехали, оставив за собой хвост пара или дыма. Где-то в соседнем подъезде начали долбить очередную стену. Жизнь шла вперед. Но не моя. Мою кто-то остановил, как стрелку часов. Часов с кукушкой или с курантами, исполняющими полонез «Прощание с родиной».

***

Слава тебе, неведомый, непостижимый, неразгаданный.

След моего существования, как письмо в бутылке, пляшущей на морских волнах, совершает свой неуверенный полет в банальном межзвездном пространстве вместе с консервными банками, ржавыми обломками старых забытых ракет, окаменевшими отходами давно скончавшихся астронавтов.

Я родом с маленькой провинциальной планеты, которая за год описывает небольшой круг возле своего неказистого солнца. Я плод некоего физического феномена, который мы назвали жизнью, чем и ограничились, поскольку явление это нам до сих пор непонятно. Наша планета окутана — неизвестно кем — плащом воды и земли. А мы, то есть молекулы жизни, вышли из этой воды или из воды и земли, то есть из праха, и живем среди себе подобных в гуще жизни, а.вернее, в ее швах, закоулках, надежных укрывищах в долинах рек или между высоких скал.

Топливо, энергия, привод, который заставляет нас двигаться, потораплививает, гонит куда-то вслепую, — страх смерти, или уничтожения в вечном процессе превращения энергии.

Возможно, чтобы облегчить невыносимое из-за своей непонятности существование, мы придумали некий способ, позволяющий глушить постоянное беспокойство, подавлять судорожные приступы страха, и, придумав, назвали его любовью. Украсили этим венком, сплетенным из самого прекрасного, что есть в наших мыслях, чувствах и намерениях, заурядный, пошловатый и даже немного унизительный инстинкт продолжения рода, или, если угодно, установленную тобой, либо кем-то из твоего окружения, возможно, без твоего согласия обязанность поддерживать эксперимент, прихоть или насущную необходимость, цели которой мы, быть может, никогда не узнаем.

Нарушив тем самым твои или твоих экспертов заветы и нормы, мы соорудили для себя лично невидимый шатер, в котором на свой страх и риск и, возможно, вопреки законам сохранения материи зачали новую, нашу собственную вселенную, нашу, пока еще невеликую бесконечность.

***

Я бежал по уже обезлюдевшим улицам в сторону Старого Мяста. Варшава рано ложится спать. Нет, Варшава рано начинает скрывать свою бессонницу. На западе под навесом черных туч розовела полоска чистого неба. Моросил последний, оставшийся от грозы, реденький дождик. Я слизывал с губ влагу, постную, как слезы.

Я нашел эту улочку. Неподалеку что-то гудело и постукивало, как будто за углом была фабрика. Я заглянул на рыночную площадь. Там еще толпилась кучка зевак, глазея на выступления учредителей какого-то фонда, основанного очередной свежеиспеченной партией. Под полотняным балдахином корячился молодежный ансамбль, но слышны были одни ударные. Я увидел свисающий с балдахина транспарант. Расплывшиеся буквы складывались в надпись «Славянский Собор».

Какой-то пенсионер с собакой на поводке — пенсионеров теперь расплодилось без счету, — итак, какой-то пенсионер сказал мне с доверительной улыбкой:

— Столько новых партий — названий уже не хватает.

Мужчина в расшитой цветными нитками косоворотке то ли разыгрывал скетч, то ли произносил шутливую речь. Подъехала полицейская машина и остановилась посреди площади. Знакомая с виду наркоманка ходила среди зевак, выпрашивая подаяние на порцию «компота».

Я запомнил этот дом со слегка покачивающейся на ветру, или на сквозняке, латунной вывеской. Повернул дверную ручку и вошел в длинный тесный подъезд. Узкая лестница с деревянными перилами вела куда-то на чердак. На всех этажах были солидные двери черного дерева, снабженные медными табличками с фамилиями владельцев. Она не могла жить за такой дверью. С бьющимся сердцем я поднимался все выше, пока не оказался на последней площадке, в более поздней надстройке, где увидел приступку из светлого дерева и дверь из светлого дерева, анонимную, не отмеченную никаким отличительным знаком. На ней была только медная колотушка в виде маскарона, держащего в пасти кольцо. Я постучал этой колотушкой, заглушая разносящийся между крышами

домов монотонный барабанный бой.

Долго никто не открывал, тишину за дверью не нарушили ни шаги, ни перешептывания, ни шорохи. А у меня сердце уже подкатывало к горлу, мешая дышать. Закрыв глаза, я растерянно прислушивался к стуку барабана и своего сердца.

И вдруг дверь бесшумно отворилась. На фоне слабо освещенного прямоугольника стояла она, одетая так же, как на прогулке, только без шляпки и сумочки.

— Простите. Ради Бога, простите, что так поздно. Но это очень важно.

Она смотрела на меня без удивления, но и не слишком приветливо. Словно я вызвал ее, неподготовленную, из другого измерения или из другого мира.

— Я могу войти?

Она посторонилась.

— Прошу.

Я увидел вереницу сумрачных чердачных помещений, какие-то косые стены и наклонные потолки, опирающиеся на столбы из потемневшего натурального дерева. Кое-где висели коврики, сшитые из поблескивающих и матовых лоскутов, коврики с примитивными пейзажами и женскими портретами.

— Кто вы? — пересохшими губами спросил я.

Она медленно пятилась от меня.

— Что случилось?

— Кто вы? Мне необходимо это знать.

Она мягко улыбнулась.

— И ради этого тащились через весь город? Да вы насквозь промокли. Воспаление легких обеспечено.

Я задыхался, но старался говорить спокойно.

— Я попал в тупик. Не могу понять, что происходит. Полиция выпустила меня под залог, внесенный американцем, другом детства.

— Знаю, — сказала она. — Теперь везде кавардак.

— Ваша фамилия Карновская?

— Да. Это моя фамилия. Девичья, я ее снова взяла после развода.

— После развода? — спросил я самого себя. — Откуда-то она мне знакома. Но я ничего не понимаю.

— Садитесь, — она указала на деревянный табурет. — Я принесу вам чаю. Сразу придете в себя.

И растворилась во мраке анфилады комнат, коридоров или чуланов переоборудованного под мастерскую чердака. В том месте, где я стоял, было нечто вроде алькова. Большую часть ниши занимала огромная, как подмостки, низкая тахта. На темных стенах выделялись прямоугольники фотографий, нитка настоящих коралловых бус, грязная палитра, засохшая роза и обыкновенный настенный календарь. Я машинально опустился на край тахты, точно мусульманский паломник в сельской мечети где-то у восточной границы. За приоткрытым окном гудел город; казалось, кто-то играет на самых низких регистрах старого органа.

Она принесла стакан очень горячего чаю.

— Пейте.

Я смотрел на ее костюмчик. Что она делала после того, как мы расстались, где была и откуда теперь возвращается, такая же, как в сквери, полном голых деревьев и ласкового солнца. Она появилась у меня на пути в самый неподходящий момент. Сейчас, в этом полумраке, она похожа на икону. Ассоциация банальная, знаю, но что поделаешь. И, будто на иконе, особенно выделяются глаза, потемневшие от ночи, но с какими-то промельками света, заставляющими ускоренно биться мое сердце.

Она внезапно наклонилась ко мне и сказала:

— Все будет хорошо. Полюбите жизнь.

— Я к жизни отношусь неплохо. Но бывают безвыходные ситуации.

— Неправда. Всегда хоть один выход, да есть.

Я смотрел ей в глаза, и мне казалось, что я вижу в них, в этих голубых коралловых рифах, все больше сочувственного света.

Невольно я взял ее за руку, она хотела ее отдернуть, но, секунду подумав, оставила в моей.

— Расскажите, что случилось на самом деле. Ведь вы были у меня позавчера или два дня назад, две ночи назад, — смутившись, я чуть было не выпустил ее руку, но мне показалось, что она легонько придержала мои пальцы. На башне Королевского замка били часы. Я не стал считать удары, хотя суеверен и не отрицаю магии чисел. Предрассудки вносят в нашу жизнь разнообразие.

Она на мгновенье заколебалась.

— Ах, я выпила лишку. Со мной такое бывает: иногда я ополчаюсь на всех и вся.

— Я на подозрении у полиции. Мне запрещено уезжать из города. Сам уже не знаю, что об этом думать.

— Ах, полиция, — улыбнулась она одними глазами. — В полиции неразбериха, как повсюду. Вся наша жизнь меняется.

— Почему вы не хотите мне помочь?

— Вы что, ничего не понимаете?

— Ничего не понимаю.

— Такой недогадливый?

И опустила глаза. У нее матовая кожа со следами вечного загара, подумал я. Ее красота меня угнетает. Я держал ее руку в своей и чувствовал всю беспредельность жизни в этой ладони, похожей на согретую солнцем раковину.

Она подняла ресницы. Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Странный получился поединок. Хотя он продолжался бесконечно долго, веки ее не дрогнули, и я ни разу не моргнул.

Видел перед собой бездонные, как фиолетовые кратеры, зрачки, и они росли, постепенно заслоняя все на этом сумрачном чердаке, а во мне росла отчаянная решимость, моя рука задрожала, и она это почувствовала, ее пальцы в моих шевельнулись, у меня застучало в висках, это было какое-то незнакомое прежде наваждение. И вдруг я резко притянул ее к себе, она упала возле меня на тахту, я стал целовать ее волосы, лоб, губы, она замерла, напрягшись, но, почудилось, все же ответила на мой поцелуй, когда я припал к тому месту под ухом или около уха, на которое смотрел утром, а она коснулась губами моего виска, будто хотела что-то сказать, я добрался до шеи и впадинки над ключицей, везде — под кожей, в слабеньких мышцах, даже в темных волосах — таилась жизнь, трепетная, как мотылек, и я почувствовал в себе и вокруг себя экзотический запах ее духов, который был совершенно мне незнаком, но который я до конца дней не забуду, и, под аккомпанемент страшного шума, гула мощного водопада в голове, принялся вслепую расстегивать, раздирать ее блузку, пока в последнем проблеске угасающего сознания не сообразил, что вначале надо справиться с жакетиком, так я катал ее по тахте, точно большую куклу или манекен, срывая одежду, а она подчинялась безумному натиску, но ничем мне не помогала, закрыла глаза и прислушивалась к моему неистовству, или к своим воспоминаниям, или к предчувствиям, и вот уже никакой одежды на ней не осталось, я соскочил на пол, стараясь не смотреть на ее наготу, лихорадочно сбросил с себя все, что на мне было, и неуклюже на нее навалился, а в голове у меня среди этого гула и шума пролетали обрывки мыслей, крупицы стыда, страха, отчаяния, и все равно, пускай это случится, пускай произойдет, я заплачу любую цену, хоть бы пришлось искупать свой грех в чистилище или в аду, и мы соединились, и я уже ничего больше не слышал, не видел, не помнил, и пронзительное наслаждение заполнило мою вселенную.

Потом я осторожно открыл один глаз, стыдливо сдерживая громкое прерывистое дыхание. Она лежала, склонив голову набок, веки ее

были полуопущены, рот приоткрыт, и я увидел кончики зубов. Хотел сказать: «Прости», но и просить прощения постеснялся. Мне вдруг показалось, что я совершил насилие, нарушил какое-то табу, сделал что-то ужасное. Внезапно меня затрясло, затрясло от стыда, и я что-то пробормотал или хмыкнул, чтобы ее разбудить, но она оставалась в странном летаргическом оцепенении. Тогда я поцеловал матовую щеку, а она, не открывая глаз, улыбнулась, словно сквозь сон.

Я хотел хоть что-нибудь сказать, чтобы почувствовать себя увереннее, но она меня опередила.

— Ничего не говори, — шепнула.

Я положил голову ей на плечо. Опять пробили башенные часы. В доме напротив ритмично долбили ломом неподатливую стену. Старе Място тоже преображается, сбрасывая старую шкуру.

Потом я приподнялся, оперся на локоть. Она по-прежнему лежала не шевелясь. И я безнаказанно смотрел на ее тело с широко разбросанными ногами, на поразительно округлую грудь, впадину живота и пучок черной травы в том месте, где сходились беспомощно раздвинутые, словно отделившиеся от нее ноги. Она непостижимо прекрасна, подумал я. Таких женщин нет на свете. Когда я вылущивал ее из одежды и сквозь внезапно застлавший глаза туман увидел обнаженные руки, плечи, грудь, она в своей наготе показалась мне больше, крупнее, чем на самом деле. Но сейчас возле меня лежала девочка, хотя красота ее была красотой зрелой женщины.

Она спит. Отгородилась сном. А сон — согласие и разрешение. Поэтому я повернул ее, забывшуюся, к себе и, уже без надрыва, смакуя каждую кроху наслаждения, вошел в нее, и мы отправились в далекое путешествие к последнему, на грани боли, рубежу, и мне показалось, если в этом безумии могло что-либо казаться, будто она шепчет что-то мне или самой себе, шевеля своим дыханием мои волосы, зазывая меня в какую-то бездну.

Потом мы снова лежали рядом. Я закашлялся, она открыла глаза, посмотрела на меня сонно, опустила руку за тахту, я услышал щелчок выключателя, и свет погас.

— Зажги. Ты меня стесняешься? — шепнул я.

Она молча зажгла лампу. А я опять приподнялся и разглядывал ее от корней волос до маленьких ступней с розовыми пальцами. Да, это было то самое тело, которое я позавчера волок, как неживое, на свою кушетку. Или очень похожее. Теперь в нем трепетала жизнь.

— Скажешь правду? — прошептал я ей в ухо.

Она чуть заметно улыбнулась и в знак согласия опустила ресницы.

— Кто это был?

Она молчала.

— Твоя сестра?

Она плотнее сомкнула веки.

— Это она мне назло.

— Что?

— На именинах. Ах, это длинная история.

— Расскажи мне все.

Она долго молчала.

— Я тебя однажды увидела. Ты стоял на площади Де Голля, глазел на то, что делается вокруг. Но самое интересное, что каждое мельчайшее происшествие отражалось у тебя на лице. Я остановилась неподалеку и незаметно за тобой наблюдала: вся жизнь на небольшом перекрестке небольшого города повторялась в мимике твоего лица. В конце концов ты улыбнулся, принимая пассивное участие в какой-то уличной сценке, и я запомнила эту улыбку.

Она повернулась ко мне и поцеловала в щеку.

— Отец эмигрировал сразу после событий шестьдесят восьмого года или немного позже, мать не захотела уезжать, мы остались с матерью.

Так бывает. Мы с Верой терпеть не могли друг друга. Последнее время она живет, то есть жила, отдельно.

— Вы близнецы?

— Почему близнецы?

— Потому что близнецы или неестественно обожают друг друга, или патологически ненавидят.

— Ох, не допрашивай меня, не мучай. Я тебя ревную. За ту ночь.

— Ничего не было. Она напилась, вот и все.

— А почему ты ее убил?

Я остолбенел.

— И ты думаешь, я мог это сделать?

Она повернула голову в сторону беспредельной тьмы мастерской-лабиринта.

— Знаешь, я в детстве была лунатичкой. Просыпалась в другой комнате, например, за креслом. Не знаю, что со мной творилось ночами. Куда я шла, что по дороге делáла, как и почему оказывалась в новом месте.

— Зачем ты мне это говоришь?

Я опять увидел прямо перед собой, очень близко ее глаза, как будто слегка поблекшие от усталости. Она улыбнулась потрясающе красивой улыбкой. Наверно, мне это снится, подумал я. Сон — лучшее объяснение тому, во что трудно поверить.

— Чтобы тебя успокоить. Чтобы снять твое постоянное напряжение. Как ты можешь так жить?

— Да, я все время в напряжении, хотя чаще всего без причины.

Я смотрел на ее грудь, и это доставляло мне почти болезненное наслаждение. Она проследила за моим взглядом.

— Почему у тебя такая идеально округлая грудь?

— А это хорошо или плохо?

— Во всяком случае, поразительно. Ты хоть знаешь, какая ты красивая?

Она внезапно рассмеялась, притянула мое лицо и поцеловала в губы.

— Спасибо, — сказала.

— Ты ведешь себя как американка.

— А откуда ты знаешь, как себя ведут американки?

— Догадываюсь.

Она помолчала, глядя в потолок, скрытый ночью.

— Я несколько лет прожила в Америке. У отца.

— Слушай, я могу тебе верить?

— Если хочешь, можешь.

Вдруг загремели выстрелы, кто-то кричал в той стороне, где была река.

— Тогда, по крайней мере, скажи, как тебя зовут.

— Разве без этого нельзя обойтись? Пусть будет как есть.

— Может, ты стесняешься своего имени?

— Возможно.

— Придумаем тебе новое.

— Зачем. Меня зовут Люба.

— Люба? Странное имя. Уменьшительное?

— Нет. Полное. Это отец придумал.

— А что делал твой отец?

— Ох, он был юрист. Тебе обязательно нужно меня мучить? Ты ужасно подозрительный.

— Да, я подозрительный. И одновременно наивный. Это мои особые приметы.

— Я тебя знаю тысячу лет. Однажды даже тебе подмигнула, но ты не заметил, потому что разговаривал сам с собой. И это мне тоже понравилось.

Я вдруг подумал, что все не так уж плохо. Провел ладонью по ее гру-

ди, а она, с рассыпавшимися вокруг лица волосами, похожая на самую обыкновенную икону, нет, не обыкновенную, а такую, какой еще никто не написал, улыбнулась, и мне внезапно захотелось крикнуть, крикнуть так, чтобы услышали на другом берегу Вислы.

И я опять стал ее ласкать, а она говорила: «Ну ладно, ладно, ты уже себя показал», — и так мы заснули, ничем не укрытые, прижавшиеся друг к другу, как муж и жена.

Разбудили меня голоса толпы — опять какое-то сборище или демонстрация. Я с удивлением смотрел на незнакомые черные стены и редкий лес деревянных балок, нестройными рядами убегающих в темноту, сквозь которую робко пробивался рассвет. Затем увидел над собой окно, а за ним стайку голубей, воркующих около водосточной трубы. Одни что-то искали в жестяном желобе, другие чистили перья или сцеплялись клювами, то ли ссорясь, то ли милуясь.

Я опустил глаза и увидел — но не рядом с собой, а чуть поодаль — спящую Любу. Сверху лежало какое-то покрывало или пестрое лоскутное одеяло. Она вставала ночью, чтобы нас укрыть, подумал я. Как она красиво спит.

Я ждал затаив дыхание, что она застонет во сне или шмыгнет носом и от этого станет чуточку более простой и обыденной. Но она спала, как птица, то есть так, как по нашим представлениям должны спать птицы. Розовая серость, а точнее — легкая розовая тень, лежала на ее щеках, длиннющие ресницы не шевелились, губы были слегка приоткрыты, будто у этой молодой, хотя на самом деле не такой уж и молодой, женщины застряла под языком конфетка. Я смотрел на нее с неким подобием гордости, но и со страхом. Чересчур красива она была, чересчур необычайна для меня, для моей судьбы и дикой ситуации, в которую я попал.

Я коснулся ее волос и снова испытал потрясение. Они были и холодные, как весенние травы, и теплые, как осенние колосья, тонкие и жесткие, живые и неживые, вызывающие необъяснимую тревогу, странные перебои сердца, безудержное желание завладеть этой девушкой, этой женщиной навсегда.

Она открыла один глаз. В нем немедленно отразился восход солнца, да, полностью восход солнца, хотя это и кажется невозможным. Я увидел весь ежедневный ритуал пробуждения дня в ее еще спящем зрачке.

— Что случилось? — шепотом спросила она.

— Ничего. Я проснулся и на тебя смотрю.

— Ох, не люблю, чтобы на меня смотрели, когда я сплю.

— Да ведь ты спишь так красиво, как никто на свете.

Она улыбнулась и прикрыла ресницами глаза.

— Лежи, — шепнула. — Еще есть время.

— Не могу. Я думаю о твоей сестре.

— О какой сестре?

— О Вере. Ты сама мне вчера рассказывала.

— Рассказывала. Ах, да. Успокойся, спи.

— Не могу успокоиться.

Я долго ждал, но она молчала.

— Не хочешь о ней говорить?

Она ответила не сразу.

— Ох, это очень сложно. Она носила в себе смерть.

— А твоя мать?

Она поправила на себе одеяло.

— Матери нет в живых.

Я совсем растерялся. Она убегала в сон, пряталась во сне. Чем больше проясняется эта неразбериха, тем меньше я что-либо понимаю. Но она реальная. Вот, лежит рядом и уже от меня уплывает, уже оттолкнулась от берега яви, исчезает в облаках видений и предчувствий, куда мне путь заказан. Может быть, новый день, что приближается из моих ро-

дных краев, может быть, этот день принесет разгадку.

Вздохнув, я лег на спину. Возможно, ради нее стоит пойти в ад, подумал. Но хватит ли у меня сил дойти. Пробили часы на башне Замка. Я не считал ударов, хотя их было немного. Послышалось приглушенное и, кажется, далекое пенье женского хора. Да, где-то здесь тоже есть монастырь. И я вдруг позавидовал всем монахам и монахиням мира.

Надо встать и идти. Куда. Куда глаза глядят. По телу опять пробежала дрожь. Я коснулся рукою лба. Прохладный. Это не температура и не утренний холод. Я педант. Люблю порядок. Но на этом свете порядка нет. Мне много лет внушали, что существуют иерархия, логика и здравый смысл. Но всю жизнь я живу среди хаоса. Хаос мыслей, моральных принципов, чувств. А, какое мне до всего этого дело. И я через силу попытался заставить себя заснуть.

Она неподвижно лежала рядом. Я невольно начал вспоминать ее наготу. От губ до розового пальца ноги. Нет, надо бежать. Но как и зачем, ведь уже поздно.

Очень осторожно я вылез из-под одеяла, нашел свои вещи.

Стал бесшумно одеваться, наблюдая за Любой. Она спала и, наверно, видела сны. Я отыщу дверь и уйду не попрощавшись. Так лучше. А потом будь что будет.

Но все же я задержался посреди этой мастерской, раскинувшейся от края до края света.

— Пока, любимая, — шепнул.

— Ммм, — промычала она из-под одеяла.

С каким-то неприятным осадком в душе я сбежал вниз.

Все-таки она позволила мне уйти. Никаких попыток удержать, никаких сентиментальных прощаний. Просто буркнула: «Ммм», и все.

Возле колонны короля Зигмунта уже собрались первые наркоманы. Одни, нагнувшись к земле, ходили туда-сюда, точно искали грибы, другие, скрючившись, топтались на месте. Я наблюдал за ними, не испытывая сочувствия, но и не осуждая.

Такой они выбрали образ жизни, краткого мига существования неведомо где. Может, и я бы последовал их примеру, если б не вечно терзающее меня любопытство, тревога и бессмысленное ожидание неизвестно чего.

Где-то на полпути к дому я столкнулся с соседом-пенсионером. Он выходил из продовольственного магазинчика, бережно неся полиэтиленовую сумку с продуктами.

— Вы домой? — спросил он почти дружелюбно.

— Да. Домой.

— С поддачи, небось? Ну и здоровье у вас, позавидуешь. Я уже после второй рюмки валюсь под стол. Свое, правда, я в жизни выпил. Не жалуюсь. Можно с вами? Я тоже домой.

— Пожалуйста, — неохотно ответил я. Только теперь я сообразил, что он похож на одного из разбойников с краковского алтаря работы Вита Ствоша. Те же фальшивые кудри на голове, то же фальшивое добродушие.

— Мне бы, вообще, следовало представиться. Бронислав Цыпун. Я-то вас давно знаю. Из личного дела, так сказать, — и протянул мне потную руку.

За Вислой на далекой городьбе старых деревьев уже сидело прозрачное, слабо греющее солнце.

— Ночью были заморозки, — сказал я из вежливости.

— Да, вчера гроза, сегодня заморозки. У меня, знаете ли, теперь много времени для размышлений. И вот, думаю я, в эпоху, как говорится, тоталитаризма и несвободы был порядок и спокойствие, а когда настала демократия и свобода, поглядите, какой бардак. Неужто нельзя выбрать золотую середину? Вы там когда-то что-то замышляли, мы об этом знали, ну и что, довольны теперь?

— Я всегда доволен.

Бронислав Цыпун снисходительно рассмеялся.

— Все осторожничаете. Я на пенсии. Чего меня бояться. И тоже не жалуюсь. Дети устроены, жена занимается общественной работой, а я из этого Дворового Театра Абсурда еще сколочу политическую партию, увидите.

Какое мне до всего этого дело, подумал я. Он шел рядом, поглядывая на свою сумку, и развлекал меня беседой. И то хорошо. Болтовня старого осведомителя, агента или палача отвлекает от тягостных мыслей. Все проходит, как говорили наши предки. Может, я еще увижу его рядом с ксендзом во главе процессии. Зачем мои ближние так себя терзают, тужатся, выбиваются из сил, если все равно ничего не получается.

— Чего нос повесил, сосед? — спросил мой новый приятель Бронислав Цыпун.

— Не всегда же должно быть хорошее настроение.

— Говорят, кто-то внес за вас огромный залог.

— Да. Но уже все выясняется.

— Дай Бог, дай Бог. Когда окончательно разберетесь, милости прошу к нам. Сын обещает устроить поездку в Италию на фестиваль уличных театров.

Он задумался и шел, устремив взгляд в каньон улицы, медленно освещавшийся солнцем.

— Меня всегда интересовали творческие натуры.

Перед домом мы попрощались. С тяжелым сердцем я поднимался по лестнице, которую столько лет не замечал. Она для меня была лишь полосой тени. А теперь я с неприязнью смотрел на облупленные панели, выщербленные края терразитовых ступенек, отвратительно голые водопроводные трубы, бегущие по стенам неизвестно откуда и куда.

В моей комнате царил полумрак. Окна были закрыты шторами. Кто их задернул, я сам или услужливый Тони Мицкевич. А, неважно, как говорит помощник комиссара Корсак.

Я осмелился принять душ. Подозрительно осмотрел ванную.

Пустая, как все последние месяцы. Нет уже следов жены и сына, которых я, вероятно, никогда не увижу. Сын был не мой, жены. Ко мне относился с потаенным, чтобы только я мог заметить, бесстрастным недоверием и, пожалуй, со странной враждебностью. Что поделаешь. Было, прошло.

Я залез в ванну, открыл кран. Вода текла попеременно холодная и горячая. А я, подскакивая то от ледяных струй, то от кипятка, разглядывал закоулки ванной. И, конечно же, мои дурные предчувствия подтвердились. На стеклянной полочке лежала незнакомая помада. Я помылся так быстро, как только мог, и, даже не вытеревшись, схватил помаду. Покрутил, из футляра вылез столбик цвета вереска. Чья помада — той или этой. Я попытался вспомнить цвет губ Веры и Любы. Не помнил. Наверно, у обеих одинаковый.

Я вошел в комнату, раздумывая над этим странным именем Люба. Какое-то оно раскоряченное, бесстыдное и неприятно звучащее. Открыл дверь на балкон, выбросил помаду. Где-то внизу громко звякнула жесть. Прикрывая наготу, я с любопытством выглянул на улицу и увидел стоящий под балконом лимузин Мицкевича и шофера, который, задрав голову, высматривал хулигана.

Мне стало не по себе. Быстро вернувшись в комнату, я начал торопливо одеваться. Все складывается ужасно. Угораздило же этого Мицкевича явиться с залогом и кошмарным напоминанием о последних днях войны именно тогда, когда со мной стряслась беда и жизнь нагло свернула с предсказанного гороскопом пути.

Конечно, через минуту у двери раздался звонок. Я пошел в переднюю, как на эшафот. Открыл; передо мной стоял шофер с лицом военачальника Костюшко.

— Добрый день, — сказал он с американским акцентом. — Господин Мицкевич приглашает вас на завтрак.

— На завтрак? — я лихорадочно придумывал предлог, чтобы отказаться. — Как некстати. У меня несколько неотложных дел.

— Господин Мицкевич настаивает. Это очень важно.

Шофер говорил требовательно, тоном, не терпящим возражений. Я неуверенно топтался на месте. Сколько у меня было пустых месяцев и лет. А теперь навалилось все разом.

— Хорошо. Сейчас спущусь.

Я зачем-то обошел комнату. На столе все еще лежал таинственный бумажник президента. Кушетка при свете дня, а вернее, в утреннем полумраке, выглядела невинно. Что ж, надо ехать. Черт бы побрал этого караима вместе с его самолетом, старомодным водителем и бестселлером о способах испражнения. Кажется, я начинаю его бояться и ненавидеть. Вздохнув, я вышел на лестницу.

Потом, в машине, уже немного придя в себя, я еще раз оглядел нутро лимузина, пощипал леопардовую или тигровую шкуру и в конце концов сказал в микрофон:

— Вам, наверно, трудно ездить по городу?

Шофер сдержанно рассмеялся.

— Это разве город. Две улицы: Маршалковская да Иерусалимские Аллеи, остальное переулочки.

Я хотел познакомить его с трагической историей Варшавы, но в этот момент за темным стеклом мелькнула макушка Дворца культуры с оплетенным лесами шпилем. И Дворец затронули демократические перемены, подумал я. Может, благодаря этому он избежит печальной участи, и безжалостные заграничные бизнесмены не превратят его в одноэтажный склад кока-колы, или наши строители не разберут на кирпичи, или какой-нибудь фанатик не взорвет из идейных соображений.

Лимузин остановился перед гостиницей, шофер открыл дверцу и ввел меня в громадный вестибюль, встретивший нас золотистым светом электрических лампочек, бликами на никелированных поверхностях и спокойной изысканной матовостью мрамора.

Мы на лифте поднялись на какой-то этаж. В шикарном номере меня ждал Мицкевич в дорогом шлафроке с пестрым фуляровым платком на шее. Если б не что-то азиатское в лице, он походил бы на своего однофамильца на горе Аю-Даг[1].

— Прости, прости, что я тебя потревожил, — раскрыл объятия Тони.

— Мои дела еще больше запутываются, — мрачно сказал я.

— Не горюй. Пробьемся, — и усадил меня в кожаное кресло, которое застонало, точно с него сдирали шкуру.

Бесшумно явился официант, толкая перед собой серебристый столик на колесиках.

— Выпьем чего-нибудь покрепче? — спросил Тони.

— Я водки больше в рот не возьму.

Тони суетился, помогая официанту расставлять тарелки и блюда с закусками.

— Помнишь наши званые завтраки?

— Ничего я не помню.

Но он будто не замечал моего дурного настроения. Что ему еще нужно, думал я, чего не хватает. Вчера был составителем мартиролога, сегодня — отлично выспавшийся финансист, усаживающийся за обильный завтрак. Решил, что ли, поразить мое воображение. Зря старается. Дохлое дело.

— Ты на меня обиделся? — спросил он, когда мы склонились над чашками. В соседней комнате что-то мерно постукивало. Наверное, там работал факс. Но зачем мне факс, телетайп и прочие штучки.

[1] Речь идет о картине польского художника В.Ваньковича «Портрет Адама Мицкевича на горе Аю-Даг».

— С чего мне обижаться? Думаю, ты меня с кем-то путаешь. Нас ведь было сорок человек в классе.

— Нет. То, что было давно, острей помнится.

Пока мы с ним по-приятельски препирались над столиком, за которым можно было накормить весь наш дом, пока я поддерживал беседу, перемогая мерзкое ощущение и противный сосущий страх под ложечкой, на меня то и дело находило какое-то затмение, и я видел сумрак своей или той, другой, комнаты и стройное девичье, женское, тело, поразительно совершенный образ девичьей, женской, красоты.

— Я хочу кое-что тебе предложить, слышишь? — говорил Тони.

— Знаешь, ты меня ставишь в сложное положение. Сам же вчера обвинил в страшном грехе. Для многих этого было бы достаточно, чтобы покончить с собой.

— Не преувеличивай. Просто я рассказывал о своем отношении к прошлому.

— Тони, ради Бога, напрягись, вспомни ту Пасху сорок пятого. Мы дневали в нищей хате одна комната, без фундамента — и ели картошку, заправленную жареными зернами льна или чем-то в этом роде. Накануне встретили в пуще литовских партизан, и я ходил к ним на переговоры. Неужели, правда, не помнишь? А как мы убегали от советских? Ты беспрерывно стонал, хотя рана была неопасная. Я же тебя почти всю дорогу нес.

Мицкевич неприятно усмехнулся, нарезая на кусочки жареный бекон.

— Я был в другом отряде, под Новогрудком. И там нас разбили каратели. Потом я спрятался у тетки, где меня и взяли — с оружием, с русским, кстати, наганом. Может, оттого и дали одиннадцать лет лагерей.

— Тони, о чем мы говорим? Посмотри, за окном пролетел реактивный самолет, мы завтракаем в отеле двадцать первого века. Рядом факс выстукивает тебе последнее фото жены, которая только что вернулась из панорамного кинотеатра и укладывается спать. Если, конечно, у тебя есть жена. Того, нашего, мира уже нет, и никто о нем знать ничего не хочет.

Мицкевич допил кофе, поискал сигарету. Небось по доллару за штучку, с какой-то мстительной злобой подумал я.

— Вот к тому-то я и клоню, — сказал он. — Может, это смешно, но меня уже ничто не забавляет. И единственное, что не дает спать, — наше прошлое, которое никого не волнует. Я делал деньги в этой безумной Америке, а сам постоянно думал о тебе, о товарищах по Воркуте и о своей тетке, которую из-за меня посадили. А мои воркутинские друзья были не шваль какая-нибудь. Я спал на нарах бок о бок с личным врачом Гитлера, надо мной жил один из крупнейших советских атомщиков. Этот делил ложе с испанским поэтом, а неподалеку обретался канадский летчик, капитан, убежденный коммунист, который удрал в Москву на реактивном истребителе новейшей модели.

Тони задумался, а потом сказал:

— Вот так.

Где-то едва слышно звучала музыка, быть может, просачивалась с небес. Факс в соседней комнате внезапно угомонился. Тони начал озабоченно искать что-то возле себя.

— Мне пришло в голову, — бормотал он, — знаешь, я решил: надо после себя что-нибудь оставить. Какой-нибудь след на этом божьем перелоге. Помнишь, что такое перелог? Помнишь перелог за городом, где мы в детстве играли в чеканку и устраивали кулачные бои? Вот я и подумал, не основать ли здесь, в нашей стране, партию прощения. Так пускай и называется. Столько ненависти вокруг. В особенности тут. В особенности среди нас.

А у меня перед глазами маячила Вера или Люба. Я хотел поймать и удержать образ этой молодой женщины, но он исчезал прежде, чем я успевал наглядеться.

— Что скажешь, друг, свидетель из того мира?

Я очнулся.

— Пойми, Тони, я не могу собраться с мыслями. Меня все это придавило, прибило.

— Я тебя не тороплю. Приходи в себя. В случае чего я тебя выкуплю, надаю всем взяток, — смеялся Тони. — Ты, насколько помню, собирался стать ксендзом, а тут эротическая трагикомедия в американском стиле.

— Вот именно. Я уже сам не знаю, плакать или смеяться.

— Ты мне поможешь, правда?

— Посмотрим, Тони.

В соседней комнате опять застучал факс или телетайп.

— Видишь, только бизнес бессмертен.

***

Перед домом, разумеется, стоял Бронислав Цыпун. Рассматривал в бинокль Дворец. Увидев меня, оторвал бинокль от глаз и закричал возмущенно:

— Не могу больше. Это уж чересчур.

— Что случилось?

— На тридцать третьем этаже смотровая площадка. Молодежь до того распустилась — трахается там. А сегодня гляжу и глазам не верю: пожилой человек с бородой шворит калеку. Ну уж извините, я все понимаю, демократия, да, пожалуйста, но чтоб на Дворце культуры...

Мой сосед Цыпун трясся от негодования, дрожащими руками теребя ремешок советского бинокля.

— Почему они именно Дворец облюбовали?

— Откуда я знаю, — кипел сосед. — Небось заодно любуются панорамой столицы. Все, я больше об этом не говорю. Пусть делают что хотят. Я вам сообщил, что пишу книгу? Да, да, воспоминания и разные заметки на общие темы. Жена тоже пишет. Но она дурочка. Что баба, скажите на милость, может написать про жизнь? Ах да, вас там ждет один малый.

— Где?

— На лестнице. Уже целый час сидит.

Меня опять бросило в жар, и я услыхал свое сердце.

— Кто такой? — упавшим голосом спросил я.

— Пацан какой-то. Сами увидите. Ваше дело закончено?

— Идет к концу, — нехотя ответил я.

Цыпун понимающе улыбнулся и приложил к глазам бинокль.

Уж этот наверняка знает больше, чем полиция, подумал я. На ступеньках у моей двери сидел полицейский, производивший впечатление малолетнего. Увидев меня, подобострастно вскочил.

— Пан комиссар Корсак просит вас зайти.

— Матерь Божья, когда это кончится, — вздохнул я.

— У вас телефон не отвечает, вот он меня и прислал.

— Ладно. Пошли.

Опять я шел по городу. Юный служитель правопорядка деликатно держался поодаль. Со всех сторон, как оно бывает в Варшаве, налетал ледяной ветер. От здания Сейма по каньонам улиц неслись крики и свист.

Комиссар Корсак нетерпеливо расхаживал по застеленному газетами коридору.

— Хорошо, что пришли. Я очень спешу. Идемте ко мне в кабинет.

Он ввел меня в крохотную комнатушку, усадил на стул, а сам нервно забегал из угла в угол.

Потом, помычав по своему обыкновению, сказал:

— Голубчик, надо вспомнить дом, где вы, по вашим показаниям, упали с лестницы.

Энергично подвигал локтями, словно пингвин, пытающийся взлететь, проверил, не растрепались ли волосы на висках.

— Нам необходимо допросить соседей и, возможно, провести следственный эксперимент. Поймите, это в ваших же интересах.

— Понимаю. Но, честно говоря, я даже не знаю, что это была за улица. Вероятно, в центре. А где, в каком месте — хоть убей не помню. Да и вовсе не уверен, что она вела меня, например, к друзьям — может, завернула в первый попавшийся подъезд.

— Видите ли, голубчик, проблема в том, что она нигде не была прописана. Недавно вернулась из-за границы. Ладно, неважно. Но уж вы постарайтесь вспомнить. Подойдите к дому, где были на именинах, и оглядитесь. Пройдитесь по улицам. Мне пора, извините. Идемте, я вам коечто покажу.

И потащил меня за собой. Через минуту мы уже сидели в полицейской машине. Завыла сирена. Машина резко рванула с места. Что-то мелькало за окном, какие-то автомобили шарахались в стороны, я слышал визг трущихся об асфальт шин. Наконец мы остановились. Корсак бодро выскочил, помог выйти мне. Мы были на Иерусалимских Аллеях неподалеку от Дворца.

— Бежим, — сказал он, — я опаздываю.

Мы продирались сквозь нагромождения экзотических изделий оружейников. Под невысоким деревом с остатками прошлогодней листвы стоял советский бомбардировщик в еще вполне приличном состоянии. Двое солдат в камуфляже жалобными голосами зазывали прохожих:

— Пан, купи самолет.

Перед входом в Зал конгрессов нас остановил кордон страшно худых, патлатых и бородатых молодых людей в разномастных свитерах и куртках.

— Прошу прощения, — официальным тоном произнес комиссар Корсак и принялся расталкивать бородачей.

— Это куда же? — крикнул кто-то.

Корсак уже преодолел заслон и деловито зашагал к большой полукруглой лестнице, ведущей в Зал конгрессов.

— Кацапо-фашисты! — рявкнул кордон.

Комиссар обернулся, проверяя, иду ли я за ним, но вдогонку ему полетел град камней, обломков кирпича и даже целая плита, вывороченная из тротуара. Полицейский втянул голову в плечи и опрометью кинулся к лестнице. Там его ждал белокурый гигант в косоворотке и штанах, заправленных в сапоги. У этого гиганта было лицо Христа, правда, Христа славянского происхождения.

Только тут я сообразил, что бородатые заморыши — анархисты, пикетирующие заседание Славянского Собора. В эту минуту изо всех дверей Зала конгрессов выбежали отряды рослых блондинов в черной коже, утыканной никелированными гвоздями; каждый, как топорище, держал в руке дубинку.

Не надеясь на стойкость анархистов, я предусмотрительно попятился. Действительно, похоже было, что ловкие, крепкие, смахивающие на роботов черные славяне сметут анархистскую мелкоту. Они шли, точно комбайны по ниве, круша все на своем пути, только свистели, описывая в воздухе круги, дубинки. Врезавшись в беспорядочную толпу анархистов, славяне принялись их расшвыривать, и те падали, как побитые градом колосья. Я видел уже только кожаные спины и руки на фоне темносинего неба, с которого внезапно повалил густой снег.

Однако натиск когорты черных вдруг почему-то ослаб. Преимущество еще было на их стороне, но дубинки вращались все медленнее. Потом я увидел, что один из черных рыщарей удирает в сторону Зала конгрессов. За ним кинулись наутек и другие. Некоторые бежали уже босиком, у многих были разорваны утыканные грозными гвоздями куртки. В конце концов все славяне попрятались в свою крепость, с грохотом

захлопывая за собой двери. А победоносная толпа мозгляков взбежала за ними по лестнице и принялась в бессильной ярости колотить ногами в бронзовые двери, за которыми заседал Славянский Собор, претендующий на управление возрожденной Европой.

Не знаю, как и когда я вернулся домой. Раздвинул шторы и тупо уставился на неожиданную метель, возможно, последнюю в этом году. Деревья быстро покрывались белым пухом, и моя улица стала похожа на аллею рождественских елок.

У меня болят ноги, спина, голова. Я больше не поглядываю с опаской на эту проклятую кушетку. Мне уже все равно. Пускай меня утопят, повесят или четвертуют. Гигантский омут, мощный водоворот втянул мою страну и меня. Я устал. Сколько ни моргаю, не могу прогнать мелькающие перед глазами обрывки каких-то видений, плавно опускающиеся книзу, как разноцветные хлопья снега. Вызывающая улыбка девушки, которая неизвестно, существовала ли вообще, потные лица, обваливающиеся лестницы, пронизанная электрическим светом струя, хлещущая из дырявой водосточной трубы, черные руины домов, кирпично-рыжий уличный фонарь за окном, безжизненное женское тело, поразительно красивая грудь.

Метель прекратилась. Затянувшая небо пелена на западе порвалась. Тучи разбежались, открыв золотистую полосу за темным обелиском Дворца. Голубки сварливо бормочут на перилах моего балкона. Ну конечно, кто-то начал сверлить стену. Мы пробиваемся в Европу.

Сколько же у меня было в жизни женщин. Я ложусь на кровать и принимаюсь считать, будто монеты в копилке. Когда это началось, в какой момент на рубеже детства и юности. И кого из них я могу назвать своими. Только ли тех, с кем спал, или еще и тех, с кем до полусмерти намучился, но так и не затащил в постель. Были ли моими те девушки или женщины, с которыми я торопливо совокуплялся в кустах над озером или в алкогольном чаду за шкафом в чужой комнатушке. Были ли моими девушки в горячие ночи бесшабашных каникул, студенческих прогулов, зимних романов, внезапно куда-то подевавшиеся, растворившиеся в серой обыденности, исчезнувшие из моей жизни, но оставшиеся в мыслях. Иногда я жалею о несбывшемся, а иногда радуюсь, что они ушли, оставив след щемящих воспоминаний.

Зазвонил телефон, ни чуточки меня не напугав.

— Слушаю, — деловито сказал я в трубку.

И, после недолгого молчания, услышал:

— Можно к тебе зайти?

Я видел перед собой кушетку и островок ненатертого пола.

— Знаешь, мне дома как-то не по себе. Может, попозже.

Она немного подумала.

— Тогда приходи ко мне. Хочешь?

— Хочу, — сказал я, и сердце опять забилось.

— Значит, я жду, — шепнула она.

Знала бы она, что сегодня целый день мне сопутствует, что постоянно заслоняет мою несуразную действительность, выплывает, как утопленница, из неподвижных пейзажей квартиры, улиц, города.

Пойду пешком, подумал я. И так и сделал. Движение — мой наркотик. На ходу легче справляться с неприятностями, неожиданными ударами и дурными предчувствиями. Я довольно холодный человек. Много лет я этого стеснялся. Прикидывался импульсивным живчиком, сангвиником, сентиментальным романтиком. Сердце у меня ледяное: головокружительные приключения и ошеломительные успехи я переживаю в уме. Мне достаточно двух квадратных метров полянки либо случайного матраса, чтобы совершить далекое путешествие или окунуться в скоропалительный роман. Я похож на электрическую батарейку. Сверху холодная жесть, а внутри готовая разрядиться кипучая химическая субстанция.

Неподалеку от моего дома на огороженном скверике с акацией какой-то монгол разложил на куске фольги дамские трусики. Женщины и даже мужчины деловито рылись в куче бесстыдно выставленного напоказ товара. А на Новом Святе молодая цыганка пристала к бизнесмену нового поколения и, молниеносно тасуя карты, чтобы отвлечь внимание, одновременно обшаривала карманы и черный кейс, гордый символ его профессии.

Мы бежим вперед. Шесть миллиардов людей мчатся, не останавливаясь и не глядя по сторонам. И я вместе с ними. Почему именно со мной случилась эта угнетающая своей двусмысленностью история, которая неведомо чем закончится.

Какая она сегодня будет. Какой преподнесет сюрприз. Я боюсь к ней идти и очень хочу. Да, немалую приходится платить цену.

Я постучался в дверь. Она мгновенно открыла — совершенно другая. На ней были облегающие джинсы и рабочая блуза, волосы стянуты лентой. Меня кольнуло неприятное чувство, наивное и смешное разочарование: почему она не в халатике или старомодном пеньюаре. Посмотрела на меня, как любезная квартиросъемщица на управдома.

— Я подумала, ты сидишь дома один и скучаешь.

— Да, я был в городе, а потом вернулся.

Мы вошли в комнату, вернее, в неправильной формы чертог со множеством темных закоулков. Не дожидаясь приглашения, я сел на табурет, довольно шаткий и неудобный.

— Ты голодный.

— Нет. Спасибо.

— Тогда, может быть, выпьешь чаю?

— Пожалуй, выпью.

Она скрылась в недрах мастерской, похожей на штольню. Я было поднялся с табурета, чтобы рассмотреть фотографии, пришпиленные к стене из древесно-волокнистых плит, но передумал. Я и этих фотографий боялся. Издалека с тесных улочек доносились усиленные эхом голоса прохожих или туристов.

Она принесла чай. Мы пили его, поглядывая друг на друга.

— Ты легко одет, — сказала она.

— Потеплело.

Я поставил стакан на пол, сел рядом с ней на тахту.

Смотрел на нее, а она притворялась, что не замечает моего пристального взгляда. Я все время открывал в этой женщине новые прелестные черты: в ее облике постоянно что-то менялось. Сейчас передо мной была студентка Академии изящных искусств, принимающая у себя доцента. Может быть, это последний визит, подумал я.

И внезапно обнял ее одной рукой.

— Погоди, чай разольешь, — тихо сказала она.

Тогда я отобрал у нее стакан и поставил на пол. Она взглянула на меня, взглянула с любопытством, будто впервые увидела. А я нежно, намеренно сдержанно поцеловал оба ее глаза, кончик носа и приоткрытые холодные губы. Потом стянул с волос, точнее со лба, яркую ленту, а она чуть-чуть отстранилась, словно удивленная моей агрессивностью. Я принялся стаскивать с нее блузу, мы оба упали на тахту, и оказалось, что под блузой ничего нет, и меня ослепила белизна трепещущих грудей, украшенных изумительно красивыми, как полинезийские цветы, бородавками, а она, склонив набок голову, смотрела на меня недоумевающе и даже не пыталась помочь, когда я сдирал с нее джинсы, хотя нет, пожалуй, едва заметными движениями бедер облегчала мне задачу.

И вот она опять была передо мной, обнаженная. Смущенная и бесстыдная, лежала неподвижно, полузакрыв глаза, но в гуще темных ресниц что-то сверкало, как вода лесного ручья. А я здоровался с ее безукоризненной, да, поистине безукоризненной шеей и с ее руками, и с радостью заметил, что они чуточку слишком пухлые и оттого более чело-

веческие, и обрадовался, что бедра кажутся тяжелее, чем раньше, то есть накануне, не такими классическими, и это меня умиляло, и я думал, что она, вероятно, не подозревает о своих чудесных изъянах и не догадывается, как сильно я ее хочу, какая огромная нежность меня переполняет и как страшит этот красный мрак, в который я погружаюсь.

Не открывая глаз, она притянула меня к себе, а я, полуослепший, целовал ее, ласкал, вокруг все гудело, гремело, трещало, возможно, разваливался или горел ярким пламенем дом, а я, уже полностью ослепший, врывался в нее, а я, уже полностью оглохший, не слышал ее шепота, а может быть, жалоб, а я уже слился с ней, с этой молодой, незнакомой и такой близкой женщиной и просто-напросто умирал.

А потом, кажется, умер. Долго лежал не шевелясь, и она встревожилась, тронула прозрачным розовым пальцем мое веко. Мне страшно хотелось спросить, что с ней, ведь я был далеко, улетел от нее, как последний эгоист, но не спросил, постеснялся. Приподнявшись, оперся на локоть. Смотрел в ее глаза, потемневшие, как ручей в сумерках, а она смотрела в мои.

— Эй, — хрипло сказала она.

Я лег, укрыл ее рукой. Опять пробили эти проклятые часы на башне Королевского замка, хотя время нас не интересовало.

— Кто ты? — шепнул я.

— Так и не знаешь?

— Я уже ничего не знаю.

— Спи. Отдохни. Забудь.

— Что я должен забыть?

— То, что было. Есть только я.

— А она?

— Ее нет. Это все твои страхи. Тебе приснился дурной сон.

— Мне редко снятся сны. Мелькают, как в калейдоскопе, осколки фотопластинок с обрывками вытравленных на стекле сцен, событий, человеческих, а может, нечеловеческих лиц.

— Тебя мучает сознание вины.

— Откуда ты знаешь?

— Вижу, чувствую. Ты оглядываешься назад, проверяя, не преследует ли тебя кто-нибудь с намерением свести счеты.

— Тебя как зовут?

— Я тебе уже говорила.

— Ты мне больше нравишься без имени.

Она поцеловала меня в переносицу и задержалась взглядом на лбу.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил я.

— Все в порядке. На небесах.

— А на земле?

— Тоже.

И тут я с ужасом увидел, что по щеке у нее катится голубоватая слеза. Крепко обнял ее, а она прижалась ко мне, и я, ласково баюкая ее в своих объятиях, сам не зная, как и когда, опять оказался в ней, а она во мне, и, уже не торопясь, я взбирался на гору, извергающую громы и молнии, и всю эту бесконечно долгую минуту слышал, как она что-то говорила, плакала или смеялась и с каким-то отчаянием искала меня, хотя я был в ней.

Теперь уже она лежала неподвижная, безжизненная. Теперь я сказал с тревогой:

— Эй.

Она обернулась с улыбкой и поцеловала мое голое плечо.

Поцеловала, показалось мне, с благодарностью, и мое усталое сердце опять бешено заколотилось.

Где-то в глубине темной мастерской зазвонил телефон. Я вздрогнул, хотел встать.

— Пускай звонит, — удержала она меня.

Телефон, не желая умолкать, настырно трезвонил. Да, у нее есть собственный, неизвестный мне мир. Свой таинственный быт со связями, не имеющими ко мне отношения. Но я ее уже не отдам. Почему-то все тело у меня покрылось гусиной кожей. А она отвела назад руку, вытащила откуда-то знакомое лоскутное одеяло, прикрыла нас обоих.

— Расскажи что-нибудь о себе, — шепнула.

— Ты ведь обо мне все знаешь.

— Не все.

— Полагаю, внутри у меня пустовато. Я маскирую эту пустоту хитростью, смекалкой, интуицией. Просто выставляю себя в лучшем свете.

— Зачем ты это говоришь?

— Чтобы тебя предостеречь.

— От чего?

— От меня.

Она положила голову мне на плечо, и я почувствовал на губах нежный вкус ее волос.

— Уже поздно.

— Что поздно?

— Бояться. Я должна любить тебя таким, каким мне тебя подарила судьба.

— А я думал, ты меня выбрала.

— Может, и выбрала.

Я опять приподнялся на локте. Слегка откинул одеяло и смотрел на ее милое, трогательное лицо, на стройную шею и роскошные задорные груди.

— Ты смотришь на меня как врач.

— Смотрю, потому что хочу запомнить.

— Зачем запоминать?

— Затем, что через минуту ты будешь уже другая.

Она притянула меня к себе — теплой и нежной, пахнущей чем-то экзотическим, неведомым, по чему я тосковал много лет.

— Полежи. Отдохни. Поспи.

— А ты?

— Я буду оберегать твой сон.

— Поспим оба.

Но в этот момент на каком-то из чердаков старого города завизжала мотопила.

— Не дадут заснуть, — сказал я. — Страна строится, перебирается на новый жизненный путь.

Помолчал минуту.

— Где она жила?

Молчание. Очень долгое.

— Почему ты все время о ней спрашиваешь? Ее нет и не было.

— А если была?

— Не знаю. Наверно, у какого-нибудь мужика.

— Ты способна ненавидеть?

Она перевернулась на спину. Смотрела на бесформенный чердачный потолок, утыканный ржавыми гвоздями.

— Конечно. Как все.

— Кто тебя этому научил? Она?

— Смотри, солнце садится. А я объехала весь мир, увидела, какой он маленький, и вдруг здесь, на перекрестке, заметила тебя, заглядевшегося на небольшое скопище наших ближних. Выражение лица у тебя было, как у апостола, опоздавшего на Тайную Вечерю. Совершенно невинного апостола.

— Страшный хаос. Нельзя умирать в таком хаосе. Покидать этот мир надо неспешно, соблюдая надлежащий церемониал, чуть величественно. Как заходит солнце. Закат — репетиция конца света.

Она положила руку мне на грудь.

— Чувствуешь? — спросила.

— Чувствую дрожь твоих пальцев.

— Я положила руку тебе на сердце. Передаю тебе спокойствие, примирение с небом и землей и тишину.

Какой-то заблудившийся лучик закатного света примостился на стене над нашими головами. Медленно пополз наискосок к потолку и там погас. Моя память поблекла. Я вижу за собой мутно-серую мглу. Вот отчего я не способен разобраться в своем прошлом, вот, вероятно, отчего предпочитаю его описывать с помощью более или менее удачных афоризмов. Краткость во избежание растянутости, выразительность как результат неопределенности.

— Подожди, — шепнула она.

Быстро встала с тахты и убежала в таинственный лабиринт в глубине мансарды. Зазвонил маленький монастырский колокол. Старе Място опять стало набожным, как в давние времена.

Где-то над Прагой деловито тарахтел вертолет.

А потом она вернулась, и я замер. Она медленно выплывала из теплого мрака. Обнаженная. Осторожно несла перед собой поднос, на котором лежали бутерброды, разрезанное пополам яблоко и горстка разноцветных таблеток. А в щелку между половинками яблока на меня с любопытством глядели ее соски. Она шла, склонив голову к правому плечу, а тени, падавшие на отмеченное какой-то горькой тайной лицо, еще больше его красили. Ее фигура и вправду напоминала старинный музыкальный инструмент — столько в ней было еще и музыкальной гармонии. Женщина шла, не замечая своей наготы, равнодушная к ней, шла, засмотревшись то ли на половинки румяного яблока, то ли на кончики своих грудей. Я любовался ею, как потрясающим закатом солнца, который уже никогда больше не повторится и который необходимо запомнить, навеки запечатлеть в памяти.

Преодолевая смущение, обвел взглядом изящную впадину живота со шрамом пупка, похожего на жемчужную брошку, и спустился к тому месту, где две косые тени смыкались в темный пушистый островок, снова пробудивший в моем теле дрожь, а в голове шум, схожий с прерывистым ревом мотора огромного самолета, заходящего на посадку.

Да, она действительно несказанно прекрасна, подумал я. Только так можно описать эту молодую, молодую, но уже зрелую женщину, которая медленно приближается, наклоняется, и ее левая безупречная грудь льнет ко мне, и я нежно ее целую, возвращая эту девушку, или женщину, к действительности, и тогда она ставит поднос и не очень плотно закрывается руками со следами загара, привезенного, вероятно, откуда-то из далеких краев.

Потом она опять уходит в темноту, и вскоре там загорается вертикальный экран, и я вижу, как моя женщина начинает мыться, но не в ванне и не под душем, а как мылись когда-то, в давние времена, зачерпывая воду сложенными ковшиком ладонями и обливая себя над краем ванны. Я вижу ее сзади и немного сбоку, смотрю на нежный задумчивый контур щеки, пожираю взглядом груди, будто ставшие больше оттого, что она нагнулась, груди, послушные ее движениям и словно бы кокетливо поглядывающие на меня, лежащего с яблоком в руке. И вдруг думаю, что кто-то там, в темноте надвигающейся издалека ночи оживил старую картину Вермеера.

А еще я думаю, что мир меня обогнал в поисках наслаждений, в безумии, в стремлении выжать все возможное из врожденных животных инстинктов и приобретенного человечеством опыта, что я немного старомоден и излишне наивен и закоснел в своих страхах перед животным началом, что я смотрю на эту прелестную картину в белой дверной раме, как на икону пятивековой давности.

Она легла рядом со мной, небрежно укрывшись краешком одеяла.

— Приглашаю на ужин.

Мы жевали бутерброды, грызли яблоко. А небо за окном казалось нарисованным старым голландским мастером. Небо конца света или небо Голгофы. И падающее с этого неба копье золотого солнечного света пронзало наш город.

— Возьми, это витамины, — сказала она. — Нам нужно много витаминов.

Я с опаской покосился на разноцветные таблетки.

— Боишься, что я тебя усыплю или отравлю?

— Боюсь, что ты меня одурманишь.

Мы глотали эти таблетки как лесные ягоды, улыбаясь друг другу, и я украдкой искал в ее теле, в ее коже, в ее волосах хоть какой-нибудь обычный человеческий изъян, который бы меня успокоил, развеял всегдашнюю мою, но сейчас особенно острую тревогу. К сожалению, в ней все было безупречно, а трогательная полнота рук и одуряюще нежная тяжеловатость бедер, кажется, только усиливали мое необъяснимое беспокойство.

— Расскажи про себя, — повернувшись ко мне, сказала она. А я вдруг застеснялся себя, своей плоти, и торопливо закутался в одеяло.

— Для порядка надо бы признаться, что за долгую жизнь во мне скопилось немного грязи. Но я никому об этом не скажу. И тебе тоже.

— Ты просто так говоришь, на всякий случай?

— Да, предвидеть всякие случаи — моя специальность.

Я так энергично притянул ее за шею, что соски всколыхнувшихся грудей защекотали мое плечо.

— Ты меня не боишься? — шепнул я.

— С какой стати? — почти беззвучно ответила она. — Ведь я тебя выдумала. Ты — мое представление о мужчине, которого я могла б полюбить, если бы встретила.

Потом она упала навзничь, и все повторилось. Но на этот раз мы не торопились, прислушиваясь к тому, что с нами творится, и слышали, как пульсирует кровь, подгоняемая неутомимым мотором сердец, и ловили отдельные слова недоговоренных признаний, скомканных откровений, отдельные неясные ноты то ли смеха, то ли плача.

Потом она повернулась ко мне спиной и замерла. В конце концов я даже встревожился. Стал осторожно пересчитывать пальцем круглые камушки ее позвонков.

— Я обошел полсвета, чтобы позаимствовать, что удастся, из опыта человечества. Была у моего поколения такая навязчивая идея. Не погоня за радостями жизни, а составление как можно более полного реестра вариантов людской судьбы.

После минутного молчания она сонно спросила:

— Ну и что?

— Ну и ничего. Ничего не сохранилось. Каждые семь лет начинаю все заново.

— Я сплю.

— Хорошо, спи.

— Я сплю, чтобы во сне отвести тебя туда, где я побывала.

— А потом я тебя поведу по лесным тропкам на север, на мою больше не существующую родину, в мой разграбленный дом и на мою высохшую реку. Но ты не бойся, там будет все как было.

— Я сплю.

— А я уже иду за тобой.

Но ведь я не могу никуда уйти, пока не решится, пока не распутается мое дело. Да, у той было точно такое же маленькое ушко, и в какой-то момент оно стало таким же розово-прозрачным, будто в ушной раковине вспыхнул светлячок. Я громко вздохнул. Она не откликнулась. Лежала не шевелясь, я не слышал дыхания, и только ее тепло меня согревало, нежное, лишенное экзотических запахов, будто знакомое с рожденья тепло.

Кто-то когда-то сказал, что только боль и страдания рождают красоту. Но что такое красота. Никто не может определить, хотя всякий знает. Впрочем, у каждого красота своя. Даже у тех, кто утверждает, что красоты нет ни вообще, ни в частности.

Во мне опять начала функционировать железа, вырабатывающая импульс к жизни. Он разносится по организму нервными волокнами, а возможно, артериальной кровью. Хорошо это или плохо. Наверняка слишком поздно. Можно ли начать все сначала. Все — вряд ли. Даже если разбудить спящее сердце или гипофиз.

Она вдруг вздохнула, словно сдерживая рыдание.

— Проснулась? — шепнул я.

— Который час?

— Тот же. Солнце еще не село.

— Мне холодно.

— Иди сюда, прижмись ко мне. Я тебя согрею.

Она сонным движением повернулась ко мне, а я прикрыл ее собою. Почувствовал на шее легкое дыхание, словно щекочущее прикосновение весенних трав. Будь что будет, подумал.

Откуда-то, вероятно, как всегда с севера, прилетел ветер. Крадучись пробежался по крышам, подергал неплотно закрытое окно и в конце концов загудел в тесных ущельях улиц. Все в порядке, подумал я. И хватит. Хорошо бы теперь оказаться дома, заварить чай, залечь в кровать и все обдумать. Разобрать пеструю мозаику событий последних дней. Рассмотреть каждый кусочек на свет. Слишком их много. А мне с годами нужно все меньше. Но ведь у меня нет дома. Я уже никогда не вернусь в него навсегда. То есть буду в нем, но только одной ногой. А мыслями стану то и дело убегать на ночные площади и пустые темные улицы. Я ведь ничего не забуду. А может, в какой-то момент забуду, если добросердечный комиссар Корсак в двух словах разъяснит загадку, и окажется, что напрасно я столько дней ел себя поедом, и я вернусь к монотонной повседневности, с облегчением погружусь в обыденность, которая стоит костью в горле.

Ветер гудел, стонал, подвывал, и иногда сквозь эту мрачную мелодию пробивался робкий голос костельного колокола. Женщина рядом со мной, по-видимому, спала.

Последние несколько дней меня время от времени сотрясают короткие пароксизмы дрожи. Мой организм, запутанный клубок биологических, электрических и бог весть каких еще процессов, этим прежде мне незнакомым признаком эпилепсии меня предостерегает. Но от чего предостерегает.

В темных чердачных катакомбах вдруг что-то затрещало и заскрежетало. Волосы пошевелил невесть откуда взявшийся ветерок или сквозняк.

Она судорожно вздохнула.

— Что? Что с тобой? — шепнул я в давно погасшее ухо. — Приснился дурной сон?

— Я должна тебе кое-что сказать.

— Что-то плохое?

Она немного помолчала. Какая-то бумажка, упав с подоконника, задумчиво скользила по простым сосновым доскам пола.

— Я попала в автомобильную катастрофу. Разбилась в Нижней Силезии, когда возвращалась из-за границы. Машина на свалку, а я — в маленькую захудалую больницу.

Она лежала, оцепеневшая, в моих объятиях. Я знал, с самого начала чувствовал, что она хочет мне что-то сказать. Невольно затаил дыхание.

— Мне там сделали переливание крови, — тихо и хрипло продолжала она. — Представляешь, в каких условиях. А я была без сознания.

Мне стало не по себе, хотя я еще не понимал, к чему она клонит. Кто-то что-то кричал в бездонном ущелье улицы, но ветер заглушал слова.

— В меня впрыснули смерть. Я ношу в себе смерть, — и прижалась

к моему боку, а я легонько провел пальцем по ее щеке, но щека была сухая.

Я коснулся ее лица, хотя внутри у меня все оледенело.

Казалось, сердце перестало биться и я никогда не смогу вздохнуть. Задавать вопросы я боялся. А она молчала.

— Ты меня слышишь? — шепнула она наконец.

— Слышу, — мертвым голосом сказал я.

Где-то упала черепица. По темно-синему небу ошалело мчались черные тучи без проблеска света.

— Ты меня возненавидишь?

Я не знал, что ответить. Все разом закрутилось в моей наполненной тупой болью голове. И невольное желание выскочить из-под одеяла и убежать, и холодный, приковывающий к земле ужас, и спазм сожаления, что так внезапно, и прилив страшной досады, и паническое смятение, и робкое напоминание, что, как-никак, надо вести себя прилично, и уколы злости на нее, ждущую на моей груди приговора.

— Скажи что-нибудь.

— Что я могу сказать. Ты точно знаешь?

— Точно.

Как это сейчас просто. Везде и со всяким может случиться. Но почему именно со мной. И я увидел под опущенными веками, как она идет в своем старомодном костюмчике по скверику за музыкальной школой, но уже не таинственная и не загадочная. Обыкновенная больная женщина. И увидел ее, обнаженную, с подносом в вытянутых руках, — уже не образ любви, а прокаженную.

— Тебя хорошо обследовали?

— Да, меня хорошо обследовали.

Она как будто нарочно меня передразнила. Наверняка потому, что боялась сказать больше. А я не находил слов. Мы лежали, прижавшиеся друг к другу и разделенные ужасной бедой.

— Я чувствую, что ты хочешь уйти, — шепнула она.

— Просто я потрясен.

Мы слышали ветер, но не прислушивались к нему. Мы прислушивались к себе.

— Ты меня возненавидишь, — шепнула она, как ребенок.

А во мне все окончательно рассыпалось. Да ведь она сейчас засмеется и, мурлыча что-то себе под нос, пойдет заваривать чай. Ведь я не знаю, когда она говорит правду, а когда фантазирует. Мы с ней еще не успели съесть вместе пуд соли.

Но она вовсе не засмеялась и не пошла заваривать чай.

Лежала рядом со мной и, видно, чего-то ждала. Я коснулся ее щеки. Щека была сухая. Коснулся века. Оно тоже было сухое.

— Не знаю, — вздохнул я.

— Чего ты не знаешь?

— Вообще ничего.

Она отодвинулась, перевернулась на спину. В этой комнате, обитой, как склад, древесно-волокнистыми плитами, было уже темно. В белках ее глаз сверкали голубоватые искорки, но я думал о другом.

— Я не буду плакать. Как есть, так есть, — тихо сказала она в пространство.

Могла меня предупредить. Возможно, я бы все равно за ней пошел. Завлекла в западню, подумал я. Какая гадость. Нестерпимо захотелось прочистить горло, выплюнуть засохшую слюну.

Этого не может быть, вздрогнул я, глядя в окно. За окном посветлело. Наверно, ураган где-то раздул пожар. Но свет у испода неба был зеленоватый и холодный. Неужели так быстро пролетела на крыльях ветров ночь.

***

Я возвращался по Краковскому Пшедместью. Дикий порывистый ветер носился взад-вперед, срывал с мужчин шляпы, а дамам задирал юбки. Все прочитанные газеты Варшавы взмывали в небо, как воздушные змеи. Этот город испокон веку живет в лихорадке. Иногда температура снижается, но гораздо чаще подскакивает выше нормы.

Перед каким-то правительственным зданием, на стенах которого остались засохшие следы от разбитых яиц, лежали в спальных мешках несколько мужчин — голодовка протеста. Над ними висели плакаты, а рядом были укреплены щиты с требованиями. Чтобы отогнать тягостные мысли, я остановился и попытался прочитать ультиматумы. Но они были чересчур сложны и касались неясных и неизвестных мне проблем. Один голодающий из-за своей толщины не помещался в мешке. Ерунда, подумал я. Со временем жар спадет, и опять лет двадцать будет тишь да гладь.

Возле костела Святого Креста я увидел Анаис. Она сидела на нижней ступени лестницы в каком-то бурнусе или утепленной хламиде. Перед ней стояла тарелочка с одной-единственной измятой сотней. Но тарелочка была изящная, мейсенского фарфора.

— Добрый день, — пропела Анаис сладким голосом. — Вашему американскому другу минуту назад стало плохо. Он осматривал костелы и упал вон там, около памятника Копернику. Поторопитесь, он лежит в гастрономе, в «Деликатесах».

Я почти бегом кинулся на Новый Свят. Влетел в сумрачный магазин, слабо освещенный лампами дневного света. Действительно, в овощном отделе на прилавке неподвижно лежал, сверкая белками, Антоний Мицкевич. Покупатели уже освоились с необычной ситуацией. На лежащего никто особо не обращал внимания. Только молоденькая сердобольная продавщица пыталась подсунуть ему под голову упаковку фруктово-ягодного сока.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего. Ничего. Отойдите, — сказала девушка.

— Я друг пана Мицкевича.

— А это пан Мицкевич? — испуганно спросила продавщица.

— Да. Приехал из Америки.

— Мы звонили в «скорую». Они сейчас будут.

Тони, весь желто-восковой, больше обычного походил на далай-ламу. Зубы его негромко стучали.

— Ужасно больно, — простонал он.

— Где? В каком месте?

— Тут, — он показал рукой на середину груди под расстегнутой рубашкой. — Я, кажется, не выдержу.

— У тебя когда-нибудь болело сердце?

— Нет, никогда.

Кто-то в ногах у Тони деликатно перебирал кочаны молодой цветной капусты.

— Как это произошло?

Мицкевич застонал.

— Это он, — и указал на кого-то взглядом.

Я посмотрел в ту сторону и увидел необыкновенно черного человека. Черные стриженные ежиком волосы, черные щетинистые усики и черноватые лошадиные зубы между приоткрытых, толстых, как у лошади, губ. К джинсовой куртке был приколот значок Славянского Собора.

— Прицепился ко мне в костеле, — страдальчески прошептал Тони. — Даже сюда притащился.

— Чего ему от тебя нужно?

— Говорит, что меня узнал. Помнит по Воркуте.

Я очень решительно подошел к мужчине, у которого даже тщатель-

но выбритые щеки были синего цвета.

— В чем дело? — спросил я официальным тоном.

Но этот славянин кавказского происхождения ничуть не смутился. Понуро, как корова, смотрел на меня большими карими глазами.

— Я буду вынужден вызвать полицию, — сурово сказал я, хотя прекрасно знал, что полиция переживает период хаоса и на мой призыв вряд ли кто-нибудь откликнется.

— Он стукач, — лаконично сказал кавказский славянин.

Его русское произношение также оставляло желать лучшего.

Я это слово откуда-то помнил, притом в нехорошем контексте. Немного растерянный, вернулся к Тони.

— Я американский гражданин, — стонал Мицкевич.

— Потерпи еще минутку. Сейчас приедет «скорая помощь».

— Какой-то человек дал мне таблетку нитроглицерина. Добрые здесь люди.

Черный славянин, не спуская с нас глаз, стоял у прилавка в кондитерском отделе.

— Я пытался связаться с католическим духовенством, — жалобно шептал Тони. — Я уже знаю, как мы назовем наше движение. Крестовый поход прощения.

— Не думай ни о чем. Лежи спокойно.

— Если со мной, не дай Бог, что-нибудь случится, все достанется тебе. Но при условии, что ты возглавишь крестовый поход.

— Тони, я не знаю, что со мной будет. Голова кругом идет. Не могу собраться с мыслями.

В этот момент подъехала «скорая». Молодой высокий, как жердь, врач с вислыми усами, вылитый Максим Горький, энергично занялся Тони. Заглянул ему под веки, измерил давление, пощупал пульс и кивнул санитарам, ждавшим в дверях с носилками.

Минуту спустя Тони уже лежал на носилках, прикрытый грязным серым одеялом.

— Это американский миллионер, — заискивающе сказал я молодому врачу.

Тот слегка приподнял брови и посмотрел на меня поверх очков.

— Миллионеры тоже болеют.

Когда санитары подняли носилки, Тони шепнул, морщась от боли:

— Помни. Крестовый Поход Прощения.

Потом у дверцы «скорой» произошел небольшой инцидент. Славянин с Кавказа бесцеремонно полез в машину.

— Я с ним, — упрямо твердил он по-русски.

Санитары сдались. Завыла сирена, и «скорая» понеслась по полукруглому ущелью Нового Свята.

Ветер срывал вывески, переворачивал рекламные щиты перед магазинами и приводил в действие сигнализацию в стоящих у тротуаров автомобилях. Над городом, будто межконтинентальные ракеты, неслись на восток продолговатые темные тучи. Какие-то заезжие забастовщики слонялись по площади с транспарантами, рвущимися из рук, как воздушные шары.

Подходя к своему дому, я взглянул на балкон. И там были видны следы разрушений. Разбитые горшки с мертвыми пеларгониями, покосившаяся телевизионная антенна, нависший над улицей табурет.

В подворотне нервно расхаживал Бронислав Цыпун.

— Неужели и в такую погоду на тридцать третьем этаже трахаются? — спросил я.

— Нет больше моих сил. Я на себя руки наложу, — дрожащим голосом заговорил Цыпун. — А тут еще этот ветер. На нервы действует.

— Всем действует. Кое-кого доводит до инфаркта.

— У меня инфаркта не будет. Не дождутся.

— Кто?

Цыпун доверительно подошел поближе.

— Знали бы вы столько, сколько я знаю. Замечали небось, что в мое время письма к вам и от вас шли две-три недели, а то и полтора месяца. Это не почта была виновата, а я. Не управлялся. Но вы хитро писали. И книжки вам посылали прелюбопытные. Но я почему-то вас покрывал. Не загонял в угол, хоть вы и якшались с оппозиционерами.

— Спасибо.

— Ну и что вам дала ваша демократия?

— Ничего.

— Видите. А я не жалуюсь. Мне и при капитализме неплохо живется. Но что знаю, то знаю. У нас все были под колпаком. Кому чего стукнет в голову, у кого какие причуды, какие извращения. Вы б на моем месте не выдержали, а я деревенский, мне все нипочем.

Он уже был со мной накоротке и держал за своего. Ветер рвал его модную американскую курточку. Только теперь я заметил у него на носу очки в золотой оправе, не хуже, чем у американского бизнесмена.

— Вам все сошло с рук, — сказал я.

Он сделал неопределенный жест.

— А почему, как вы полагаете? Все великие люди были коммунистами. От Александра Македонского и до наших дней. Ну, может, за исключением Сталина. Я хотел, как лучше.

— Нас выдует из этой подворотни.

— Я вас провожу до подъезда. У меня с собой экземпляр пьесы.

— Мне сейчас не до чтения. Сами знаете, что со мной.

— А это не к спеху.

Мы увидели проехавшую по поперечной улице колонну грузовиков, украшенных национальными флажками.

— Протестуют, — снисходительно заметил Цыпун. — Ну, идемте, вы уже посинели.

Мы вошли во двор, по которому ветер гонял пустые бутылки из-под водки, коньяка и изысканных ликеров. Я уже взялся за ручку двери, но Цыпун меня задержал.

— Знаете что? Я бы договорился с Объединенными нациями, получил международный кредит, купил огромный стеклянный колпак и накрыл им Польшу. Вокруг можно понастроить трибуны и пускать по билетам публику со всего света. За полгода расходы окупятся, а потом мы бы гребли миллионы.

— У вас и вправду голова, как у Александра Македонского.

— Хорошо говорите, сосед. Ну что, не берете пьесу?

— В другой раз.

Я вошел в квартиру, и мне показалось, что из нее выкачали воздух. Тяжелый дух опустошения стлался над полом. Я на секунду взял в руки бумажник президента. Пускай лежит. Может быть, в награду мне повезет. В награду за что.

Я открыл балконную дверь. Ветер немедленно ворвался в комнату. Но делать ему тут было нечего. Он только хлопнул дверью ванной и улетел. Не стоит прибираться на балконе. Налетит следующий ураган и все порушит.

Я лег на свою все еще незастланную кровать. Это негигиенично, сказала бы моя жена. Пусть ей повезет в жизни. Она не виновата, что я ей достался.

На кушетку я смотрел уже почти равнодушно. Время от времени ко мне направлялась обнаженная молодая женщина с подносом в руках. Но эротического возбуждения я не чувствовал. Ведь она шла с дурной вестью, с неясной угрозой или намерением отомстить.

Нет, это невыносимо. Страшная пора перед началом настоящей весны. Я запутался. Меня засосал гигантский водоворот. Пожалуй, теперь лучше быть паном Цыпуном.

Через открытую дверь видна была часть комнаты жены. Вылиняв-

шее кресло и уголок секретера. Мне давно уже кажется, что маячащая в полутьме сгорбленная тень — я сам. Это я по своей привычке сутулюсь около секретера, склоняю голову, будто гляжу на исписываемый моей рукой лист бумаги. И я смотрел на самого себя, знакомого и вместе с тем чужого, обремененного какой-то мрачной тайной или окутанного вуалью, отгораживающей меня от нашего мира.

— К кому ты поперся в тот несчастный вечер, — вполголоса сказал я в другую комнату. — К людям, с которыми когда-то мимоходом познакомился, которые вдруг вспомнили о тебе и пригласили потехи ради. Ты даже их адреса толком не знаешь.

Моя тень или я сам, высвободившийся из оболочки, заключающей в себе несколько ведер воды и щепотку химических элементов, да, моя тень или я, лишенный обременительной и бессмысленной плоти, горблюсь в соседней комнате над доской секретера, и от меня веет каким-то напряжением, какой-то кладбищенской неподвижностью и обыкновенным страхом.

— Не побегу же я, как последний трус, в поликлинику проверяться. Честь — единственный оставшийся у меня капитал. Ну, может, еще капелька достоинства, припрятанная за пазухой на черный день.

Влетел ветер и вздул занавески.

— Жил ты, стервец, не нарушая правил, а теперь выясняется, что за тобой остались груды мусора, лужи грязи и кучи говна. Пошел, ты, горбун, к такой-то матери.

Но я там, в комнате жены, не поднимался со стула, точно придавленный грехами, и всматривался в невидимый лист бумаги, ожидая, что на нем проступят слова приговора, начертанного невидимыми чернилами невидимой рукой.

— Катись ты к черту.

Все же я встал с кровати и подошел к двери. Нет, меня там не было. Я видел кресло, грязноватую стену, секретер жены и затянувший углы мрак, вылупившийся из тяжелых штор на окне.

Я вернулся к себе в комнату, не сомневаясь, что и он вернется на свое место. А, какое мне до него дело, какое мне дело до самого себя. Мои мысли скользят, словно по ледяной горке. А их много. Глупые, разумные, гнусные, благородные, трусливые, отчаянные, ничтожные, патетические. Мысли-червяки, мысли-воробьи, мысли-мухи, мысли-облака, мысли-жабы, мысли — заходящие солнца. Оставьте вы меня, ради Бога, в покое.

Я на минуту заснул. Проснулся в холодном поту, не зная, где я и кто я. Медленно узнавал свою комнату, в конце концов увидел и себя, свободного от мирских соблазнов, застывшего в небытии — в небытии, о котором никому ничего не известно. Да я тут рехнусь. И перестану отличаться от своих соплеменников. Какое счастье, что еще никто не додумался посылать народы на психиатрическую экспертизу.

Нужно разгадать хоть одну загадку. Снять с души хоть один грех. Я тяжело поднялся с кровати. Но в этот момент зазвонил телефон.

— Алло, — сонным голосом сказал я.

Кто-то на другом конце провода громко дышал в трубку, не решаясь заговорить. Вероятно, она. Но которая.

— Пока, — сказал я себе, сидящему в другой комнате.

***

Ремонт в комиссариате закончился. Маляры выносили козлы и пустые ведра из-под краски. Я несмело подошел к дежурному, который был похож на Чарли Чаплина из полицейских комедий.

— Добрый день, прошу прощения.

Он посмотрел на меня смоляными глазами и шевельнул усиками.

— В чем дело?

— Я бы хотел поговорить с помощником комиссара Корсаком.

— Такой у нас не работает.

— Как — не работает? Он же ведет мое дело.

— Возможно, вел, но сейчас у нас уже не работает. Уволен.

— Уволен? — недоверчиво прошептал я. — За что?

— За политику. Полиция должна быть нейтральной, — Чаплин смахнул с усиков кусочек сыра, который упал на галстук, а потом скатился между колен. Хотел его поймать, но, видимо, постеснялся.

— Ну так что вам нужно?

— Я нашел сестру покойной девушки.

— Какой? За последнюю неделю убиты три девушки.

— Нет-нет. Она умерла в моей квартире.

Он посмотрел на меня пронзительными глазами.

— Ну и что?

— Можно установить ее адрес. Комиссар Корсак просил ему помочь.

Дежурный взял пачку бумаг и стал их просматривать, словно разыскивая мое дело.

— Следствие будет поручено другому сотруднику.

— А мне что делать?

— Идите домой и ждите. Понадобится, мы вас вызовем.

Кого-то куда-то тащили, кто-то пугающе хрипел.

— Значит, мне ждать?

— Да, ждите.

Когда же это кончится, с отчаянием подумал я. Лучше б меня снова посадили. Было бы спокойнее. И зачем только Тони меня вызволил. Тони — стукач. Стукач.

Я нерешительно вышел на улицу. Собравшаяся перед входом толпа с энтузиазмом кого-то приветствовала. В ответ на дружный возглас «Сто лет!» какой-то косматый низкорослый толстяк поднял вверх обе руки с растопыренными в виде буквы V пальцами. Это был президент.

Поблагодарив своих почитателей, он направился к дверям комиссариата. Но двое полицейских начали, выкручивая руки, сталкивать его на мостовую. Третий загородил дверь.

— Руки прочь!

— Позор!

— Убийцы! — кричала толпа. Полицейские бегом кинулись в комиссариат, отпустив президента. Тот было последовал за ними, но остановился и только бессильно погрозил вдогонку беглецам кулаком. Потом занял место в первом ряду сформировавшейся колонны. Сыны Европы с незнакомой, кажется, в стиле рока, песней на устах строевым шагом двинулись в сторону Маршалковской. Подумать только: рано или поздно он действительно будет нашим президентом.

На площади Трех Крестов я увидел Любу. До чего же мне не нравится это имя. Она стояла на остановке, к которой как раз подъезжал автобус. Я опрометью бросился вперед, лавируя между гудящими машинами, и догнал ее, когда она уже поставила ногу на подножку.

— Куда ты едешь? — задыхаясь, спросил я.

— Хочешь поехать со мной?

— Хочу, — сказал я и тут же немного пожалел о своем решении.

Но мы уже взялись за руки. Передние дверцы со скрипом закрывались; мы едва успели протиснуться в автобус.

Я схватился за спинку сиденья, пытаясь отдышаться. Люба пробила билеты за себя и за меня. Ветер колотился в окна автобуса.

Мы держались за руки и смотрели друг другу в глаза. Я улыбнулся, она тоже улыбнулась. Из тьмы ее огромных ресниц блеснул ярко-голубой свет, и вся моя на нее обида растворилась в нежности. Моя обида — робкая, двусмысленная, невыразимая. Вот сейчас она нагнется, да нет, встанет на цыпочки, чтобы дотянуться до моего уха, и возьмет свои слова обратно, и снимет с меня напряжение, избавит от мерзкого сосущего страха.

Поглядев за окно, я сообразил, что мы едем в сторону Воли. Давно я не бывал на этих улицах. Они как будто стали ярче и многолюднее. Все вывески и надписи на английском языке. Польская реклама попадалась редко.

— Мы прямо как по предместью Чикаго едем, — шепнул я.

— Никогда не была в Чикаго.

— Куда ты меня везешь?

— Ты сам захотел.

Я смотрел на нее и чувствовал, что во мне разгорается страсть. Вернее, какое-то жгучее нетерпение на грани пароксизма дрожи, которое мои ближние называют страстью. Плохо, подумал я. Плохо мое дело.

Я засунул палец внутрь ее перчатки. Нащупал бороздки на ладони. Попытался определить длину линии жизни. Она не мешала мне. Улыбалась, наклонив голову, уличные тени то заслоняли, то открывали ее лицо, а ладонь сжималась, забирая в плен мою руку.

— Это здесь, — сказала она. — Выходим.

Мы были на незнакомой мне улице с трамвайными рельсами, еще используемыми, а может, уже заброшенными. Вдоль противоположного тротуара тянулась каменная ограда; я не видел ни ее начала, ни конца.

— Идем, — потащила она меня, и мы наперерез мчащимся автомобилям перебежали на другую сторону. Вскоре я увидел в ограде ворота, в которые мы и вошли. Слева стоял домик, типичный для этого заводского района. Какой-то мужчина, опиравшийся на лопату, кивнул моей спутнице.

Я увидел перед собой то ли лес, то ли одичавший парк.

Старые деревья тяжело, словно придавленные горем люди, клонились набок, тяжело шумели могучие, еще безлистные кроны. А внизу тоже был лес — лес мертвых кустов и засохшего бурьяна или неведомых буйных трав.

Мы торопливо шли по едва угадывающейся в этой неживой, еще зимней чащобе аллейке. И вдруг я увидел почерневшие, обросшие мхом выщербленные каменные плиты, вертикально вколоченные в мертвые травы, в мертвую землю.

— Мацевы, — потрясенный, прошептал я.

— Да, это еврейское кладбище на Окоповой.

Мы свернули в боковую аллейку, заросшую еще больше, чем главная. Я увидел кучку людей вокруг ямы, желтой раной зиявшей посреди безжизненного сора.

На длинной тележке, похожей на больничную каталку, лежало тело, закутанное в белый саван. Это могла быть женщина или невысокий мужчина. Молодой человек в ермолке, с темной бородой, в очках нараспев читал что-то из черной книги; я подумал, наверное, это каддиш, и невольно пересчитал мужчин.

Шесть, а я, гой, — седьмой. Среди стоявших над желтой ямой, по стенкам которой стекали струйки сырого песка, было несколько женщин; когда могильщики стали опускать завернутые в белое полотно человеческие останки на дно могилы, они запричитали — чуточку театрально, вероятно, следуя довоенному провинциальному обычаю, и я догадался, что это старые актрисы Еврейского театра.

Потом мы услышали шуршанье песка, сбрасываемого лопатами в могилу. Ветер пронзительно свистел в кронах деревьев, обвешанных гнездами омелы, а я протиснулся между ближайшими мацевами, заслоненными мертвыми кустами малины, и стал рассматривать украшающие плиты барельефы и вырезанные в камне рисунки. Меня поразило повторение одного и того же символа. Застывшая в разных положениях рука опускала монету в копилку.

Кладбище вымершего народа. Где-то неподалеку стонали на повороте трамвайные колеса. В другой стороне кричали мальчишки, вероятно, игравшие в футбол. Низко, словно прячась от порывов ветра, над

кладбищем летел вертолет.

Кто-то взял меня под руку. Это была моя Люба.

— Пойдем, — сказала она.

Мы пошли по какой-то другой дорожке на доносящийся издалека шум города. А я не мог насмотреться на частокол мацев, памятников и надгробных плит, пожираемых безжалостной природой. Разглядывал непонятные буквы, похожие на рисуночки, сделанные левой рукой. Я помнил их с детства, но так и не узнал, что они означают.

— Это она? — поколебавшись, спросил я.

— Кто?

— Покойница.

— Моя знакомая.

Я искоса взглянул на Любу. Она откинула со щеки прядку темных волос, которую трепал ветер.

— Это она, — повторил я с каким-то отчаянным упрямством.

Но Люба молча обогнала меня и, ускорив шаг, направилась к воротам, за которыми уже исчезали немногочисленные участники церемонии. Какой-то мужчина в стеганой кацавейке кланялся, приподняв шапчонку, сделанную из донышка шляпы. Наверно, сторож. Хранитель забытого варшавского некрополя.

Мы сели в автобус. Люба опять пробила за меня билет.

Отвернувшись, смотрела на улицы за окном, которые становились все светлей и веселее. Мы приближались к Старому Мясту. Я знал, что она сейчас выйдет.

— Хочешь, чтобы я к тебе зашел? — шепнул я в ее закрытое шарфиком ухо.

— А ты?

— Хочу.

Мы вышли неподалеку от Замковой площади. Если б суметь сосредоточиться, поразмыслить, обдумать ситуацию. Все вдруг рухнуло, как старый дом, из которого выселили жильцов.

Потом, уже в мастерской, я с нездоровым возбуждением следил за ее сдержанными привычными движениями, когда она снимала перчатки, откладывала сумочку, шла в таинственную бездну, чтобы заварить чай для согрева. А ведь любовь — это ущербность, думал я. Временная инвалидность. Унизительная зависимость. Болезненное состояние, избавляющее от ответственности за совершенные поступки. Я давным-давно это знаю, но когда сейчас вытягиваю руку и растопыриваю пальцы, вижу, что они дрожат, и не могу эту дрожь унять.

Заговорили башенные часы. Бьют напоказ, по традиции, но и для нас тоже. Ветер стихал, слышнее стали голоса города.

Она принесла чай. Мы сели на тахту.

— Есть хочешь?

— Нет. Мне уже много дней не хочется есть.

Она прикрыла ресницами глаза. Не захотела понять намек.

Зазвонил телефон, но Люба не шелохнулась. Я подождал, пока телефон перестанет звонить. Потом начал молча к ней придвигаться. Вернее, приближал лицо, упираясь ладонями в тахту. А она неуклюже отодвигалась и, кажется, скупыми жестами давала понять, что запрещает мне это делать. Но в конце концов отступать стало некуда, и я настиг ее под черной наклонной балкой неизвестного назначения. Целовал, сперва легонько, глаза, лоб, то местечко за ухом, пока не добрался до губ. В какой-то момент она начала отвечать на поцелуи, но словно бы немного рассеянно или задумчиво.

Тогда я, вздохнув, стал осторожно, чтоб не спугнуть, ее раздевать. А она прислушивалась к тому, что я делаю, не поощряя меня, но и не уклоняясь. Какие-то остатки трезвых мыслей проскакивали в уме и исчезали в горячем розовом мраке.

Опять она была передо мной, обнаженная. Лежала такая же прекрас-

ная, как вчера, как позавчера. Нет, сегодня из-за моего внутреннего сумбура она казалась еще прекраснее. Я поздоровался с прелестной ключицей, защищавшей чуть заметно пульсирующую впадинку, радостно поздоровался с грудью, удивленной и немного смущенной, приветствовал робкий пупок, похожий на брошку с жемчужиной, и, с уже гудящей головой, коснулся стыдливо сомкнутых бедер — бедер, безупречно вылепленных Господом Богом, а может быть, провидением.

Мы долго кружили над раскаленной солнцем Варшавой, вернее, над багровым жерлом Везувия. Говорили, не слушая друг друга, вздыхали, кажется, даже плакали, а потом она вдруг позвала кого-то, быть может, меня, и долго душила в себе крик, а я жевал сухой глоток воздуха, наполненный ею, ее запахом, ее теплом.

Потом я опять на нее смотрел. И казалось, могу так смотреть бесконечно. Переждать здесь, под весенним небом, кризисы, беспорядки, внезапные войны. Я не видел в ее безупречной красоте ничего, внушающего опасение, ничего такого, что послужило бы предвестником или первым признаком беды, которая, вероятно, была уже и моей бедой.

Я не знаю и никогда не узнаю, как смотрят на наш общий мир мои ближние. Видят ли они те же, что и я, или несколько иные формы, радуют ли их те же цвета — иногда нежные, иногда мрачные, так ли они оценивают расстояния, или, может, кто-то чувствует себя ближе, а кто-то дальше от неба либо от края земли. Не знаю, какие телемагнитные процессы совершаются в их сознании, порой именуемом душой. Возможно, то, что меня огорчает, приводит их в ярость, то, что меня манит и притягивает, их отталкивает и вызывает отвращение, то, что меня убивает, их воскрешает.

И в ее душу я никогда не проникну, хотя интуиция мне подсказывает, что мы с ней связаны уже не один век, а точнее, испокон веку. Я не умею этого себе объяснить, но знаю, что каждое прожитое нами мгновенье, вспышка воспоминаний, судорога страха у нас давным-давно общие, и эту общность мы пронесли через высыхающие реки, гибнущие леса и смутное ощущение вины. Да и надо ли искать объяснение. Познание — водопад разочарований.

Пара голубков прохаживалась по водосточному желобу, с достоинством заглядывая в окно. Наверно, прилетели сюда следом за мной. Моя личная охрана. Возможно, кем-то приставленная.

А мы с ней лежим, как в гробу. Над нами наклонное окно и большой кусок неба. Того самого, выдуманного людьми. И тихо, как в небе. Отголоски земной жизни сюда едва пробиваются.

— Я тебя тяну на дно. Ты утопаешь в моих объятиях, как в темном омуте, — вдруг сказала она.

— Я этого не ожидал, — ответил я. — Больше ничего не могу сказать.

— Так было суждено. Я выбрала тебя спутником на долгую дорогу.

— Слишком много неясного.

— Ясности вокруг все меньше. Может, это незаметное начало конца света.

— Люди от сотворения мира рассказывают такие сказки.

Она приподнялась, опершись на локоть. Передо мной была ее успокоившаяся грудь с коралловым островком соска.

— Знаешь, я тогда уже была по ту сторону.

— Запомнила что-нибудь?

— Ничего. Но, когда наконец вернулась, знала, что должна тебя отыскать.

— Это просто красивые слова.

— Нет. Я отчетливо ощущала, что ты меня ждешь в Варшаве. Стоишь на перекрестке и глазеешь на прохожих, идущих неведомо откуда и неведомо куда, и в конце концов заметишь меня, и у тебя сильно забьется сердце.

— Каким ты меня вообразила?
— Таким, какой ты есть!
— Не могу поверить.
— Я тебя до того несколько раз видела. Возможно, ты мелькнул в толпе в Америке, или в Австралии, или в Израиле.
— Я никогда в жизни не уезжал из Польши.
— Неважно. И тем не менее бродил за мною по свету.
— А тебе, незнакомая женщина, известно, что такое совесть?
— А что такое совесть?

Она села на краю тахты, начала лениво расчесывать щеткой распущенные волосы. На фоне окна четко рисовались очертания ее шеи, затылка, поднятых рук и нежный овал груди.

— Я о тебе ничего не знаю.
— И я о тебе ничего не знаю, — обернувшись со щеткой в руке, она смотрела на меня улыбаясь, и все вокруг поголубело от ее взгляда, а может быть, за окном прояснилось весеннее небо.
— Вдвоем будет легче, — сказала она.
— А ты у меня спросила согласия?
— Мне незачем было спрашивать. Я знала, что ты пойдешь за мной. Так было суждено.
— Кто тебя научил говорить «так было суждено»?
— Отец. Это единственное, с чем он отправился в мир из того места, где родился.
— Ты меня не боишься?
— Я уже говорила, что не боюсь.
— Меня подозревают в убийстве.
— Нету убийств. Есть только добровольно выбранная смерть.
— Я теперь все чаще думаю: что там — по ту сторону, на том берегу, или на том свете? Словом, за той границей, до которой мы провожаем близких.
— Узнаем, когда вместе ее пересечем.
— Почему ты за меня решаешь?

Совершенно неожиданно она весело рассмеялась.

— Ты ворчишь, как старый муж. Но мне это нравится.

Нагнулась и поцеловала меня в губы. А мне опять захотелось ее обнять, привлечь к себе, и где-то в моей несчастной голове замелькали неизвестные, но легко вообразимые непристойности.

— Тогда скажи мне все. Всю правду.

Она опять стала меня целовать с нежностью, в которой было что-то еще, что я уже начинал любить. Она тоже меня хотела. Да, она хотела меня — только таким примитивным словом можно было обозначить эти соединившие нас, странные узы.

И опять мы упали на тахту, и мне уже было все равно. Мы занимались любовью с робким бесстыдством, совершая неожиданные открытия, обнаруживая приятные сюрпризы, изобретая множество упоительных мелочей. Впервые смотрели друг другу в глаза, и от этого нас обоих захлестывала горячая волна. Наконец она осмелела настолько, что раз-другой перехватила инициативу, и ее опытность вызвала у меня одновременно и гордость, и смущение. Но ведь мы, объединив усилия, вместе пробирались в глубь того виноградника, который прежде знали лишь поверхностно, и теперь помогали друг другу в этом путешествии, увенчанном неожиданным успокоением.

— Если хочешь, можешь уйти, — сказала она потом устало.
— Слишком поздно.
— Слишком поздно не бывает. Я тебя предупредила.
— Слишком поздно.
— И ты согласен, чтобы я повела тебя за руку к той границе, о которой ты говорил?

Я вздохнул. Вероятно, на башне Королевского замка опять проби-

ли часы, но мне не хотелось прислушиваться. К голосу рассудка старинных часов.

— Знаешь, — сказала она, глядя в потолок, — на этом чердаке тридцать лет назад повесился какой-то художник.

— Не страшно тебе жить тут одной?

— Откуда ты знаешь: может, там, в глубине, анфилада комнат, где затаился мой муж и трое наших детей?

— Нет, я никогда шагу не ступлю в эти катакомбы.

Она посмотрела в пустое окно.

— Судьба приготовила тебе двойную западню, — сказала она.

— Почему двойную?

Она молчала.

— Ты ее имеешь в виду?

— Нужно радоваться каждому дню. Мы не знаем, сколько их у нас осталось.

— Значит, и я должен полюбить жизнь? Всю, какая мне осталась?

— Я буду твоей жизнью, — сказала она в пространство. — И твоей смертью.

Я почувствовал неприятный укол где-то около сердца. Мне захотелось вскочить и уйти. Но куда уйти.

— Ты меня не разлюбишь, когда я подурнею? — спросила она, растягивая слова.

— Я уже ничего не знаю.

Она повернулась и долго внимательно или задумавшись, что было ей несвойственно, на меня смотрела. Она сделала мне прививку, подумал я. Привила безразличие ко всему.

— Я тебе говорил, что в жизни не встречал привидений, что со мной никогда не случалось ничего сверхъестественного, не терзала никакая неземная сила?

— Говорил, наверно, а может, думал.

— Мне бы хотелось, чтобы существовало нечто, о чем мы не знаем и не догадываемся. Ужасно постная у нас жизнь.

Она наклонилась надо мной, долго смотрела в глаза. Почему-то мне показалось, что она хочет и не решается заговорить.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего.

— Что с нами будет?

— Увидим.

— Мне нравится, что у тебя есть какая-то тайна. Но в конце концов я должен ее узнать.

— Нельзя.

— Учти, до определенной отметки на шкале я наивен, поскольку быть наивным удобно, но потом начинаю лукавить или даже хитрить.

— Знаю.

Я помолчал.

— Почему?

— Что «почему»? — ответила она вопросом.

— Ты понимаешь, о чем я спрашиваю.

— Да ведь ты уже примирился.

— Я никогда не примирюсь.

— Лучше не задавать вопросов.

— Не могу к такому привыкнуть.

— Тебе бы хорошо поспать.

— Ты постоянно мне это повторяешь.

— Постарайся не думать. Смотри, я с тобой.

— А я не уверен, что ты со мной. Мне кажется, ты время от времени куда-то убегаешь через щели в стене.

— Представь, и у меня есть свои заботы.

— Расскажи мне о них.

— Не стоит.
— Ты понимаешь, что взяла на себя ответственность за меня?
— На этом свете все имеет свою цену.
— Что это значит?
— Я ответила на твой вопрос.
— Еще раз спрашиваю: кто ты? Расскажи мне всю правду о себе и о ней.
— Я уже тебе говорила. Не мучай меня.

Я встал с тахты, оделся, спрятавшись за спинкой кресла, и направился к двери.

— Куда ты идешь? — негромко спросила она.
— Куда глаза глядят.
— А когда вернешься?
— Никогда.

***

Люба, думал я, это попахивает давно окочурившимся комсомолом, проклятой эпохой, чем-то чуждым. Это не складка времени, это трещина во времени, какой-то разрыв или щель. И я в этой щели застрял. А может, у меня просто сотрясение мозга.

Я шел по берегу Вислы. Возвращался кружным путем домой, если можно назвать домом три ненавистные комнаты с кухней в старых кирпичных стенах.

Река взбухла от весеннего паводка. Но вода на меня хорошо действует. Горы раздражают, поверхность воды, в которой отражается небо или блеск солнца, успокаивает.

Река несла в себе и на себе все отбросы страны. Вода подтачивала берега Праги, вырывала с корнем кусты ракитника и сносила легкомысленно оставленные на зиму киоски и пляжное оборудование. Она была желто-бурой и не отражала ни неба, ни солнечных лучей, в отличие от рек моего детства.

Я остановился у чугунной балюстрады, захватанной руками многих поколений. Остановился как вкопанный: мне показалось, что посредине реки между льдинами желтой пены плывет труп. Я напряг зрение, даже перегнулся через балюстраду, пытаясь разглядеть нечто, похожее на лежащее на спине, увлекаемое испещренным водоворотами течением мертвое тело.

— Там человек! — невольно крикнул я и стал озираться в поисках помощи. И тут увидел позади себя президента.

— Пускай себе плывет, — сказал он со снисходительной усмешкой. — Их шесть миллиардов. Выловят в Гданьске.

— Пан президент, вы человек бывалый, где здесь телефон? Надо позвонить в полицию.

— Брось, дружище.

Только теперь я заметил, что одет он поприличнее, чем раньше. На нем был архаический двубортный костюм из некогда темно-синей в белую полоску шерстяной ткани, видимо, недавно побывавший в чистке, отчего вполне мог сойти за выходной. Из-под пиджака выглядывала криво застегнутая яркая клетчатая рубашка.

— Это останется на вашей совести, — сказал я.

— Ради Бога, пожалуйста. Наверняка какой-нибудь цыган или вьетнамец. Невелика потеря, — и вдруг стукнул меня по плечу, а из седоватых зарослей вокруг рта, носа и глаз у него пошли пузыри. Смеется, догадался я. — Это пень, дружище, я уже несколько минут за ним наблюдаю. Погляди лучше на этих телок под кустом. Мои поклонницы. Возле университета снял.

Действительно, неподалеку стояли три немного смущенные барышни.

— Подите сюда, познакомьтесь с моим сокамерником. Кажется, за убийство сидел.

— Это недоразумение. Все уже почти выяснилось, — сконфуженно пролепетал я.

— Полюбуйтесь, каков герой, — хвастливо восклицал президент. — Задушил молодую девушку в собственной квартире.

— Не задушил, не задушил, — неуклюже защищался я.

Вид у сторонниц Сынов Европы, был, признаться, довольно жалкий. Одна опиралась на металлический костыль, при создании другой Господь долго раздумывал, колебался и, похоже, в последний момент влепил бедняжке признаки обоих полов, а третью вообще смастерил на скорую руку. Мы обменялись вежливыми поклонами. Девицы могли быть студентками. Мы стояли у подножья обрывистого берега Вислы, в том месте, где за оградой начинались университетские сады.

— Пришлось взять на перевоспитание, — рассказывал президент. — Представляешь, раздавали перед университетом листовки какого-то шарлатана, объявившего себя Мессией, будущим спасителем Польши. Мажена, где живет этот кретин?

— На Доброй улице, — сказала девица с костылем.

Президент снова прыснул; веселый по замыслу смех, пока вырвался из гущи бороды, превратился в фырканье.

— Знаешь, приятель, я в свое время был у них в университете доцентом. Чтоб не скучать на семинарах по математической логике, мы придумали развлечение: прибавляли к названиям варшавских улиц слово «жопа». Гляди, как здорово: Добрая жопа, Дикая жопа, Волчья жопа и даже Железная. Попробуй разочек бессонной ночью — невинная забава, а как расширяет горизонты польской поэзии! Листовки придурка с Доброй улицы раздавали! Активистки моей партии! А я уже собрался отправить их на конгресс в Лиссабон.

Девицы хихикали, прикрывая рты. Та, при создании которой Господь на мгновенье заколебался, могла бы даже подкрутить ус.

— Я вас видел возле комиссариата.

— Видел? На этой неделе, дружище, меня три раза брали. Не успеет какой-нибудь высокопоставленный западный педик прилететь в Варшаву, меня хватают. Но теперь я решил: возьмут еще раз — упрусь и не выйду. Пускай вмешается Совет Безопасности. Этот город надо спалить. Невезучий он. Мы для себя подыщем в Европе дыру посимпатичнее.

— Простите, пан президент, но я неважно себя чувствую.

— Это дело поправимое, — он стал рыться за пазухой, вероятно, в поисках карманной фляжки, но вместо нее вытащил заморенного голубя, сверкнувшего затянутыми бельмом глазами.

— Вот он, бедолага. Ножку себе повредил. Смотри, как искривилась. Это мой дружок. А тебя я, когда приду к власти, назначу на пост министра. Ты уже бывал министром?

— Нет, еще нет.

— Поляки делятся на тех, кто были, есть и будут министрами. Мне тоже не так давно предлагали портфель замминистра. Но я с этими шутами не намерен якшаться.

На полпути к обрыву золотился куст. Это зацвела первая форзиция. Не знаю почему, но я обрадовался.

— Пан президент, — я попытался его обнять, — желаю вам всего наилучшего. Когда вы станете президентом Объединенной Европы, это будет поистине счастливый день.

— Без цыган и азиатов! — крикнул президент.

— Без желтых, черных и розовых.

— Ты будешь у меня премьером. Визитная карточка есть?

— Нет, к сожалению.

— Не беда, я тебя разыщу. Только чтоб не ввязывался в здешнюю политику. Хочешь на память птицу?

— Простите, у меня нет условий для птицеводства.

— А дать взаймы на пол-литра можешь, а то я забыл портмоне?

— Ваш бумажник у меня.

— Точно. Дай хоть сколько-нибудь, приятель, а то девочки заждались.

Я выгреб из кармана все, что у меня было, добавил еще три автобусных билета.

— Бог заплатит. Пока, — козырнул мне президент.

Я низко поклонился и пошел. Президент с минуту препирался с девицами, а потом все дружно зашагали к недавно открывшемуся бару под навесом, на котором сверкали, отражаясь в воде, разноцветные английские и немецкие надписи. Я подошел к кусту форзиции. Первая краска в серости, оставленной зимой.

Потом я осторожно подкрался к своему дому. Я просто боялся Цыпуна. В нашей стране никому неохота работать. Все часами стоят либо сидят и рассуждают, как у нас плохо. Где-то какой-то маньяк сверлил стену. Металлический грохот вылетал из подворотни, пугая прохожих.

В почтовом ящике я обнаружил официальную бумагу. Сердце, конечно, подскочило к горлу. Да, это был вызов в полицию. Но ведь я вчера у них был. Наверно, повестка запоздала. Я попытался разобрать дату, но именно на это место кто-то капнул соусом.

Я поднялся по лестнице, открыл дверь своей квартиры. По спине забегали мурашки. Неужели я до конца жизни буду бояться входить в собственный дом. Но в квартире все было по-старому. В воздухе лениво плавали пылинки, заблудившийся блик неизвестно откуда взявшегося света лежал на краю кушетки. Кровать так и осталась незастланной. Надо спокойно сесть и собрать мысли. Собрать, наконец, мысли, разбежавшиеся за последние дни.

— Привет, старый горбатый осел, — сказал я себе, сутулящемуся за секретером в комнате жены.

Я посмотрел на подпись в нижнем углу повестки. Конечно, это не Корсака автограф. Последняя буква «я» — похоже, меня передали в женские руки. В груди всколыхнулось неприятное чувство. В мою жизнь внезапно ворвались женщины. Я посмотрел на окно, а там, словно отраженное в стекле, появилось ее лицо. Появилось и исчезло, когда я моргнул. Но, едва сел на кровать, увидел продолговатый со сглаженными краями отсвет на темной стене. Отсвет ее тела.

Не исключено, что я, например, подхватил сыпной тиф, подумал я. С высокой температурой мотаюсь по городу в окружении призраков. Может быть, эти видения — то, чего я не успел пережить и уже не переживу. Мир в лихорадке, мой не мой город в лихорадке, и у меня жар.

Я вышел на балкон. Дворец, затянутый легкой дымкой, уже не пугал своей картонной отчетливостью, как вчера и позавчера. По его шпилю ползали какие-то насекомые. Но то были не мухи. Рабочие на канатах, как дятлы, долбили трухлявый ствол этого гиганта, к которому я привык и который нехорошие люди хотят взорвать.

На столе криво лежал бумажник президента. Каково может быть содержимое портмоне доцента, бродяги и будущего главы Европы или, по крайней мере, нашей сельскохозяйственной страны. Хоть бы кто-нибудь сжалился надо мной и вколол в задницу несколько капель антибиотика, хоть бы упала эта проклятая температура. Я потрогал лоб, но он был холодный.

Что делать. Пойду в полицию. Дай Бог, чтобы в последний раз. Но что делать вообще. Это весна несет на хребтах ветров скверное настроение. Я поднял голову и увидел ее с подносом в руках, направляющуюся ко мне из комнаты жены. Однако, не успев дойти, она растворилась в косых ручейках солнечного света, полных веселых пылинок.

Выйду-ка я на балкон и, издав страшный космический вопль, обрушу на мир лавину проклятий. Но именно в этот момент пожарные снимут с крыши Центрального универмага орущего благим матом психа. Он меня опередит. Кошмар плагиата.

В жизни я всегда утешал себя тем, что кому-то хуже. Но кому сейчас хуже, чем мне. Может, только этому советскому космонавту, про которого все забыли, потому что нет уже Советского Союза, его отечества, а он все летает и летает.

А если это не сыпной тиф, а лишь то, чем она со мной поделилась. Она меня избрала себе в попутчики. Но ведь я ее любил, когда учился в школе, и когда сдавал выпускные экзамены, и когда познакомился со своей женой, которая нисколько не была на нее похожа, хотя мне казалось, у них есть что-то общее в мимике, улыбке, в необъяснимом очаровании.

Я стал жадно ее вспоминать, воскрешая каждую минуту: когда она стояла ко мне спиной в телефонной будке в своем якобы немодном костюме, когда, наклонив голову, поглядывала на меня в скверике за музыкальной школой, когда я срывал с нее одежду, а она удивленно и негодующе на меня смотрела, когда несла этот проклятый поднос, совершенно обнаженная и такая красивая, что я не забуду ее даже в аду, когда лежала навзничь с закрытыми глазами и с этой своей милой, невинной улыбкой, а ее груди ластились ко мне, или когда голубоватая слеза украдкой катилась по ее щеке. К черту. Не буду о ней думать.

Мое сознание — неглубокое озерцо, взбаламученное летним шквалом или рассеченное пером весла. А под его покрытой рябью поверхностью есть еще область замутившейся памяти. Поэтому прошлого нет. Любое прошлое возможно, и любое нетрудно мне приписать или внушить. Но почему эту девушку или молодую женщину со взглядом, как осенняя вересковая поляна, я помню испокон веку.

Мое сознание, которое живет благодаря работе сердца, мозговых извилин или почек, выплеснулось и увеличило до бесконечности вселенную этой женщины, чьего имени я даже мысленно не хочу произносить. Не может быть, чтобы все мое наслаждение и мука родились из дюжины фрикций. Неужели единственным драгоценным камнем, выплавленным из моей жизни, будет это непонятное приключение со странной молодой женщиной, которая появилась неведомо откуда и неведомо когда исчезнет. Слишком легко из меня выскакивают афоризмы. Мне бы календари редактировать. Лучше о ней не думать — каждая мысль вызывает дурманящее, удушливое, унизительное возбуждение. Но как заставить себя не думать.

Надо идти в полицию. Обряженная в полицейский мундир баба с яйцами будет меня допрашивать. Ну и пускай. Я уже ничего не стесняюсь. Всю жизнь был застенчив, а теперь потерял стыд. Может, я стану сексуальным маньяком и буду насиловать одиноких женщин. Хотя насилуют, как правило, люди робкие, которые в постели чувствуют себя неуверенно. Вдруг партнерша останется неудовлетворенной, и сразу возникнет какая-то неловкость. А так, под прикрытием жестокости и греха, можно рискнуть. Мужские амбиции не пострадают.

Я всю жизнь хожу по одним и тем же улицам. Когда-то это были тропки между трагическими развалинами, потом они превратились в печальные улочки небольшого социалистического города, а сегодня вырядились в одежды провинциального капитализма. Проехала машина с громкоговорителем на крыше. Рекламируют очередную новую партию или движение. Ветер унялся, тучи ненадолго разошлись, и наступил короткий час лета. Скоро на площади Трех Крестов зацветут магнолии.

Но над крышами почему-то клубится черный дым. Я слышу вой сирен. Какие-то люди бегут по кривой улочке. Мальчишки, сунув под мышку доски, на которых катались возле памятника крестьянскому вождю, тоже опрометью несутся в ту сторону.

Я остановился на перекрестке и равнодушно смотрел на неожиданное зрелище. Горел полицейский комиссариат. Горел снизу доверху. Изо всех окон вырывался огонь, подбитый черным как смоль дымом. Худосочные полицейские пытались вытащить с первого этажа письменные

столы и шкафы. Пожарные без энтузиазма поливали пылающее здание.

Толпа молча наблюдала за гибелью полицейского учреждения. Только раз кто-то свистнул, а кто-то засмеялся, когда один полицейский упал в лужу с охапкой папок. Возможно, там и мое дело.

Я достал свою повестку и бросил на раскаленную головню, упавшую с крыши мне под ноги. Посмотрим. И пошел в сторону Маршалковской улицы. Маршалковской жопы. Заразил меня президент. Придется ходить переулками.

Я обошел здание больницы. Выбрал неприметный, редко используемый вход. Осторожно открыл дверь и оказался в белом, не очень опрятном вестибюле. Сразу появился молодой человек в белом халате, похожий на Элвиса Пресли.

— Вы к кому?

Очень трудно сходу убедительно сформулировать невыполнимую просьбу.

— Я бы хотел повидаться с приятелем, который лежит у вас в кардиологии. Он американец, — добавил я для пущей важности.

— Миллионер, что ли? — спросил санитар и почему-то задумался.

— Да. Можете мне помочь? Я вас отблагодарю.

Элвис Пресли опять задумался. Я стал рыться в карманах, и он, прервав размышления, неторопливо подвел меня к лифту, предназначенному исключительно для больных на каталках.

Мы поднялись на четвертый этаж.

— Найдете сами своего знакомого?

— Конечно, — сказал я и осуществил свою благодарность.

Я пошел по коридору, заглядывая в приоткрытые двери палат, и в одной увидел своего далай-ламу. Он лежал полуголый, облепленный какими-то присосками, с которых свешивались провода. Над ним на маленьком экране деловито выписывала зигзаги светло-зеленая линия.

— Вот я тебя и отыскал, Тони. Можешь забрать свой залог. Полиция сгорела.

Он открыл глаза, однако в первую минуту меня не узнал.

На нем были дорогие американские пижамные брюки, но простыня вся в пятнах.

— А, это ты, — наконец сказал он, немного оживившись. — Хорошо, что пришел. Я тебя ждал.

— Как ты себя чувствуешь?

— Неплохо. Хорошо. Но я спешу. Тебе надо приниматься за дело.

Я заметил, что за дверью кто-то стоит. Заинтригованный, вышел в коридор. Возле палаты подпирал стенку тот самый черный славянин, которого я видел в «Деликатесах».

— Что вам тут нужно? — спросил я.

— Он стукач, — гортанным голосом мрачно изрек мой кавказский соплеменник.

— Посторонним здесь нельзя находиться.

Приверженец Славянского Собора молчал, делая вид, что не понимает.

— Сестра, сестра! — окликнул я проходящую мимо медсестру. — Кто это?

Она с ужасом посмотрела на кавказца.

— Господи Иисусе, опять он здесь. Пять раз его полиция увозила. С ним ни на одном языке нельзя договориться. Бартек! Мацек! — крикнула она в глубину коридора.

На зов явились два санитара в очках.

— Заберите, — указала сестра на черного славянина.

Юные интеллектуалы подхватили незаконного посетителя под руки. Он не сопротивлялся, но и не содействовал выдворению. Покрасневшие от напряжения санитары поволокли его к лифту для больных.

Я вернулся к Тони.

— Его уже нет. Я велел его выгнать.

— Слушай, это какая-то паранойя. — Тони попытался приподняться на локтях. Зеленоватая линия на мониторе мгновенно расщепилась. — Привязался и не отстает. Рехнуться можно.

— Он говорит, что ты был осведомителем.

— Где я был осведомителем?

— В России, наверно. Не знаю.

— В Воркуте? У меня есть свидетели.

— Не волнуйся, Тони. У тебя сразу начинается сердцебиение.

— Да ведь это ужасно. В лагере я был чист. Это святое.

— Столько лет прошло. Ты можешь не помнить, — я сказал это таким тоном, каким говорят о пустяках, однако с оттенком двусмысленного превосходства.

— Как не помню? Я только этим и живу. Потому и сюда приехал.

— Ты хотел меня разыскать и попрекнуть.

Тони упал навзничь и застонал. Зеленоватая линия скакала, как шальная.

— Я прилетел, чтобы создать первую в мире партию прощения. Чтобы никогда больше людей не терзали по ночам демоны ненависти и страха. Погоди.

Он стал нервно шарить под подушкой. Вытащил большой немного помятый желтый конверт.

— Здесь все что нужно. Деньги, необходимые документы и свидетельства. Найми самого лучшего адвоката. Мы зарегистрируем партию прощения. Крестовый поход прощения.

Я взял конверт, повертел в руках. Под окном то и дело взвывали и умолкали агрессивные сирены «скорых».

— Я тоже многого уже не помню, — сказал я сам себе.

Тони подпрыгнул на кровати, и его линия жизни тоже подпрыгнула.

— А я помню каждый день, каждый час. Он слишком молод для лагерника.

— Его могли взять ребенком.

Тони бессильно упал на подушку с фиолетовым штампом.

— Он меня с кем-то спутал.

— Все всё путают. Главное не в этом.

— Да, ты прав. Главное — Крестовый поход прощения. Чтобы закрыть прошлое.

— Со временем оно само закроется. А потом снова откроется — по-другому окрашенное и с новыми приметами. Ты жалеешь, что приехал?

— Нет-нет. Теперь я уже здесь останусь. Может быть, навсегда. Не потеряй конверт.

— Тони, я не знаю, что со мной будет. Я запутался.

Но он меня не слушал. Тяжело дыша, стирал пот со лба исколотой рукой, обклеенной пластырями.

— Я удрал на край света, чтобы забыть, — прошептал. — И не забыл. Пришлось вернуться. У меня все чисто.

— А знаешь, Тони, знаешь, я несколько ночей не спал. Думал о твоем тогдашнем аресте. Я своей памяти не доверяю. В меня можно, как дискету, вставить чужую память.

— Нет-нет. Чужой памятью не воспользуешься.

Я долго молчал.

— Тони, я уже не знаю, как было на самом деле с той девушкой у меня в квартире.

— А я все помню. Секунду за секундой. Каждый жест, каждую каплю пота и судорогу боли. Крестовый поход прощения необходим. Он избавит людей от мучений. Всех: в тюрьмах, лагерях, трущобах, в резиденциях и тесных комнатушках. Ладно, иди, может, адвокатские конторы еще открыты. А несчастному этому дай деньги, доллары, пусть возьмет и уезжает обратно в Россию. Они всегда так жили. Им не привыкать.

Вошла медсестра.

— Ой, нехорошо, пан Мицкевич. Пожалуйста, лежите спокойно.

Потом обратилась ко мне:

— Больного запрещено посещать. Еще рано. Взгляните на экран.

— Тони, я должен идти. Не знаю, встречались ли мы с тобой когда-нибудь, но это неважно. Будь здоров.

— Помни. Крестовый поход прощения. А в Воркуте, наверно, уже начинается оттепель.

В коридоре меня остановил немолодой врач с внешностью философа.

— Вы друг больного?

— Да. Друг.

— Он вызвал своих врачей из Америки. Кажется, они уже летят. Но прогноз неутешительный. Постоянная мерцательная аритмия.

— Ему бы еще пожить и уладить свои дела.

— Ба, — сказал врач. — Такое дается только избранным. Но кто из нас избранный? — И засеменил в глубь коридора.

Я вышел на улицу. Под маркизой магазина стоял и курил сигарету славянин с Кавказа. Он окинул меня хмурым взглядом. Я ускорил шаг. А я живу. Только зачем живу. Светило неожиданно горячее солнце, и можно было подумать, что сейчас середина лета. Девочки лизали мороженое. Дворовый пес с лаем гонялся по мостовой за машинами. Ласточки летали высоко над крышами. Должно быть, к хорошей погоде. Зачем он мне дал этот конверт. У меня и прощать-то уже нету сил. Вдруг среди реклам и киосков мелькнуло знакомое лицо под круглой шапочкой темных волос, с глазами, как перелески, которые ранней весной усыпали все пригорки и все лесистые склоны моего детства, детства, забытого по пути. Может, и я перед ней виноват. Может, я обидел ее отца и не помню, что обидел. Как она сказала. За все в жизни нужно платить. Да. Но ведь люди автоматически повторяют это с незапамятных времен. Одни платят, у других есть дармовой абонемент. А, неважно, как говаривал бывший помощник комиссара Корсак.

А она приближается, идет ко мне, а она лежит на спине, и клочок заблудившегося света притулился к тому местечку между плечом и шеей, а она отворачивает голову, и слеза с голубоватой искоркой катится по щеке. Брошусь-ка я сейчас под трамвай, и все дела.

И тут я увидел диковинный экипаж, похожий на дрезину с рычагами. Спереди вращался вал ничем не прикрытого мотора. За рулем сидел бывший помощник комиссара Корсак. От ветра или быстрого движения остатки его волос растрепались, и разжалованный полицейский немного смахивал на пасхального цыпленка.

— Кого я вижу! — радостно воскликнул он. — Вы на почту? — и указал взглядом на мой желтый конверт.

— Нет. Не знаю. Пожалуй, домой.

— Поехали с нами. На первое весеннее гарден пати.

— Да у меня времени нет, — робко попытался я отговориться.

— Залезайте без разговоров. Ребята, дайте человеку сесть.

Несколько молодых людей, сидевших на корточках в открытом кузове, послушно потеснились.

— Ну, чего вы там канителитесь! — крикнул Корсак.

Молодые люди силком втащили меня к себе, колеса взвизгнули, и мы понеслись по Маршалковской.

— Что новенького? — перекрикивая рев мотора, спросил Корсак. — Дело прекращено?

— Не знаю. Комиссариат сгорел.

Корсак удовлетворенно рассмеялся.

— Это псих президент подпалил. Он давно примеривался. Но я, пока там был, глаз с него не спускал.

— А куда мы едем?

— Приедем — увидите.

Мы проскочили через центр и теперь мчались по пригородам. Среди голых деревьев, окутанных светло-зеленой дымкой лопающихся почек, стояли новехонькие виллы. Одни приземистые, модерновые, как в Калифорнии, другие причудливые, напоминающие мавританские бани, третьи более скромные — стандартные подваршавские цементные коробки. Солнце катилось невысоко над горизонтом, пахло пробужденной к жизни землей.

Корсак энергично манипулировал рычагами, голый мотор то начинал бешено вращаться, то внезапно сбавлял обороты. Перед глазами мелькали деревья, дома, заборы. Рядом со мной с суровой покорностью сидели на корточках, держась за борта, ребята Корсака. Одни были одеты небрежно и по-славянски, другие, вероятно, отборные кадры, обряжены в черную кожу, что мало соответствовало славянским традициям.

— Вы знаете языки? — крикнул Корсак.

— Слабо.

— Жаль, нам нужен пресс-секретарь.

— Президент уже обещал мне пост министра.

— Дегенерат. Мы его пошлем на перевоспитание. Благо будет куда.

Корсак отпустил руль, чтобы проделать характерное движение локтями, предваряющее процедуру приглаживания волос на висках. Машина резко накренилась влево, нас в кузове качнуло вправо.

— Держитесь, сейчас будем на месте.

Корсак еще несколько раз оторвал от руля руку, приветствуя попадавшихся на пути славян, и неожиданно свернул на вымощенную клинкером боковую дорогу. Над нами сомкнулись кроны статных тополей, обсыпанные микроскопическими листочками.

Путь экипажу преградили массивные железные ворота. Корсак остановился, поставив переключатель скоростей на нейтраль. Из кустов вылез молодой человек в камуфляже без опознавательных знаков и с автоматом Калашникова. Видно, узнав Корсака, он небрежно козырнул, поднеся руку к непокрытой голове, и стал отворять ворота. Машина въехала за ограду, и я остолбенел. Мы были в пуще времен Пястов или Ягеллонов. Величественные вековые деревья с достоинством шелестели ветвями. Я увидел дубы, помнящие, вероятно, Тридцатилетнюю войну, клены эпохи шведских нашествий, ясени почтенного возраста с огромными черными дуплами; высохшие от старости ели горделиво покачивались под легким напором местного ветерка. Внизу полно было бурелома, опутанного уже зелеными вьюнками, а заболоченную землю покрывала жутковатая мешанина кустов, высоких трав и трухлявых пней. Над деревьями со зловещим, как в старых сказках, криком кружили стаи грачей или галок. Перед нами трусил не слишком напуганный заяц, на полянках между стволами деревьев, как мне показалось, паслись лоси. Можно было подумать, что из чащобы на дорогу вот-вот вылезет настоящий медведь преклонных лет.

Рванув с места, Корсак покатил по узкой асфальтовой дорожке. Теперь мы ехали мимо урочищ, диких лугов, мрачных дубрав, перемежавшихся светлыми рощами. Казалось, конца не будет этому дремучему лесу в нескольких километрах от центра европейской столицы — не Парижа, конечно, но все же, — и я уже смирился с мыслью, что до места мы доберемся только к ночи, как вдруг бор расступился, и мы очутились на небольшой поляне посреди не то парка, не то ухоженного леса. Я увидел дворец в стиле барокко, на фасаде которого было растянуто громадное полотнище с надписью «Славянский Собор. Бросок на Европу».

Корсак резко затормозил. Его ребята соскочили с дрезины, разминая затекшие мышцы. Я остался в кузове, ожидая, что будет дальше. На поляне были расставлены столики с едой и напитками. Солнце добродушно пронизывало своими лучами бутылки с чистой «Выборовой», национальным напитком здешних славян.

К Корсаку подошли несколько человек — видимо, начальство. Це-

ремонно поздоровались и стали по-свойски обниматься. И тут я с некоторым недоумением заметил около центрального столика двух офицеров бывшей советской армии. Они были в длинных шинелях со множеством золотых пуговиц, солнце играло на золотых погонах и золотых шнурах, украшавших околыши фуражек. Казалось, русские завернули сюда по дороге: к их бедрам были прислонены видавшие виды велосипеды, навьюченные котомками. Один был генерал высокого ранга; второй — помоложе, майор или подполковник, — должно быть, сопровождал его в качестве адьютанта. Оба не выпускали из рук рулей своих велосипедов, поскольку еще никто не приглашал приступить к трапезе.

И вдруг я увидел нечто, повергшее меня в еще большее изумление. А именно: на террасе выстроенного в стиле барокко, а точнее, в смешанном стиле барокко и классицизма дворца появилась и неторопливо направилась к собравшемуся вокруг столов обществу какая-то дама. Можно было подумать, материализовался дух бывшей владелицы дворца, но то была Анаис в костюме маркизы XVIII века. Ее высохшее лицо покрывал слой румян, присыпанных ярко-белой пудрой, на щеке чернело пятнышко — так называемая мушка.

Генерал оцепенел; ни от кого не укрылось, что появление таинственной дамы из давно минувшей эпохи произвело на него ошеломительное впечатление. Корсак по привычке собрался было прогнать Анаис и даже, понизив голос, стал звать охрану, но, поскольку в русском генерале явно взыграли чувства, предпочел не устраивать скандал.

Я осторожно приблизился к столикам. В эту минуту генерал нервным движением развязал котомку и, раскрыв ее, указал рукой внутрь.

— Тут у меня валюта, — по-русски сказал он, не сводя глаз с Анаис. — Везде валюта, — и похлопал ладонью по другим котомкам.

Затем стал сбивчиво объяснять польским друзьям, что перед уходом из Германии все распродал, даже загнал служебный танк, и потому возвращается на родину на велосипеде.

Среди гостей шныряли официанты. Одни в косоворотках и казацких шароварах, другие в шляпах с цветными ленточками и ловицких[1] портах. Был там даже чех, правда, в обычном, не национальном костюме, видимо, нанятый в последний момент.

— Я все продал, — откровенничал генерал, сверля взглядом Анаис. — Подводную лодку, ракеты, даже водокачку.

Гости выпили по рюмке, отдельные группы перемешались, генерал с адьютантом ходили от стола к столу, волоча за собой велосипеды, чему, зная о содержимом генеральского багажа, не следовало удивляться.

Внезапно Корсак захлопал в ладоши, а когда воцарилась тишина, поднял стакан с прозрачной жидкостью и крикнул на всю древнюю пущу:

— За славянскую Европу!

Гости оживились. Все пили до дна и смачно целовались.

Кто-то и мне протянул полную стопку.

— Пей, — услышал я хрипловатый и как будто знакомый голос.

— Не могу. У меня было сотрясение мозга.

— Не беда. От спиртного мозги мигом встанут на место. Пей, приятель, грех не выпить на дармовщинку.

И подтолкнул мою руку, а я послушно выпил. Потом долго не мог перевести дух и прийти в себя. Согнувшись, с вытаращенными глазами вертелся волчком, а кто-то незлобиво колотил меня по спине. Это, конечно же, был президент со своими придворными дамами.

— И вы тут? — выдавил я наконец.

— Плюрализм. Экуменизм, — изрек президент и старательно стряхнул капли с поросли вокруг рта.

Мимо нас прошел генерал, ведя за руль велосипед. Наклонившись к сопровождавшей его Анаис, он повторял страстным баритоном:

[1] Ловицкое княжество — владения гнезненского архиепископства; с 1795 г. принадлежало прусскому правительству, а с 1838 г. — царю Николаю I.

— Я вас люблю.

На краю поляны, стараясь не привлекать к себе внимания, прохаживались молодые люди с автоматами Калашникова, небрежно опущенными дулами вниз. За стволами столетних деревьев затаились не то собаки, не то волки. Ветер унялся, и из глубины бора доносился извечный птичий щебет.

— Я вас люблю, — твердил уже отдалившийся от нас генерал, не выпуская руля велосипеда. Анаис умиленно на него взирала.

Мне казалось, что поляна и дворец, который явно перестраивался после каждой прокатившейся по здешним краям войны, что этот дворец и поляна окружены горящими ясным пламенем кострами. Но вокруг пылали кусты форзиции, нашего предвестника капризной весны. Солнце, слегка разрумянившееся, уже цеплялось за голые кроны самых высоких деревьев.

К поляне один за другим подкатывали шикарные дорогие автомобили. Из них вылезали наши бизнесмены — довольно молодые и пузатые. Они вели своих дам, одетых с базарной элегантностью. В чаще ревел какой-то зверь, и я подумал, что, возможно, это раненый лось.

На островке засохшей травы сидел президент. Над ним склонялись три студентки, с которыми он недавно меня познакомил. Президент, понурив голову, тупо смотрел в землю.

— Что с вами, пан президент?

— Ослаб, — осовело сказал он.

— Перепил белорусского самогона, — сказала увечная студентка. — Говорила я, что это отрава?

— Времена такие, а я слабый, — скулил президент. — Нас зальет потоп желтых, черных и этих, крашеных славян. Пить!

— Принесите воды! Быстро! — скомандовала калека.

Одна из студенток, самая высокая, страшно грудастая и притом усатая, бросилась к столикам.

— Воды нет! — простонал президент. — Как это у Шекспира?

— Что у Шекспира?

— Да ничего. Потом вспомню. Европа погибает. Несчастная наша планета.

Бедный президент, но и я бедный. Страшно высунуться из этой пущи на Божий свет. И вдруг я увидел быстро идущую к дворцу Веру или Любу, но ее тут же заслонил высыпавший из автобуса народный оркестр. Я сделал несколько шагов и остановился в растерянности. А может, углубиться в эти дебри, и пускай меня сожрут дикие звери.

— Хотите в меня влюбиться?

Я обернулся. Передо мной стояла белокурая, по-мальчишески коротко стриженая женщина. Одета она была броско, в молодежном стиле. Черная юбчонка едва прикрывала пупок.

Женщина смотрела на меня вызывающе, но в ее улыбке чувствовалось какое-то ласковое тепло. А волосы были такие светлые, что казались залитыми лунным светом.

— Простите, это невозможно. Я уже влюблен.

— Жаль. А в кого?

— В одну молодую женщину. Я знаю о ней все, но не знаю, кто она.

— Удивительно.

Приятно было смотреть на эту девушку — пухленькую, аппетитную, словно только что вернувшуюся с дикого приморского пляжа.

— Я сам себе удивляюсь.

Небо еще не начало темнеть, но где-то у горизонта показался прозрачный призрак луны. На востоке ярко мерцала одинокая звезда. Всегда, когда я гляжу на первую яркую звезду, мне кажется, что к нашей усталой планете приближаются неизвестные гости. Я напрягаю зрение, вижу, что звезда как будто движется по изломанным геометрическим линиям, и уверенность, что это пришельцы издалека, крепнет, но в ут-

ренних газетах о них нет ни слова, страницы заполнены ежедневной политической абракадаброй, сумбурной смесью глупости, подлости и коварства.

— А я-то надеялась. Я на вас сразу глаз положила.

Смелый вырез пестрой блузки открывал красивую грудь.

Казалось, от нее веет запахом свежескошенного сена или отчего дома, полного засушенных трав и яблок, которые хранятся в «холодной комнате» до самой весны.

— Вы славянка?

— Нет, я литовка.

— Литовка? Что же вас сюда занесло?

— Я познакомилась с одним немцем, студентом. А он думал, здесь слет Поляков, Желающих Стать Немцами.

— Экая незадача.

— Да уж. Но он тяпнул стаканчик и кое-как нашел с ними общий язык. Теперь лежит там, в кустах форзиции.

Послышался какой-то странный гул и постукиванье. Кто-то проверял микрофон. Гости утихли, устремив взоры в сторону праславянского дуба, под которым стоял бывший комиссар Корсак.

— Уважаемые дамы, уважаемые господа, а вернее, дорогие сестры и братья, — разнеслось по поляне из замаскированных громкоговорителей. — Начинаем аукцион исторических национальных реликвий. Вырученные средства пойдут на организацию великого броска на Европу.

Раздались аплодисменты. Народный оркестр исполнил короткий хейнал[1]. А я с непонятным сожалением смотрел на литовку, которую вполне можно было назвать сексапильной. Она заметила мой пристальный взгляд и ответила улыбкой.

— Прогуляемся вокруг дворца? — спросила.

— Обойдем дворец и полюбуемся на дремучий лес, похожий на литовские.

— У нас уже нет дремучих лесов. Но, может, вы хотите принять участие в аукционе?

— Нет. Я сюда тоже попал случайно. Знаете, меня обвиняют в убийстве молодой женщины, — почему-то сказал я. То ли чтобы похвастаться, то ли чтобы шокировать девушку.

Она посмотрела на меня, прищурясь. Чем темней становилось на поляне, тем светлее казались ее короткие, ореолом окружающие голову волосы.

— Э, не верю. Я готова перед кем угодно за вас поручиться.

Мы нерешительно направились в сторону дворца. Вдогонку понесся усиленный мегафоном голос, коротким гулким эхом отразившийся в раскинувшемся посреди города бору:

— Первый лот. Почечный камень короля Стефана Батория.

Я оглянулся и опять увидел Веру или Любу, привставшую на цыпочки за спинами участников аукциона. Я блуждаю среди призраков. Когда же наконец все выяснится и упорядочится.

— Жаль, — сказала девушка в золотистом жакете и пестрой блузке. — Я бы вас увезла в Литву. Знаете, я живу в волшебном месте, где поэтическая Вилия впадает в таинственный Неман. Там у слияния рек есть такой треугольник, в котором стоит небольшой, просторный красновато-золотой Старый Город, похожий на кукольный городок. В этом городе любил Адам Мицкевич. Бродил со своей возлюбленной по окрестным разлогам; в тамошних урочищах над быстринами еще и сейчас ощутима какая-то тревога и всплески энергии, возбуждавшие в них страсть.

Мысленно я назвал ее девушкой. Но она женщина, зрелая женщина, живущая в Литве, отвоеванном у лесов краю, по которому гуляют

[1] Сигнал времени, исполняемый трубачом.

штормовые ветры с умирающего Балтийского моря.

С другой стороны дворца была большая терраса, посыпанная гравием площадка и длинная каменная балюстрада. Мы подошли к этой балюстраде. От нее круто спускался вниз поросший пробуждающейся к жизни травой откос, который упирался то ли в прудик, то ли в овальный бассейн с недействующим фонтаном посередине. Оттуда в глубь леса, или бора, уходила, исчезая в подступающем сумраке, широкая просека.

И тут мы увидели, что вдоль пруда бежит Анаис в развевающихся юбках маркизы, а за ней гонится русский генерал, не выпуская из сильных рук руля велосипеда.

— Я вас люблю! — сдавленным голосом кричал он. И упорно втолковывал беглянке, что полюбил ее с первого взгляда. За генералом, тоже с велосипедом, трусил адьютант, полнотелый офицер, своим бледным лицом напоминающий Наполеона.

Анаис кинулась на просеку. Преследователи — за ней. Какая-то нежно обнявшаяся парочка направлялась к террасе, но, заметив нас, резко повернула и углубилась в кусты форзиции.

Из-за дворца донесся надрывный голос аукциониста:

— Лот номер пять. Бюстгальтер полковника Эмилии Плятер.

Мы сконфуженно переглянулись.

— Это ничего, — сказал я. — Славяне стремятся к великой цели.

— Завтра я уезжаю в Литву, — тихо сказала девушка.

— Не удалось похитить ляха.

— Не беда. Я еще вернусь. Берегитесь.

В этот момент громко, пронзительно запела какая-то птичка. И весь лес смолк, слушая ее.

— Это соловей? — спросил я.

— Возможно, первый соловей. К нам они прилетают позже, зато гостят дольше. Желаю вам счастья в жизни.

— Взаимно. Вы хорошенькая, привлекательная девушка, найдете у себя дома какого-нибудь Будрыса. И лях не понадобится.

— Не увиливайте. Я сюда вернусь.

В сгущающемся сумраке ее черты расплывались, и иногда мне вдруг начинало казаться, что рядом со мной, опершись на балюстраду, стоит она, эта зараженная смертью молодая женщина. На небе появились новые звезды. С лесной просеки поднимался туман.

Литовка молча пошла к аллейке, я подумал, что надоел ей, но через минуту она неторопливо вернулась, вертя что-то в пальцах.

— Это вам. От меня. На память.

И протянула хрупкий цветок.

— Что это? — изумленно спросил я. — Перелеска? Уже зацвели перелески?

— Может, еще не зацвели. Но одну я для вас наколдовала. Перелеску из Литвы.

Я увидел, что по крутому откосу, цепляясь за редкие кустики, карабкается человек. Он тащил на спине что-то громоздкое и тяжелое, со свистом дышал. Это был Бронислав Цыпун, мой сосед. Из-за его плеча щерил зубы советский ручной пулемет Дегтярева.

— Матерь Божья, что вы здесь делаете?

— Я начальник охраны. Подрабатываю к пенсии. Хоть и не нуждаюсь, а руки чешутся. Из этого не промахнешься, — он скинул пулемет со спины и поставил на землю прикладом вверх. — Незаменим при расстрелах, — и добродушно рассмеялся. — Это я просто так говорю, чтобы вас попугать. Вы всю жизнь, как страус, прячете голову в песок. К славянам записались?

— Нет. Я здесь случайно.

— Наслаждайтесь жизнью. У них денег куры не клюют. Только откуда они их берут? Положим, я-то, возможно, и знал бы. Ну, пойду в обход. Может, вместе вернемся домой? У меня тут пикап для оружия.

— Нет, спасибо. Я не знаю, как у меня все сложится.

— Только остерегайтесь женщин.

И ушел со своим венчиком поредевших кудрявых волос вокруг большой головы. Мы уже реализуем идею Мицкевича, подумал я. Присоединяемся к Крестовому походу прощения. Я поднял глаза. На нас, усердно моргая, смотрели любопытные звезды.

Литовки уже не было. Я не спеша вернулся на поляну. Официанты с бутылками в руках наблюдали за ходом аукциона. Корсак как раз высоко поднял маленький продолговатый предмет, похожий на вечное перо.

— Лот номер семнадцать. Зубная щетка ксендза Скорупки, героя битвы за Варшаву.

Что я здесь делаю. Просто убегаю. Но от чего убегаю.

Надо собраться с мыслями. Меланхолия. Всех поторапливают, подгоняют, подстегивают железы. Жизненные импульсы. Не смешно. Совсем не смешно. Так оно есть. Куда я бреду. Лучи прожекторов шарят по прикорнувшим на краю поляны автомобилям, независимо от того, шикарные это лимузины или жестянки. Свет толкает в спину нарядных женщин на низких или на высоких каблуках, утирает вспотевшие лысины, вспыхивает на затейливых или небрежных прическах; какая-то сила приводит все это в движение, тормошит, подхлестывает и останавливает, щекочет, ласкает, причиняет боль, на мгновение наполняет страхом; страх, алчность, жалость к себе, рвущаяся наружу ненависть, слезы, гогот, ночь подступает со всех сторон, а у меня нет дома, такого дома, какие были когда-то, чужеземцы, и я чужеземец, всё, лишь бы избавиться от этого шума в голове. Холодно. Ночь будет холодной. Возможно, даже с заморозками.

А тут на перевернутом стульчике сидит Анаис и плачет.

Возможно, ей больше всех нас досталось. Ей, легкомысленной, жадной к жизни женщине. А может, в нее угодила какая-то частица, миллиардная доля атома, которая случайно залетела в нашу галактику и никак из нее не вырвется.

— Помочь вам добраться до дома? — спрашиваю я охрипшим голосом и слышу в ответ бессвязные обрывки слов.

— Спасибо. У меня нет дома. — Она пытается говорить с той приторной слащавостью, которая стала признаком окончательной утраты нашего шаткого равновесия. Но получается просто шепот.

— Ни у кого, по сути, нет дома. Мы перепрыгиваем из могилы в могилу.

— Спасибо, что заговорили со мной. Я ведь на самом деле мужчина. Даже в армии служил. Мы знакомы, правда?

— Все друг с другом знакомы и похожи, как кошки. Где-то здесь была моя знакомая литовка.

— Спасибо, и благослови вас Бог.

— Я потерял след. А, неважно.

Я хотел погладить ее-его по голове, но только слегка коснулся жалких локонов. Мы вступаем в весеннюю пору. Мне говорили, что у меня хороший гороскоп. У пятидесяти миллионов моих ближних хорошие гороскопы. Ученые предупреждают, что пролетят каких-нибудь несколько лет, и груз людской плоти станет для земли непосильным. Земной шар не сможет без передышки таскать нас по космосу.

Пойду-ка я в парк, освежусь немного, но ведь и без того холодно. Я вижу бывшего помощника комиссара Корсака и президента. Они размеренно хлещут друг друга по щекам, и это похоже на детскую игру в ладушки. А может, они и вправду играют.

Передо мной ограда из толстых железных прутьев, мокрых и шершавых. Вечерняя роса. Я помню с детства — своего или чужого — вечернюю росу, то есть множество светящихся точек на черной траве. Иду вдоль ограды, но выхода нигде нет. У нас же всегда есть выход. По край-

ней мере один, сказала она; какая у нее трогательно пухлая рука и волнующе тяжеловатые бедра. Есть выход, кто-то отогнул один прут.

Я протискиваюсь наружу и с удивлением убеждаюсь, что ничего не слышу. И вот я уже на незнакомой скоростной автостраде. Взад-вперед молчком проносятся автомобили. Таинственное движение, сотканное из миллионов слабеньких импульсов. Из полета птицы. Из судьбы птицы, подстреленной невидимой пулей.

Поищу автобусную остановку.

***

Слава тебе, небытие, ничто, вечная пустота. Я преклоняюсь перед тобой, тоскую по тебе и боюсь тебя. Я, стоящий одной ногой на этой Земле, которая меня удивляет, огорчает и изредка потрясает мимолетной красотой, ничего не предвещающей и ничего не сулящей. Я, которого бездумные вихри, срывающиеся с искореженной, сморщенной поверхности земного шара, уносят в небо, я, который с таким трудом возвращаюсь на землю, всякий раз протирая от изумления глаза, я хотел бы оставить после себя сгусток вечной энергии, клубок устойчивых волн, неистребимый след на мерзлоте бесконечности.

Не подумайте, что мною руководит эгоизм или тщеславие.

Я хотел бы когда-нибудь проникнуть в целое и понять хоть частицу. Пусть моя мука на протяжении краткого мига существования даст мне право познания, хотя какого познания, я не знаю сам.

Я ничему больше не желаю подчиняться, бреду, собрав последние силы, против течения, изо дня в день терзаемый одной монотонной, навязчивой, унизительной, лишенной смысла мыслью: что это значит? И что значу я?

Слава тебе. Но кому? Но почему?

***

Я почувствовал, что надо мной кто-то наклоняется. Легонько, точно охапка трав, восточных трав. Повеяло нежным теплом дыхания. Я осторожно разомкнул веки.

— Это я, — шепнула она.

— Как ты сюда попала? Я не запер дверь?

— Я прохожу сквозь стены и сквозь решетки. Ни горы, ни моря для меня не преграда.

Я видел затененное мраком и оттого немного чужое лицо.

Видел глаза с неяркими искорками улыбки. Она поцеловала меня в губы, а потом выпрямилась и встала надо мной на колени. Лениво подняла руки, откинула волосы. Я снова увидел ее после многочасового блуждания по Варшаве. Протянул руки, чтобы до нее дотронуться. Но темнота искажала расстояние.

— Что, любимый? — тихо спросила она.

— Я хотел тебя обнять.

— Видишь, я сдалась. Пришла к тебе.

— Ты целый день от меня убегала. Я на тебя натыкался, но через мгновенье ты опять исчезала навсегда.

— Я никогда больше не уйду.

Округлость бедер твоих как янтарное ожерелье, подумал я. Живот твой — точеная чаша. Чрево твое — ворох пшеницы, окруженный лилиями. Сосцы твои как двойня серны.

— Иди. Иди ко мне.

Ее окутывало тусклое мерцание моего уличного фонаря. И оттого казалось, что она выплывает из угасающей вечерней зари. Она очень долго ко мне склонялась, пока я не почувствовал на груди ее легкую и горячую тяжесть. Мы, как во сне, перекатились набок, сплетясь в объятии.

Теперь я уже ее не видел. Только слышал шум ее или моей крови. По жестяному подоконнику забарабанил мимолетный град или дождь.

— О, как хорошо, — шепнула она. — Как хорошо.

Мы долго летели в багровой тьме на самое дно ада. Если существует такой ад для безгрешных людей. Очнулись, утомленные, соединенные потом трудов своих и свободные.

— Я бы сейчас закурила.

— Ты ведь не куришь. И я не курю.

— Значит, не закурим. Это тоже приятно.

— Мне иногда кажется, что ты говоришь моими словами.

— Твоими мыслями. А ты моими. Может, потому я тебя и выбрала.

— Нет. Это я тебя выстрадал. Ты должна была ко мне прийти с другого конца света.

— Токио не устроит?

— Нет, слишком близко.

— А Новая Гвинея?

— Это уже лучше. Что ты там делала?

— Год преподавала в художественной школе.

Поверх стола я видел в другой комнате себя, сгорбившегося над доской секретера. Подглядываешь, мерзавец, мысленно сказал себе. Но я там сидел неподвижно. Просто мрак весенней ночи размазывал контуры и создавал навязчивую иллюзию движения.

— И все же мне бы хотелось знать правду.

— Ох, правда банальна и неинтересна. Вымысел куда краше.

— Сколько у нас еще впереди жизни?

— Не знаю, и никто не знает. Может быть, много, чересчур много, а может быть, совсем мало.

— Одежды его белы как снег, волосы мягкие, как чистая шерсть.

— Что это?

— Не знаю. Я начинаю обретать память. Я все вспомню. Но стоит ли вспоминать? Немалый путь пройден с дырявой памятью.

— Не ты обретаешь память, а она начинает трудиться, пожирая оцепеневшие пространства.

— Знаешь, мне хочется заглянуть в таинственный бумажник, который лежит на столе.

— Откуда он у тебя?

— Дали по ошибке в полиции.

Я выскочил из постели. За голым окном спал город. Черная тень Дворца лежала на крышах домов. А справа от него зеленовато светилась та самая звезда, за восходом которой я наблюдал в дремучем лесу посреди столицы. Звезда или нечто, пожаловавшее из неизвестного измерения, видимое на земле только мне одному.

Закрываясь руками и подскакивая, я вернулся в кровать.

— Ты меня стесняешься? — спросила она.

— Я стесняюсь всех и всего.

— Нехорошо. Значит, мы еще немножко чужие.

Я порылся в бумажнике.

— Ничего нет, — сказал разочарованно.

— Потому тебе его и дали. На память.

— Стоп, что-то есть. Я зажгу свет.

— Нет, не надо. Тогда что-то нарушится. Я боюсь.

— А видишь в той комнате тень сгорбившегося человека?

— Погоди. Да. Там что, кто-то сидит?

— Это я.

— Ты?

— Да. Но тот я замер, чем-то озабоченный или подавленный каким-то предчувствием, а может быть, кается в грехах. Он уже десять лет меня караулит.

— Оставим его здесь. А сами убежим на край света.

— Или на тот свет.

— Или на тот незнакомый свет, заселенный несчастливыми возлюбленными.

Я подошел к окну, поближе к рыжеватому отблеску уличного фонаря.

— Ну и что это?

— Старый билет парижского метро.

— Еще одна реликвия?

— На обороте что-то написано:

С А Т О Р
А Р Е П О
Т Е Н Е Т
О П Е Р А
Р О Т А С

Анаис

В глубине города мчался запоздалый ночной трамвай, скрежеща и кряхтя на поворотах.

— Что это значит? — спросила она.

— Не знаю. Не понимаю. Мне только имя знакомо — Анаис.

Бродит по городу такой человек, который не может перешагнуть границу нашей действительности. Он-она по другую сторону, но не знает этого, и мы не знаем.

— Покажи билет.

Я послушно вернулся, присел на край кровати. Что-то промелькнуло в моем взбаламученном мозгу — то ли смутное ощущение, будто когда-то я уже сидел на краю этой кровати, то ли мимолетное удивление.

— Странно, — сказала она. — Но что-то наверняка означает. Мы будем ломать над этим голову всю оставшуюся жизнь.

Она лежала на моей кровати, которая теперь, на исходе ночи, была уже не кроватью, а островком серебристого мха, лежала, прикрытая редким сумраком, как вуалью. А я за нашу короткую совместную жизнь все не мог на нее наглядеться.

— Попытаемся заснуть?

— А ты б не хотел вместе заснуть навсегда? Предпочитаешь рискнуть и еще много раз встречать утро?

— Я предпочитаю и то, и другое.

— Это невозможно, — шепнула она.

Что-то тихонько потрескивало в стене над нашими головами, и я подумал: наверное, она принесла сверчка, чтобы согреть этот неживой дом.

Я лег рядом с ней, обнял ее правой рукой, и мы оба смотрели в пустой потолок. Ко мне начинает возвращаться память, думал я, но я забываю о том, что происходит сейчас.

Повседневность превратилась в страшное нагромождение непонятных событий, двусмысленных происшествий, загадочных сюрпризов. Бог мой, чем все это кончится.

— Ты на меня обижен? — шепнула она.

— А она?

— Ты себе внушил. Случаются такие предвосхищения. Просто ты меня ждал, а я была уже близко.

И мы снова соединились.

— Видишь зеленую звезду? Она описывает круг по небу и наблюдает за нами. Это наша звезда.

— Спи, любимый. Я с тобой, — сдавленным голосом шепнула она.

— И я с тобой.

— Спокойной ночи тебе здесь и спокойной ночи тебе там, бодрствующему над доской секретера, — прерывисто дыша, говорила она.

— И ничего не прояснилось.

— Но что-то у нас есть. Несколько наших ночей.

— Если они были, если это не бред.

Она положила мою руку себе на грудь.

— Сердце бьется.

— Ну видишь. Спи, стук близкого сердца успокаивает.

— Спокойной ночи, милая.

— Спокойной ночи, любимый, — почти крикнула она.

— Спокойной ночи, колдунья.

— Спокойной ночи, мой мужчина, страдающий атрофией чувств.

— Я нес тебе цветок перелески, но потерял по дороге.

— Ах.

***

Я очнулся от какого-то звука, внутреннего толчка или предчувствия. Был уже день, и я лежал один. В соседнем доме долбили стену. Я посмотрел на небо за окном. Но небо у нас весной и осенью одинаковое. Попытался вспомнить все, что было в последние дни или, быть может, недели. Постель пахла экзотическими травами. Ветер бегал по балкону. На козырьке уличного фонаря сидели мои степенные голубки и заглядывали к нам в окно. В капле времени все вспышки моей, нашей судьбы. Опять афоризм или, скорее, громкая фраза. К оконному стеклу прилип прошлогодний мокрый лист. Моя тревога тоже проснулась. Сосет под ложечкой похлеще голода. Моя тревога вместе со мной поздно засыпает и вместе со мной утром встает, свежая и бодрая. Я просто слишком многого требую от Господа Бога.

Но ведь у меня есть жизненный импульс, возможно, последний. Что с ней случилось. Может, исчезла так, как пришла. Я вижу стол с раскрытым бумажником президента, бросаю взгляд на себя, много лет сутулящегося в соседней комнате у стены, бьющегося над решением какой-то загадки или вглядывающегося в магический шар в надежде узнать свое, его предназначение. Потом замечаю кушетку, и у меня останавливается сердце. Не могу вздохнуть, воздуха не хватает. Вскакиваю с постели и не могу вскочить.

Там, на кушетке, лежит она, до колен прикрытая свесившимся на пол пледом. Лежит, обнаженная, на спине, и капризный солнечный зайчик притулился к ее бедру. Лежит не шевелясь. Я напрягаю зрение, хочу разглядеть, дышит ли она. Ее изумительная белая грудь клонится в мою сторону, мертвым грузом тяготеет к земле. Может быть, она встала на рассвете и пошла искать место поудобнее. В детстве она ходила, как лунатичка, по всему дому. Ведь она жива. Почему бы ей не жить. Мы будем жить до самой смерти. У меня начинают стучать зубы. Я пытаюсь откинуть одеяло и не могу. Хочу встать и

■

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ

«МакКультура»

ЧТИВО (*разг. пренебр.*). Низкопробное, низкокачественное чтение.

С.Ожегов. Словарь русского языка

Свой последний роман «The Pulp» (в русском переводе — «Макулатура», а буквально — «пульпа») американец Чарльз Буковски посвятил «плохой литературе» («bad writing», буквально — «плохому письму»). Вспоминается советский классик Валентин Катаев, который почти тридцать лет назад, в конце шестидесятых, изобрел для «плохого письма» особый термин — мовизм. При желании можно увидеть в этом и некую закономерность: признанные авторы на склоне лет программно заявляют о приверженности чему-то плохому.

Впрочем, ничего общего между этими «мовистами», конечно же, нет. Катаев, всю жизнь выпекавший традиционные «сюжетные» романы, имел тогда в виду прежде всего возможность не стеснять себя каноническими жанровыми формами, а писать бесструктурно и импрессионистично. Результатом стали несколько развернутых автобиографических эссе, стилистически тщательно выстроенных и отшлифованных. Заведомо «плохим» (с точки зрения официоза) было в них нарушение принятых на тот момент стандартов «правильной» прозы. Публикуя Катаева-«мовиста», оппозиционный «Новый мир» конца 60-х отвоевывал очередной рубеж в борьбе с заштампованным соцреализмом, либеральная интеллигенция получала новое (обманчивое) подтверждение того, что «оттепель» продолжается, а простой читатель обнаруживал, что и так, оказывается, тоже «зя!».

Другое дело — Буковски. Автор со скандальной репутацией, никогда не почитавший жанровые и эстетические стандарты (читатель «ИЛ» уже знает об этом из подборки рассказов в № 8, 1995), «под занавес» написал нечто выдержанное в каноне традиционного для американской бульварной литературы черного криминального романа. Стилистика же «плохого» — запретного, провоцирующего, эпатирующего — была присуща Буковски всегда, и в этом отношении «Макулатура» вполне вписывается в общий контекст его прозы.

Но есть еще и поляк Тадеуш Конвицкий, который за два года до Буковски — в 1992-м — выпускает в свет роман со столь же подчеркнуто пренебрежительным названием: «Czytadło» («Чтиво»). Не говоря уж о Квентине Тарантино, который за свой фильм «Pulp Fiction» («Бульварное чтиво») получает в 1994 году главный приз Каннского фестиваля. Это уже не какой-то там окказиональный и изысканный «мовизм» — это больше похоже на некий вирус «игры на понижение».

Если попытаться взглянуть «глобально», то можно увидеть здесь реакцию на то, что происходит в сфере элитарного искусства, где, благодаря перманентной экспансии «пост-» и «транс-» приставок на живом теле модерна и авангарда, наблюдается всеобщий транс и усиленный пост. Игра в пространстве отношений между автором, реальностью, произведением и культурным контекстом мало занимает рядового читателя (слушателя, зрителя) — «такой роман нам не нужен». «А не поискать ли альтернативу в простых и честных «массовых» жанрах? — задумываются авторы. — Может быть, искусство все-таки принадлежит народу, и если оно не всегда может быть им понято, то пусть будет хотя бы ему понятно».

Впрочем, не следует повторяться: о взаимодействии и диалоге элитарной и массовой культур (в частности, об использовании популярных жанров) пишется в последнее время часто (в «ИЛ» эту тему активно разрабатывает А.Генис). Однако сегодня перед нами случай несколько иного рода, ведь названия типа «Чтиво» или «Макулатура» обозначают даже и не жанр, а сорт, причем сорт низший — нечто, лежащее где-то за границами жанра, на самом дне масскульта. И это отнюдь не та самая, искомая и желанная, гармония (посмотрите-ка, серьезные авторы идут навстречу вкусам массовой аудитории, создают произведения, ориентированные на широкие круги публики, — и получают за это престижные призы), скорее, это, напротив, — ироническое дистанцирование от возможностей такой гармонии.

Действительно, любитель дешевых

криминалов с названиями большей частью таинственно-зловещими (или любовных романов — с эмоционально-возвышенными) на книгу, озаглавленную «Макулатура», взглянет с недоумением. И хорошо еще, если не поймет авторскую иронию, — а то ведь может и оскорбиться. Ведь сказать прямо: «Ты читатель — и держи свое «Чтиво», хавай,— похоже на откровенный плевок в лицо. — Это, мол, не какая-нибудь там «Роковая страсть» или «В объятиях смерти» — это просто «Макулатура».

Я поднял трубку телефона.

— Да.

— Вы слышали о Буковски? — спросил женский голос.

— Буковский? — переспросил я. — Хм-м-м...

— Я хочу найти Буковски, — сказала она. Голос звучал очень чувственно.

— Если можно, немного подробнее, — сказал я. — Говорите, говорите, говорите...

Об одном Буковском я лет двадцать назад слышал. Его, как сейчас помню, на кого-то меняли: то ли на ирландского террориста, то ли на колумбийского гангстера. В общем, мафиозные дела.

И тем не менее «Pulp Fiction» Тарантино смотрят, похоже, без обиды: кто-то по принципу «хоть горшком назови» (не обращая внимания на то, что именно название «задает» фильму концептуальную рамку, и воспринимая лишь поверхностный, сюжетный план), а кто-то, надо надеяться, — чувствуя авторскую иронию и дистанцию. Впрочем, о фильме Тарантино более развернуто высказывается в своей статье Петр Вайль, а мы сейчас обратимся к цветным иллюстрациям номера.

Французы Пьер и Жиль (о них, в свою очередь, пишет Ольга Хлебникова) откровенно занимаются тем, что в массовой культуре традиционно именуется словом «кич». Вернее, это культура даже уже и не массовая, а совсем «низовая» — балаганная, ярмарочная, лубочно-открыточная. Кич, как бы воспроизводя реальность, на самом деле приукрашивает ее и создает некий идеальный мир: яркий и роскошный, чувственный и сентиментальный. Кич — это не вполне аналог бульварщины, «макулатуры», хотя одна ключевая черта их объединяет — заведомое отсутствие глубины, подтекста, второго плана: кич подчеркнуто «одномерен».

Посмотрите на картинку, на которой в сердечке из цветочков изображен поп-идол Марк Элмонд вместе с Мари Франс: здесь — квинтэссенция кича со всеми своими умилительными голубочками, зайчиками и облачками. Раньше похожие раскрашенные открытки (с надписями типа «Люби меня, как я тебя») предлагали в советских поездах дальнего следования глухонемые торговцы — теперь же такие картинки (что показательно — тоже в открыточных наборах) выпускает престижное немецкое издательство «Taschen». Но кому они адресованы — неужели тому же массовому потребителю, который «Марка Элмонда с базара понесет»?

Вряд ли. Абсолютно совпадая с «кичевыми» открытками по форме, картинки Пьера и Жиля (а также — с некоторыми оговорками — и Джефа Кунса, и, например, нашего Аркадия Петрова) выполняют совершенно иную культурную функцию. Ясно, что адресат здесь — не широкие круги публики, а прежде всего тот же критик. В художественном процессе, идущем на верхних, элитарных этажах культуры, это — еще один шаг вперед (в направлении «пост-»), работа на тех неосвоенных участках, на которые пока еще не успели положить свой остраненный глаз авторы-предшественники. Поп-арт поместил в художественный контекст потребительские товары и продукцию «масс-медиа», соц-арт проделал то же самое с пропагандистскими идеологическими клише, а новые авторы осваивают еще один пласт массового сознания — сферу дешевого визуального примитива.

Впрочем, следует уточнить: кич и примитив — это два качественно разных явления. Наивная живопись самодеятельных художников (то, что именуют термином «примитив» и что в лучших своих проявлениях давно рассматривается в контексте «высокого» искусства) интересна прежде всего свежим, искренним, не испорченным излишней рефлексией взглядом на действительность. Ценность примитива — в подлинности чувства и авторской индивидуальности. Кич же, в противоположность примитиву, — это сознательная имитация уже проверенных рынком стандартных образцов и анонимное тиражирование их в массовых количествах. Ну, а деятельность Пьера и Жиля в таком случае — это уже имитация имитации, процесс вполне рефлексивный и осознанный, даже если авторы и заявляют об искренности и непосредственности своих намерений.

Что ж, стало быть, рядовой и неискушенный потребитель культурных благ оказывается вне игры — он чужой на этом празднике кича. То, что на первый взгляд похоже на долгожданное стирание граней между элитарной и массовой культурой, — лишь очеред-

ной художественный прием. Уж не пародия ли он? И где в таком случае проходит грань, отделяющая пародию от «серьеза», подлинность от имитации — и как определить эту грань?

Встал я утром в шесть часов. Вернее, меня разбудил телефонный звонок.

— Говорит Джон Барт, — раздался голос из трубки.

— Рад слышать, — ответил я. — Мне нравится то, что вы написали о нулевом письме.

— Это написал Ролан.

— Неважно. Чем я могу вам помочь?

— Мне нужна пульпа.

— Пульпа? А это что за напасть?

— Я уверен, что вам по силам ее найти, — сказал Барт и повесил трубку.

Странно. Я всегда считал, что Ролан писал романы.

В 1993 году в журнале «Знамя» был опубликован «Иван Безуглов» Бахыта Кенжеева — произведение с показательным подзаголовком «Мещанский роман». В нашем сегодняшнем восприятии подзаголовок этот явно перекликается с названиями «Макулатура» и «Чтиво» — это, по сути, та же ироническая рамка. Роман Кенжеева представляет собой попытку создать образцовое произведение «капиталистического реализма»: по структурным признакам он выдержан в строгих канонах соцреалистической эстетики (с той разницей, что на месте главного героя — не рабочий-передовик, а современный бизнесмен, «новый русский»), а содержательно он использует исключительно стандарты и клише американской авантюрной литературы.

И что же получилось в итоге? Критики сочли, что Кенжеев всерьез решил написать настоящий современный бестселлер, а в итоге вышел натуральный кич, где стандартизовано буквально все — от сюжетных поворотов до стилистики отдельных фраз и лексики персонажей. Бестселлером роман тоже не стал; следовательно, перед нами — абсолютное фиаско? Если рассматривать текст без учета авторских намерений — это верно, однако если прочесть его как заведомую имитацию, — то все предстает в ином свете. А как же «на самом деле»?

На самом деле, как выясняется, может быть и так, и так. То есть дело даже не в авторских намерениях, а в читательском восприятии. Автор задумывает пародию — а она прочитывается всерьез (вспомним и классические прецеденты); другой автор пишет нечто всерьез — а находится кто-то, кто расценивает это как пародию. Похоже, где-то близко лежит и общий ключ к пониманию эффекта «кича»: многое (если не практически все) зависит здесь от культурного фона конкретного реципиента и от контекста восприятия. Для советского человека шишкинское «Утро в сосновом лесу», в силу «оберточной» растиражированности, — безусловный кич, а для японца, впервые попавшего в Третьяковку, — шедевр «высокого» искусства (тем более если об этом написано в путеводителе).

Любопытную работу на стыке массовой и элитарной культур проделали пару лет назад В.Комар и А.Меламид. Художественный проект, направленный на конструирование «любимых картин» разных народов, осуществлялся как подлинно научное, академическое исследование — с использованием репрезентативных социологических опросов и выявлением специфики массового вкуса. Многочисленным респондентам в разных странах задавались вопросы типа «Какой цвет должен преобладать на вашей любимой картине?», «Кого вы хотите видеть на вашей любимой картине: животных? людей? религиозных деятелей?» и т.п.

По материалам опросов было создано несколько «идеальных картин» разных народов; картины эти содержали «всего понемногу» — в тех пропорциях, в которых соответствующие предпочтения были представлены в обобщенных результатах. Так, русская аудитория, желавшая видеть на любимой картине библейских персонажей и животных, получила в итоге абсолютно кичевое «Явление Христа медведю». Пародийный эффект здесь обеспечивался тем, что рядовой зритель на самом деле, конечно же, не являлся реальным адресатом подобного борща с компотом «в одном флаконе»: подлинным адресатом всей акции был критик-интерпретатор, а художественную ценность представляла не столько картина, сколько рамка, которой в данном случае служили концепция и документация.

Без словаря было не обойтись.

— Как пройти в библиотеку? — выйдя на улицу, спросил я у кутавшейся в платок одинокой бабуси.

— Идиот, — ответила та. — Три часа ночи.

Однако окна библиотеки призывно светились. Я осторожно открыл дверь в читальный зал. Если говорить об уровне посещаемости, то в настоящий момент заведение переживало кризис. Лишь у дальнего окна, уткнувшись в фолиант, сидела девчушка с жиденьким конским хвостом на макушке и в круг-

лых очках с толстыми стеклами. Синий чулок.

— Мне нужен словарь, — сказал я библиотекарю.

— Зачем вам словарь? — осклабился тот. — В словаре нет ничего, кроме слов.

— Я хочу узнать, что значит одно слово.

— Одно слово ничего не значит. Современная лингвистика утверждает, что для понимания смысла любого текста достаточно знать всего семьдесят процентов входящих в него слов. Все тексты — избыточны.

— Принесите словарь. На букву «П».

— Новые словари давно не поступали. Возьмите лучше свежего Деррида. Только что из Парижа.

— В гробу я видал вашего Деррида. Дайте словарь.

— Никому не позволено оскорблять наших любимых авторов, — твердо произнес библиотекарь, едва заметно кивнув в сторону Синего Чулка. Та поднялась из-за столика и направилась ко мне, небрежно поигрывая неизвестно как оказавшейся в ее руках парой нунчаков.

Не самая удачная ночь.

«Макулатура» Буковски может быть прочитана на разных уровнях. По внешним признакам это стандартный «черный криминал» с традиционным для такого жанра героем — частным детективом, стареющим одиночкой-неудачником, берущимся за любые безнадежные дела, просаживающим мизерные гонорары в бесчисленных барах и регулярно попадающим в непредсказуемые критические ситуации (не случайна подмеченная переводчиком романа — Виктором Голышевым — перекличка имен: Ник Билейн — Микки Спиллейн). Присутствует, естественно, и детективная интрига: поиски главным героем таинственных персонажей, разгадывание постоянно возникающих невнятных загадок, попытки связать воедино разрозненные факты и события — всего этого вполне хватит обычному потребителю такого рода «макулатуры».

Попробуйте, однако, переключиться с событийной канвы на сопутствующую атрибутику — и вы сразу поймете, что всего здесь как-то чересчур, в избытке: грубости, насилия, немотивированной жестокости. В отдельных эпизодах жанр гипертрофируется до такой степени, что не увидеть пародийный эффект можно лишь абсолютно ничем не вооруженным взглядом. А подключение к сюжету сверхъестественных сил (то есть введение не характерных для жанра элементов фантастики) определенно указывает на авторскую игру: смотрите, мол, чего я тут еще наворотил.

Читателю, способному уловить и оценить подобный прием, дают понять, что главное здесь — не структура повествования (напоминающая скорее картинку калейдоскопа, где одни и те же герои и ситуации регулярно тасуются в разных комбинациях), а его фактура, то есть стилистические вариации в формально заданных традицией рамках — с отчетливым осознанием авторской дистанции по отношению к жанру.

Осознать эту дистанцию помогают разбросанные по всему тексту интеллектуальные «наживки», рассчитанные на тех, кто обладает соответствующим культурным багажом. Главная наживка располагается на первой же странице: в сознании читателя, узнающего, что частный детектив получает задание разыскать Селина (какого? — Луи Фердинана, конечно), обязательно должен «включиться» соответствующий ассоциативный ряд: традиция имморализма, «грязная» проза и т.д. Дальше, в эпизоде с полусумасшедшим продавцом книжного магазина, появляются имена Томаса Манна, Фолкнера, Карсон Маккаллерс (в одном ряду с Чарльзом Мэнсоном!) — и читатель обнаруживает себя в причудливой среде, где в абсурдных ситуациях сталкиваются не вполне нормальные (или просто фантастические) персонажи, причем некоторые из них оказываются как-то не вполне адекватно жанру эрудированными.

Подобный прием есть, по сути, еще одна разновидность той рамки, которая устанавливает особые условия восприятия. Как и в случае с изобразительным кичем, здесь допускается возможность двойного прочтения: без учета авторских намерений текст вполне может быть воспринят как обычное чтиво, если же читатель чувствует заданную рамку, то и само название оказывается в естественных кавычках — это не просто макулатура, а как бы «макулатура», то есть нечто, облеченное в живописные макулатурные лохмотья, своего рода литературный «гранж».

Раньше после посещения библиотеки я не нуждался в услугах дантиста. Годы берут свое.

Перед дверью с табличкой «д-р Джекилл» сидел джентльмен в сером с огромной повязкой на правой щеке. В ожидании своей очереди я стал изучать вывешенные на стене рекомендации и памятки.

«Пульпит, — прочел я, — это воспаление пульпы».

— Следующий! — раздался голос из-за двери, и джентльмен вошел в кабинет.

«Слово «пульпа», — читал я дальше, — происходит от латинского pulpa и означает «мякоть».

Из-за двери раздался пронзительный рев. Видимо, у доктора Джекилла пытались угнать машину прямо из кабинета.

«Пульпа, — продолжал читать я, — это рыхлая соединительная ткань, заполняющая...»

Дверь кабинета распахнулась, и двое санитаров вынесли в коридор джентльмена в сером.

С «Чтивом» Конвицкого ситуация обстоит несколько сложнее: какие-либо отчетливые свидетельства того, что роман допускает возможность разноуровневого прочтения, в тексте просматриваются слабо. Перед нами — коктейль из разных популярных жанров (детективная завязка с трупом постепенно переходит в мелодраматическую историю, обильно сдобренную социальной сатирой), однако ни один жанр не выдержан последовательно. Более того, стиль повествования (исповедальная проза с развернутыми внутренними монологами рефлектирующего героя) отнюдь не соответствует стандартам масскульта. Похоже, что «рамку» здесь составляет сам заголовок, автор как бы сообщает нам: не воспринимайте того, что я тут написал, всерьез, это все понарошку, это всего лишь чтиво.

Второй план здесь, тем не менее, обнаружить при желании можно — хотя бы в символике женских имен: вряд ли случайно загадочную женщину, труп которой находят в квартире главного героя, зовут Вера, а ее не менее загадочный двойник носит непривычное для польского языка имя Люба. Неожиданными оказываются при этом переклички «Чтива» с «Макулатурой»: Люба, говорящая, что она «носит в себе смерть», невольно ассоциируется с Леди Смерть у Буковски. Простое совпадение? Но похожи и концовки обоих романов: и тут, и там Смерть (в отличие от «бессмертной» сказки Горького) побеждает Любовь. Взгляните на обложку этого номера «ИЛ»: мистически-смертоносная Медуза в стиле кич работы Пьера и Жиля вполне могла бы появиться на переплете и у Конвицкого, и у Буковски.

Впрочем, переклички деталей, конечно же, навязаны соседством двух романов в одной журнальной книжке. А вот переклички названий, похоже, не случайны и свидетельствуют — при всех индивидуальных различиях — о сходстве авторского приема: спрятать под самоуничижительной обложкой несколько более качественную, чем заявлено, начинку.

Но чем все-таки объяснить подобный прием? Авторское ли здесь кокетство, или попытка адаптации к условиям рынка, или шаг навстречу читателю — но не так называемому «массовому» (для которого и без того публикуется достаточно чтива), а, напротив, образованному и подготовленному (для которого стандартный масскульт в целом неудобоварим, а душа жаждет отдохновения)? Видимо, путь к утомленному сердцу такого читателя лежит не только через разум... (Вспоминается в этой связи высказывание по ТВ на презентации первого номера российского «Плейбоя» его главного редактора Артема Троицкого: «Мы надеемся, что среди читателей нашего журнала окажутся те, кто раньше был подписчиком «Нового мира», «Знамени», «Иностранной литературы». Ведь эти люди здесь, ведь они никуда не делись...»)

Сквозь арбатскую толпу было не пробраться. Кришнаиты звенели колокольчиками, коммунисты махали знаменами, подростки ждали перемен. А я приближался к разгадке.

«Мягкая, бесформенная масса, — вспоминал я, — сочная и мучнистая...»

— Щелкнем фото? — услышал я заискивающий голос. Передо мной стоял Ленин с красным бантом на лацкане пальто. — Пять баксов. Со мной или с ними, — добавил он и кивнул в сторону подворотни. Там на фанерных ящиках разливали «Кремлевскую» Гитлер и Сталин.

— А со всеми сразу? — спросил я на ходу.

— Десять, — уверенно ответил Ильич. — Оптовая скидка.

«Бесформенная и кашеобразная масса», — вертелось у меня в голове.

— А еще я портрет могу, — бросил мне вдогонку разочарованный Гитлер.

Но как же все-таки быть с простым, рядовым, неискушенным читателем? Если мы предлагаем такие правила художественной игры, при которых ему трудно разобраться, где низкопробное содержание, а где — ироническая упаковка, то не примет ли он одно за другое и не возгордится ли, обнаружив, что те дешевые книжонки (и аляповатые картинки), которых он тайком стыдился, и есть, оказывается, настоящее искусство? Не исключено. Но если кич — это эффект прежде всего восприятия, то

ничего не поделаешь: авторские намерения прочитываются или не прочитываются в полной зависимости от того, кто читатель.

Разница еще и в том, что «массовое» чтиво (кич) является серийной продукцией, а чтиво «интеллектуальное» — продукция индивидуальная, штучная. Вот только как отличить одно от другого? Кто объяснит, что такое «хорошо», что «плохо», а что — «хорошая» игра в «плохо»? Может быть, читателю нужно бросить спасательный круг с надписью «вкус»? И пусть себе ищет товарищей...

Раньше было проще: в сфере «высокого» искусства все раскладывала по полочкам нормативная критика, в сфере масскульта двадцать килограммов «плохой» макулатуры менялись на томик «хорошей». Счет нынешней макулатуре идет уже на сотни тонн, голос критика превратился в комариный писк, а читатель остался один на один с «бурным потоком» ярких обложек на книжных развалах. Стандарт формата, стандарт переплета, стандарт названия, а разница между текстами — как между чизбургером и биг-маком. И конвейер непрерывно работает: «биг-мак», «биг-мак», «биг-мак», «биг-мак», — заваливая прилавки все новой и новой «биг-макулатурой»...

Но все-таки помните: если на обложке написано «Чтиво» — не верьте глазам своим. Может быть, это всего лишь мимикрия.

Наконец-то я увидел ее. Это была она, пульпа. Я не верил своим глазам.

Пульпа дышала, бурлила, переливалась всеми цветами радуги. Где-то в глубине слышался неясный гул.

Волнение постепенно усилилось, гул стал более явственным, поверхность напряженно завибрировала, затем набухла и внезапно взорвалась. Пульпа накрыла меня с головой и утащила в свои недра.

■

ПЕТР ВАЙЛЬ

Похвальное слово штампу, или Родная кровь

В литературоцентристской России название фильма Квентина Тарантино «Pulp Fiction» переведено как «Бульварное чтиво», что, конечно, неточно, неполно, сужает смысл, потому что оригинал шире: речь идет вовсе не только о литературе, а уж как минимум о кино, в первую очередь, о всякой низкосортной бульварщине, и вообще не только об искусстве. Вернее и будет «Бульварщина». Восстановим справедливость и — к сути.

Главное в феномене Тарантино и его произведениях то, что эта залитая кровью картина оставляет странное ощущение близости и даже теплоты.

Впрочем, если вдуматься, странного тут ничего нет — вспомним хоть детские сказки, где количество жестокостей и убийств на квадратный сантиметр страницы выше, чем в сценарии среднего голливудского боевика. В этом отношении показательны, например, русские сказки, особенно из числа так называемых «заветных», заполненных циничными зверствами и тем, что сейчас поименовали бы «немотивированными преступлениями», — не уступающие в этих показателях знаменитым своей свирепостью исландским сагам и ирландскому эпосу. Сказочная тема возникает здесь пунктирно, но логично, напоминая о том, что образы и приемы Тарантино восходят к детским архетипам, будь то мифологическое детство человечества или частное детство частного человека.

Механизм восприятия такой же — апеллирующий к *довзрослой* памяти. Но — памяти современного человека, над чьей колыбелью раздается бормотание не няни, а телевизора. А если у сегодняшнего младенца и есть няня, то она-то главный телезритель в семье, и ее фольклорные убаюкиванья в сильной степени вдохновлены телесюжетами и окрашены их стилистикой.

Тарантино в своем фильме предлагает сгущенный коллаж штампов, знакомых каждому с ранних лет по приключенческим телепередачам, кино и литературе.

Национальность книг и картин при этом особого значения не имеет: бульварное чтиво и киноподелки, так называемые B-movies, потому и относятся ко второму разряду искусства, что построены по универсальным, практически обезличенным законам. Плохие фильмы тем и хороши, что понятны без перевода — как музыка. Бандиты в них всегда небриты, героини голубоглазы, музыка патетична, злодея видать за четыре квартала, а все сюжетные ходы ясны с начальных титров. В таком кино невозможно разочароваться, его можно либо презирать, либо любить. Я — люблю. И даже смею надеяться, что неплохо знаю этот низкий жанр, о котором Честертон в эссе с характерным названием «В защиту «дешевого чтива» написал: «Эта тривиальная литература вовсе не является уделом плебеев — она удел всякого нормального человека».

В наше время книги вытеснило кино, и такого знатока бульварных фильмов, как 31-летний американец Квентин Тарантино, еще не было.

Пять лет он проработал в пункте видеопроката и стал живой энциклопедией современного кинематографа. Отнюдь не только американского: Тарантино не скрывает влияния, оказанного на него французской «новой волной», прежде всего Годаром. Происходит стилевое удвоение: «новая волна», возникшая как своего рода перевод Голливуда на французский, теперь приходит в Штаты в новом, американизированном варианте.

Правда, искать у Тарантино аллюзии — задача неблагодарная: его фильм весь составлен из заимствований и клише, выстроенных по строгой внутренней логике, но внешне — по образцам драматургической антиструктуры. Иными словами: это довольно хаотический набор бывших в употреблении эпизодов.

С этим явлением стоит разбираться хотя бы потому, что «Бульварщине» досталась Золотая пальмовая ветвь в Канне, а главное — потому, что коллаж банальностей превратился у Тарантино в яркую оригинальную картину.

Уже название — вызывающее, не менее, чем феллиниевское «Восемь с половиной»: в обоих случаях речь не о содержании произведения, а о технологии его создания. Тарантино честно предупреждает зрителя о том, что его ждет. Но зритель не верит и правильно делает, тем более что не верит он понарошку, а по-настоящему он, настоящий массовый зритель, как раз бульварщины и жаждет. Я хорошо знаю по себе, как неохота разбираться в ухищрениях сюжета и психологических переплетениях, как славно сразу опознать «наших» и «немцев» и ждать неизбежного торжества справедливости. Разумеется, через горы трупов, сквозь тернии к звездам, по колено в крови — но к нужному берегу, к победе, к этой, ну, с голубыми глазами, к правде, в общем.

Вот в этом-то и заключается фокус Тарантино, который зрителя все-таки обманывает: весь этот благородный набор принадлежностей низкого жанра у него есть, но лишь в рамках отдельных мик-

роэпизодов. В том-то и дело: знакомые штампы он тасует так виртуозно, что картина в целом абсолютно непредсказуема и сюрпризы подстерегают при каждом сюжетном повороте. Мы точно уверены, что за углом нас ждет клише — но какое на этот раз? Это как если бы Д'Артаньян, выхватывая шпагу, вдруг видел перед собой не Рошфора, а Кинг-Конга.

При этом стандартные, тысячи раз проигранные в других местах мизансцены сопровождаются острыми, временами блестящими диалогами. Бандиты Тарантино (а все его персонажи — преступники) беспрерывно говорят — заряжая, стреляя, отмывая кровь, убегая от полиции. Темы: сравнение Европы и Америки (ясно, в чью пользу, если в Амстердаме пали так низко, что к картошке подают майонез); толкование Библии (один из персонажей не может убить без цитаты из пророка Иезекииля); еда и мораль (собак нельзя есть, потому что они обладают индивидуальностью); объекты грабежа (хуже всего продуктовые лавки, потому что их «узкоглазые» хозяева так плохо знают английский, что, пока им все объяснишь, уже подружишься); женщины, выпивка, спорт...

Кошмар забалтывается в повседневность. Тарантино погружает холодную жестокость своих героев в теплый раствор быта. Банальность зла доводится до юмористического предела — юмор, естественно, черный. Сделано это с таким мастерством, что хохот над действительно комическими последствиями страшного убийства оборачивается трагедийным катарсисом.

Ирония — за кадром. Тарантино нигде не срывается в откровенное пародирование боевиков. Он поставил всего два фильма, но уже по ним видно, как взрослеет режиссер. Первая картина — «Бешеные псы» («Reservoir Dogs») — смеха не вызывала. И вообще там почти всерьез разыгрывалась кровавая драма бандитов, неудачно ограбивших ювелирный магазин и погибающих в финале. «Почти» — так как закрадывалась все же мысль, что такое сгущение зверств не может не быть пародийным. А Тарантино только в предпоследнем кадре, за несколько секунд до конца, позволяет себе намекнуть на это, когда три героя разом стреляли друг в друга и разом падали замертво.

В «Псах» была соблюдена жанровая чистота триллера. «Бульварщина» многообразнее, богаче, тоньше. Здесь сгущены не ужасы, а штампы ужасов, хотя все равно бьет дрожь. Вот так читается роман Владимира Сорокина «Сердца четырех», где злодейства могут восприниматься пародией только оттого, что их так много и они так отвратительны: Сорокин пугает, нам не страшно, но на самом-то деле мы ерзаем в возбуждении и холодном поту.

Методы почти ровесников Квентина Тарантино и Владимира Сорокина вообще поразительно похожи, как схож и достигаемый ими эффект — упомянутый уже катарсис.

Более того, «Бульварщина» состоит из трех связанных между собой новелл, и, как минимум, одну из них мог бы написать Сорокин — да практически и написал, если не точно, то по сути такое (см. его книгу «Норма»). Сорокин много работает с соцреалистическими штампами, а поскольку советская власть уже позади, пора бы признаться самим себе, что соцреализм — всего лишь разновидность старого, доброго критического реализма, существующего по все стороны океана. Оттого так знакомы клише, которые использует Тарантино, — именно давно знакомы, с нашего вовсе не американского детства.

Киноновелла из «Бульварщины» называется «Золотые часы», и речь в ней идет о часах, которыми еще в первую мировую был награжден прадед героя; потом они перешли к деду, павшему на другой великой войне; от него — к отцу, пронесшему часы через вьетнамскую войну и долгий плен; и наконец — к сыну. Герой совершает безрассудные подвиги, чтобы возвратить утраченную было реликвию — естественно, сквозь море своей и чужой крови, — и уносится к обретенной свободе с чемоданом украденных денег на мотоцикле под названием «Милость Божья».

С некоторыми поправками такие истории мы читали в учебнике «Родная речь» и в серии «Мои первые книжки». И уже без поправок — на таких приемах зиждится искусство соцарта, на таком пафосе замешена слава Комара и Меламида, такой сюжет вполне уместен в сорокинском сборнике рассказов или в его «Норме».

Однако сюжет и прием останутся схемой, если схему не оживит настоящая любовь. Я говорю о любви к предмету описания. Без нее пребывают мертворожденными конструкциями девять десятых соцартовских текстов и картин. Просто нарисовать красивого Сталина, как делают комар-меламидовские эпигоны, — никак недостаточно: надо в Америке начала 80-х затосковать по своему детству. Так эмигранты поют советские песни, выпив, расслабившись, сперва с иронической усмешкой, потом все более увлеченно, истово, искренне, слаженным хором: «Сняла решительно пиджак наброшенный...» Поэмы Тимура Кибирова — это попытка обрести уверенность в хаосе, честно разбираясь в любви-ненависти к прошлому. В рваных, многожанровых, разностильных сочинениях Сорокина отчетливо видна тяга пусть к иллюзорному, но цельному бытию прежних поколений. То, что изображаешь, надо любить по-настоящему.

Не знаю, насколько правомочно включение этого заведомо ненаучного понятия в попытку анализа художественного произведения, но иначе не получается. При первом прочтении те же сочинения Соро-

кина кажутся попыткой подрыва самой идеи творческого процесса и участия в нем, скажем так, — души. В своих интервью Сорокин настаивает на том, что все страсти, страдания и смерти его героев — всего только «буквы на бумаге». Вот что производит шокирующее впечатление на свежего читателя. Всевозможные покушения на традиции и святыни — лишь следствие главного святотатства: разрушения нашего собственного образа в наших собственных глазах. Если все — «буквы на бумаге», то чего мы стоим? Звучим ли мы гордо, если так волнуемся от бумажных слез и целлулоидной крови?

И сам «казус Тарантино — Сорокин» и поставленные так вопросы своевременны и повсеместны сейчас, перед концом столетия, проверившего на прочность (вшивость) и отвергнувшего все идеологии, кроме националистической (оттого, конечно, что национализм — категория не идеологическая, а бытийная, в том и залог ее вечности). Идет возврат к испытанному и надежному. Отсюда и тяга к «ready made», готовым штампам a la Дюшан, к опоре на проверенные клише и приемы — в политике, социальной жизни, искусстве.

Оттого американец Тарантино — не только ровесник, но и явный единомышленник россиянина Сорокина, а иногда они кажутся едва не соавторами. Стиль сближает куда теснее, чем тема и идеологические модели.

Война в Чечне — не кино, хоть и сделалась телехитом номер один. И тут использование штампов — не надежных, но таковыми показавшихся. Только здесь возврат к старому привел к реальной трагедии и подлинной крови. Использование материала, уже бывшего в употреблении, требует поправки на время. А весь стиль предприятия: с лязганьем и грохотом медленно ползти к Грозному — все это из прошлого, которое закончилось еще в 56-м, если не в 53-м. Сталинский стиль был рассчитан на такое устрашение. Но страх ушел, а с ним — даже нормальное послушание, и уже в самые первые дни войны полковник в форме давал на телеэкране интервью иностранному журналисту, браня своего министра обороны; и без толку вспоминать, что когда-то одного лязга оружия хватало, чтобы все полковники на земле заледенели от страха. Сменился всемирный стиль, и не понимать этого, не владеть новым языком значит: в искусстве — принести в жертву свое искусство, в жизни — принести в жертву чужие жизни.

Сама по себе опора на испытанное — не гарантия успеха. Ничто нельзя просто достать из нафталина и набросить на себя — требуется подгонка, перекройка и т.д.

Это только принято так считать — в публицистических целях, а на самом деле, просто по интеллектуальной лени, — что штамп не требует никакого специального с собой обращения. На наших глазах меняется реальность, делаясь все невнятнее и многослойнее, и нет ничего живее вымерших миллионы лет назад компьютерных динозавров Спилберга. Легко воображаю себе, как могут ожить пресловутые лебеди с настенных ковриков, обнаружив скрытую десятилетиями непонимания дивную красоту; как двинутся фаянсовые слоники с подзеркальника, покачиваясь выразительнее гумилевских и зоосадовских. Еще Хлебников называл фабричные трубы «лесами второго порядка»; похоже, что порядок этот становится первым, во всяком случае равноправным. Реалии цивилизации ничуть не менее ярки и ощутимы, чем реалии природные, так называемые первичные, — наверное, уже уместно прибавлять «так называемые». Для городского же жителя — а кто нынче не городской житель? — естественная организация окружающего пространства не деревья в лесу, а дома на улице; натуральный звук — шорох шин, а не кустов. Механический соловей, как в сказке, — меньшая экзотика, чем пернатый.

Клише становится полноправным элементом творчества, и в этом качестве ведет себя вполне творчески и оказывает вполне творческое воздействие — то есть волнует. В этом смысле «вторичное», составленное из штампов искусство подчиняется тем же законам, что и «первичное»: у потребителя имеет спрос продукт одухотворенный (поклон повсеместным рыночным штампам — они убедительны).

В фильме Тарантино ключевой эпизод — отнюдь не одна из свирепых или свирепо-смешных сцен, а как раз одна из самых мирных — танец. Пара приходит в ретро-ресторан: на стенах афиши с Мерилин Монро и Монтгомери Клифтом, столики вмонтированы в огромные открытые автомобили, которые сейчас продаются за бешеные деньги как антиквариат, звучит музыка тридцатилетней давности. Заводят твист — и пара выходит на круг. Танцуют они долго и прекрасно, и видно, как искренне любуется движениями, звуками, зрелищем автор.

Танец — редкая минута отдохновения. Но именно он подсказывает разгадку фильма «Бульварщина» и этого жуткогротескного коллажного стиля вообще. Уют не только там, где чисто и светло. Уют там, где все идет по правилам. И нет более незыблемого правила, чем штамп в искусстве, иначе он не стал бы штампом, не застыл бы в своем величии, не понятом снобами, но принятом массами. «Вульгарная литература, — писал Честертон, — не вульгарна уже хотя бы потому, что захватывает пылкое воображение миллионов читателей». Клише — знак надежности и постоянства, к которым стремится каждый, как к состоянию равновесия. А уж какое именно клише — вопрос второй. Тут дело вкуса и детской памяти. Квентин Тарантино пробивается к покою и красоте на свой, причудливый манер — головокружительными прыжками через потоки крови.

К нашим иллюстрациям

ЖИЛИ-БЫЛИ ПЬЕР И ЖИЛЬ...

«...И как-то раз очутились они перед вратами рая. Очень робко подошли они к столу, за которым сидел апостол Петр и читал карманное издание «Богоматери цветов» Жана Жене». Чтобы не мешать апостолу, Пьер и Жиль отошли в сторонку, где находилась стойка с открытками. Одна открытка им очень понравилась. На ней был изображен светловолосый Иисус Христос, по щекам его текли слезы. Но это была не простая открытка, а волшебная: если ее слегка повернуть, то Христос закрывал глаза, потом снова открывал их и улыбался. Когда Пьер и Жиль положили открытку и монету на стол, Петр посмотрел на гостей с удивлением. Он сразу заметил их татуированные мускулистые фигуры, подумал, что Жиль, с его строгими чертами, — архитектор, а насмешливое лицо Пьера напомнило ему цирковых метателей ножей. И только одинаковые свитера с вышитыми на них буквами «П» и «Ж» развеяли все сомнения Петра: он наконец понял, кто перед ним стоит.

— Слава Богу! — воскликнул Петр. — Вы здесь! — Он вскочил, связка ключей у него на поясе звякнула. — У нас на небесах появилась серьезная проблема. В давние времена рай был поистине прекрасным местом, тогда умирали молодыми от частых войн или во время охоты на диких зверей. Теперь люди стали умирать дряхлыми стариками и в раю почти не осталось красоты. Мы решили нанять художников, чтобы по их эскизам в чистилище приукрашивать праведников перед отправкой в рай. Сначала думали поручить это дело Микеланджело, но он так возгордился, что и слышать не хочет о работе. Идеальным вариантом был бы Джеф Кунс, но мне сказали, что он уже обслуживает другую сторону. — Петр выразительно показал глазами вниз. — Вас нам посоветовал Вазари, он по-прежнему в курсе всех новых веяний в искусстве. Сам маркиз де Сад поддержал ваши кандидатуры!

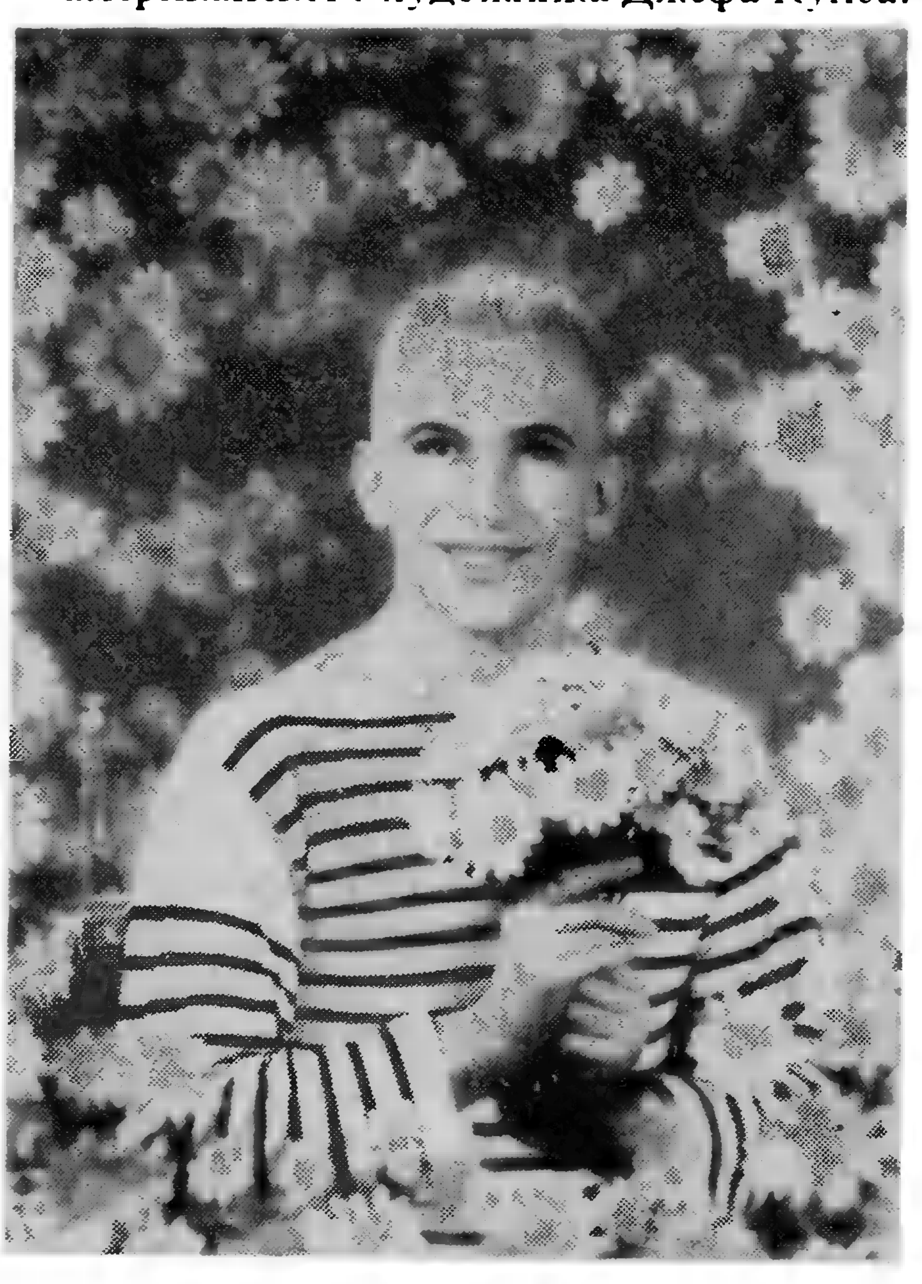
— Как, и маркиз де Сад здесь? — удивился Пьер.

— Да, пути Господни неисповедимы, — ответил апостол...»

Такие сказки придумывают о французских фотохудожниках Пьере и Жиле их друзья, а зачастую и они сами. Пьер и Жиль дружны с известными парижскими модельерами и дизайнерами, такими как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер, поп-певцами Ниной Хаген, Марком Элмондом, Бой Джорджем, художником Кристианом Болтански и многими другими.

Как и подобает сказочным персонажам, у них нет фамилий, все их знают просто как Пьера и Жиля. Неизвестно, когда они родились. Их совместная творческая биография началась в 1976 году, когда они познакомились на парижской вечеринке у японского дизайнера Кензо. До этой встречи Пьер делал черно-белые фотографии для музыкальных журналов и журналов мод, а Жиль занимался коллажами и рисовал цветные картины для рекламы. Сначала они ради удовольствия делали шуточные фотографии друзей. Если цвет получался не такой интенсивный, как было задумано, то Жиль брал свою кисточку и подкрашивал. Так родились их фотографические картины.

Стиль, в котором работают Пьер и Жиль, многие называют «поп-артом девяностых». Их предшественником можно считать Энди Уорхола, а коллегой, работающим в том же направлении, — американского художника Джефа Кунса.



Жан-Поль Готье. 1990.

Самый скандальный парижский модельер Жан-Поль Готье, который назвал свою новую коллекцию мужской одежды «Pin-up boy» («мальчик-конфетка» или «мальчик с картинки»), так отзывается о творчестве своих друзей: «Я бы с удовольствием жил в том мире, который создают Пьер и Жиль, и был бы таким, каким они меня изображают». А Нина Хаген считает Пьера и Жиля самыми талантливыми людьми в Париже и мечтает снять с ними фильм на Бомбейской киностудии. Ей кажется, что будущее Пьера и Жиля заключается в том, чтобы стать французскими стивенами спилбергами. Сами о себе они говорят так: «Мы похожи на репортеров, которые отправляются в незнакомый мир... Это воображаемый мир, параллельная реальность, и мы запечатлеваем людей, которых там встречаем... Пьер фотографирует, Жиль рисует, но для нашей работы важнее, чтобы нам хотелось работать друг с другом, кого-то фотографировать, разговаривать об этом, делать маленькие зарисовки, придумывать декорации, искать нужный свет, заниматься подготовкой костюмов...»

Часто они придумывают к своим картинам целые истории. Например, такая «история» произошла с картиной «Адам и Ева» (1983).

«Когда специалисты НАСА обнаружили в галактике остров Тонга на расстоянии многих световых лет от Земли, было решено послать туда капсулу с человеческими артефактами в качестве приветствия внеземным цивилизациям.

Капсулу быстро построили, однако запуск затянулся на долгие месяцы из-за скандала, который взбудоражил умы. Спор разгорелся из-за «Адама и Евы», произведения Пьера и Жиля, отобранного, чтобы проиллюстрировать сущность и внешний вид людей. Упреки посыпались со всех сторон. Пуритане возражали против того, что Адам и Ева изображены обнаженными. Старикам не нравилось, что Адам и Ева слишком молоды. Уродцев раздражала их красота. Людей с темной кожей возмущало, что Адам и Ева представляют только белую расу. А гомосексуалисты видели в них косный символ гетеросексуальности.

Но инопланетяне с галактического острова Тонга, эти чешуйчатые существа, похожие на носорогов, считали именно Землю райским садом, а людей — живыми идеалами красоты.

Выход все же был найден. В конце концов носороги сами решили построить капсулу и послать ее с картинами Пьера и Жиля на Землю, чтобы помочь людям осознать собственную красоту».



Адам и Ева. 1981.

Эстетика работ Пьера и Жиля словно оживает в их доме на окраине Парижа. Они продумали свой интерьер до мельчайших подробностей, каждый уголок тщательно украшен. Несмотря на это, квартира напоминает пещеру Али-Бабы, только вместо сокровищ она наполнена игрушками, сувенирами, открытками, небольшими иконками, фигурками Будды и других индийских божеств, искусственными цветами и прочими безделушками. Все они привезены из многочисленных путешествий или подарены не менее многочисленными друзьями. Дом Пьера и Жиля — это гимн безвкусице и страсти ко всему, что блестит, но не золото.

Мозаику для кухни и бара выполнил индийский мастер Сангай. Пьер и Жиль стремились создать в своем доме атмосферу Востока, который так сильно вдохновляет их творчество. Для этого они использовали индийские и лаосские архитектурные и декоративные мотивы. Огромных размеров ванная комната напоминает турецкие бани. Круглые сутки кабельное телевидение передает из Индии многочасовые мелодрамы на различных диалектах, периодически прерываемые пестрой рекламой и музыкальными клипами. Повсюду зажжены разноцветные лампочки, светильнички, лампадки... и летают птицы, как в прекрасной экзотической сказке.

О. ХЛЕБНИКОВА



ИОСИФ БРОДСКИЙ
ТРОФЕЙНОЕ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1987 ГОДА

1

В начале была тушенка. Точнее — в начале была вторая мировая война, блокада родного города и великий голод, унесший больше жизней, чем все бомбы, снаряды и пули вместе взятые. А к концу блокады была американская говяжья тушенка в консервах. Фирмы «Свифт», по-моему, хотя поручиться не могу. Мне было четыре года, когда я ее попробовал.

Это наверняка было первое за долгий срок мясо. Вкус его, однако, оказался менее памятным, нежели сами банки. Высокие, четырехугольные, с прикрепленным на боку ключом, они возвещали об иных принципах механики, об ином мироощущении вообще. Ключик, наматывающий на себя тоненькую полоску металла при открывании, был для русского ребенка откровением: нам известен был только нож. Страна все еще жила гвоздями, молотками, гайками и болтами — на них она и держалась; ей предстояло продержаться в таком виде бо́льшую часть нашей жизни. Поэтому никто не мог мне толком объяснить, каким образом запечатываются такие банки. Я и по сей день не до конца понимаю, как это происходит. А тогда — тогда я, не отрываясь, изумленно смотрел, как мама отделяет ключик от банки, отгибает металлический язычок, продевает его в ушко ключа и несколько раз поворачивает ключик вокруг своей оси.

Годы спустя после того, как их содержимое было поглощено клоакой, сами банки — высокие, со скругленными — наподобие киноэкрана — углами, бордового или темно-коричневого цвета, с иностранными литерами по бокам, продолжали существовать во многих семьях на полках и на подоконниках — отчасти из соображений чисто декоративных, отчасти как удобное вместилище для карандашей, отверток, фотопленки, гвоздей и пр. Еще их часто использовали в качестве цветочных горшков.

Потом мы этих банок больше не видели — ни их студенистого содержимого, ни непривычной формы. С годами росла их ценность — по крайней мере, они становились все более желанными в товарообмене подростка. На такую банку можно было выменять немецкий штык, военно-морскую пряжку или увеличительное стекло. Немало пальцев было порезано об их острые края. И все же в третьем классе я был гордым обладателем двух таких банок.

II

Если кто-то и извлек выгоду из войны, то это мы — ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий. В придачу к обычному детскому рациону, состоящему из Дюма и Жюля Верна, в нашем распоряжении оказалась всяческая военная бронзулетка — что всегда пользуется большим успехом у мальчишек. В нашем случае успех был тем более велик, что наша страна выиграла войну.

Любопытно при этом, что нас больше привлекали военные изделия противника, чем нашей победоносной Красной Армии. Названия немецких самолетов — «юнкерс», «штука», «мессершмитт», «фокке-вульф» — не сходили у нас с языка. Как и автоматы «шмайссер», танки «тигр» и эрзац-продукты. Пушки делал Крупп, а бомбы любезно поставляла «И.Г.Фарбениндустри». Детское ухо всегда чувствительно к странным, нестандартным созвучиям. Думаю, что именно акустика, а не ощущение реальной опасности, притягивала наш язык и сознание к этим названиям. Несмотря на избыток оснований, имевшихся у нас, чтоб ненавидеть немцев, и вопреки постоянным заклинаниям на сей счет отечественной пропаганды, мы звали их обычно «фрицами», а не «фашистами» или «гитлеровцами». Пото́му, видимо, что знали их, к счастью, только в качестве военнопленных — и ни в каком ином.

Кроме того, немецкую технику мы в изобилии видели в военных музеях, которые открывались повсюду в конце сороковых. Это были самые интересные вылазки — куда лучше, чем в цирк или в кино, особенно если нас туда водили наши демобилизованные отцы (тех из нас, то есть, у которых отцы остались). Как ни странно, делали они это не очень охотно, зато весьма подробно отвечали на наши расспросы про огневую мощь того или иного немецкого пулемета и про количество и тип взрывчатки той или иной бомбы. Неохота эта порождалась не стремлением уберечь нежное сознание от ужасов войны и не желанием уйти от воспоминаний о погибших друзьях и от ощущения вины за то, что сам ты остался жив. Нет, они просто догадывались, что нами движет праздное любопытство, и не одобряли этого.

III

Каждый из них — я имею в виду наших живых отцов — хранил, разумеется, какую-нибудь мелочь в память о войне. Например, бинокль («цейс»!), пилотку немецкого подводника с соответствующими знаками различия или же инкрустированный перламутром аккордеон, серебряный портсигар, патефон или фотоаппарат. Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался «филипс» и мог принимать радиостанции всего мира — от Копенгагена до Сурабаи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале.

По меркам того времени «филипс» этот был вполне портативным — уютная коричневая вещь 25x35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была закавыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист, в свою очередь, проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось — и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил. Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или тем более Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, «Голоса Америки» и радио «Свобода» на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по «Голосу Америки» можно было слушать программу «Time for Jazz», которую вел самым роскошным в мире бас-баритоном Уиллис Коновер.

Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, «филипсу» я обязан своими первыми познаниями в английском и знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Клиффорда Брауна, Сиднея Беше́, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки.

Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая невидимая рука — где-то в России.

Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я пытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер — Нейсе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье — покуда семья существовала. В конце шестидесятых все покупали латвийскую «спидолу» с ее телескопической антенной и всяческими транзисторами внутри. Конечно, прием был у нее лучше, и она была портативной. Но однажды в мастерской я увидел

ее без задней крышки. Наиболее положительное, что я мог бы сказать о ее внутренностях, это что они напоминали географическую карту (шоссе, железные дороги, реки, притоки). Никакой конкретной местности они не напоминали. Даже Ригу.

IV

Но самой главной военной добычей были, конечно, фильмы. Их было множество, в основном — довоенного голливудского производства, со снимавшимися в них (как нам удалось выяснить два десятилетия спустя) Эрролом Флинном, Оливией де Хевиленд, Тайроном Пауэром, Джонни Вайсмюллером и другими. Преимущественно они были про пиратов, про Елизавету Первую, кардинала Ришелье и т.п. и к реальности отношения не имели. Ближайшим к современности был, видимо, только «Мост Ватерлоо» с Робертом Тейлором и Вивьен Ли. Поскольку государство не очень хотело платить за прокатные права, никаких исходных данных, а часто даже имен действующих лиц и исполнителей не указывалось. Сеанс начинался так. Гас свет, и на экране белыми буквами на черном фоне появлялась надпись: ЭТОТ ФИЛЬМ БЫЛ ВЗЯТ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Текст мерцал на экране минуту-другую, а потом начинался фильм. Рука со свечой освещала кусок пергаментного свитка, на котором кириллицей было начертано: КОРОЛЕВСКИЕ ПИРАТЫ, ОСТРОВ СТРАДАНИЙ или РОБИН ГУД. Потом иногда шел текст, поясняющий время и место действия, тоже кириллицей, но часто стилизованной под готический шрифт. Конечно, это было воровство, но нам, сидевшим в зале, было наплевать. Мы были слишком заняты — субтитрами и развитием действия.

Может, это было и к лучшему. Отсутствие действующих лиц и их исполнителей сообщало этим фильмам анонимность фольклора и ощущение универсальности. Они захватывали и завораживали нас сильнее, чем все последующие плоды неореализма или «новой волны». В те годы — в начале пятидесятых, в конце правления Сталина, — отсутствие титров придавало им несомненный архетипический смысл. И я утверждаю, что одни только четыре серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде и впоследствии.

Нужно помнить про наши широты, наши наглухо застегнутые, жесткие, зажатые, диктуемые зимней психологией нормы публичного и частного поведения, чтобы оценить впечатление от голого длинноволосого одиночки, преследующего блондинку в гуще тропических джунглей, с шимпанзе в качестве Санчо Пансы и лианами в качестве средств передвижения. Прибавьте к этому вид Нью-Йорка (в последней из серий, которые шли в России), когда Тарзан прыгает с Бруклинского моста, и вам станет понятно, почему чуть ли не целое поколение социально самоустранилось.

Первой оказалась, естественно, прическа. Мы все немедленно стали длинноволосыми. Затем последовали брюки дудочкой. Боже, каких мук, каких ухищрений и красноречия стоило убедить наших мамаш — сестер — теток переделать наши неизменно черные обвислые послевоенные портки в прямых предшественников тогда еще нам неизвестных джинсов! Мы были непоколебимы, — как, впрочем, и наши гонители: учителя, милиция, соседи, которые исключали нас из школы, арестовывали на улицах, высмеивали, давали обидные прозвища. Именно по этой причине мужчина, выросший в пятидесятых и шестидесятых, приходит сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару брюк: все это бесформенное, избыточное, мешковатое барахло!

V

Разумеется, в этих трофейных картинах было и нечто более серьезное: их принцип «одного против всех» — принцип, совершенно чуждый коммунальной, ориентированной на коллектив психологии общества, в котором мы росли. Наверное, именно потому, что все эти королевские пираты и Зорро были бесконечно далеки от нашей действительности, они повлияли на нас совершенно противоположным замышлявшемуся образом. Преподносимые нам как развлекательные сказки, они воспринимались скорее как проповедь индивидуализма. То, что для нормального зрителя было костюмной драмой из времен бутафорского Возрождения, воспринималось нами как историческое доказательство первичности индивидуализма.

Фильм, показывающий людей на фоне природы, всегда имеет документальную ценность. Тем более — по ассоциации с печатной страницей — фильм черно-белый. Поэтому в нашем закрытом, точнее, запертом на все замки обществе мы скорее извлекали из этих картин информацию, нежели развлекались. С каким жадным вниманием мы рассматривали башенки и крепостные валы, подземелья и рвы, решетки и палаты, возникавшие на экране! Ибо мы их видели впервые в жизни! Мы принимали

голливудскую бутафорию из папье-маше и картона за чистую монету, и наши представления о Европе, о Западе, об истории, если угодно, были обязаны этим лентам чрезвычайно многим. Да такой степени, что те из нас, кто позже очутился в бараках нашей карательной системы, часто улучшали свою диету, пересказывая сюжеты и охранникам, и соузникам, которые этих трофейных картин не видели, и припоминая детали этого Запада.

VI

Среди этих трофеев иногда попадались настоящие шедевры. Помню, например, «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоренсом Оливье. Также я припоминаю и «Газовый свет» с тогда совсем еще молодой Ингрид Бергман. Подпольная индустрия была начеку, и сразу после выхода фильма у какой-нибудь сомнительной личности в общественной уборной или в парке можно было купить открытку с фотографией актрисы или актера. Самым драгоценным в моей коллекции был Эррол Флинн в «Королевских пиратах», и в течение многих лет я пытался имитировать его выставленный вперед подбородок и автономно поднимающуюся левую бровь. С этой последней я потерпел неудачу.

И пока не замерли обертоны сей низкопоклоннической ноты, позвольте мне здесь вспомнить еще одну вещь, роднящую меня с Адольфом Гитлером: великую любовь моей юности по имени Зара Леандер. Я видел ее только раз, в «Дороге на эшафот», шедшей тогда всего неделю, про Марию Стюарт. Ничего оттуда не помню, кроме сцены, в которой юный паж скорбно преклоняет голову на изумительное бедро своей обреченной королевы. По моему убеждению, она была самой красивой женщиной, когда-либо появлявшейся на экране, и мои последующие вкусы и предпочтения, хотя сами по себе и вполне достойные, все же были лишь отклонениями от обозначенного ею идеала. Из всех попыток объяснить сбивчивую или затянувшуюся романтическую карьеру эта, как ни странно, представляется мне наиболее удовлетворительной.

Леандер умерла два или три года назад, кажется, в Стокгольме. Незадолго до этого вышла пластинка с ее шлягерами, среди которых была Die Rose von Novgorod. Имя композитора — Рота, и это не мог быть никто иной, кроме как Нино Рота. Мотив куда лучше, чем тема Лары из «Доктора Живаго»; слова, к счастью, немецкие, так что мне все равно. Тембр голоса — как у Марлен Дитрих, но вокальная техника много лучше. Леандер действительно поет, а не декламирует. Несколько раз мне приходила в голову мысль, что, послушай немцы эту мелодию, у них не возникло бы желания маршировать nach Osten. Если вдуматься, ни одно столетие не произвело такого количества шмальца[1], как наше; может быть, ему стоит уделить побольше внимания. Может быть, шмальц нужно рассматривать как орудие познания, в особенности ввиду большой приблизительности прочих инструментов, находящихся в распоряжении нашего века. Ибо Шмальц суть плоть от плоти, кровь от крови младший брат Шмерца[2]. У нас у всех больше причин сидеть дома, нежели маршировать куда-либо. Куда маршировать-то, если в конце — только жутко грустный мотивчик.

VII

Подозреваю, что мое поколение составляло самую внимательную аудиторию для всех этих до- и послевоенных продуктов фабрики снов. Некоторые из нас на какое-то время стали завзятыми киноманами, но, вероятно, по другим причинам, нежели наши ровесники на Западе. Для нас кино было единственным способом увидеть Запад. Начисто забывая про сюжет, мы старались рассмотреть все, что появлялось на экране, — улицу или квартиру, приборную панель в машине героя, одежду, которую носила героиня, ощутить место, структуру пространства, в котором происходило действие. Некоторые из нас достигли немалого совершенства в определении натуры, на которой снимался фильм, и иногда мы могли отличить Геную от Неаполя и уж во всяком случае Париж от Рима всего по двум-трем архитектурным ансамблям. Мы вооружались картами городов и горячо спорили, по какому адресу проживает Жанна Моро в одном фильме и Жан Маре — в другом.

Но это, как я уже сказал, началось позже, в конце шестидесятых. А еще позже наш интерес к кино стал ослабевать, по мере того как мы осознавали, что фильмы делаются все чаще режиссерами нашего возраста и могут они нам сказать все меньше и мень-

[1] Шмальц — *нем.* Schmalz — сало (*прим.ред.*).
[2] Шмерц — *нем.* Schmerz — страдание (*прим.ред.*).

ше. К этому времени мы были уже законченными книгочеями, подписчиками на «Иностранную литературу», и отправлялись в кино все с меньшей и меньшей охотой, видимо, догадавшись, что знакомиться с местами, где никогда не будешь жить, бессмысленно. Это, повторяю, случилось намного позже, когда нам уже было за тридцать.

VIII

Однажды — было мне лет пятнадцать или шестнадцать — я сидел во дворе огромного жилого дома и вколачивал гвозди в крышку деревянного ящика, наполненного всяческими геологическими инструментами, которые следовало послать на Дальний Восток, куда вслед за ними предстояло отправиться и мне и где меня уже ждала моя партия. Дело было в начале мая, но день был жаркий, я потел и смертельно скучал. Внезапно из открытого окна на одном из последних этажей раздалось «A-tisket, a-tasket»; голос был голосом Эллы Фицджеральд. Произошло это в 1955 или 1956 году, в одном из грязных промышленных пригородов Ленинграда. «Боже мой, — помню, подумал я, — сколько же пластинок нужно напечатать, чтобы одна из них закончила свой путь здесь, в этом кирпично-цементном нигде, среди не столько сохнущих, сколько впитывающих сажу простынь и фиолетовых трусов!»

IX

Я знал эту песенку отчасти благодаря моему радио, отчасти потому, что в пятидесятых у любого городского мальчишки была своя коллекция так называемой «музыки на костях». Это были диски из рентгеновской пленки, с самодельной записью какой-нибудь джазовой музыки. Техника копировального процесса была для меня непостижима, но подозреваю, что это была вполне простая процедура, поскольку предложение всегда оставалось на стабильном уровне, а цены были доступны.

Эти жутковатые на вид диски (вот вам ядерный век!) можно было приобрести тем же путем, что и самодельные фотографии западных кинозвезд: в парках, общественных туалетах, на толкучке и в ставших тогда знаменитыми коктейль-холлах, где можно было сидеть на высоком табурете и потягивать молочный коктейль, воображая, что ты на Западе.

И чем больше я об этом думаю, тем больше я убеждаюсь, что это и был Запад. Ибо на весах истины интенсивность воображения уравновешивает, а временами и перевешивает реальность. По этому счету, с преимуществами, присущими любой оглядке, я даже склонен настаивать, что мы-то и были настоящими, а может быть, и единственными западными людьми. С нашим инстинктивным индивидуализмом, на каждом шагу усугубляемым коллективистским обществом, с нашей ненавистью ко всякой групповой принадлежности, будь она партийной, местной или же, в те годы, семейной, мы были больше американцами, чем сами американцы. А если Америка — это самая последняя граница Запада, место, где Запад кончается, то мы, я бы сказал, находились эдак за пару тысяч миль от Западного побережья. Посреди Тихого океана.

X

Где-то в начале шестидесятых, когда принцип романтической недосказанности, воплощенной в поясе и подвязках, стал потихоньку сдавать позиции, все больше и больше обрекая нас на ограниченность колготок с их однозначным или — или, когда иностранцы, привлеченные недорогим, но весьма сильным ароматом рабства, начали прибывать в Россию крупными партиями и когда мой приятель с чуть презрительной улыбкой на губах заметил, что географию, вероятно, может скомпрометировать только история, девушка, за которой я тогда ухаживал, подарила мне на день рождения книжку-гармошку из открыток с видами Венеции.

Она сказала, что книжечка эта когда-то принадлежала ее бабушке, которая незадолго до первой мировой войны проводила медовый месяц в Италии. Там было двенадцать открыток в сепии, отпечатанных на плохой желтоватой бумаге. Подарила она мне их потому, что как раз в это время я весьма носился с двумя романами Анри де Ренье, незадолго до того прочитанными; в обоих дело происходило в Венеции, зимой; и я говорил только о Венеции.

Из-за того, что плохо отпечатанные открытки были с коричневым налетом, из-за широты, на которой стоит Венеция, и из-за того, что в ней мало деревьев, трудно было определить, какое время года на них изображено. Одежда тоже мало помогала, поскольку люди были одеты в длинные юбки, фетровые шляпы, цилиндры или котелки и темные пиджаки — моды начала века. Отсутствие цвета и общий мрак изобра-

женного подводили к заключению, которое меня устраивало: что это — зима, единственное подлинное время года.

Другими словами, их фактура и меланхолия, столь знакомые мне по родному городу, делали фотографии более понятными, более реальными; рассматривание их вызывало нечто похожее на ощущение, возникавшее при чтении писем от родных. И я их «читал» и «перечитывал». И чем больше я их читал, тем очевидней становилось, что они были именно тем, что слово «Запад» для меня значило: идеальный город у зимнего моря, колонны, аркады, узкие переулки, холодные мраморные лестницы, шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками — цивилизация, приготовившаяся к наступлению холодных времен.

И, глядя на эти открытки, я поклялся себе, что, если я когда-нибудь выберусь из родных пределов, я отправлюсь зимой в Венецию, сниму комнату в подвальном помещении, с окнами вровень с водой, сяду, сочиню две-три элегии, гася сигареты о влажный пол, чтобы они шипели, а когда деньги иссякнут, приобрету не обратный билет, а дешевый браунинг — и пущу себе там же в лоб пулю. Декадентская, ясное дело, греза (но если в двадцать лет вы не декадент, то — когда?). И все же я благодарен Паркам, давшим мне осуществить ее лучшую часть. Спору нет: история весьма энергично компрометирует географию. Единственный способ борьбы с этим — стать отщепенцем, кочевником, тенью, скользящей по кружеву фарфоровой колоннады, отраженной в хрустальной воде.

XI

А потом был «ситроен» (2 л.с.), который я однажды увидел в родном городе; он стоял на пустой улице у Эрмитажа, против портика с кариатидами. Похож он был на недолговечную, но уверенную в себе бабочку, с крылышками из гофрированного железа — из такого во время второй мировой войны строились ангары и по сей день делаются полицейские фургоны во Франции.

Я рассматривал его без всякой корысти. Было мне двадцать лет, машину я не водил и водить не мечтал. В то время, чтобы обладать машиной в России, нужно было быть подонком — партийным боссом (или его отпрыском), или большим ученым, или знаменитым спортсменом. Но даже и тогда машина ваша была бы отечественного производства, пусть и с украденной конструкцией и технологией.

«Ситроен» стоял на улице, легкий и беззащитный, начисто лишенный чувства опасности, обычно связанного с автомашиной. Он казался легко ранимым, а вовсе не наоборот. Я никогда не видел столь безобидного предмета из металла. В нем было больше человеческого, чем в иных прохожих, и ошеломительной простотой своей он напоминал те самые трофейные консервные банки, которые все еще стояли на моем подоконнике. У него не было секретов. Мне захотелось в него влезть и уехать — не потому, что мне хотелось эмигрировать, а потому, что это было все равно как надеть пиджак — вернее, не пиджак, а плащ — и отправиться на прогулку. И его распахнутые форточки поблескивали, напоминая близорукого человека в очках, с поднятым воротником. Если память мне не изменяет, разглядывая этот автомобиль, я ощутил прилив счастья.

XII

Полагаю, что моими первыми английскими словами были «His Master's Voice», поскольку иностранный язык начинался в третьем классе, когда нам было по десять лет, а отец вернулся со службы на Дальнем Востоке, когда мне было восемь. Для него война закончилась в Китае, но добыча его была не столько китайской, сколько японской, потому что за тем столиком проиграла Япония. Или так тогда казалось. Главным сокровищем были пластинки. Они покоились в массивных, но весьма элегантных картонных альбомах с золотыми тиснеными японскими литерами. Иногда на обложке изображалась чрезвычайно легко одетая дама, которую вел в танце джентльмен во фраке. В каждом альбоме было до дюжины блестящих черных дисков, таращившихся на вас из плотных конвертов своими красно- или черно-золотыми этикетками. В основном, «His Master's Voice» и «Columbia». Хотя название второй фирмы было легче произнести, на этикетке у нее красовались только буквы, и задумчивый пес победил. До такой степени, что его присутствие влияло на мой выбор музыки. В результате к десяти годам я лучше знал Энрико Карузо и Тито Скипа, чем фокстроты и танго, которые тоже имелись в изобилии и которые я вообще-то даже предпочитал. Были там также всякие увертюры и классические «шедевры» в исполнении Сто-

ковского и Тосканини, «Аве Мария» с Мариан Андерсон и полные «Кармен» и «Лоэнгрин» — певцов уже не вспомню, но помню, что мама была от этих записей в восторге. В сущности, эти альбомы представляли полный довоенный музыкальный рацион европейского среднего класса; в наших краях он был даже вдвойне сладок, поскольку прибыл к нам с опозданием. И принес его задумчивый песик, практически — в зубах. Мне понадобилось не менее десяти лет, чтобы понять, что «His Master's Voice» означает именно «голос его хозяина»: пес слушает хозяйский голос. Я думал, он слушает запись собственного лая, потому что я воспринимал трубу граммофона как мегафон, и поскольку собаки обычно бегут впереди хозяина, все мое детство эта этикетка для меня означала голос собаки, сообщавшей о приближении хозяина. Так или иначе, пес этот обежал целый мир, поскольку отец нашел эти пластинки в Шанхае, после разгрома Квантунской армии. Во всяком случае, в мою действительность они прибыли с неожиданной стороны; помню, мне не раз снился сон: длинный поезд с блестящими черными пластинками вместо колес, украшенными надписями «His Master's Voice» и «Columbia», громыхает по шпалам, выложенным из слов «Гоминдан», «Чан Кайши», «Тайвань», «Чжу Дэ» — или это были названия станций? Конечной остановкой, повидимому, был наш коричневый кожаный патефон с хромированной стальной ручкой, которую заводил недостойный я. На спинке кресла — отцовский темно-синий военно-морской китель с золотыми эполетами, на полке над вешалкой — мамина серебристая лиса, ухватившая себя за хвост, в воздухе — «Una furtiva lagrima».

XIII

Или «La Comparsita» — по мне, самое гениальное музыкальное произведение нашего времени. После этого танго никакие триумфы не имеют смысла: ни твоей страны, ни твои собственные. Я никогда не умел танцевать — был слишком зажатым и к тому же вправду неуклюжим, но эти гитарные стоны мог слушать часами и, если вокруг никого не было, двигался им в такт. Как многие народные мелодии, «La Comparsita» — это, в сущности, «плач», и в конце войны траурный лад был уместнее, нежели буги-вуги. Никто не стремился к ускорению, все хотели сдержанности. Потому что смутно догадывались, к чему вообще все идет. Так что можете списать на нашу латентную эротику тот факт, что мы были так привязаны к вещам, которые еще не стали обтекаемыми: к черным лакированным крыльям сохранившихся немецких BMW и «опель-капитанов», к не менее блестящим американским «паккардам» и к похожим на медведей «студебекерам» с прищуром их ветровых стекол и двойными задними шинами (ответ Детройта на нашу всепоглощающую грязь). Ребенок всегда хочет перегнать свой возраст, и если уж невозможно вообразить себя защитником отечества (поскольку вокруг тебя полным-полно реальных защитников), то можно унестись в воображении в некое невнятное иностранное прошлое и увидеть себя в большом черном «линкольне», с испещренной фарфоровыми кнопками приборной доской, рядом с какой-нибудь платиновой блондинкой, припадающим к ее фильдекосовым коленям на мягком, лоснящемся кожей сиденье. Да даже и одного колена было бы достаточно. Иногда достаточно было просто прикоснуться к гладкому крылу. Говорит вам это человек, родной дом которого любезными усилиями Люфтваффе был стерт с лица земли и который впервые попробовал белый хлеб восьми лет от роду (или же, если эта метафора слишком чужда, — кока-колу в возрасте тридцати двух). Так что спишите это на вышеупомянутую латентную эротику, но проверьте в телефонной книге, где выдаются удостоверения мудакам.

XIV

Еще был замечательный, цвета хаки, американский термос из гофрированного пластика, с похожим на ртуть зеркальным цилиндром внутри, который принадлежал дяде и который я разбил в 1951-м. Внутри цилиндра бушевал оптический водоворот, порождавший бесконечность, и я мог часами глядеть, как отражается в самом себе ее зеркало. Так, вероятно, я термос и разбил, случайно уронив на пол. У отца был еще не менее американский и не менее цилиндрический, тоже привезенный из Китая карманный фонарь, у которого скоро сели батарейки, но почти потусторонняя непорочность его блестящего отражателя, намного превосходящая разрешающую способность моего зрачка, завораживала меня чуть ли не до конца моих школьных лет. Впоследствии, когда ободок и кнопка начали покрываться ржавчиной, я разобрал фонарик и с помощью двух увеличительных стекол превратил гладкий цилиндр в абсолютно слепой телескоп. И еще был английский полевой компас, полученный отцом от одного из обреченных британцев, чьи конвои он встречал неподалеку от Мурманска. У

компаса был светящийся циферблат, и градусы были видны под одеялом. Поскольку буквы были латинские, слова были похожи на числа, и у меня возникало чувство, что мое местонахождение определялось не просто аккуратно, но абсолютно. Возможно, именно это и делало вышеупомянутое местонахождение непереносимым. И наконец, были еще отцовские армейские зимние ботинки — уже не помню, какого происхождения (американского? китайского? точно, что не немецкого) Это были огромные светло-желтые ботинки из оленьей кожи, с подкладкой, напоминающей завитки овечьей шерсти. Они стояли, похожие скорее на пушечные ядра, чем на обувь, по его сторону большой двуспальной кровати, хотя их коричневые шнурки никогда не завязывались, поскольку отец носил их только дома, вместо шлепанцев; на улице они привлекли бы слишком много внимания к себе, а стало быть, и к владельцу. Как и большей части одежды тех лет, обуви полагалось быть черной, темно-серой (сапоги) или, в лучшем случае, коричневой. Полагаю, что вплоть до двадцатых, даже до тридцатых годов Россия обладала неким подобием паритета с Западом в том, что касалось предметов быта и обихода. А потом все пошло прахом. Даже война, заставшая страну в момент замедленного развития, не смогла спасти нас от этого злосчастья. При всем их удобстве, желтые зимние ботинки на наших улицах были абсолютным табу. С другой стороны, это продлило шерстистым чудищам жизнь, и, когда я подрос, они стали поводом частых пререканий между отцом и мной. Через двадцать пять лет после конца войны они были, с нашей точки зрения, еще достаточно хороши, чтобы вести бесконечные споры о том, кому принадлежит право их носить. В конце концов победил отец, потому что, когда он умер, я был слишком далеко от того места, где они стояли.

XV

Из флагов мы предпочитали «Юнион-Джек», из сигаретных марок — «Кэмел», из спиртного — джин «Бифитер». Наш выбор, понятно, определялся формой, не содержанием. И все же нас можно простить, ибо знакомство с содержимым вышеупомянутого было неглубоким, поскольку нельзя считать выбором то, что приносят обстоятельства и удача. С другой стороны, по части «Юнион-Джека» и тем более «Кэмела» не так уж мы и опростоволосились. Что касается бутылок «Бифитера», один мой приятель, получив таковую от заезжего иностранца, заметил, что, вероятно, так же как мы приходим в восторг от их замысловатых фирменных наклеек, они заходятся от начисто вакантных наших. Я согласно кивнул. Потом он протянул руку к журнальной кипе и извлек оттуда, если память мне не изменяет, обложку журнала «Лайф». На ней была изображена верхняя палуба авианосца, где-то посреди океана. Матросы в белых робах стояли на палубе, задрав головы, — наверное, глядели на самолет или вертолет, с которого их фотографировали. Они стояли в построении. С воздуха построение прочитывалось как E=MC2. «Мило, правда?» — сказал приятель. «Угу, — ответил я. — А где это снято?» «Где-то в Тихом океане, — ответил он. —Какая разница?»

XVI

Давайте выключим свет или крепко зажмурим глаза. Что мы видим? Американский авианосец посреди Тихого океана. А на палубе я — машу рукой. Или за рулем «ситроена» (2 л.с.). Или — в желтой корзинке из песни Эллы. И т.д. и т.п. Ибо человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого. И не только человек — вещи тоже. Я помню рев, который издала тогда только что открывшаяся, бог знает откуда завезенная американская прачечная-автомат в Ленинграде, когда я бросил в машину свои первые джинсы. В этом реве была радость узнавания — вся очередь это слышала. Итак, с закрытыми глазами, давайте признаем: что-то было для нас узнаваемым в Западе, в цивилизации — может быть, даже в большей степени, чем у себя дома. Более того, как выяснилось, мы были готовы заплатить за это чувство узнавания, и заплатить довольно дорого — всей оставшейся жизнью. Что — не так мало. Но за меньшую цену это было бы просто блядство. Не говоря о том, что, кроме остававшейся жизни, у нас больше ничего не было.

1986

Авторизованный перевод с английского А. СУМЕРКИНА

В АДРЕС «АРДИСА»

С точки зрения русской литературы создание «Ардиса» является вторым по величине событием в литературе, уступая лишь изобретению печатного станка.

Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии

Издательство «Ардис», самое крупное издательство за пределами бывшего Союза, специализировавшееся на издании русской литературы на языке оригинала и в английском переводе, было создано весной 1971 года Эллендеей и Карлом Профферами, профессорами-славистами, считавшими самым важным для себя наслаждаться интересной работой и жить интересной жизнью. Коммерческого интереса или же ощущения «исторической миссии» у них не было, а была увлеченность тем, что было их профессией, — русской литературой. Карл Проффер (1938—1984) получил степень доктора филологических наук на кафедре славистики Мичиганского университета в Анн-Арборе, куда он и вернулся на должность профессора после преподавания в колледже Рид и в Индианском университете. Ко времени возвращения в Анн-Арбор он был автором четырех книг. Эллендея Проффер (1944 года рождения) закончила аспирантуру Индианского университета. Ее докторская диссертация была посвящена анализу творчества Михаила Булгакова.

«Ардис» начался с журнала «Русская литература за три четверти года» (Russian Literature Triquarterly). Издатели снабдили первый номер журнала (осень 1971 года) следующим предисловием: «Мы считаем наш журнал почтовой лошадью просвещения... это журнал литературный, а не политический».

Эмблемы издательства работы Владимира Фаворского — почтовой кареты, так хорошо знакомой всем сегодня, — тогда еще не было. Она впервые появилась в сборнике стихотворений Мандельштама «Камень».

Создание издательства было своего рода «хобби», дополнением к главному делу. Возможно, именно поэтому первоначальная инвестиция Профферов в три тысячи долларов, с которой и началось существование издательства, и обернулась серьезным и захватывающим бизнесом. Задачей Профферов было жить интересной жизнью, а уж что-что, а это Россия могла обеспечить. Кроме того, Карл верил, что через издательство можно будет сделать что-то для русской литературы. «Хотя, если честно, — вспоминает Эллендея Проффер, — мы делали это для себя, для своих друзей; первые два-три года ощущения публики у нас не было. Американская публика читает по-английски, чтобы издавать книги по-русски вне России, нужно было, кроме всего прочего, быть еще и искателями приключений».

В приключениях недостатка не было. С момента издания первой книги по-русски — окончательного варианта текста 1935 года булгаковской «Зойкиной квартиры» — и первой по-английски — «Котика Летаева» Андрея Белого — издательство «Ардис» прошло через такое количество разного рода событий, что хватило бы на целую «библиотеку приключений». Одним из самым памятных событий для Профферов была поездка со Львом Копелевым к Ивичам, которым тогда, в семидесятые годы, было под девяносто. В разговоре американских профессоров и русских интеллигентов речь шла о Мандельштаме и Гумилеве, которых Ивичи знали лично, и о том, как выглядел один замечательный поэт — молодой Александр Блок. Это был подарок России — живая литературная история, посиделки на кухне с теми, кто знал эту историю не понаслышке. «Мне повезло, — говорит Эллендея, — я сидела и говорила с Бахтиным, Битовым, Искандером. У нас всегда было чувство, что они делают нам огромное одолжение, соглашаясь у нас напечататься. Хотя на русской литературе не заработаешь, Россия давала нам что-то неизмеримо большее, чем деньги». Именно поэтому Профферы, не жалея сил, работали буквально день и ночь, представляя ту русскую литературу, которая была допущена к читателю лишь много позже, в постперестроечное время. Для современного русского читателя первое знакомство с романами В. Набокова и А. Платонова, пьесами М. Булгакова и Н. Эрдмана, поэзией И.Бродского и воспоминаниями Л. Копелева, вполне вероятно, связано именно с издательством «Ардис». Здесь печатались А. Битов, В. Аксенов, Ф. Искандер, Е. Попов, А. Гладилин, братья Стругацкие, С. Липкин, В. Войнович, В. Соснора, Ю. Кублановский, И. Лиснянская, Н. Варламова, С. Юрьенен, Ю. Трифонов, Л. Петрушевская, Т. Толстая, А. Цветков, Ю. Милославский, С. Довлатов, Ю. Алешковский, Саша Соколов.

Но деятельность издательства не ограничивалась только выпуском художественной литературы по-русски и по-английски. Ни одно издательство Соединенных Штатов Америки не может сравниться с «Ардисом» по объему публикаций на английском языке литературоведческих статей о русской литературе — и о таких титанах, как А. Пушкин, М. Лермонтов и Ф. Достоевский, и о менее известных русских авторах, таких, как О. Сомов и Н. Дурова. Переводы на английский язык русских классиков и современных авторов, публикуемые в «Ардисе», всегда отличаются высоким мастерством и профессионализмом.

Отбор произведений для печати происходил по той же «железной» системе — они должны были быть интересны издателям. Как заметили Профферы в предисловии к первому изданию Russian Literature Triquaterly, при выборе произведений они руководствовались: 1) собственным вкусом; 2) тем, с чем считали своим долгом познакомить англоязычного читателя; 3) волей случая. «Камень» Мандельштама, например, был издан, потому что Профферам было приятно отдать России то, что она потеряла. Надежда Мандельш-



Карл и Эллендея Проффер

там, оказавшая огромное влияние на Профферов и их издательство, «передарила» Профферам редкое издание стихотворений мужа (Камень, 1913), которое было подарено ей не кем иным, как самими Карлом и Эллендеей. «Я и так знаю все это наизусть», — сказала она, возвращая подарок. Решение Профферов выпустить первое издание «Камня» (тиражом 500 экземпляров) вдохновлялось желанием издателей поблагодарить вдову поэта и выразить ей свою любовь и восхищение. Другим человеком, к которому издатели были близки и кем восхищались, был Владимир Набоков. Стоит заметить, что само название «Ардис», что означает «страсть» (или «наконечник стрелы»), взято из романа В. Набокова «Ада» (1969). Романы Набокова, его переписка, избранные стихотворения, равно как и критика, прочно вошли в число произведений, публикуемых издательством. Именно поэтому «Ардис» и начал в 1987 году выпуск собрания сочинений Набокова в пятнадцати томах, включающего прозу, поэзию и драматические произведения.

За «Зойкиной квартирой» М. Булгакова последовали «Про это» В. Маяковского, «Версты» М. Цветаевой, «Тристиа» О. Мандельштама (по-русски) и «Неопубликованный Достоевский» под редакцией Карла Проффера и «Поэма без героя» А. Ахматовой (по-английски).

Важно отметить, что издательство не получало и не получает никакой финансовой поддержки извне. Выпуск более двухсот литературных произведений на русском языке и около трехсот на английском был осуществлен исключительно на деньги самого издательства.

Литературное издательство «Ардис» не преследовало никаких политических целей, однако неожиданно для себя вышло на политическую арену после публикации мемуаров Льва Копелева «Хранить вечно», вышедших по-русски в 1975-м и по-английски в 1977 году. Карл и Эллендея прекрасно понимали, что эта публикация может вызвать раздражение у советских властей и осложнить регулярные поездки Профферов в Россию. Все же в 1977-м было разрешено посетить Московскую международную книжную ярмарку. Двумя годами позже, после публикации «Ардисом» литературного альманаха «Метрополь», Профферы наконец испортили отношения с советскими властями — их не только перестали пускать в Союз, но и яростно ругали на страницах официальной прессы. Это продолжалось до 1987 года, когда «Ардис» был вновь допущен на ярмарку. Но и тогда не обошлось без скандала. Было конфисковано около двух десятков книг, и Эллендея, недавно закончившая редактировать первые тома единственного собрания сочинений М. Булгакова на русском языке, была обвинена ни много ни мало в том, что... стащила кое-какие документы из булгаковского архива, где она, правда, никогда и не была — не пускали. Шумиха, поднятая в советской прессе, не остановила толпы поклонников «Ардиса», которые спешили на ярмарку, чтобы выразить соратнице, коллеге и вдове Карла Проффера восхищение и благодарность за то, что издательство «спасло русскую литературу». Через два года, в 1989 году, Эллендея Проффер получила премию Макартура за свою работу как «автор, переводчик, директор и один из создателей издательства «Ардис», которое способствовало поддержке русской литературы».

Изменение литературной ситуации в России в конце восьмидесятых годов породило ошибочное мнение, что «Ардис» отжил свое. Действительно, первоначально вышедшие в «Ардисе» «Пушкинский дом» Андрея Битова (1978), «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера (1979), «Остров Крым» Василия Аксенова (1981), «Необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича (1985—1987) и все русские стихи Иосифа Бродского, живущего в Соединенных Штатах с 1972 года, вышли и продолжают выходить в России. Однако не стоит рассматривать «Ардис» как памятник прошлому. «Я не хочу слышать надгробных речей, — сказала Эллендея Проффер во время интервью у себя дома в Лагуна Бич, в Калифорнии, куда она переехала около года назад, — мы продолжаем работать. Мы знаем, что есть новая литература, и она интересна нашим читателям. Просто теперь мы больше работаем по-английски. В ближайшем будущем мы выпускаем перевод мемуаров Льва Разгона, переводы повестей Владимира Маканина. Сборник стихотворений Иосифа Бродского «Пейзаж с наводнением» (составитель Александр Сумеркин) выходит по-русски в декабре. Вот-вот выйдет новое издание «Мастера и Маргариты», сборник женской прозы «Life in Transit» и новые переводы пьес А. Островского».

Переезд Эллендеи Проффер в Калифорнию вовсе не означает конца издательства. Книжный склад по-прежнему в Нью-Джерси, редактор Марианна Шпорлюк уже несколько лет работает, находясь в Бостоне (штат Массачусетс) — да здравствуют компьютеры! — и будет продолжать свою работу. «Ардис» несколько меняет свой профиль, но остается тем, чем был всегда, — проводником русской литературы. В марте 1996 года издательство отметит свой 25-й день рождения.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в Библиотеке иностранной литературы в Москве, которой мы подарили по экземпляру почти всех книг, выпущенных «Ардисом» в течение двадцати с лишним лет, можно было бы устроить выставку, чтобы отметить наш юбилей, — сказала Эллендея Проффер, — ведь книги говорят сами за себя».

НЮСЯ МИЛЬМАН

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ

Есть необъяснимая прелесть в осознании самых примитивных истин. Таких, например, как «ДА, ДРУЗЬЯ! КАК, В СУЩНОСТИ, БЫСТРО БЕЖИТ ВРЕМЯ!».

Да, друзья, как, в сущности, быстро бежит время: почти пятнадцать лет как отполыхали фейерверки Олимпийских игр, проведенных в Москве при благосклонном участии самого (или самого) Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Леонида Ильича Брежнева, и умер «певец всея Руси» Владимир Высоцкий, десять лет как началась «перестройка» и вышел из тюрьмы великий рисовальщик Слава Сысоев, зима вроде бы проходит... Короче говоря, как писал поэт Дмитрий Александрович Пригов:

Выходит слесарь в зимний двор
И видит — двор уже весенний.

А вот недавно гулял я вдоль книжного развала на Кузнецком мосту, ходил среди этого пиршества печатной продукции, где философские труды соседствуют с «мыльными романами» и эротикой, а коммунистически-приключенческий роман «Старая крепость» — с теми сочинениями, за которые раньше таскали по соседству, на Лубянку.

Ходил и думал: как, в сущности, мы быстро все забываем. Липкий страх, невозможность говорить и читать, что хочешь, включая ерунду; необходимость ДОСТАВАТЬ, а не покупать...

И тут, конечно же, выплыло из неизвестных глубин слово «Ардис».

Ибо «Ардис», издательский дом русской книги, расположенный за тысячи верст от Москвы, в маленьком городке Анн Арбор, штат Мичиган, USA, дал нам в свое время весомый глоток свободы, составляющими которого были не только произведения «третьей», или как там она называется, волны. Я имею в виду Аксенова, Алешковского, Битова, Бродского, Войновича, Довлатова, Кублановского, Лимонова, Некрасова, Окуджаву, Сашу Соколова, Цветкова, Юрьенена... Строго по алфавиту, а если кого и забыл впопыхах из современников, — не серчайте и не взыщите...

Эти писатели были представлены книгами или опубликованы в альманахах, а их было у «Ардиса» предостаточно. Начиная с благополучного «Рашен литერече трайквотерли» и заканчивая скандальными «Метрополем» и «Каталогом».

Но ведь были еще и мемуары Льва Копелева, Раисы Орловой, замечательные стихотворные сборники Семена Липкина и Инны Лиснянской. «Воля» Липкина — наконец-то показала его действительный поэтический МАСШТАБ.

Были великолепные репринты писателей двадцатых и тридцатых. Спасибо, Андрея Соболя не забыли... Андрей Платонов... Собрание сочинений Михаила Булгакова. И конечно же, Набоков.

Набоков, которого вернул России именно «Ардис», а не какое-либо иное не менее уважаемое мною издательство Зарубежья. Набоков, из английского пальто которого вышла вся новая литература, как бы сейчас отдельные персонажи ее ни отмежевывались от этого уникального писателя, мода на которого как бы растаяла вместе с перевернувшимся советским айсбергом.

Теперь нет того легендарного «Ардиса», чьи книги бесследно исчезали со стендов московских книжных ярмарок, похищенные жаждущими СЛОВА читателями. Что, кстати, не особо огорчало Карла и Эллендею Проффер, создателей «Ардиса».

Говорят, развитие свободного книгопечатания в России вытеснило «Ардис» с рынка, говорят, издательство теперь печатает в основном лишь учебные пособия для американских славистов.

Карл Проффер умер. Несколько, теперь уже много, лет назад. «Ардис» начинают забывать.

И это, на мой взгляд, крайне несправедливо. К тому же, неровен час, и наш горизонт вдруг да и окрасится опять новыми «сумерками свободы». Не дай Бог, вдруг да и наступит вновь тот день, когда высокопоставленные блюстители новой нравственности, взыскующие какой-то ОБЩЕЙ, ПРАВИЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ, опять вытеснят вольных литераторов в «тамиздат».

Первая моя книга «Веселие Руси» тоже вышла в «Ардисе», в 1981 году.

Интервьюеры часто спрашивали меня — а как ВООБЩЕ рукописи попадали тогда за железную границу? Я, понятно, отнекивался... А хотите, сейчас расскажу? Сочинения мои попали в «Ардис» так. К 1979 году я написал около двух сотен рассказов и стал всерьез задумываться о том, какой диагноз мне больше подходит — шизофрения или паранойя. Потому что заниматься полтора десятка лет абсолютно бесперспективным делом, а именно брать с левой стороны стола чистые листы бумаги, исписывать их и класть по правую сторону стола, после чего они годами не получают никакого дальнейшего пути к типографии, может, мягко говоря, только не очень здоровый человек. Чтобы окончательно не сойти с ума, мне НУЖНО было увидеть мои рассказы напечатанными.

Вот так они и попали в «Ардис». Думаю, что тем же путем попали туда и все другие рукописи.

Так вот. Круглой даты никакой у «Ардиса» нет. Слава его осталась лишь в истории литературы. Но кто старое помянет — тот чудак, а кто старое добро забудет — чудак через букву «м». Так бы я переиначил строгую русскую пословицу.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ,
Москва

У НАС В МИЧИГАНЕ

Однажды, если гиря греха не перевесит, душе воздастся и все исполнится. Это будет деревянный дом на холме, обнесенный тенистой террасой, сущее ожерелье этажей и комнат, долгий и неожиданный, как нашествие вечности. Это будет стечение тысяч книг, их неистовый нерест, но добрее рыбьего, потому что поколение не обрекает прежнего, — и даже гараж, изменив пользу, по жабры брюхат стеллажами. Это, может быть, будет кофе в кухне габаритом с актовый зал, где и в холодильнике уместен компас, а говорливый завтрак уносит весьма за полдень. Отсюда раздвинуть садовую дверь и прозревшим сердцем окинуть мир, в котором усердие не в тягость и сладостна золотая лень: плюшевый луг без подпалин и блошиных страстей гольфа, место собачьей и детской беготни; за ним змеиная река пересчитывает рощи и постройки, торопя к устью свое северное солнце. Река, по слову писателя, называлась. Река называется Гурон, дом на горе — «Ардис».

Когда продавали, этот простор обернулся препятствием. Пришлось кроить надвое и сбывать паями: один — дом, другой — луг.

Но тут, как нынче принято выражаться, — конец истории; надо сильно попятиться, угодить в разгар событий.

Раньше я жил в Сан-Франциско. Стоит человеку исчезнуть, насмехался Оскар Уайльд, и уже слышишь, что его видели в Сан-Франциско. Исчезновение прошло незамеченным, слезы были милосердно скупы. Я работал в газете «Русская жизнь», которую, из почтения к пестревшим некрологам, втайне величал «Русской смертью». Подписчикам, еще теснившимся на краю могильного зева, я скрашивал ожидание многосерийной приключенческой статьей «Удержат ли большевики государственную власть?». Ответ, надо признать, выходил обоюдно приятным — жаль, что моей правоты дождались лишь считанные. Люди смертны. Гай — человек. Следовательно.

Карьера была коротка, но беспрецедентна. Замешательство в совете опекунов вмяло меня в кресло главного редактора, где я сполна вкусил славы и почестей, все четыре дня, пока не возобладал рассудок. Второй (и последний) рывок в стратосферу — первым справедливо считаю нелегальный листок «За здоровую психику», основанный в стенах пятого, острого полубуйного, отделения клиники имени Кащенко. Там рассудок — царь.

Все дороги с вершины устроены вниз: пара месяцев ущемленного достоинства в заместителях, затем — независимый пост в очереди за пособием по трудоустройству. Параллельно карьере с одинаково переменным успехом струилась творческая жизнь. Журналы отвечали молчанием. Рецензент Р. издательства «П.» оказался словоохотливее, отпустил лапидарный комплимент и отказал, сославшись, что все мощности брошены на публикацию К. и Г. Инициалы подлинны.

Обремененный такими обстоятельствами, я спустился в один благотворительный подвал, где заезжий Саша Соколов давал чтение. До тех пор я избегал открывать его книгу, недовольный названием и именем автора, но услышанное твердо убедило в обратном. К тому же комплимент оказался взаимным: Саша повез в мифический Мичиган с полфунта моей лирики, попытать ей судьбу в «Ардисе».

В поворотный момент персонажей поражает слепота или жадность: либо вовсе не соображаем, какой нынче акт пьесы, либо ждем невозможного, забыв, что кругом всетаки проза, а не коммунистический манифест. А когда все исполнилось, опасливо щуришься в прошлое: что было бы, если бы не...? Бы? Растеряв грамматические функции, сослагательное наклонение возомнило себя орудием познания, и пожилая цивилизация захромала. Философ, торопясь на тысячелетний бал почвы и крови, обобщает: что было бы, если бы ничего не было? Да ничего бы и не было, спасибо, что спросил. На нет и суда нет. Следствие есть, грубо говоря, результат причины. Все происходит необходимо и намертво, прошлое — область абсолютного фатализма.

Вот чертежи и выкладки возведенной жизни. Обводим начало восхождения синусоиды. На подступах к зиме, которая в Сан-Франциско бесполезна, я получил почтовые сюрпризы: письмо о зачислении в филологическую аспирантуру; согласие на издание сборника с вложением ста сорока долларов — аванс, на пристальный взгляд, оказался тактичным подаянием, литературный заработок не предстоял.

Тут я снова вступаю себе наперебой: с Карлом Проффером мы уже встречались незадолго в Нью-Йорке, на литературной тризне по Набокову. Я-то, собственно, прибыл попроще, на короткий отпускной постой к Лимонову, еще не площадному Клеону из сумерек спектра — просто поэту, сочинителю честных щей. Восхождение из социальных низов он начал с должности дворецкого в нежилом миллионерском особняке на Ист-Ривер, временно забросил щи и толково излагал разницу между бри и камамбером. Разницы теперь не упомню, но там же рождался «Эдичка»; пусть, не в пример автору, и переименованный, я все же переживу себя на страницах этой книги.

Набокова оплакивали литературные светочи в стенах издательства «Макгроу-хилл» — с кончиной они облегченно засияли ярче, и благодарность была искренней. С Карлом мы встретились по фотороботу: его улыбка двигалась на двухметровой высоте, он прибыл в русскую литературу из баскетбола. Как объяснить чужую жизнь, когда и своя битком полна загадок? Говорят, напала на сборах болезнь или травма, взял со скуки Достоевского — и нате! Это ведь тоже не-

мочь — можно назвать осложнением.

Затем ходьба по Манхэттену, разговоры о Набокове и других авторах произведений, еще не канонизированных смертью. Я знал живьем немногих и упоминал с оглядкой. Знаком ли я с Бродским? Не очень коротко. Как-то был с ватагой СМОГа на его чтении в МЭИ; мы потом куда-то звали, а он возьми да и не пойди. Карл позвонил и познакомил. Мы отправились в Литтл-Итали и посидели втроем в траттории с участковыми крестными отцами. Зная, что предстоящим триумфом я обязан Иосифу, который прочитал и поручился за сносность, я пробовал впасть в фавор, но, по моим расчетам, тщетно, хотя внешне сложилось благополучно: мы даже уговорились переписываться. Переписка и впрямь завязалась, но прервалась уже после первого письма — моего, конечно.

И вот январь семьдесят седьмого: я вернулся в зиму, по которой опрометчиво скучал в Калифорнии, и сижу на антресолях необъятного дома, приютившего столь многих в переплете, а меня — во плоти. Во всей округе, кроме Карла, нет никого, с кем я вожу знакомство дольше полутора часов; но это не впервые, и я привык: заведу друзей, а неприятели подоспеют сами. Можно включить телевизор и хлебнуть уездных новостей: сводка убийств и рукоприкладств, взлет и закат местного баскетболиста по кличке «Птица». Мой верный товарищ, махая крылом. Неприятное слово «махая», нелирическое.

Воздадим адептам географии. Мичиган (произносится *Мишиген*) — это два полуострова, стиснувших Великие Озера с севера и юга. Южный смахивает на рукавицу, на обочине большого пальца ссадина — Детройт. О Детройте достаточно сказать, что он мало отличается от Грозного эпохи героического разгрома бандформирований, вот только бандформирования — настоящие, а о разгроме не дерзну преувеличивать. Есть, значит, на свете города-побратимы, даже танцевальными ансамблями не обязательно обмениваться. Анн Арбор, в получасе на юго-запад, — по сути, спутник Детройта, но упоминать об этом бестактно. Основная отрасль производства — Мичиганский университет, сорок тысяч душ из стотысячного населения. Выйдешь в рождественские каникулы — пусто, только жадины-белки сбивают с ног.

Замечательно, что и у Анн Арбора есть свой спутник: Ипсиланти, попросту Ипси. Там свой университет, Восточно-Мичиганский. Милях в пяти к востоку, ближний восток.

Проснувшись, судорожно нащупав широту с долготой, спускаешься в подвал, где, собственно, и гнездится издательство. Путь прокладывают издательские собаки, в ту пору их три: немецкая овчарка Динара, ирландский сеттер Маккул и еще кто-то рыжий, которому скоро погибать под колесами. На собак память острее, чем на людей, — не знаю, как у эскимосов. Собаку легче выучить наизусть. В подвале стоят композеры — наборные машины, садись и твори прямиком в тираж. Я, понятно, начал с себя, умиляясь каждой букве, затем перешел к Набокову, к Искандеру — пусть знает теперь, с кого спросить за опечатки. Деспотам не вкусить этой власти, этого невесомого могущества; они повелевают живыми, а жизнь коротка. Искусство длится дольше — тогда, обманутый чрезмерным переводом поговорки, я думал, что оно вечно, и все норовил выбить из композера последнюю истину, словно медиум из косноязычного блюдца.

Однажды Эллендея, официально главенствовавшая в семейном бизнесе, на ходу спросила, кого бы еще издать — из давно преставленных, конечно, чтобы без депеш в ВААП. Чумея от внезапного всесилия, я назвал Чаадаева, тоже жертву режима. Недели через три ящики с «Философическими письмами» уже сгружали у гаража, даже без собственноручных опечаток, потому что издание было факсимильным. А вскоре подошел черед и моего первенца: я щедро отписал по экземпляру Ленинке и Историчке — хоть с этой стороны побузить в спецхране.

Тогда, в незапамятные семидесятые, мы одолевали Атлантику ордой голодных грамотеев, мы взметали в небеса Нового Света бумажные тучи, читатели и писатели, — трудно сказать, кого прибыло больше; плох тот читатель, который не мечтает стать писателем. Или наоборот? И если мы не скитались наобум, не канули в благополучное иноречие, как тысячи до и после, это потому, что нам уже вышли навстречу и светили с волшебной горы Тангейзера, променяв баскетбол на Достоевского и Набокова. Свет погас. Набоков лежит на московских книжных развалах в соседстве, какому в живых, стиснув зубы, предпочел бы Достоевского.

Там, в стрекочущей пещере у реки с предстоящим озером, соседство не позорило, а возносило. Над моим композером висел плакат: «Русская литература лучше, чем секс» — юная пара в постели читает «Анну Каренину», «свиданье забыто», как певало в детстве радио. Оборвав на полутакте партитуру Довлатова, я пускался в экскурсию по многотомным стенам в поисках сюрпризов и первоизданий. Подобно Чаадаеву, некоторые исчезали под нож, чтобы воскреснуть в сотнях факсимильных оттисков; а иные, что больше пристало, были просто рукописями, измочаленными преждевременным любопытством, включая мое, и сигнальный экземпляр было проще сверять с памятью. Так мы должали Гутенбергу, пока Иван Федоров тискал Упанишады к моральному кодексу и вставлял аплодисменты в стенограммы земских соборов.

Вбегала с дождя Динара и валилась на ковер, следить за моим шелестящим занятием. В русских книгах она разбиралась слабо, но в писателях, навидавшись, кое-что понимала, а меня, завсегдатая, считала ровней чуть ли не Случевскому, и я не брезговал ролью экспоната. Пусть это был зоопарк или

дендрарий — где же еще спасаться вымирающему виду? На воле все равно воли не было, там лютовала советская власть, а здесь, за изгородью, было безопасно и вовремя кормили. Мы с Динарой вполне понимали друг друга. Как весело и безответственно быть собакой в краю, где не пристегивают на цепь вдоль порожней миски! Пусть не оплачивают построчно лай, но не требуют и охраны объекта, не мобилизуют на ловлю шпионов. Зато шпионы дышат полной грудью. Иные добирались извилистыми командировками, с завистью озирали наш книжный питомник, а потом за дозой виски божились, что неусыпно пишут в стол, пудами. Много, наверное, этих столов еще не опубликовано по России, так и служат по извечному назначению — постаментом стакану и сельди. И не беда, а то вот иные вообще повадились шифоньеры издавать.

Не знаю, кто зарится на объективность, — моя перспектива навеки искажена, и я не меняю ее на перевернутый бинокль Гиббона. Четыре года, если не дольше, я писал не в стол, а прямо в печать, я пел в набор, выверял рифму в гранке. Образовалась странная близорукость: за печатным листом простиралась серая Атлантика, читатель редел и таял в кругосветном тумане. Так, наверное, Демосфен жевал свои камни на пляже — все тоньше искусство, все меньше свидетелей. Наведи на себя погуще софиты, и не избежать подозрения, что зал пуст. Лет этак тридцати семи я впервые заглянул к окулисту. Доктор подтвердил.

Доныне гложет: может быть, мы сунулись в кассу за чужим авансом? Неужели мной и еще десятком, даже сотней подобранных литература расплатилась за поколение, легшее под серп и в скирды, за языки в лубянской мясной лавке, за полувековой пепел рукописей? Это уже неевклидова арифметика. Литература заткнет варежку — выхваченному из-под колес щенку не за что благодарить ни отряд хищников, ни даже класс млекопитающих. Спасибо спасителям, отпоили кого сумели.

«Ардис» не пережил советской власти: одна утопия, сползая в бездну, неминуемо увлекла другую. Кощунственно ли жалеть? Наказуема ли ностальгия? Страх уподобиться Зиновьеву с его любовью к клетке толкает возрокотать омоновскую демократию, рынок разбоя, свободу изойти визгом, елоховско-лубянский ренессанс. Слава Богу, читателя не прибавилось. Зал-то пуст — помните? Россия нас не прочитала — зачем тогда печатала Америка? Рухнули засовы зверинца, реликтовые особи разбрелись выживать собственной добычей, потому что Красной книгой уже никого не пугнешь. От Ньюфаундленда до Ванкувера ходят сбивчивые слухи о Соколове. Милославский поскользнулся на лампадном масле. А Довлатов — кто теперь его корректирует?

Прощай, республика слова. Книги имеют свою судьбу, авторы — тем более; теперь обе исполнились. Окончен набег на коммуну культуры и отдыха, на сталинских ИТРов пера, войска взаимно полегли. Что грезится сироте Литфонда на общем пепелище: дачное ли угодье, где трясет адидасами узурпатор, комиссия ли по творческому наследию? Река Гурон стала одноименным озером до горизонта, и заблудившаяся вода вспоминает, как отражала холм, увенчанный неугомонным домом, пологий луг, где раньше гуляли с похмелья экзотические зоилы, а ныне, поди, царь природы брокер грозит клюшкой строптивому мячу.

Разъехались все, кроме Карла, — он отбыл задолго и недалеко. Кладбище с дороги — как на ладони, без непроглядной российской растительности: плоские плиты, флаги, цветы. В этот путь много с собой не берут — в конце каждому все положенное приготовлено. Помню, в дни посвящения в автомобилисты я едва разминулся здесь с неповоротливой липой и, отдышавшись, попенял покойникам: дескать, шалите, у меня — своя компания, у вас — своя. Теперь и навсегда — общая.

Может быть, так ему и лучше, утопию надо покидать в апофеозе, чтобы не выставили в конце вон, как Дионисий посрамленного Платона.

Кладбище, надо сказать, разбито в самом центре, колонисты обожали себя постращать, да и лошадям экономит работу. Отсюда подать рукой: третий поворот за Арлингтон, мимо годами кособокого почтового ящика, как та диковина в Пизе, и слегка в гору по прыгучему гравию, а зимой с визгом по серому льду, где расступятся за кольцом вековые вязы, встанет столб с баскетбольной дыркой и с террасы, радостно голося, сорвутся к колесам вечные тени, милые псы русской словесности: Динара, Маккул — и этот рыжий, имени которого я никак не вспомню.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ,
Прага

АХ, КАКОЙ БЫЛ ИЗЫСКАННЫЙ БАЛ...

Я познакомилась с Эллендеей примерно через год после того, как переехала в Анн Арбор, то есть лет семь-восемь назад. Впервые попав в «Ардис» на книжную распродажу, я была безмерно счастлива и накупила такое количество книг, что была удостоена благосклонного взгляда только что спустившейся завтракать (в третьем часу пополудни) хозяйки. Самое большое впечатление на меня, до того побывавшей только лишь в одном издательстве — «Детская книга» (в Москве, в Марьиной Роще, во время пионерской практики в конце шестидесятых), — произвел количественный состав редакции. Она состояла из... трех человек — Рона Майерса, Марианны Шпорлюк и самой Эллендеи. Карл умер примерно за

два года до этого, но волею случая память об этом человеке, с которым я никогда не была знакома, опять же по каким-то таинственным причинам тесно переплелась с моей собственной судьбой — тремя годами позже мой тогда тридцатишестилетний муж заболел таким же редким раком, который был у Карла, и Эллендея была в числе людей, поддержавших меня в это трудное время, — кто знает, как бы все обернулось, если бы не чудо-доктор, не сумевший спасти Карла, но сохранивший жизнь моему мужу.

И вот последние дни августа 1994 года. Огромный дом полон гостей, среди которых я едва различаю несколько знакомых лиц. Моя приехавшая из Техаса приятельница, сыновья Карла, двухметровая красавица Арабелла, дочь Карла и Эллендеи, в свои шестнадцать выглядящая как уставшая от жизни светская львица, агенты по продаже недвижимости, русские писатели, несколько художников, искусствовед-итальянец с супругой, кое-кто из профессоров нашего отдела и тьма незнакомых мне физиономий. Известный негритянский профессор политологии, с которым я познакомилась пару лет назад на званом обеде в честь какого-то проезжающего украинского государственного деятеля, недавно неудачно выдвигавший свою кандидатуру на весьма важный пост от республиканской партии, подогреваемый восхищенными взглядами своей литовской подруги, взахлеб рассказывает мне о том, как после двухнедельной слежки ему наконец удалось установить, кто ворует его ежедневную New York Times. «Вы представляете, Нюся, — говорит мне он, — я насыпал в газету тальковой пудры, и потом в лифте я увидел солидного бизнесмена, на костюме которого запечатлелись следы преступления...»

Мне становится невыносимо грустно. Я отправляюсь бродить по дому, благо сегодня можно пренебречь приличиями. На веранде натыкаюсь на прелестного Рона Майерса, который представляет мне весьма милую пару. Они работали в одной из первых типографий «Ардиса». Меня почему-то удивляет, что эти люди не знают русского языка. Но с каким воодушевлением они говорят о первых книгах издательства, о Карле и Эллендее.

А вот и она. Удивительная женщина с непростым характером и великолепным вкусом. Рядом с ней ее юный друг и партнер, Росс Тизли, который когда-то был моим студентом, а затем многократно спасал меня в «острой компьютерной ситуации», будь то финальная редакция библиографии моей докторской диссертации или не удающиеся мне, хоть плачь, поля и абзацы. Куда вы, в какую Калифорнию, а как же «Ардис», традиция, этот удивительный дом и сад...

И хоть сад не вырубается, но дом продан (этим объясняется присутствие среди гостей агента по продаже недвижимости), нужные вещи уложены, вчера была распродажа ненужных. Не могла отказать себе в удовольствии купить несколько вещей из «Ардиса». Барометр Карла. Зачем он им теперь, ведь Калифорния не Мичиган, там вечная весна, не было бы только землетрясений. И еще — три фарфоровые куклы, сразу напомнившие мне бродячих артистов, — демоническая брюнетка в красном капоре, порочная блондиночка с дурашливой улыбкой и грустный Пьеро, при ближайшем рассмотрении тоже оказывающийся женщиной. «Ты уверена, что тебе не нужны эти куклы? — спросила я Арабеллу. Тебе не жалко с ними расставаться?» — «Ерунда, — затянувшись сигаретой, сказала строгая красавица, — и потом, вообще, их сделала моя бабушка, поэтому они мне не нужны...» Логика железная. Так вот почему у кукол такие неровные губы — они нарисованы старческой рукой. Мне хочется сказать Арабелле, что лет эдак через двадцать пять, а то и раньше она будет очень жалеть, что отделалась от этих фарфоровых красавиц. Но я понимаю, что она не поймет меня, как двадцатью годами раньше я не понимала людей, пытавшихся объяснить мне нечто очень похожее. Да и какое я имею право учить ее жить?

«Танцевать, танцевать, немедленно танцевать», — приказывает Эллендея. Звучит рок-н-ролл, народ начинает пляски, а я потихоньку выхожу покурить на заднее крыльцо. За это время гостей сильно поприбавилось, в основном комнаты наводняют молодые люди, видимо, приятели Росса. Танцуют все.

Мне кажется, что что-то не так, но потом я понимаю, что все в порядке. Мы связывали «Ардис» со своим открытием недоступного нам мира, благоговейно относясь к этому музею русской литературы в изгнании, а Эллендее, по меткому замечанию одной из ее подруг, просто надоело быть музейным экспонатом. Я поднимаю бокал за Вас, «Ардис»! За будущее! Да здравствует жизнь! Ваше здоровье, Эллендея Проффер!

НЮСЯ МИЛЬМАН,
Анн-Арбор, США

■

■Аргентина

И ЛИТЕРАТУРА, И ТЕАТР, И КИНО

«Поцелуй женщины-паука» — четвертый роман знаменитого аргентинского писателя Мануэля Пуига (1933—1990) — теперь существует в виде превосходного спектакля, наиболее близкого к авторскому замыслу. История создания сценического варианта романа и постановки по-своему примечательна.

Мануэль Пуиг написал роман около двадцати лет назад, и книга сразу же привлекла внимание режиссеров театра и кино. Сюжет романа как нельзя лучше подходит для экранизации или театральной постановки: в основном это диалоги двух заключенных, находящихся в одной камере. Валентин Ачаваль, боевик вооруженной левацкой группировки, получил срок за политические убеждения. Его товарищ по несчастью, Луис Альберто Молина по прозвищу «Молинита», угодил в тюрьму за гомосексуализм.

Большой поклонник кино, Молинита развлекает Валентина рассказами о фильмах, надеясь попутно соблазнить симпатичного террориста. Между тем, жесткий догматик Валентин пытается толковать фантазии, речь и даже сексуальность своего сокамерника, опираясь на «Капитал» Маркса. Оба узника постепенно меняются: Валентин понемногу входит в мир кинофантазий, а Молинита, наслушавшись речей левака и поддавшись его влиянию, готовится к рискованным делам.

Инициатором новой постановки является актер Пепе Мартин. Еще четырнадцать лет назад он сыграл роль Молиниты, причем тогда сценический вариант романа написал сам Мануэль Пуиг. Увидев постановку 1981 года (режиссером выступил Хосе Луис Гарсиа Санчес), аргентинский писатель так увлекся театром, что в 1983 году опубликовал еще одну пьесу, а затем последовали и другие.

«Для меня театр, лишенный риска, не представляет никакого интереса», — говорил Мануэль Пуиг. «Поцелуй женщины-паука» затрагивает весьма рискованные темы: политический экстремизм и неординарную сексуальность. Поскольку место действия конкретно не обозначено — это лишь тюремная камера, — то происходить все могло не только в некой латиноамериканской стране, но и в любом государстве, где есть узники совести.

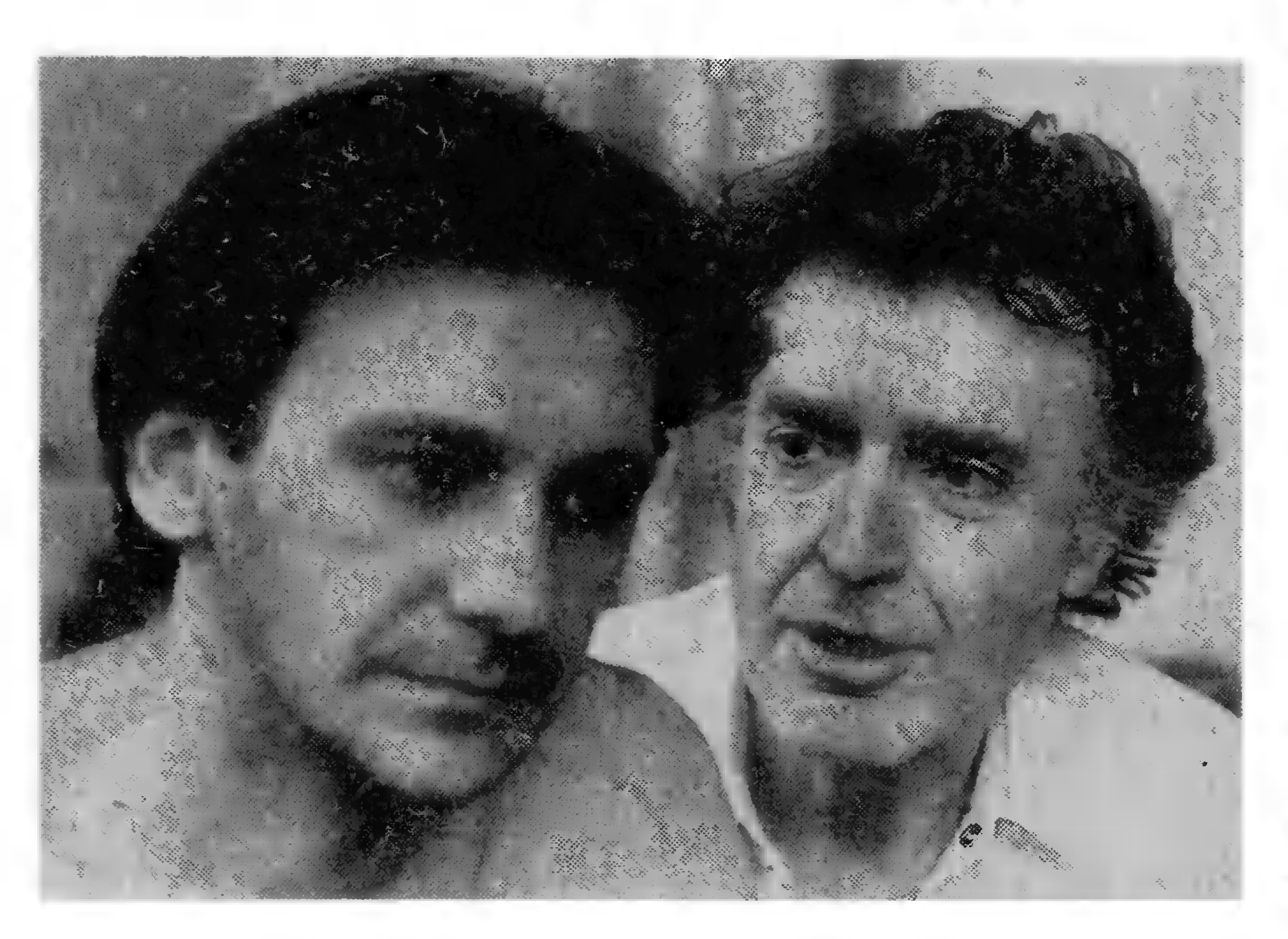
Необходимость в новой постановке возникла из-за перемен во внешних условиях. Если в варианте 1981 года основной упор делался на политической стороне пьесы и воинствующем марксизме Валентина, то в новой постановке режиссер Фелипе Вега сосредоточен прежде всего на внутренних переживаниях персонажей, на смешении реальности и фантазии.

Этому соответствует и новое оформление сцены, предложенное художником Тони Кортесом: сцена поделена на две части — тюремная камера и клетка, напоминающая вольер в зоопарке. Эта клетка — символ мира фантазий и снов, то место, где обитает женщина-паук из кинорассказов Молиниты.

Новая постановка — это еще и профессиональный вызов по отношению к кино. Театр и кино переплелись в судьбе произведения довольно тесно: все, кто ставил пьесу в театре, являются кинорежиссерами — и Хосе Луис Гарсиа Санчес, и постановщик мексиканского варианта Рипстайн, и Фелипе Вега, для которого это первая работа в театре.

Кинематограф занимал важное место в жизни М.Пуига: он всегда любил кино, сам писал сценарии и даже пробовал себя в качестве режиссера. Возможно, поэтому он так строго подходил к экранизациям своих произведений и почти никогда не был доволен ими — даже когда их делал такой классик аргентинского кино, как Леопольдо Торре Нильсон.

Осуществленная голливудским режиссером Эктором Бабенко экранизация романа также не удовлетворила автора, хотя исполнитель роли Молиниты Уильям Херт получил за нее «Оскара». Эту же роль хотел сыграть и Берт Ланкастер, однако Мануэль Пуиг считал, что англосаксонские актеры не могут передать чисто латинские черты персонажа — его юмор, мягкость, теплоту и темперамент. М.Пуиг неоднократно заявлял, что лучшим исполнителем роли остается Пепе Мартин.



Хорхе де Хуан и Пепе Мартин в спектакле «Поцелуй женщины-паука» .

(Газета «Паис»)

■Италия

ПЕРВЫМ ДОНЖУАНОМ БЫЛА ЕВА

К этому и другим курьезным выводам пришел итальянский исследователь Альдо Каротенуто в книге «История соблазнов: традиции и мифы» (издательство «Бомпиани»). Свой



анализ он начинает буквально со времен Адама – первой «жертвы» соблазнения, не считая Евы, которую, как известно, подстрекал Змей.

Искушения преследуют человека всю жизнь. Заманчивая идея, путешествие в неизведанное, азартные игры и прочие запретные плоды – все, что сулит хоть малейшую надежду, рискнув, вкусить сполна от жизни, влечет к себе простого смертного. А если шансы малы, он самообольщается.

Кстати, итальянское слово «обольстить» («седурре») автор считает однокоренным слову «место» («седе») и истолковывает его значение как «отвести в сторону, в другое место», «повернуть». Более того, как и Жан Бодрийар, он полагает, что слова «соблазнение» («седуционе») и «подстрекательство» («седиционе») – братья-близнецы.

Вымышленные персонажи появляются в книге эпизодично, уступая место авторитетам – поэтам, антропологам, филологам, философам. Так, в главе «О туманах севера» А.Каротенуто пытается постичь натуру соблазнителя с помощью трудов и личного опыта С.Кьеркегора. Вывод занятен: донжаунство – женская черта, связанная с постоянным непостоянством женщин. Они сами не ведают, что творят, но этим и увлекают за собой других. Так или иначе, для донжуанов найдено смягчающее их «вину» обстоятельство.

■Мексика

КЛАССИКИ БЕЛОГО СТИХА

Что такое белые стихи: проза или поэзия? Пока литературоведы спорят об их жанровой принадлежности, мексиканский исследователь Луис Игнасио Эльгуэра выделяет их в особый, самостоятельный жанр. В отличие от традиционной прозы и традиционных стихов белый стих, по его мнению, обладает большей гибкостью для выражения тончайших движений души, он менее связан законами жанра, и всякий раз автор придумывает что-то свое, неповторимое.

Исторически «свободный стих» («верлибр») был наиболее заметен во Франции, но и в испаноязычной литературе XX в. поэзия в прозе играет огромную роль, а среди испаноязычных стран богатым наследием в этом плане выделяется Мексика. Об этом лишний раз свидетельствует «Антология белого стиха в Мексике», изданная находящимся в Мехико Фондом экономической культуры.

При отборе материала Луис Игнасио Эльгуэра не ограничивался произведениями лишь собственно мексиканских авторов: в сборник также вошли белые стихи поэтов, живших и публиковавшихся в Мексике, таких как Габриела Мистраль и Луис Сернуда. Всего же солидный 480-страничный том объединяет произведения 73 поэтов, начиная с родившегося в 1858 г. Мануэля Хосе Отона и кончая Кармен Леньеро (родилась в 1959 г.).

В каком-то смысле антология восстанавливает справедливость: если Октавио Пас, Рубен Дарио, Сезар Вальехо, Висенте Уидобро хорошо известны, то некоторые другие латиноамериканские классики оказались в забвении. Так, в сборнике отведено подобающее место Рамону Лопесу Веларде (1888–1921) – поэту с невероятно подвижным, живым и выразительным языком, сильно повлиявшим на поэзию Латинской Америки и Испании. Не забыт и еще один классик: Хулио Торри (1889–1970) – тонкий, ироничный лирик и крупнейший представитель этого жанра в испаноязычной литературе.



Классик мексиканского верлибра Рамон Лопес Веларде.

(Газета «Паис»)

■США

СТОИТ ТОЛЬКО СНЯТЬ ПОВОДОК

Нью-Йоркское издательство «Краун» опубликовало весьма необычную книгу, аналог которой едва ли сыщется не только в американской, но и в любой другой литературе. «Без поводка» – так называется сборник стихотворений, сочиненных... писательскими собаками!



Посетители знаменитого парижского кафе «Де дё маго» — снимок Эдуара Буба (1955) из фотоальбома Барнаби Конрада III «Парижские собаки».

(Газета «Глоб энд мейл оф Кэнада»)

Составители антологии – вполне двуногие существа Эми Хемпель и Джим Шепард – избрали общеизвестного «друга человека» в качестве автора неспроста: ведь поэзия – естественное средство самовыражения для собак, поскольку они обладают тонким душевным устройством, громко сообщают окружающим о своих переживаниях, философски относятся к жизни и, кроме того, любят и ценят природу.

Вместо ожидаемых стихотворений типа «Здесь кто-то есть – я точно знаю» или «Я гавкаю, чтобы развеяться», сборник предлагает довольно олитературенные стихи – не следует забывать, что их авторы не какие-нибудь бродячие дворняжки, а собаки литераторов, не раз слушавшие, как их хозяева читают вслух собственные вирши.

Конечно же, тесное общение с двуногими поэтами повлияло на творчество четвероногих. Например, собаки поэтесс представили любовную лирику: Оди, живущая с Эми Хемпель, написала «Дождь» – нечто вроде японского хайку: «Дождь смыл следы его лап в моем саду. Может, трубочка с мороженым утешит меня?» В миниатюре «Жаркой ночью» Красотка (с ней живет Ли Смит) волнуется, предчувствуя течку.

В других стихах говорится о нехитрых радостях собачьей жизни: съесть или не съесть угощение, решает для себя Берч, питомец Карен Шепард; Розочка, любимица Эндрю Хадженза, вспоминает о чудесном августовском дне, когда на берегу реки она нашла тухлую рыбу и вволю измазалась ею; а Прыгун, компаньон Уильяма Тестера, в модернистском пятистишии «Удовольствия обнесенного забором двора» выразительно лает на все лады.

Как бы продолжая эту литературную шутку, еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» помещает на своих страницах рецензию на сборник, написанную весьма литературным псом по имени Жак Амо Пуч Чини, который подписался просто «Жак» и в сведениях о себе сообщил, что проживает с литератором Дэниэлом Пинкуотером. Жак похвалил четвероногих поэтов и предложил каждого почесать за ушами и угостить рогаликом.

■Франция

ФРАНЦУЖЕНКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Известный французский историк Мона Озуф обратилась к одной из ярких страниц в истории французской культуры. Ее книга «Слова женщин» (издательство «Файяр») имеет подзаголовок «Очерк о французской особенности». Но собственно очерку в 400-страничном томе предшествуют десять литературно-художественных портретов француженок, которые оставили свой след в культурной истории страны за последние несколько столетий. Мона Озуф анализирует их жизнь и литературное наследие — переписку, мемуары, романы.

Первой идет удивительная госпожа дю Деффан. Старая, больная, полуслепая, в семьдесят лет она страстно влюбилась, и эта страсть навсегда избавила ее от депрессий и тоски, чуть не лишив разума. Не менее удивительна и госпожа де Шаррьер: эта дама в течение двадцати лет поддерживала любовную интригу и пылкую переписку с неким полковником, а затем (в пятьдесят лет!) переключилась на его племянника, двадцатилетнего юношу. Не оттого ли страницы ее романов заполнены «живыми, неизгладимыми впечатлениями»?


Госпожа дю Деффан.
(Журнал «Кензен литтерер»)

Госпожа де Ремюза, напротив, являла собой воплощенную добродетель: по ее собственному определению, она «счастливая дочь, супруга и мать». Между тем, узкому кругу друзей были знакомы ее литературные творения, в которых основой и двигателем сюжета служил инцест. Госпожа Ролан считала, что женщина имеет право на счастье, однако сама ограничивалась лишь скромными проявлениями самостоятельности (например, изучала геометрию по ночам).

Еще две известные француженки высказывали неординарную точку зрения. Госпожа де Сталь, пережив немало амурных приключений, погрузилась в литературу и стала суровым судьей своих любовников. А знаменитая Жорж Санд полагала, что старость для женщины — благодатная пора, когда к прежним счастливым моментам добавляются новые.

Исследуя более близкие к современности периоды, Мона Озуф выделяет столь непохожих между собой дам: активная феминистка Юбертина Оклер, боровшаяся за права женщин, и писательница Колетт, воспевавшая любовь и чувственность как подлинное царство женщины; аскетичная, непримиримая «марсианка» Симона Вайль и жаждущая все испытать, все знать Симона де Бовуар.

При всей внешней несхожести этих дам объединяет яркая индивидуальность, независимость в суждениях и поступках, стремление изменить судьбу женщины (так, все они, кроме весьма аристократичной госпожи дю Деффан, выступали за равное с мужчинами образование для женщин). Великая французская революция была еще одним шагом в этом направлении, ибо сделала из супруг и домохозяек «гражданок», общественно значимых лиц.

Книга «Слова женщин» демонстрирует богатое и разнообразное культурное наследие в женском движении, а Мона Озуф стала первым лауреатом новой премии, учрежденной Французским телевидением.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ РЕАЛИСТИЧНАЯ ФАНТАСТИКА

В 1989 году правнук Жюля Верна решил продать родовую усадьбу. При переезде в одном из сундуков (его пришлось взломать, так как не нашлось ключа) были обнаружены какие-то старые рукописи. Тогда, впопыхах, их сунули в прочие бумаги. Но несколько месяцев спустя Жан Верн понял, что обладает бесценным сокровищем: ведь то было неизданное произведение его знаменитого прадеда, считавшееся утерянным. Ныне, через девяносто лет после кончины писателя, роман «Париж в ЧЧ веке» вышел в издательстве «Ашетт».

Но почему же книга не была опубликована в свое время? Оказывается, издатель посчитал, что великий фантаст все же сгустил краски, изображая Париж 1960 года. Город предстает в романе гигантским механизмои, который вытеснил культуру и превратил человеческие чувства в сплошное утильсырье. Вот как описан типичный парижанин — продукт своего времени: месье Бутарден делал все только полезное, устремлял все помыслы только на полезное и безмерно желал быть полезным. Он изъяснялся в граммах и сантиметрах; музыка для него сводилась к паровозным гудкам, а литература — к биржевым книгам. Он был главной шестеренкой в машине, состоявшей из винтиков-домашних и винтиков-подчиненных. Он приводил их в размеренное движение с максимальной пользой для себя.

Есть в романе и нетипичный парижанин: это молодой поэт Мишель. Ему и его немногочисленным друзьям-единомышленникам не по душе цивилизация, где Гюго и Бальзак забыты, а в библиотеках, похожих на усыпальницы, можно найти лишь такие «лирические» опусы, как «Размышления о кислороде» или «Поэтический параллелограмм». Исчез и великий французский язык, превратившись в набор терминов и жаргонных слов. Мишелю нет места в таком мире; сломленный и подавленный бредет он по кладбищу Пер-Лашез в финале романа, изливая всю горечь в предсмертном вздохе: «О Париж!..»

По материалам газет «Паис» (Испания), «Глоб энд мейл оф Кэнада» (Канада), еженедельников «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), «Стампа-Туттолибри» (Италия), журналов «Кензен литтерер» (Франция), "Лир"(Франция).

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДАВИД МАРИЯ ТУРОЛЬДО (DAVID MARIA TUROLDO; 1916 — 1992) — итальянский поэт и драматург. В 1934 г. вступил в монашеский орден «Слуги Марии». В 1940-м — рукоположен в священники. Участвовал в антифашистском движении Сопротивления. В 1947 г. защитил диплом по философии и затем преподавал в университете города Урбино. Свою первую поэтическую книгу выпустил в 1948 году.
Публикуемые стихи взяты из сборников «О, мои чувства...» (« O sensi miei...». Milano, Rizzoli, 1990), «Последние песни» («Ultimi canti», Milano, Garzanti, 1991) и «Мои ночи с Екклесиастом» («Mie notti con Qohelet». Milano, Garzanti, 1992).

ЭЛИС МАНРО (ALICE MUNRO; род. в 1931 г.) — канадская писательница. Автор сборников рассказов «Танец счастливых теней» («Dance of the Happy Shadows», 1968; Премия генерал-губернатора), «То, что я собиралась вам рассказать» («Something I've Been Meaning to Tell You», 1974), «Луны Юпитера» («The Moons of Jupiter», 1982), романа «Жизнь девушек и женщин» («Lives of Girls and Women», 1971; Премия канадских книготорговцев), книги «Кем вы себя считаете» («Who Do You Think You Are?», 1978; Премия генерал-губернатора) и ряда телесценариев.
Рассказ «Настоящая жизнь» («A Real Life»), впервые опубликованный в журнале «Нью-Йоркер», взят из антологии «Лучшие американские рассказы 1993 года» («The Best American Stories, 1993»).

ОСМАН ТЮРКАЙ (OSMAN TÜRKAY; род. в 1927 г. на Кипре) — турецкий поэт, эссеист, переводчик и издатель. Автор более 15 сборников стихов. Творчество О.Тюркая отмечено многими международными премиями, в том числе и специальной Премией Мира (1995), учрежденной ООН в связи с 50-летием основания ООН.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

ЙОЗЕФ РОТ (JOSEPH ROTH; 1894 — 1939) — австрийский писатель. Автор реалистических и сатирических романов из жизни послевоенной Европы: «Отель Савой» («Hotel Savoy», 1924; рус.пер. 1925), «Бунт» («Die Rebellion», 1924; в рус.пер. «Мятеж», 1925), «Циппер и его отец» («Zipper und sein Vater», 1927; в рус.пер. «Циппер и сын», 1929), «Бегство без конца» («Die Flucht ohne Ende», 1927), «Марш Радецкого» («Radetzkymarsch», 1932; рус.пер. 1939), «Склеп капуцинов» («Kapuzinergruft», 1938), «Иов» («Hiob», перевод опубликован в «ИЛ», 1995, № 8).
«Легенда о святом пропойце» Й.Рота взята из антологии «Австрийские рассказчики за 6 десятилетий» («Die Legende vom heiligen Trinker». Österreichische Erzähler aus 6 Jahrzehnten. Berlin, Volk und Welt, 1967).

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ (CHARLES BUKOWSKI; 1920 — 1994) — американский писатель, уроженец Германии. Автор сборников рассказов «Истории обыкновенного безумия» («Tales of Ordinary Madness», 1972), «Заметки старого козла» («Notes of a Dirty Old Man», 1969), «Самая красивая женщина в городе» («The Most Beautiful Woman in Town», 1978), «Шекспир никогда не поступал так» («Shakespeare Never Did This», 1979) и др. Русский перевод романа Ч.Буковски «Голливуд» напечатан в журнале «Искусство кино» (1994, № 9 — 12, 1995, № 1 — 2), рассказы из разных сборников — в «ИЛ» (1995, № 8).
Роман «Макулатура» издан в США в 1994 году («Pulp». Santa Rosa, Black Sparrow Press).

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ (TADEUSZ KONWICKI; род в 1926 г.) — польский писатель, сценарист, кинорежиссер. Автор около двадцати книг. Наиболее известны его романы «Современный сонник» («Sennik współczesny», 1963; издавался по-русски в 1966 и 1973 гг.), «Зверочеловекодух» («Zwierzoczłekoupiór», 1969), «Хроника любовных происшествий» («Kronika wypadków miłosnych», 1974), «Малый апокалипсис» («Mała apokalipsa», 1979; рус.пер. опубликован в журнале «Искусство кино»), «Бохинь» («Bohiń», 1987; рус.пер. — в журнале «Дружба народов»).
Роман «Чтиво» издан в Польше в 1992 году («Czytadło». Warszawa, Nowa).

МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1953 г.) — кандидат филологических наук. Его статьи, рецензии и переводы печатались в журналах «Новое литературное обозрение», «Диапазон», «Суфлер», научных изданиях.

ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) — литературный критик, журналист. С 1977 г. живет в США. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Статьи П.Вайля печатались в «ИЛ» (1990, № 8, 1995, № 2 и № 4).

Статья «Похвальное слово штампу, или Родная кровь» получена редакцией в рукописи.

ХЛЕБНИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА — искусствовед, автор ряда публикаций о современном зарубежном изобразительном искусстве (в «ИЛ» см. статьи «...Я подобен ливню... », 1994, № 12; «Граффитизм — искусство нью-йоркской подземки», 1995, № 3; и др.)

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г. в Ленинграде) — поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). С 1974 г. живет в США. Пишет на русском и английском языках. Автор многих сборников стихов, в том числе «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1977), «В окрестностях Атлантиды» (1995), книг эссе «Меньше единицы» (1986; удостоена премии как лучшая литературно-критическая книга Америки за 1986 г.), «Набережная неисцелимых» (1992).
В «ИЛ» напечатаны его переводы пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда (1990, № 4) и «Говоря о веревке» Брендана Биэна (1995, № 2), стихов Джона Донна (1988, № 9), эссе «Меньше единицы» (1992, № 10), «Памяти Марка Аврелия» (1995, № 7) и др.
Эссе «Трофейное» получено редакцией в рукописи.

■Переводчики:

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик итальянской поэзии и прозы. В «ИЛ» напечатаны его переводы из Данте, Ариосто, Петрарки, Белли, Монтале, Луци, Унгаретти, Пиньотти, стихи из поэмы «Дом» Тонино Гуэрры, роман Дж. Д'Агаты «Америка о'кей», рассказы Дж.Ландольфи, Л.Шаши и др.
Переводы Е.Солоновича из классической и современной итальянской поэзии отмечены в Италии рядом литературных премий.

СТАМ ИННА СОЛОМОНОВНА — лингвист, кандидат филологических наук, переводчик с английского. В «ИЛ» в ее переводах напечатаны повесть Сью Таунсенд «Ковентри возрождается» (1991, № 3), рассказы Чарльза Джонсона (1992, №4), «Время убийц. Этюд о Рембо» Генри Миллера (1992, № 10), роман Сью Таунсенд «Мы с королевой» (1994, № 7), и др. Автор ряда работ по современному английскому языку.

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ (род. в 1951 году в Казани) — поэт и переводчик. Окончил механико-математический факультет Казанского университета, аспирантуру МГУ по теоретической кибернетике, автор нескольких сборников стихов. Пишет стихи на татарском, русском, английском и венгерском языках. Лауреат нескольких литературных премий. В настоящее время живет в Лондоне.

ШЛАПОБЕРСКАЯ СЕРАФИМА ЕВГЕНЬЕВНА — переводчик с немецкого и французского языков. В ее переводах изданы романы «Окольный путь» Хаймито фон Додерера, «Мистификации Софи Зильбер» Барбары Фришмут, «Гертруда» Германа Гессе, «Пустыня любви» Франсуа Мориака, письма Гюстава Флобера, рассказы и повести Франца Кафки, Роберта Вальзера, Франца Фюмана, Ингеборг Бахман, Эриха Кестнера, сказки Вильгельма Гауфа и др.

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались романы «Вся королевская рать» Р.П. Уоррена, «Свет в августе» У.Фолкнера, «Над кукушкиным гнездом» К.Кизи, «Теофил Норт» Т.Уайлдера («ИЛ», 1976, № 6—8), «Другие голоса, другие комнаты» Трумэна Капоте («ИЛ», 1993, № 12), повести Д.Хэммета («ИЛ», 1988, № 7), «Когда я умирала» У.Фолкнера («ИЛ», 1990, № 8) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1990 и 1993).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — переводчик с польского. В ее переводах издавались произведения Г.Сенкевича, Я.Ивашкевича, М.Домбровской, М.Хороманьского, Т. Конвицкого. В «ИЛ» напечатаны переводы романов «Черти» Т.Новака (1975, № 3—4), «Камень на камень» В.Мысливского (1986, № 7—9), документальной повести «Опередить Господа Бога» Г.Кралль (1988, № 4), повести «Врата рая» Е.Анджеевского (1990, № 1), «Красивые, двадцатилетние» М.Хласко (1993, № 12), рассказы М.Хласко (1991, № 9) и П.Хюлле (1994, № 11). Лауреат премии «ИЛ» (1986).

■





Мир Знаний

эксклюзивный дистрибьютор
продукции компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

"Мир Знаний" - городу и миру
"Британская энциклопедия" - детям.

Уже много лет в десятках стран мира детские издания компании "Encyclopaedia Britannica" можно встретить в каждой библиотеке домашней, школьной, городской.
"Encyclopaedia Britannica" создала три замечательные энциклопедии для детей разного возраста.



"CHILDREN'S BRITANNICA" (20 т.) - самая авторитетная и занимательная энциклопедия для школьников 11-17 лет. Автомобили, великие люди, компьютеры, дальние страны, киногерои - все, что интересует подростка, можно найти среди 30 000 тем и 6 000 иллюстраций "Детской Британники". В одном из томов имеется Атлас мира, необходимый любому школьнику. Издание постоянно обновляется.
"THE YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPEDIA" (16 т.) - энциклопедия для школьников 7-11 лет. Занимательные истории о городах и животных, путешествиях и знаменитых людях сопровождаются красочными иллюстрациями.
"BRITANNICA DISCOVERY LIBRARY" (12 т.) - энциклопедия для самых маленьких. При помощи этих великолепно иллюстрированных книг дети в возрасте от 3 до 7 лет открывают мир предметов, звуков, чувств, явлений. Энциклопедия для малышей - лучший способ познания мира.

Детские издания "Британской энциклопедии":

- **дверь в мир знаний**
- **окно в Европу**
- **лестница к успеху**

АОЗТ **"Мир Знаний"**
Тел.: (095) 369 2977, 962 0197, 161 4049; факс: (095) 369 0664, 161 0675 - в Москве;
Тел./факс: (812) 352 3016 - в Санкт-Петербурге;
Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996, №1, 1 — 256